Индекс 73293

«Октябрь», 1988, № 12, 1—208.

1988 12 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

12

1988



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1988

ДЕКАБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Новые имена

Уже более десяти лет «Октябрь» предоставляет страницы своего двенадцатого номера начинающим прозаикам. Традиция эта замечена и читателями (о чем говорит почта журнала), и творческой молодежью, ежегодно участвующей в этом своеобразном конкурсе.

В этом году мы, как никогда, испытываем трудности с распределением печатной площади. Оттого и конкурс был исключительно строгим. Выдержали его только пять рассказов, и мы надеемся, что они оправдают читательские ожидания.

Представляем наших дебютантов: В. Колесников по профессии журналист; А. Трапезников — в прошлом педагог, а ныне редактор; В. Ежов — киносценарист; Д. Добродеев — историк; А. Михайлов — инженер по образованию, сейчас работающий книгоношей.

Владимир КОЛЕСНИКОВ

Птицы небесные

Вканун первого сентября, когда так весело напоследок была открыта стеклянная дверь в палисадник и оттуда сладко тянуло уже вялыми листьями яблонь, к нам праздно заехали главный врач районной больницы и его красавица жена. Больница находилась при сахарном заводе неподалеку от небольшой железнодорожной станции; там, в поселке, пропахшем сброженной свеклой, продавали только хлеб да водку, и медицинская чета приехала на лошадях в райцентр за школьными покупками для двух своих девочек. Их я тоже знал: старшая, мне сверстница, шла в седьмой класс и была похожа на мать гибкостью и ясно-смуглым, слишком, пожалуй, утонченным лицом; меньшая — копия отца, рыхлая, белая, с крупными серьезными веками и любила потирать руки.

Гости почему-то не оставили товары кучеру в тарантасе у ворот, вошли к нам с вязанками книг, тетрадей, портфелей, атласов, альбомов, старинных грифельных досок, нот (их дети играли на фисгармонии), дальше были краски на палитрах в виде кувшинок, кисти, наборы цветных карандашей, заманчиво узкие коробочки с авторучками, компас, а поверх всего синел глобус, сияли химические склянки и, как на елке, сами собой позванивали. Запахло клеем, формалином и духами.

Я так думаю: им хотелось у нас порадоваться чудесам когиза, мама это поняла и очень хвалила каждую вещь. Я с верностью ее поддерживал, басовито говорил «ого» — я уже важничал. Врач, дородный и нарядный, в коричневом костюме, похохатывая, уютно ходил по комнате в косом солнечном дыму от своей душистой папиросы, жена его, перебирая покупки, красиво изогнулась под красным скользящим платьем, из-за упавшей черной пряди смеялась нежной, все-таки игрушечной щекой.

Мама принялась угощать их, благо было чем — от сборов отца в Воронеж остались пирожки и жареный сом. Гости слегка посожалели, что отец уехал — «назавтра вызвали в обком», — тем не менее Василий Георгиевич, врач, потирая руки, достал из своего вороха фляжку спирта, было воскресенье, и скоро все трое, отрешившись от обыденности, стали громко обсуждать ходившую по домам и побывавшую у нас огромную книгу «Порт-Артур» и смеяться над женой генерала Стесселя, которая командовала армией, тут мама к месту сказала: «Никогда бы не позволила себе вмешиваться в районные дела», и врачиха согласилась: «Я в больнице даже не была ни разу, скажи, Вася».

Она и мама разрумянились и еще больше похорошели, Василий Георгиевич разгладился и был по-здоровому бел, фразы произносил внятно

и авторитетно, снисходительно к женщинам, умные же глаза его под крупными веками блестели ласково. Я вежливо сидел на краю дивана, и он спросил меня с дружелюбием:

— А ты готов к школе?

Мама кивнула на висевшую над моей койкой подаренную мне отцом в третьем классе командирскую сумку, раздутую, как футбольный мяч:

— У него всегда все там.

— Все свое ношу с собой! — засмеялась врачиха певуче. Она, разговаривая, пела вкрадчиво, умоляюще, «мяукала», по выражению мамы. Я имел право уйти после официальной части визита, с первой рюмкой взрослых. Но я продолжал сидеть. Она была очень красива, прямо цветок в отсвете своего лепесткового платья, веявшего духами. Муж ее пристально посмотрел на мою сумку, на свои покупки и вздохнул:

— Да, мальчишки — особенный народ. — Помолчал и добавил: — Вот у меня сейчас лежит в морге...

— Вася, не за столом! — умоляюще пропела врачиха.

Он нахмурился и спросил поучающе и веско:

— А тризны? — И мягче: — Вам развести? Ну и правильно. Да будет земля пухом...

— Рассказывайте, Василий Георгиевич, — попросила мама, но встревоженно посмотрела на меня. Я сидел невозмутимо.

— Да ведь что произошло! — закусывая, говорил врач. — Беспризорный мальчишка. Железнодорожный бродяга. Ехал сталинградским поездом на крыше вагона. Стоял. Тут у Борисоглебска мост. Ну, и... Фермой ему снесло полчерепа с правой стороны. Вы спросите, почему именно справа? Видимо, фермы наверху наклонные. Если же строго горизонтальные, следовательно, не успев присесть, он рефлективно склонил голову к левому плечу. Как-нибудь съезжу, проверю.

— Зачем же теперь, Васенька, проверять, какие фермы? — удивилась его жена. — Не все ли равно? Ведь мальчика нет!

Он не ответил на ее пение и даже не посмотрел на нее.

— Туда или обратно? — с замиранием спросил я.

— Что значит: туда или обратно? — с готовностью переспросил он.

— К Сталинграду или оттуда?

— Смотрите, как он побелел! — воскликнула мама. — Успокойся!

— Вася, ведь я говорила, — умоляюще напомнила врачиха, но он внимательно смотрел на меня:

— Оттуда. Его подобрали на нашей станции. И что самое интересное! — сказал он, обращаясь уже ко всем и потирая полные формалинные руки. — Он умудрился после этого прожить почти шесть часов!

Умудрился! Слово ударило меня, ну, не скажу, что железной балкой, но все вдруг расплылось и заколебалось, будто я нырнул в воду. Возможно, врач был неплохой человек и просто выразил любопытство профессионала, однако тогда я не мог знать этого. В горле кололо, и я спросил сдавленно:

— А кто он?

— Так ведь бродяжка, — улыбнулся врач. — Без документов. Неопознанная личность.

— А какой он из себя?

— Да белобрысый, как все.

Я ощупью вышел из дома, слыша за собой мамин шепот:

— Он очень впечатлительный...

В заросшем тупиковом переулке, куда смотрел наш дом с высокими воротами, две рассупоненные лошади старательно ощипывали лужайку еще сочного спорыша, медленно двигая тарантас, а напротив, на лавочке в холодке кучер дядя Федя и наш сосед Некрылов, оба одинаково замшелые от серой щетины, тоже закусывали и потихоньку выпивали. «Ты скажи, какой живучий оказался!» — восхищенно говорил Некрылов.

— Здоров! — приветливо сказал мне дядя Федя и подвинулся. Он был в больнице и конюх, и сторож, и нянька, сделал мне маленькую косу, мы считались приятелями и при встречах беседовали.

— Кто живучий? — спросил я, страшась и жаждая рассказа о мальчишке.

— Да хорек, — ответил Некрылов. — Постой, да уж не при тебе ль я его решал?

— При мне, — хмуро подтвердил я.

Некрылов любил убивать. Он всегда ходил по двору или огороду с каким-нибудь шкворнем, проволочным капканом или дробовиком, высматривая, кого бы убить, и потом рассказывал: поранил по мерзлоте уже белого зайца в кустах, поймал в вентеря и размозжил о ствол десяток скворцов, шандарахнул камнем сыча на крыше, пришил ужа — «повадился, прохвост, корову сосать». Правда, и они все наносили Некрылову вред как никому: объедали кору молодых яблонь, портили спелые вишни, выклевывали подсолнухи, даже жаба, жаловался он, подточила стебель георгина. Хорь повадился в сарай перегрызать курам горло и выпивать кровь. Некрылов поймал его, проткнул вилами и долго бил обухом. Рыжий зверек распластался. Но только Некрылов отвлекся, хорь вскочил и, змеино виляя, бросился со двора к огороду. Тот, догнав его, снова пригвоздил и бил по головке. На усах зверька сияла алая кровь, желтые глаза мерцали, извиваясь, он хрипел и грыз белоснежными зубками выскользенные до блеска вилы, наконец затих. Некрылов сказал «фу», поерзал шапкой по лысине, вытирая пот, и стал собирать инструмент. «Ты скажи...» — оценил и он героизм животного и принялся плачущим голосом жаловаться, что в огороде завелись кроты: «Тут хрен по всей земле корни распустил, а тут еще кроты». Пока он рассказывал, продырявленная шкурка за его спиной шевельнулась; я видел, но изобразил на лице такое сочувствие несчастьям Некрылова, что он заодно пожаловался на пастуха, который гоняет коров по полыни — и молоко горькое. Тем временем хорек подползал к забору. Некрылов глянул в меня, как в зеркало, живо обернулся, но было поздно — зверь исчез в лопухах. Я засмеялся. «Тьфу, будьте вы неладны! — облаял он всех и меня. — Грохочет!» Не помню, где он работал, но ходил в зелено-жухлом кителе, я так и думал: военный человек обязан убивать. Когда я подтвердил случай с хорем, Некрылов обрадованно воскликнул:

— Вот! — и указал кружкой на меня, как на свидетеля для дяди Феди. Но тот верил и так.

— Все бывает, — вздохнул он. — Это хорошо.

— Что хорошо? — подозрительно спросил Некрылов, думая, видно, о недобитом звере.

— Хорошо... Живучесть эта, — задумчиво сказал дядя Федя.

— Да-а, — жалобно протянул Некрылов. — Вам хорошо. А у меня летучие мыши на чердаке воск сожрали. — И выпил из кружки.

— Дядь Федь, — я дотронулся до горячего сермяжного его пиджака с дымным запахом дегтя и сена, — ну, как у вас жизнь в больнице?

— Какая в больнице жизнь! — поедая помидор, пробубнил Некрылов. — Небось, от микробов спасу нет.

— Самое чистое место, — возразил дядя Федя. — Аккуратная жизнь.

— А в морге кто лежит? — выпытывал я.

— Так. Пацан один.

— Убили? — раскрыл рот Некрылов.

— Сам убился. На поезде.

— Доездился, — кивнул Некрылов, — доворовался.

— Дядь Федь, — не отставал я, — вы его знаете?

— Не знаю, — неохотно ответил дядя Федя. Только что глаза его, как всегда, посмеивались мне, теперь по очереди разглядывали то пузырек с водкой, то лошадей, то краснеющую над нами рябину. Он вертел худой шеей, незагорелые морщины растянулись и жалко светлели.

— Давай лучше выпьем, — сказал он Некрылову отчужденно от меня.

Обиженный, я перелез через прясла и побрел в свое убежище на огород. Там, за стеной кукурузы, за полоской ржавой, уже разваливающейся картофельной ботвы, за капустными грядками, за колодезным срубом, состарившимся до гнилушечной мягкости, стояла в глуши синего терновника сделанная мной скамейка. На ней в редкий час досуга любил посидеть сам отец, отдыхала с лейкой или тяпкой мама, а постоянно это было мое место для чтения и прочих дел. И теперь я, утешаясь нагретым духом домашне-

го укропа, сел думать, если угодно, почтить молчанием погибшего мальчишку.

Ветерок смерти дунул сбоку моей жизни, и стало тоскливо и жутко, как от вздохов и завываний духового оркестра, с которым проносили на кладбище таинственных и враждебных покойников. Но сегодня ко мне привязалось ужасное подозрение, что умер мой товарищ Витек Зубарев. Собственно, дружили мы от времени до времени. Витек был бродяга, внезапно исчезал, неожиданно появлялся, и приходилось знаться как бы заново, зато каждый раз он затмевал моих постоянных, по малолетству глупых приятелей, он был на год старше меня, ему исполнилось четырнадцать.

Витек был дальним родственником наших соседей с другой стороны, Москалевых. В низком многокомнатном доме с пристройками, присевшем как зверь на лапы среди густого темного сада, жила вдова Надежда с тремя сыновьями пяти, семи и восьми лет; сам Москалев, тяжело раненный под Москвой и уже не вернувшийся на фронт, служил в райфо каким-то счетоводом, худой и желтый, он так и умер от раны. Витек же числился двоюродным внучатым племянником их бабушки Ольги Борисовны. Ей, наверно, было лет сто, говорили, что она преподавала еще в гимназии. Она уже превратилась в дерево, всегда, в любую погоду, даже зимой, сидела целый день на табуретке у стены сарая, в черном плюшевом пальто, нога на ногу в глубоких калошах, молча поглядывала разжиженными глазами и курила запавшим ртом папиросу. Родственника она признавала; Надежда, должно быть, зависевшая от ее пенсии, тоже не выгоняла его, но и не привечала. Работая на колхозной ферме дояркой и по дому с темна до темна, костлявая, краснорукая, горластая, она так бранилась на всеобщую прожорливость, что сбежишь сам. И Витек сбегал надолго, и все-таки возвращался, как птица в гнездо, хотя нельзя сказать, что он был привязан к этому семейству. Но не может же птица все время находиться в воздухе.

Надежда была несправедлива к Витьку, он-то, несмотря на бродяжий дух и некоторую разболтанность в поведении, заметно помогал ей по хозяйству, в саду и огороде, и корову на заре выгонял в стадо, и ел совестливо, однако в одном горлопаниха была права: таких прожорливых людей, как ее дети, обобщенно называемые лестницей, я не встречал больше. Только занимался день, все трое панически выскакивали из-под овчины с воплем: «Мам, чо исть?» Похлебав молока с картошкой, лестница вздыхала, любовалась сквозь стекла висящего под иконой закоптелого буфетика на круглый хлеб к обеду под замком и шла промышлять. В зависимости от сезона и везения это происходило так: в комнате Ольги Борисовны они догрызали ее сухарики, затем, пошныряв между погребцем и котухом, тоже запертыми от них, оказывались вроде бы по пути на нашем дворе, и мама совала им какой-нибудь кусок (к их чести москалята никогда не дрались, еду братски делили или откусывали по очереди), после этого шли к Некрылову будто бы слушать его разглагольствования, они молча стояли по ранжиру, лестничкой, выпятив три голых пуза над линялыми штанами, а Некрылов, обиженно ругая ворону, склевавшую утенка, кидал ее перед ними в убитом виде или давал им горсть пшена. На задах огородов они разводили костер, подвешивали солдатский котелок, варили добычу и пировали. На реку, далеко за селом, под самым лесом, Надежда, грозя тяжелой красной рукой, заказала им ходить, как и в сам лес, они пока не ослушивались, зато из озерка на тех же задах огородов, где Некрылов осенью подстрелил зайца, москалята выели всех рыбешек, головастиков и беззубок. Про растительную пищу нечего и говорить: на корточках они грызли яблочную завязь, вишневый клей, паслен, травяные калачики, сурепку, опенки, луковички подснежников ранней весной и прочее. Наконец, завидев мать, бежали, крича: «Мам, чо исть?» — за столом лестница выравнивалась в белобрысое трехглавие с жадными ртами. Поймешь Надежду. И Витек на краю лавки тянулся деревянной ложкой к общей миске как-то зигзагами. Да, у птицы было ненадежное, чужое гнездо.

Два с половиной года назад он возник невесть откуда, как небесное явление, я имею в виду его голубую шелковую рубаху, подпоясанную узким ремнем. Стоял весенний день, пасха, небеса горячо синели и отражались в этой самой рубахе, пахнущей сундуком Ольги Борисовны. Не обращая внимания на ребячью толпу, в которой я играл на выгоне перед школой в «круговой мяч», Витек по-соседски, по-взрослому похристосовался со мной, и от него потянуло хмельным, верно, отплеснул за праздничным обедом еще живой тогда Москалев. Весь он как-то колебался и был опасен, круглоголов с отрастающим желтым ежиком и мордат, но тоже синие глаза его благодушно узились.

— Знаю тебя,— сказал он.— А я Витек Зубарев, по кличке Щур.

— Это потому что щуришься?

Он засмеялся.

— Нет, так меня прозвали в Одессе, и пошло по кичманам. Щур — по-украински стриж. Ну, птица.

Я удивился неточности прозвища: какой же он стриж? Скорее тетерев. И спросил:

— Ты был в Одессе?

— Я везде бывал.

— А что такое кичман?

— Гм, место такое. Хреновина у вас, а не игра,— сплюнул он.— Надо играть в футбол.

— Как это, как?— встревожилась обступившая нас ребятня. Он тут же обучил всех, и мы под голубым флагом его рубахи, накинутой на тополек, играли до темноты. Прозвище оказалось точным: Витек мелькал, как стриж, а когда стал на ворота, бросался, раскинув руки, на мяч и летал над землей в сумерках, был и силуэтом похож на двухвостую ласточку.

Вскоре жизнь района пошла по новому пути: футбол овладел юным населением от самого малого москаленка до жениха призывного возраста. На лужайках втыкались ворота, вырванной травой обозначались штрафные площадки, язык и слух услаждались волшебными словами «корнер», «офсайд», «пенальти», впрочем, «пендель». Драки прекратились, теперь футбол решал личные и местнические распри, сражались улица на улицу, тот конец деревни на этот, заречье на сахзавод и так далее. Стали читать газеты, выискивая в них футбольные заметки: первенство страны, игры на кубок, эх, увидеть бы этот кубок! Каждый болел за свою любимую — там — команду, взвизгивая, мы прыгали под громкоговорителем, орущим с магазина, куда безразлично к нашим заботам стояла темная очередь за дорогим коммерческим хлебом. Но какой приятный, мягкий, круглый голос Синявского! И мяч на стадионе «Динамо», говорят,— трудно поверить — белый! Мы играли комком каучука, детским мячиком, или сшитым из тряпки, набитым травой. Домой возвращались ковыляя, поддерживая друг друга. О, первоцвет мужества! И посеял его ты, Витек Зубарев.

А шло засушливое лето 1946 года. С того пасхального дня небо как запылало синим пламенем, так и горело до пустой, осыпавшейся пеплом осени. Почерневший, покашливавший кровью отец приходил с работы домой в три часа ночи и все ездил по району; мама, участковый агроном МТС, тоже пыталась сохранить ростки сахарной свеклы хотя бы в пойме реки, наш огород остался на моем попечении. Теперь, два года спустя, я сидел здесь, в щедрой благодати облачного, урожайного лета, и то время вспоминалось как страшный сон.

Сильное увлечение футболом я тогда делил поровну со спасением огорода. Как только солнце, весь день исступленное до фиолетовости, начинало алеть и оплавляться к закату, я принимался за полив. Слева и справа от меня на своих огородах действовали Некрылов и Витек с помогавшими ему только что осиротевшими москалятами — осатаневшая от горя Надежда пропадала на ферме, хозяйство забросила и временно пила со вдовами самогон. Озерко в побуревшей куге высохло, дно его царапало глаз ядовито-зеленой коркой, рассеченной трещинами; оставались колодцы, которые за сутки едва наполнялись водой. Две недели нас мучила налетевшая из лесу мошкара, вилась черными туманами — не продохнуть. Некрылов то и дело хлопал себя по вспотевшей лысине, потом надел шапку, чуть не плача: «Зачем насылает господь столько тварей?» Мошкара кусалась даже сквозь волосы, облепляла и жгла облитые водой босые ноги, приходилось одной рукой таскать ведро, другой вертеть на проволоке кадило — консервную банку с тлеющим кизяком. Каждая лунка сглатывала воду с шипением, как зола. Зато растения, молодцы, держались, и на картофельных кустиках уже синели цветочки, словно измазанные чернилами.

В недолгой свежести вздыхающей земли поздним вечером мы сади-

лись с Витьком на мою скамейку и, помахивая кадилами с горьким дымом, не могли наговориться. Сперва москалята задавали свой вопрос: «Витек, чо исть?» Я приносил лепешек из отрубей; помазав постным маслом и посолив, мы ели их с зеленым подручным луком, москалята выстраивались лесенкой, тихо сопели над пищей и так до самого сна внимательно стояли; Некрылов, отужинав, проходил с дрыном в засаду против очередного врага, а мы с Витьком рассказывали друг другу всякие вещи.

— Ты что, пьешь вино? — однажды спросил я его.

— Могу, — ответил он. — Как-то в Сухуми я им от голода спасся. Восемь дней не ел, чуть не сдох. Зима, сам в лохмотьях, все гоняют, не подают. А тут каменная дорога все вверх и вверх. Пошел по ней, там кладбище. На могилах здоровенные бутылки с вином. Попробовал — повеселел. Отосплюсь в кустах, опять за вино, пока не опротивело. Так и спустился живой. И дальше...

— Куда?

— Куда? Эх, куда... Не помню в тот раз. То ли на пароходе в Крым, то ли на поезде в Баку. Да, кажется, так. Потом по Каспию в Красноводск.

— В Баку добывают нефть?

— Она там из земли сочится, как лужи. Но больше ветер. Вот во Фрунзе хорошо — грецкие орехи.

Москалята дружно сглатывали. Тени от них лежали перед нами лесенкой. Луна пылала на раскаленном и ночью небе. Почему-то мне запомнились наши беседы с Витьком именно при луне.

В тот год она была зловещей, как и солнце. Небо по краям заволакивала сиреневая пыль. Зачастили суховеи. Трава превратилась в рыжую коровью шерсть. Земля ветвисто растрескалась. В лесу деревья стояли позимнему голые, даже дубовые листья скукожились. Мы с Витьком не нашли там ни гриба, ни ягоды, только червячки падали с сучьев. Рыба в обмелевшей реке не ловилась. Как ни поливали мы огороды, помидоры выросли кислые и желтые, капуста не завязалась, картошка оказалась с горошину. Крестные ходы — темные, жужжащие колонны старух — безответно вымаливали у неба дождь. Люди стали умирать с голоду, особенно у колодцев, силясь вытащить ведро воды. Черными впадинами заглядывала в души осень. Отец написал письмо Сталину. Говорили, по области ездит комиссия во главе с Андреевым, обещает сколько-то эшелонов комбикорма.

Нашей семье, секретаря райкома, голодная смерть не грозила, все-таки отец получал скудный партактивский паек, но жили мы впроголодь: отец променял у летного командного состава в городе дорогое ружье на продукты, мама жарила картофельные лепешки на рыбьем жире.

Мама ради отца, больного туберкулезом легких, совершила преступление. Она тайно заманила некрыловскую огромную собаку Найду, зарезала ее и всю зиму незаметно подкармливала отца. На следующее лето я нашел шкуру Найды на чердаке. «Мальчик не должен быть таким впечатлительным, — вспыхнула мама и вдруг как взрослого стала умолять меня с горестной страстью: — Молчи! Молчи!» И заплакала так, что я забыл о Найде навсегда. А в ту осень, не зная, сочувствовал Некрылову. Он со слезами проклинал волков. Ходили слухи, будто кто-то видел, как по мосту два волка вели собаку за уши, подгоняя хвостами. Волки и вправду шныряли по селу.

Москалята все жалобнее канючили: «Мам, чо исть?» Надежда одумалась, добывала им пищу тоже как волчица, где могла, и кричала во дворе, что лишний рот ей не прокормить. Витек сильно похудел, и, хоть оставался круглолиц, щеки его у губ казались измазанными засохшей картошкой — то были грозные голодные струпья. «С голоду пухну, — сообщил он. — Поедем в город за жмыхом». Я взял мешок, но мама не пустила меня. Витек поехал с таким же полубеспризорным Славкой, черным вертлявым говоруном, он жил у бестолковой тетки в овраге за кладбищем. Не знаю, как оно там было, но ребята, перемигиваясь, привезли на товарняке по мешку черного, железно блестевшего и такой же крепости жмыха. Витек сказал: «Теперь — ни хрена, лестница выстоит», — обнял меня и подался на юг.

Обычный осенне-зимний промысел в нашей местности — воровство

сахарной свеклы со «студебеккеров» на подъемах; в кузова стали сажать мужиков и баб, пламенеющих из казенных плащей от ветра и беглых замечаний на свой счет, выкрикиваемых преследователями; охрана, как правило, не выдерживала и швырялась корнями, иногда метко, и счастливые добытчики появлялись в школе с «фонарями», отвечая учителям все одинаково: «Упал». Однако в тот год сахзавод проработал только до октябрьских, да и то неизвестно, на каком сырье, и Славка подбил других ребят среди зимы еще в одну экспедицию за жмыхом. И опять она удалась; теперь думаю: должно быть, взрослые на маслозаводе сквозь пальцы смотрели на происки ребят. На станции они, подавая друг другу мешки, вскакивали на тормозную площадку тронувшегося поезда. Славка, как командир, подтягивался последним. Поезд уже шел вовсю, а Славка никак не мог поднять валенок на высокую ступеньку, висел на руках, волочась по обледенелому щебню, затем сорвался и попал рукой под колесо. Весной, с пустым рукавом за поясом, он рассказывал мне, живо блестя карими глазами: «Рука отлетела, кровь хлещет, а я вскочил и бегу, думал еще догнать. Хорошо, не догнал, а то по дороге б кровью истек. Не быть мне вратарем. Да ничего, левая». Весенний ветер дурманил, голубое марево звало вдаль, я пошел за десять километров на станцию понюхать паровозный дымок, посмотреть на проходящие поезда. На подножку притормозившего московского скорого вскочила фигурка в ватнике с пустым рукавом. «Слав, ты куда?» Он махнул культяпкой в развевающемся рукаве: туда!

Витек еще появлялся трижды — то веселый, то задумчивый. Один раз принес москалятам торбу кураги, в другой — связку копченой рыбы. Жизнь понемногу выравнивалась. Футбол торжествовал. На его родине в Англии наши победили хозяев со счетом 19 : 9, мальчишек эта победа воодушевляла, как и недавняя Победа, взрастало чувство: мы всегда должны побеждать! Витьку́ поклонялись, я даже услышал среди старшей молодежи необычные для нашего сельского уровня слова: «Великий Щур». Я его по кличке никогда не называл, и странное дело, ему это нравилось. Вообще он относился ко мне, я бы сказал, бережно и подставлял лучшие свои стороны. Считалось, он мастер драться — я не видел. Я до сих пор благодарен ему за то, что он, признанный вратарь и капитан нашей команды, разглядел в моих неумелых действиях на футбольном поле скорость, раструбил об этом, устроил соревнования по бегу, и мне досталась моя доля столь необходимой тогда славы: самый быстрый.

Витек, несомненно, был выдающимся явлением в мальчишеской жизни. Однажды зимой в селе возникла острая необходимость съехать на лыжах со смертельно крутой горы, изогнутой затем и обрезанной захватывающим дух трамплином. Даже десятиклассники с сомнением качали головами: «Если не Щур, то никто!» Он съехал, правда, приземляясь, сломал лыжу в туче снежной пыли, но съехал и проложил дорогу другим.

При нашем последнем лунном уединении на моей скамейке, уже нынешней весной, Витек поразил меня. Как раз цвели сады, голубые в золотом воздухе, благоуханные, сбивающие с толку. Я по обыкновению пересказывал ему фантастический роман, он их очень любил и уже знал с моих слов и даже более подробно, чем у авторов, всего Жюля Верна, Беляева, Казанцева. В тот вечер мы переживали приключения «Первых людей на Луне» Уэллса. Соловей ввязывался из белых терновых шатров, туго натягивал струну, затем звонко отбивал. Витек был взволнован, круглое лицо его побледнело, может, от лунного света.

— Пожалуй, я еще захвачу, — сказал он.

— Что захватишь?

Витек глянул на луну, прозрачную, лепестково-свежую.

— Слетать туда, — серьезно пояснил он. — Если только...

Я вопросительно молчал.

— Если только не кончу в тюрьме, — ответил он. — Пора завязывать.

И вдруг, радостно сияя, поднес мне на лунный луч письмо из «Пионерской правды» ему, В. Зубареву: дорогой Витя, не огорчайся, что не можем напечатать твои стихи, они пока несовершенны, но способности у тебя есть, надо учиться и так далее.

— Надо учиться, — вздохнул он.

Я смотрел на него с уважением.

— О чем стихи?

— О любви, — застенчиво сказал Витек. Он всегда разговаривал тихо, пугающе-доверительно, сузив синие глаза.

Я со жгучим любопытством спросил:

— А ты испытывал уже?

Он босой ногой подправлял лунную тень на дорожке. Я не отставал:

— Вообще у тебя уже была, ну, женщина?

— А, ты вот о чем! — встряхнулся Витек. — Да подсунули маруху в одной малине.

— Зачем же тебе нужна была замарашка?

— Почему замарашка? — обиженно переспросил Витек.

— И в малине, — продолжал я. — Наверное, колко было?

Тут Витек расхохотался и восхищенно воскликнул:

— Ах ты дитя! — Потом снова стал серьезным и повторил: — Надо учиться. Есть у меня один родственник на юге. Он меня подготовит в седьмой класс. Вернусь к сентябрю — и вольюсь. К вам.

На том мы и расстались.

Но вот завтра сентябрь, а его нет. Из огородной рассольной свежести я пошел по предзакатному солнцепеку к Москалевым. Надежда снаряжала в школу второго москаленка, впихивая в холщовую сумку учебники и тетради; старший, уже бывалый, обучал, что делать на уроке и на перемене.

— А чо исть? — недоверчиво спрашивал новобранец.

— Потерпишь, не весь день! — смеялась Надежда. — Груши вон улежались. Да не в эту сумку, в другую, книги ведь. Ну что ревешь, горе ты мое, — приласкала она красной клешней маленького. — Бегай себе, успеешь еще!

Картина была понятная. Про Витька Надежда сказала:

— Раз сейчас нет, черт будет носить до белых мух.

От ее бодрости стало легче, но ненадолго. Я вышел к Ольге Борисовне, сидящей на солнце у сарая в своем обмундировании, нога на ногу и с папиросой.

— Когда приедет Витек? Витек! — заорал я ей над ухом.

Она посмотрела бледными глазами и спокойно ответила скорбным ртом:

— Теперь уже никогда. — И забормотала невнятно, из чего я разобрал только одно: «Птицы небеские, ах, птицы небеские». Я отбежал подавленный. Особенно не понравилось мне странное слово «небеские» — «к» вместо «н». Суффикс? Да, суффикс. Будь он проклят, этот суффикс!

Мама убрала после гостей и читала книгу, освещенная уже розовым солнцем, веселая. Она сказала, что звонил из Воронежа отец, поздравляет меня с новым учебным годом, купил мне в подарок «Тома Сойера».

— Не вижу энтузиазма, — смеясь, попеняла мне за молчание мама.

— Голова болит.

— Перегрелся. Поешь.

— Нет, я завалюсь спать.

— Не время на закате. Включи лучше радио.

— Нет, я пойду спать.

Среди ночи я внезапно проснулся от стука сердца, потный, воспаленный. Но голова была ясная. «Дурак, — сказал я себе. — Чем мучиться, пойти и проверить». Я даже засмеялся под нос. В темноте тихонько оделся, закрыл маму на замок и трусцой побежал на станцию. Ночь была пустынная и теплая, в хатах ни огонька, но звезды на небе горели так, что укатанная грунтовая дорога блестела. Я бежал и сильно стучал ногами, отгоняя боязнь. Собаки заинтересовались и дальше подбадривали меня брехом, передавали, так сказать, с рук на руки. Когда я ощущал привкус крови в дыхании, переходил на шаг. И снова бежал. Через два часа замерцали станционные огни, за ними зарево бодрствующего сахзавода.

В больнице утомленно желтел дежурный свет. Но я направился в темноту, где под чернеющими на звездном небе и шелестящими вязами притаилась сторожка дяди Феди. Я стукнул в окно. Он сразу закашлял там, вгляделся и вышел в накинутом пиджаке.

— Вот и покурю на воле, — невозмутимо проговорил дядя Федя, озарил себя спичкой и как ни в чем не бывало спросил: — А ты что припозднился?

— Дядь Федь, — отдыхиваясь, сказал я. — Сведите меня в тот подвал. Я хочу посмотреть мальчишку.

— Тю! — по-дневному воскликнул старик. — Да его вечор похоронили. Хошь, запрягу, свезу домой?

— Спасибо, — чужим голосом сказал я. — Я дойду.

И я пошел, не торопясь, с неразгаданной на всю жизнь тайной. Витек Зубарев больше не появлялся, хотя, возможно, и жил где-то. А может, и лежит под безымянным глиняным бугорком, на краю пристанционного поселка, в полыни.

В университете, куда я со временем поступил, однажды на семинаре по старославянскому языку, вслух читая текст, я неожиданно запнулся и незаметно для всех заплакал. Я стал откашливаться, хлопать книгой, нести какую-то ахинею, хихикать, едва не петь, к неудовольствию преподавательницы. Передо мной дрожали сквозь слезы два слова — птицы небеские. Как же ты не уберегся, друг мой Витек, почему оплошал, ты, великий Щур? «Да ведь он вырос! — догадался кто-то во мне. — Вырос за лето и не знал об этом. Туда ехал одного роста, а оттуда — на голову выше! А тут мост...»

Поезд продолжал идти по мосту в железном гудении, как в медленной музыке, мерным понижением тона отсчитывая фермы, будто маршевые такты, не странно ли — эти пролеты и называются маршами...

— Садись, — холодно сказала преподавательница.

И все-таки. И все-таки когда взлетает космический корабль, выходит книга новых стихов или прогремит по стране какое-нибудь иное славное дело, я жадно вчитываюсь в имена. Но с каждым годом надежда слабеет. А неплохо звучит: Виктор Зубарев.

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

Древоточец

В мастерской по ремонту металлоизделий работали трое. Шура, он же Шуруп, Серега и дядя Вова. Работали весело, артельно. Старшим числился дядя Вова — он заполнял табель, проставлял рабочие дни и отвозил его куда надо, на завод; отчитывался за сырье и вообще занимался самым хитрым делом — ключами. Шура-Шуруп, тот больше на лыжных креплениях сидел, на зонтиках, не брезговал и коньки поточить, особенно ежели фигурные. А Серега пока на подхвате торчал — заправлял зажигалки.

Стояла их палатка на колхозном рынке, рядышком с пропахшим дешевым одеколоном галантерейным киоском, и неслось из нее шмелиное жужжание токарного станка да нехитрая песенка, которую любил напевать Шура-Шуруп «...сне-е-гопа-аа-д, снее-его-па-аад... если женщина про-оосит...»

Женщины в основном и просили. И звякали в блюдце монеты, почти прейскурантные, «справедливые», как любил говорить дядя Вова, «может быть, даже чуть заниженного достоинства». Он снайперски определял стоимость работы, сосредоточившись секунды на три, не больше.

— Ключик с бороздкой? М-мм... девяносто восемь копеек.

Если б дядя Вова жил в царское время, то не преминул бы добавить: «...и еще полкопейки».

Такая у него была точность в оценке своего труда. Шура-Шуруп в отличие от него зарывался сверх меры, греб полными горстями, обожал круглые цифры.

— Рубль пятьдесят — и точка... Два рубля ровно...

— Дуреиь, — твердил ему дядя Вова. — Ты хоть три копейки отними, все заковыристей... Люди ведь вокруг, не иностранцы. Не поймут юмора.

— А мне мелочиться некогда!—огрызался Шуруп.—У меня колеса...

Дядя Вова принял крутые меры. Клиентам стал определять цену сам, единолично. Хоть он и был мужичонкой чуть повыше пенька, но с характером, не объедешь даже на Шуркиных «Жигулях».

А красавец «Жигуль» серебристо-матового цвета стоял у входа на рынок, рядом с директорским «мерседесом», машиной миллионеров. Шура-Шуруп иногда высовывался из окошка и поглядывал: на месте? На месте. Раз углядел—сам директор рынка «мерседес» свой ощупывает. Выскочил: дай, думаю, подсоблю, познакомлюсь поближе. Куда там... Директор, тучный от дармового мяса, только глаз тусклый скосил, как на надоедливую собачонку: отстань, пну! Собачонка поторопилась в свою конуру.

— Видал?—зацокал языком Шуруп.—Птеродактилы! Летает там, где нас с дядей Вовой на пороге дробью встретят, понял?

— Много ты понимаешь,—угрюмо отозвался дядя Вова.—Я, может быть, такую же дуру купить могу, да не буду. Дольше летать стану.

Вырвалось—и язык прикусил, аж зубы скрипнули. Шура толкнул в бок Серегу: мотай на ус, вот тебе и дядя Вова...

Когда пошли обедать в пельменную, притулившуюся рядом с рынком (дядя Вова кусал свой бутерброд с ливерной колбасой прямо в мастерской, расстелив газетку на токарном станке), Шуруп пояснил:

— Он ведь, Вовчик наш, прикидывается этаким убогим, сиротой казанской. В одном пиджачишке ходит, и тот, небось, под подушку прячет, чтоб не стащили. Гримируется под погорельца, хрен старый...

— Будто?—усомнился Серега, уминая вторую порцию.

— Я те говорю.—Шуруп расправил мощные плечи, весело подмигнул. Сам он облачался по последним веяниям моды: если уж кожа, так натуральная; вельвет, так с мелким рубчиком; сапоги, так легче носового платка, и на всем—лейбл.—Он же копит, в кубышки складывает... В землю зарывает...

Сергей отодвинул тарелку, потянул тепловатый компот, откинувшись к спинке стула. Усмехнулся, глядя в круглые, всегда радостно-беззаботные глаза Шурупа. Ишь какой стал — не поверишь, а в школе тихоней был, взгляд затравленный, словно только и ждет окрика: «К доске, Воронов!» А Воронов теперь вон на своих «Жигулях» раскатывает мимо учителок и радуется: где ты, физика-химия, ау? где математика: два с полтиной да три целковых — сколько будет? Это мы знаем, проходили...

Сергей еще раз усмехнулся. Не враждебно, равнодушно. Чего на Шурупа злиться? Может, ему еще придется спасибо говорить... Подумать только, всего три месяца назад он, Сергей, еще маршировал под знойным солнцем Киргизии: ать-два, аты-баты! «Не плачь, девчо-ооо-онка»... А теперь все позади. Сам себе хозяин, сам голова. Хочешь — компот пей, хочешь—квас с перцем... Демобилизнулся, повалялся недельки две в кровати, все отлежал. Свобода, язви ее в бок. Это ж надо, только что над тобой было сорок тысяч командиров, а теперь ты один остался. Один в поле воин... Родители ходят на цыпочках: «Лежи, сынок, отдыхай»... Надоело. Тут-то и подвернулся Шурка Воронов, румяный, довольный, в «штатовских» джинсах, забуревший на гражданских харчах, аж лоснящийся от благости жизни. Пришел и говорит:

— Ну и что надумал? В институт подашься или делом займешься?

— Каким делом?—отвечает Серега.—Коньки, что ли, у тебя точить?

— А хоть бы и коньки,—говорит Воронов.—Ты на моих коньках подале любого инженера укатишь. И голова будет светлая, как день майский...

— Нет,—отозвался Серега, прикидывая что-то в уме.—Я в институт восточных языков подамся. Тяга есть.

Шуруп даже с дивана упал, когда услышал. Отдышался и объясняет:

— Ми-лай, да ты эти восточные языки на практике изучишь. Хошь в Грузии, хошь в Армении. Монет хватит. Решайся, дурья голова...

«А чего?—подумал Сергей.—Надо же пока где-нибудь поработать, а там видно будет... Может, на Север подамся. Охладиться после Киргизии».

И решился. Стал заправлять зажигалки. Работа не пыльная, есть время и книжку почитать, и на народ поглазеть, и с приятелями поболтать. А то, что жучат Шуруп с дядей Вовой,— так это их дело, его не касается. У него такса—двадцать копеек за порцию, ни больше, ни меньше, все законно. Хоть к прокурору вызывай... А жизнь на рынке интересная, бойкая. Пройдешь по рядам—все, что на свете делается, узнаешь. Домохозяйки толкутся, бабули с фикусами, личности всякие с мордами нарушителей границы, черт-те кто... Девушки тоже. Хорошие и разные. Есть выбор, короче.

— ...Короче,—окликнул его Шуруп.—Допивай компот, размечтался... Так что наш дядя Вовчик, если захочет, этакий маленький свечной заводик открыть запросто сможет, средств хватит. Только ведь он, жучила навозный, дите коллективизации, аж трясется от страха. Потому свою паршивую ливерную колбасу и трескает. Старорежимник. Зачем же деньги, если не тратить?

— Так посадят,—лениво сказал Сергей, ковыряя ложкой в стакане.

— Кого?—не понял Шуруп.

— Ну, его,—отозвался Сергей.—И тебя. Откуда у тебя-то машина?

Шура облизнулся.

— Сэкономил,—сказал он.—А между прочим, всех не пересажаешь, тюрьма лопнет,—он поглядел обиженно, и впервые радости в его глазах несколько поубавилось.—Завидно, да? Тоже коньки хочешь точить?.. Ничего, потерпи, придет и твой час. Ты ж только полтора месяца пашешь... Дай Вовчика спровадить, пора ему клубничку выращивать...

— Катись ты,—равнодушно сказал Сергей.—Я в Сибирь собрался.

— Во!—залился в смехе Шуруп.—Че-то рано потянуло, с зажигалок-то...

— Как жеребец,—усмехнулся Сергей.—Ладно, там, в Сибири, и встретимся.

Он поднялся, чувствуя приятную, ленивую сытость, откинул со лба отросшие русые волосы. Приятно было сознавать, что ты здоров, крепок, симпатяга парень, что впереди у тебя целое лукошко подарков от судьбы...

— Погоди,— догнал его у выхода из пельменной Шурка.— Я тут одну штуковину удумал, розыгрыш... Протрясемся от смеха...

— Ну?—улыбнулся Сергей.—Валяй.

Воронов беззвучно затряс плечами.

— Значь, так,— заговорил он.— Дядя Вова позавчера приобрел стенку мебельную. На черта она ему сдалась— не знаю. Я как услышал, чуть пальцы себе не заточил вместо коньков. Ведь ежели его старая мебель сгнила, так он скорее бы на помойке пару стульев со столиком подобрал, чем покупать. А стенка редкая, «Тауэр». Может, спекульнуть хочет?.. Я вчера выпытал, в каком магазине купил, даже номер накладной видел, запомнил... Теперь слушай сюда...

Они сели на лавочку, закурили. Вскоре раздался взрыв хохота.

...Дядя Вова, Владимир Семенович Кисельков, был глуховат. Перевалило ему уже за шестьдесят, а тогда, лет тридцать назад, когда он ошивался на послевоенных базарах, толкая медные колечки под золотые, тогда он и заработал свою глухоту, получив страшный удар по уху от фронтовика-морячка, искавшего обручальное кольцо для невесты. Добавили ему еще и в отделении. Позже он стал называть свою беду «фронтовой контузией», ходил даже со справкой в военкомат за медалью—чем черт не шутит, хотя всю войну промаялся «болями в пояснице»: не зря окончил в свое время медучилище. Осев на любимом рынке, стал пилить ключики, поистине золотые. Капиталец составлял помаленьку, копейка к копейке, не транжиря попусту. И вскоре уже что-то желтое позвякивало в стеклянной банке, были там и камушки, переливающиеся цветами радуги. И что-то хрустящее было приклеено липкой лентой крест-накрест к задней стенке унитаза, как выросшее в мокроте и мраке грибковое образование. Литровая банка со временем разрослась до размеров трехлитровой и, возможно, удивляла своим присутствием компостных червей на дачке, а в городской квартире Киселькова, как зараза, стали отпочковываться хрустящие грибковые образования.

Ничего дядя Вова не покупал, донашивал старье, питался кое-как,

даже очки цеплял треснутые... Сначала соседей боялся: а ну как ненароком позавидуют, шепнут? Потом в привычку вошло: мало ли... И когда бояре появились отечественные, и тогда на бояр этих в меховых шубах смотрел и посмеивался: ничего, доберутся до вас, как пить дать...

Он и жену-то свою — буфетчицу из ресторана — потому выгнал, что она возжелала: себе—брульянтов, дочке—вклад до совершеннолетия тыщ на ...надцать, ему—ну, что ж, махровый халат, а всем вместе—особнячок за городом да по машине шикарной, невиданной.

— А лисапед не хошь?—крикнул дядя Вова, показывая кукиш. И отпочковался от них сам, получив вольную за десять тысяч—оторвал с кровью от сердца.

Так и получилось, что дочку Зоеньку он наблюдал в натуральном виде только до пяти лет; так, копошилось что-то около ног, попискивало, он и внимания-то не обращал, а как начал присматриваться да узнавать что-то родное, тут-то супруга-буфетчица и пожелала стать столбовою дворянкой, узрев у Владимира Семеновича золотую рыбку, тьфу, ключик. У разбитого корыта, конечно, не оказалась (все ж десять тысяч отхватила да квартиру в придачу), но условие поставила жесткое — дочь забыть, алименты по почте.

Отправившись на жительство в барак (впоследствии дядя Вова утянул-таки у государства однокомнатную хатку), не подозревал ключных дел мастер, что за пятнадцать лет увидит дочку лишь два раза, и то мельком. Один раз пришла к нему супружница скандалить и Зоеньку прихватила (ей десятый год пошел), требовать возмещения морального ущерба. «Раньше был материальный ущерб,— объяснила,— теперь моральный, гони еще десять тыщ».

— Шлепай, шалава,—посоветовал дядя Вова.—У тебя, чай, поболе моего...

— Ну, в долг дай,—отрезвела буфетчица.—Дачу строю, с водоемом.

В долг дал. Взял расписку, заверили у нотариуса. За хлопотами и не заметил, какая она стала—Зойка. Мордочка симпатичная, две косички.

Второй раз на рынке их встретил. Лет восемь прошло. Супружницу-то свою, разжиревшую, увешанную брошами, и то не признал, а девушку рядом с ней, с золотистыми кукольными волосами, и вовсе. Потом только дошло: «Ба! Кто это? Да никак старуха моя! А это-то кто? Зоенька, что ли? Пры-ын-цес-са»... Высунулся из окошка мастерской, вытянул шею—чуть не сломал—и все глядел на них, пока они дыни выбирали. Даже слеза чуть не капнула... Не капнула все ж.

Долго еще смотрел им вслед, пока Шуруп в бок не толкнул

— Ты чего, дядя Вов? По молоденьким ударяешь? Хошь, достану?

— Я те достану,—отвернулся дядя Вова.—Сверлом по губам...

— А хороша-а...— не унимался Шуруп.— Мальвина... Портрет в постельных тонах... Ты уж отсырел, а мне в самый раз... Может, догнать?

Осекся Шуруп, посмотрев на дядю Вову. Не понравился ему взгляд: тяжело глядел сквозь дряблые веки, мертво. Словно стоит на краю обрыва, знает, что упадет, а все по сторонам шарит, кого бы за руку схватить, чтоб вместе туда — вниз. Ну его к бесу, отошел Шуруп в сторону.

А дядя Вова с тех пор загрустил, затосковал, заныло в груди—сил нет. Еще сильнее отекло лицо, обрюзгло, неряшливо ползла седая щетина—чего бриться-то? «Ведь будь все иначе,—думал,—так и я б с ней, красавицей моей, по рынку гулял, с людьми бы свел, жениха подобрал... Эх, что говорить, вон какая стала!» Дочка—ладно, ломоть уж отрезанный, ну, а он-то, он, он сам? Что он-то сделал? Гнездо себе свил? Счастья сыскал? Что?..

И пошло, и поехало... Придет с работы—думает: зачем жил, для чего? Стоп, почему «жил»? Живу? Нет, жил, жил... Теперь уж все, только жил, ничего впереди не будет, не жди... Скопил кучу, а куда ее девать-то? Что купишь? Как Шурка, что ли, форс пускать? Так стар для этого. Сдать разве что... Примите, дескать, трудовые накопления о шести нолях да золотишко в килограммах от скромного советского труженика... В обмен на отдельную камеру... Что делать-то? Изломаться под колесами, а деньги Зойке? Вот буфетчица-то обрадуется... Ну, люди, ну, мерзавцы, дрянь, слякоть...

Ходил дядя Вова, как утопленник,—на весь свет в обиде, что не вытащили из воды, не вытянули баграми, подтолкнули в речку, бросили разбухать на берегу. Вот он и лежит, таращится мертвыми глазами, пошевеливает пальцами ног—для слабонервных: а ну как встану да уволоку?.. Невеселые наступили деньки для Владимира Семеновича Киселькова, мерзкие.

Но тут случилось событие—о нем речь впереди,—которое подогрело его душу, замаячил перед ним свет, огонек, совсем слабенький: может, туда идти, на него? Вот и цель появилась; цель ли? Однако ведь темно вокруг, а там какой-никакой, а свет... Живее сделалось дяде Вове, задышал хоть.

Побрел на этот огонек, заторопился. Как бы не опоздать, не споткнуться раньше срока, успеть. И пожить еще можно, и порадоваться...

Одно событие влечет другое. Купил дядя Вова стенку «Тауэр», достал с превеликими зигзагами, отстегнув директору мебельного магазина сто пятьдесят карбованцев. Еще и благодарил сытую харю, снисходительно улыбавшуюся, небрежно сунувшую деньги в толстый портмоне. Грузчики, ребята ушлые, все как на подбор с высшим образованием, перетащили английскую темницу в однокомнатную квартирку Киселькова, смагнитив из кармана хозяина четвертной билет... Еле разместилась заморская стенка в четырех отечественных стенках дяди Вовы. Сверкала полированной поверхностью, золотилась изысканной фурнитурой, чудился за стеклянными горками хрустальный сад. Припал к ней дядя Вова, когда ушли грузчики,— не оторвешь. И дверцы отворял, и поглаживал, как любимую женщину, даже в шкаф залез и посидел там немного на корточках, в темноте, как притаившийся любовник.

А на следующий день, придя с работы, даже ужинать не стал. Сидел и смотрел на стенку, как в телевизор. Нет, не вспоминал жизнь, не ждите. Что вспоминать-то? Просто сидел и смотрел, как в гипнозе. И все.

Тут его и достал телефонный звонок. Противно так задренькал аппарат одна тысяча девятьсот пятьдесят первого года выпуска, с какой-то ехидцей, словно предупреждал: «Ну, дядя Вова, готовсь!..»

Дядя Вова помедлил — брать, не брать? — взял все ж осторожно черную трубку двумя пальцами, сготовился.

— Аллио, аллио!.. Квартира Киселькова, а? Киселькова, спрашиваю?—противно забубнил чей-то голос с придыханием, чем-то неуловимо знакомый, слышанный вроде бы когда-то и где-то.

— Ну, Киселькова, а што? Кто будет?—отозвалась квартира.

— А то. Отвечать надо!—рассердился голос.—Еле разыскали по адресному столу... Сначала спасибо скажите.

— За што? — дивился дядя Вова.— Ну, спасибо.— И уже предполагал, что там засмеются и скажут: «Ну, пожалуйста, старый хрыч»,— и повесят трубку. Но нет, иначе ответили.

— Из мебельного магазина говорят. Старший товаровед Долгоруков,—почти как участковый, представился незнакомец.—Вы позавчера брали стенку «Тауэр», накладная за номером ноль ноль пять шесть семь один ноль?

— Я. Да, я. Брал,—чего-то испугался дядя Вова, глянув в зеркальную горку.—Нареканий нет,—добавил, еще более испугавшись.

В трубке хмыкнули.

— У вас нет, а у нас есть. Короче, такое дело вышло—бракованная стенка. Недоглядели в суматохе...—И, так как дядя Вова молчал, сжимая трубку, пояснили:—К вам поступил брак, ясно? Наша вина, чего тут размусоливать! Виновные наказаны в административном порядке. Теперь так: что будем делать? Заменять стенку или возвращать деньги? Впрочем, заменять нечем, «Тауэров» больше нет.

— Как это?—вымолвил наконец дядя Вова.—Чего это, а?

В трубке раздался смешок.

— Учтите,—сурово сказали на том конце.—За погруз-разгруз мы не отвечаем, все претензии к Мострансагентству. Впрочем, с грузчиков вы денег назад не получите, гарантирую жизнью.

— Да как же это? — возопил дядя Вова. — Не отдам! Какой брак? В упор ничего не вижу...

— И не увидите! — хохотнули в трубке. Знакомый, черт дери, голос. — Это такой брак, знаете ли, что его только услышать можно. Снаружи-то все в порядке. Дело в материале, в древесине. Поясняю. На распределительной базе Мосмебельторга часть продукции была поражена жучком-вредителем. Есть такая зараза — древоточец. Беды от него особой нет, так, букашка с булавочную головку... Но мебель жрет. Иногда такие лабиринты просверливает, сам путается, родной дом сыскать не может. Уловили юмор? — Незнакомец засмеялся, но, не найдя поддержки у дяди Вовы, продолжал: — Ладно, не уловили. Так вот, из-за этой заразы структура древесины подвергается износу. не пугайтесь, лет пятнадцать простоит, не развалится. Но есть у этого древочер... древотроч... тца... у жука этого, в общем, еще одна неприятная черта характера. Когда он жрет, а жрет он круглые сутки, он шуршит. Лапками шуршит, зубками перемалывает... Негромко, но фон будет. Фон, говорю, в квартире будет, ясно, папаша?

— Ясно, — мрачно отозвался дядя Вова.

— Хорошо, что ясно! — обрадовались в трубке, даже забулькали. — Если у вас есть нервнобольные в семье — предупреждаю заранее. Шуршание пойдет. Впрочем, может, и не пойдет. Может, ваша стенка и не заражена древотрочцем, язви его, язык сломаешь. Это ведь нам на базе сообщили, что «Тауэр» заражен. А он, гад, не во всякую стенку полезет. Может, ваша ему как раз не понравилась. Может, у ней вкус не тот, горький. Я не знаю, я не древоточец. Я товаровед, мое дело предупредить. А хотите, мы вам специалиста пришлем — жрет вас жук или нет? Услуги, естественно, оплатите.

— Нет, не хочу, — расстроенно сказал дядя Вова. — Я вообще с вами разговаривать не хочу. Работнички, моль паршивую изничтожить не могут...

— Потише, потише, — заколыхалось в трубке. — Я ж мог и не звонить.

— Барыги! — вошел в раж дядя Вова. — Только и знаете, что деньги жать из трудящихся... А я участник войны, у меня фронтовая контузия!

— Ладно, ладно, — примирительно сказал товаровед. — Вот видите, оказывается, вы сами склонны к нервным заболеваниям, а говорили — нет таких...

— Ничего я не говорил! — взвизгнул дядя Вова. — Я вот статью пошлю в газету! Я сам свою стенку прослушаю, не хуже специалиста...

— Правильно! — почему-то обрадовался товаровед. — Слушайте. Внимательно слушайте. Всего доброго.

И повесил трубку. Отодвинул свое доисторическое чудовище и дядя Вова. Хмыкая, отплевываясь, тихо матерясь, долго шагал по комнате, натыкаясь на разрозненные части мебельной стенки. Изредка он останавливался и прикладывал ухо к горке: нет, ни черта не слышно... Впрочем, немудрено: постарался морячок на базаре, зажав медное колечко в кулаке... А может, другим ухом? И дядя Вова лез к стенке шкафа шелушащимся ухом, тыкался, как вьюноша к подруге с мокрыми губами. Не слышно, опять не слышно... Стоп! А это что? Вроде шуршит кто?.. Нет, показалось. И снова шагал дядя Вова по комнате, косясь на потускневший как-то вдруг сразу «Тауэр».

Ночью он спал беспокойно... Ныло сердце, ворочались в голове тяжелые мысли. Ночничок бросал блики на окружавшую дядю Вову стенку. Казалось, ехидно шуршит где-то внутри нее вражеский лазутчик — древоточец; шуршит, поглядывает на дядю Вову из прогрызанных дырок, посмеивается: «И до тебя доберемся, милый ты наш...». Вскакивал дядя Вова в холодном поту раз десять, шлепал босиком к стенке, прислушивался. Чудилось шуршание, грызня, как-то раз даже голоса померещились: «Тауэр»! «Тауэр»! Говорил я тебе, надо в шкапы фабрики «Кзыл-орда» перебираться, нет, стенку ей подавай, за модой погналась». «Хто ж знал, что у них за границей такое барахло делают?» «Хто... Ты в школе училась? Парты грызла?..» «Отстань, башку отгрызу!» Холодел дядя Вова, коченел, слушал...

Утром поднялся с разбитой головой, как с похмелья. «Нет, — подумал, глотая горячий чай, — надо было специалиста вызвать... Да мордой его об стенку, об горку — слушай, паразит...»

Пришел на работу, напарники чего-то поглядывают, посмеиваются... А ну их в болото!.. Сердце бы уберечь, ерзает в груди. Пролетел день, вот и ночь... И вновь одолел дядю Вову древоточец.

Кажется ему, шуршит где-то что-то, скребется... Откинул дядя Вова одеяло с головы, утер пот со лба. Да, скребется... Встал он — шатает. Полез к «Тауэру». Нет, тихо... Нет, скребется! Да не здесь, а за дверью. Скребется и поскуливает кто-то, будто собака бездомная. Подкрался дядя Вова к двери, прислушался. «Что ж мне теперь, все время ухо к деревяшкам прикладывать?!» Так же, крадучись, вернулся обратно, нырнул в остывшую постель... Плюнуть бы на этого древоточца, мало ли какая гадость около людей паразитирует: и клопы в диванах, и мураши в сахарницах, а уж о тараканах и говорить нечего — лучшие друзья, не разлей вода... Да только нельзя плюнуть-то, для святого дела «Тауэр» покупал, для огонька того, что забрезжил, для маячка, дорогу указывающего. Как же он огоньку — и брак, и древоточца? Если с этого начать, уж лучше вовсе без света сидеть, в потемках, как привык, как всегда было...

Задремал дядя Вова, свесив с подушки голову, разметался по кровати. Но ползет в его мозг сквозь густой, как кисель, сон тихий шорох, цепляется лапками за волосатую руку древоточец, карабкается вверх, туда — к щеке, к уху, ушной раковине, к недрам, лабиринтам, извилинам, чтоб грызть, грызть, грызть... Да не древоточец это вовсе! Это он, дядя Вова, о восьми лапках, еще две поджаты — отдыхают, еще две зубы сцепляют, чтоб не лязгнули, не отхватили кусок собственного тельца; ползет и постанывает от нетерпения: доберусь, скоро уже... Куда доберется-то? Петляет по лабиринтам, прогрызает в древесине ходы... Темно вокруг; чувствует — дальше нельзя, еще миллиметр — и свет, поворачивай в сторону; нельзя ему к свету — что грызть там?..

Ползет дядя Вова по лабиринтам. Нет здесь тупиков, потому что нет преград на его пути — все одолеет, проползет, прогрызет... Отпочковываются от него маленькие дяди вовы, торопятся прогрызть свои норы, чтобы не сожрал всеядный папаша. Всеядный — значит, и яд ему не страшен, трави чем хочешь... Перемолет, привыкнет.

...Метнулся Кисельков по подушке, приподнял голову и уронил снова в пустоту. А как же маячок-то?.. Как же свет мой? Нельзя, выходит, туда? Да почему же так-то? Чем же я провинился перед господом? Что ж это за мир, где иной пищи мне нет? Кто же создатель мой?.. Не Древоточец же — основатель рода... Собаки от собак рождаются, птицы — от птиц, а человек от кого? От кого?!

Затих Кисельков на подушке... Первые лучи солнца обласкали его голову, выпарили паутину снов, как утреннюю росу с травы. Залил одинокую комнату яркий солнечный свет...

...А в мастерской по ремонту металлоизделий долго ждали в тот день дядю Вову; так и не дождались.

— Слушай! — озабоченно сказал Серега. — Наш старикан там часом не рехнулся, прослушивая стенку? Не перегнули, а?

— Еще чего! — отмахнулся Шуруп. — Будь спок. Этот жлоб, наверное, запором мается... А че? Думаешь, нет?

Серега пожал плечами.

— Все-таки... Мало ли что! Надо бы сходить, проведать...

Шурупу идея понравилась. Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать.

— Правильно, — поддержал он. — Вот после обеда и пойдем. Запрем лавочку и двинем, как профсоюзные активисты. Бутылку только захватим, для смеха.

В отсутствие дяди Вовы Шурка Воронов развернулся во всю прыть.

— Почаще бы он болел, — обрабатывая ключик на станке, хмыкал он. — Я бы ему только спасибо сказал. Нет, ты погляди, как назло — никто не прет. Хоть на улицу выходи и зазывай. «Сне-ее-го-оопад, снеее-го-оопад... Если женщина про-о-осит...» Чего женщина просит? — обернулся к клиентке.

— Мне бы вот — конечки фигурные... — попросила женщина.

Шуруп поклонился с галантностью официанта.

— Заточить? Как изволите? — жеманно произнес он, улыбаясь во всю ширину рта. — По-голландски — с бороздкой? С осевой линией, как это принято у французов? — открыто лепил чушь. — Али же по-нашенски, по-топорному? Могу предложить последний вариант: заточка Толи Крэнстона, чемпионская. Как?

Женщина, оглушенная потоком слов, нерешительно произнесла:

— Вот эта, чемпионская, сколько будет стоить?

Шуруп сконфуженно развел руками, тяжело вздохнул.

— Трудная работа, — сказал он. — Десять рублей. Увы.

Женщина тоже вздохнула, порылась в сумочке. Достала деньги.

— Что уж, — сказала нерешительно, — давайте по-чемпионски...

— Отличный выбор, мадам, — поддержал Шуруп. — Не пожалеете, золотая медаль вашему чаду обеспечена... Вот так, — обернулся он к Сереге через десять минут. — Раз, два — и червонец в кармане. Учись, студент института восточных языков. Сне-го-оопад, сне-ее-гоо-оопад...

— Ну и клещ ты, — хмуро сказал Сергей, оторвавшись от книжки. — Тут делов-то... У тебя эта штука, как она, совесть, имеется?

— А при чем тут это? — округлил глаза Шуруп. Даже обиделся, губы поджал. — Ты на клиентку погляди! Ей лапшу на уши вешают, а она верит. Взяла бы и сказала: «Пошел вон, дурак!» Не обидно бы было. Так нет, не сказала. Да я, может, ей веру в чемпиона ее сопливого внушил, с коньками этими.

— Катись-ка ты сам на этих коньках! — сплюнул Сергей. — Смотреть тошно.

— Ну и не смотри! — огрызнулся Шуруп. — Работник... Горазд баклуши бить... Чего вам? — обернулся он к старушке, тянущей ключик. — Пять рублей!

— Ой! Да чего ж так много?

— Ой! А ты думала! Заготовок нет. Спецматериал остался. Прояснилось?

— Да, может, трешку возьмешь, сыночек? — Старушка помаргивала глазами-бусинками, настойчиво тянула три рубля.

Шуруп брезгливо мотал головой.

— Иди, старая, тут тебе не частная лавочка! — срезал он.

Старушка тянула трешку, словно не понимала. Сергей смотрел в сторону.

— ...Одна я живу, — жалобно причитала она, — одна в квартире, и ключ один... Дочка мне и говорит: сделай, мама, запасной на всякий случай... вдруг что случится... не ломать же двери... запасной бы...

Шуруп от злости закатил глаза

— Ска-за-но же, — по слогам выговорил он, — пять рублей!

— Да за девяносто копеек он сделает, по прейскуранту. — Сергей подошел к окошку. — За девяносто. — Взял у испуганной старушки трешку, порылся в карманах, сунул сдачу.

— А ты че раскомандовался? — крикнул Шуруп. — Ты че раскомандовался-то? Я здесь хозяин, пока дяди Вовы нету. Я его заместитель, понял? Не буду!

— Бу-дешь! — с нажимом сказал Сергей. — Сделаешь. Заместитель...

— Ну, Серега! — заливчато произнес Шуруп через пять минут, окончив работу. — Тебе бы в Красном Кресте и каком-то там Полумесяце работать. Прям сестра милосердия. — Он заржал, покосившись на Сергея. И добавил, уже без смеха: — Гляди, парень, без штанов ходить будешь...

...Пообедав, они отправились к дядя Вове. Зашли в магазин, не испугавшись километровой очереди.

— Ниче, — пояснил Шуруп. — У меня тут продавец знакомый... Ладно, ты своими бумажками больше не бросайся, я платить буду. Я тратить тоже умею, не хуже тебя. Только с умом. Ты думаешь, мне старушки этой не жалко? Да у меня, может быть, мать такая же... И тоже однаодинешенька в квартире. Может, у меня сердце кровью облилось, пот холодный прошиб, когда я бабусю эту увидал?.. Но только дело есть дело. Дело на безделье менять нельзя. Как бы я теперь коньяк покупал, ежели б пятерками бросался, а?

С этими словами Шуруп юркнул в подсобку.

— Вот так, — сказал он, появляясь. — Я плохой коньяк пить не буду. Как, за двадцать рэ сгодится?

— Пошли! — бросил Сергей, выбираясь из магазина. — Надоел со своим «рэ».

...Очнулся дядя Вова Кисельков с туманом в голове и жалом в сердце. Что же ему снилось?.. Бред, кошмар, чертовщина какая-то. А вот она, когда разлепил веки, реальность, высится в его комнате мрачновато-полированный «Тауэр», матово поблескивает в лучах полуденного солнца.

А купил он его потому, что позвонила месяц назад его супружница, столбовая буфетчица, ныне метрдотель в привокзальном ресторане. Ну позвонила — и хрен бы с ней, сто лет ее не видеть... Да только звоночек тот был не простой. Сообщила она, что дочь ихняя, ясноокая Зоя Владимировна, выходит замуж и имеет честь пригласить достопочтенного папашу своего на торжественное бракосочетание в ресторане «Метрополь» такого-то числа, такого-то месяца.

— Честно говоря, я бы тебя ни в жисть не позвала, — добавила супружница, — но дочка хочет... Желает, чтоб и ты был. Не бойся, в зенки тебе никто плевать не будет, у нас все па-абла-ародному... Чего ей, дурехе, вздумалось, ума не приложу! Ну, жила без отца, и ничего, не тужила... Так нет, подавай на свадьбу папашу. Я уж думала; может, нанять кого за полтинник, хенерала какого-нибудь? Заместо тебя. Да ладно уж, чего уж...

— Спасибочки, — поклонился в трубку Кисельков. — Приду непременно... А я ведь ее видел. У нас на рынке... Красивая стала.

— А-аа... — протянула неопределенно супружница — А как узнал-то?

— Да ты рядом с ней шла.

— А-аа...

— Слушай, а как она ко мне, ничего?

— Ну, раз позвала, так покрути малость мозгами... Остались еще?

Дядя Вова вдруг отчего-то разволновался чрез меру. Ведь чувствовал же, чувствовал, что встретятся. И по-нормальному, по-хорошему... Сама позвала, дочка-то, сама. Молодец. Помнит, наверное, отца-то. Игрушки помнит, гостинцы. А может, у них и дальше так пойдет — она к нему в гости, он — к ней... С зятем познакомится. Внука на руках подержит, пощекочет... Гулять с ним будет в парке, рассказывать... Может же внучонок пару раз в месяц с дедом погулять?

Мысли закрутились в голове дяди Вовы, как шары в лототроне. Ему уже привиделось, что вот он идет с Зоенькой и внуком по осеннему лесу, загребая ногами желто-красные листья, и, низко склонившись к белобрысой головке, показывает пальцем на чудом сохранившуюся зелень лета, одинокую ветвь, на которой нахохлилась черно-серая ворона... Да разве ему много надо для счастья-то? Хоть под конец-то жизни может прийти успокоение? А может быть, вся его прошлая жизнь была только вступлением к этой? Разве не бывает так, что счастье ждет тебя лишь в старости?.. Он ведь не убивал никого, не зарезал; ну, жил скверно, так многие еще гаже живут, а счастливы по-своему... Что его-то теребить, старика старого? Сквитались уж за все, хватит... Сам на себя руки хотел наложить — это ли не приговор, пострашнее людского... Да господи ты боже мой, пусть же так будет, как он думает...

— Ты вот что, — сдавленно произнес он, сжимая трубку, — пусть Зоенька ко мне сама зайдет, ладно?.. Я ей подарок приготовлю, к свадьбе... Не бойся, — поспешно добавил он, — денег не пожалею, по-царски...

Супружница недоверчиво хмыкнула.

— Ты ей стенку купи, — посоветовала она. — Я ей кооператив, а ты стенку. «Тауэр». Достанешь?

— Достану, — торопливо сказал Кисельков, замирая.

— Ладно, — после некоторого молчания произнесла супружница. — Зайдет. Зайдет и сама пригласит. Лично.

...Дядя Вова скинул ноги с кровати, метнул взгляд на матово поблескивающую стенку. Ну как же он Зоеньке — и древоточца, как же это?.. Эх... Подошел и уже по привычке приложил ухо к полированной поверхности. Нет, не слышно... Да, может, и нет его, жука этого? Сказали же, что не во всех стенках завелся... Плюнул, пошел одеваться. Бриться, мыться, наводить лоск. Через три часа должна была прийти Зоенька.

...Шуруп пнул ногой обшарпанную дверь.

— Эта, что ли?.. Вроде эта. — Нетерпеливо позвонил раз семь-восемь.

Свечение, исходившее от Киселькова, как-то сразу потускнело.

— Дядь Вов, а мы к тебе! — радостно закричал с порога Шуруп. — С гостинцами. — Он потряс бутылкой. — Дай, думаем, зайдем, не помер ли там старый хрен? Ты чего на работу-то не вышел? Загулял, что ли?

— Потом, ребята, потом, — заговорил Кисельков, — гостей жду...

— О! — ухмыльнулся Шуруп. — Это мы и есть. Правильно, что ждал. Мы ж в одной профсоюзной организации. Ну, ладно, где у тебя стаканы?

Он уже прошел в квартиру, протиснувшись мимо дяди Вовы.

— А правда, — спросил Сергей, — что с вами?

Дядя Вова махнул рукой. Черт с ними, посидят полчасика да уйдут... А может, и к лучшему... Чтоб не наедине, чтоб неловко не было. Точно, так еще лучше, чего говорить. Пусть посмотрит Зоенька, какие у него приятели — молодые, здоровые... Орлы!

— Так это и есть твоя стенка? — спросил Шуруп, плюхаясь в кресло. — Ничего гардеропчик... Вдруг из гардеропа показалась... Ладно, ладно, не буду. Богато живешь, Владимир Семенович...Одно не пойму: зачем тебе в этой конуре такая стенка? Открой секрет. Мы головы свернули, гадая...

Дядя Вова поставил на стол вазочку с конфетами.

— А это подарок, — сообщил он довольно. И почувствовал вдруг радость оттого, что может сделать кому-то подарок, что может сказать об этом вот так — запросто, мимоходом. — Для невесты, — добавил он. — Сейчас и невеста придет. Дочка моя. Вам и не снилась.

— Ух ты! — остолбенел Воронов. — Хорошенькая?

Дядю Вову слегка покоробило.

— Тебе и не снилась, — сказал он. — Красавица!

— Рассказывай... — усмехнулся Шуруп. — Небось, вся в тебя... А почем ты знаешь, что мне снилось и кому я снился? Может, я с ней уже знаком? А че? Я парень видный, при машине... Грамотный, антилигентный...

Пока Шуруп кривлялся перед дядей Вовой, Сергею, молчавшему все это время и тоже пораженному тем, что у Киселькова оказалась дочка, представилась эта девушка — почему-то не такая, как ее отец; нет, совсем иная: и внешне — стройная, голубоглазая, с золотистой косой, с чистой, прохладной кожей, и по сути своей — добрая, нежная, любящая, светлая... Разве так не бывает?

— Ну, иде же она? — продолжал Шуруп. — Поднимите мне веки. Я хочу видеть этого человека. Осязать и обонять.

— Придет, не беспокойся, — сказал дядя Вова. — Она не опаздывает...

— Да, жаль, не я твой зять... Я б твою мошну растряс. Ты б у меня одним «Тауэром» не отделался... Слушай, тебе ничего не кажется?.. Серега?..

— А? — отозвался Сергей. Он совсем позабыл об их уговоре.

— Да вот, — сказал Шуруп и поднял палец, призывая к молчанию. — Слышите?.. Вроде шуршит что-то... Скребет... Фон какой-то...

— Где? — всколыхнулся дядя Вова. — Где шуршит? — Он напрягся, всматриваясь в лицо Шурупа, тоже напряженное, красное.

— Там! — метнул Шуруп палец в сторону горки. Он вскочил и приложил ухо к дереву. — Там! Точно! Шуршит что-то... шур-шур... Серега, напрягись.

— А ну тебя, — отмахнулся Сергей. — Сам слушай...

Дядя Вова тоже вскочил, забегал вокруг стенки, прикладывая ухо то к одному месту, то к другому.

— Что это, а? — торопливо говорил он. — Ребята, вы как думаете, что это?

И тут раздался звонок в дверь. Один осторожный звонок. Даже сквозь желтоватую отечность дяди Вовы было видно, как сильно он побледнел.

— Умоляю! — произнес он, молитвенно складывая на груди ладони. — Ей — ни слова, это — древоточец. Ни слова — умоляю...

Когда раздался второй звонок, раздраженно-нетерпеливый, он уже отпирал дверь, бормоча что-то под нос. Шуруп с Сергеем вышли в коридор.

На пороге стояла высокая, стройная девушка, несколько растерянно улыбаясь. Да — голубоглазая, отметил Сергей; да — красивые золотистые волосы; да — ?..

— Владимир Семенович? — спросила она чуть глуховатым голосом, может быть, слишком резким для такой кукольной внешности.

— Я, я... — простер обе руки Кисельков. — Проходи, Зоенька... Ты зови меня проще... Он, кажется, хотел обнять ее, но она протянула ладошку. Шура Воронов присвистнул.

— Как «проще»? — спросила Зоя. — Папой, что ли?

— Ну, как хочешь, как можешь, — торопливо ушел от ответа дядя Вова. — А это мои друзья: Шуруп... э-ээ... Шура и Сергей.

— Александр Воронов, — представился Шуруп, щелкнув фирменным каблуком. Зоя внимательно посмотрела на него.

— Да что ж мы стоим? Проходите, проходите, — подтолкнул всех в комнату дядя Вова. — Ты уж извини, Зоенька, живу я бедно, по-холостяцки, один...

— Вижу, — сказала Зоя, и в ее голосе Сергею послышалась насмешливая нота.

Она увидела стенку и сразу же оживилась. С какой-то детской непосредственностью прильнула к горке, открыла один ящичек, второй...

— Это тебе, Зоенька, — чуть торжественно произнес дядя Вова. — На свадьбу.

— Ой, спасибо! — Зоя подошла к нему и еще раз протянула ладошку. — Так вы придете на свадьбу? В семь часов... Будем ждать.

Дядя Вова как-то сник. Наверно, он ожидал большего.

— Приду, — пробормотал он. — Куда ж я денусь?..

Шуруп, видя, что все как-то неловко молчат, звякнул рюмкой.

— Отметить надо, — сказал он. — Зоенька, вы как? Вообще-то перед свадьбой нельзя, греки не советуют, но такой коньяк можно. — Он повернул бутылку этикеткой в сторону Зои. Ее реакция была довольно неожиданной.

— Барахло! — резко сказала она, и в ее голосе мелькнуло что-то враждебное. Дяде Вове почудилось в ее интонации давно знакомое, забытое... Ну,конечно же, это голос его супружницы, буфетчицы... — У меня с собой другая марка, — произнесла Зоя, доставая из сумки «Камю». — Как, сойдет? Мама прислала...

— Зоенька, вы прелесть, — прочувствованно сказал Шуруп. — Я вас люблю.

— На здоровье, — усмехнулась Зоя. Усмехнулась откровенно, с прицелом. Сергей наблюдал за ней и не мог понять: что же она из себя представляет? Хотя бы так — по первому впечатлению, которое порой оказывается истинней суждений, вынесенных из многолетнего знакомства... Дядя Вова открыл рот, видно, не решаясь вмешиваться в разговор, помялся около двери.

— Зоенька, — сказал наконец он, — а ты помнишь, я тебя маленькой не Зоенькой звал, а Заинькой. — Он засмеялся и смеялся долго, не замечая, что его никто не поддерживает. — Представляете?.. Заинька, Зайчонок... Зайка...

— Вы бы, Владимир Семенович, вспомнили еще, как я на горшке сидела, — значительно произнесла Зоя.

Дядя Вова осекся. Потом сконфуженно поглядел на всех.

— Так я, значит, закусочку устрою, — сказал, пятясь на кухню.

— Во-во, устрой, дядя Вова! — крикнул вслед Шуруп. — А мы пока потолкуем о международном положении. Газеты читать любим?

Зоя проигнорировала его вопрос, хохотнула. Высунулся дядя Вова и поманил Сергея пальцем.

— Сережа, — зашептал он в коридоре. — Как друга прошу, слетай за хлебом, весь черствый...

Сергей посмотрел в его прыгающие, как мячики, глаза, почувствовал, что глухое раздражение, копившееся в нем все последнее время, вот-

вот прорвется наружу. Он помнил за собой такие случаи — и в армии, и еще раньше, в школе, когда, попав в непривычную обстановку, неприятное окружение, вообще в атмосферу чуждого воздуха, он уходил в себя, замыкался, молчал, а потом в какой-то момент взрывался, как шаровая молния.

— А вы Шурупа пошлите! — ткнул пальцем позади себя. — Что я вам тут, работник Балда? — Но, еще раз посмотрев в глаза-мячики, глаза-огоньки, потухающие, вспыхивающие, молча взял сумку, открыл дверь, побежал вниз.

...Вернулся — Зоя с Шурупом сидели рядышком, дружелюбно болтали. Дядя Вова хлопотал на кухне, что-то фальшиво напевая под нос.

— Ну, наливай, что ли, да я пошел, — процедил сквозь зубы Сергей.

— Да погоди ты! — оборвал Шуруп. — Самое интересное упустишь. Зоенька-то — прелесть. — Он словно невзначай коснулся плечика девушки, да так и оставил там руку. — Я потрясен. Тебе шоколад с ромом нужен? Она в кондитерской работает... «Птичье молоко»? Зефир в шоколаде? «Фея Драже», — Сергей мрачно посмотрел на них.

— А главное, — продолжал Шуруп, теснее прижимаясь к девушке, — папаша-то наш, дядя Вова, осиротил девочку в пять лет, бросил на лоне природы...

Зоя засмеялась, показав белоснежные маленькие зубки.

— Каков, а? — Шуруп чувствовал себя в родной стихии. — Старый жмых, простите, мадемуазель, не могу сдержать негодования...

— Ладно, проехали, — усмехнулась Зоя. — Все вы одинаковые.

— Правильно! — горячо сказал Шуруп, укладывая руку на ее колено. — Золотые слова. Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Но главное, Сереженька, я рассказал ей про древоточца, про стенку эту... — Он засмеялся, не в силах продолжать дальше. Засмеялась и Зоя, закрывая ладошкой рот, морща носик, и неожиданно глаза ее, все время настороженно-холодные, таящие какую-то колодезную глубину, вдруг как-то обмелели, обнажив глиняное дно. Сергей молча смотрел на них обоих...

Вошел дядя Вова, неся на подносе бутерброды, фрукты, лимончик.

— Итак, — бодро, чересчур бодро сказал он, — отпразднуем встречу!

— И подарок, — добавил Шуруп, откупоривая «Камю». — «Тауэр» обмоем, да?

— Кстати, — спросила Зоя, посмеиваясь, — что это у вас там все шуршит? Мыши, что ли? — Дядя Вова застрял с рюмкой на полдороге.

— Ка-акие мы-ыши? — пролепетал он. — Где?

— Да там, — махнула рукой Зоя. — В стенке. Послушайте...

Дядя Вова приложил ухо, спина его вздрагивала.

— Выше, — скорректировала Зоя. — Левее. Чуть пониже. Еще ниже, около ящика. Теперь правее. Еще.

Шуруп, беззвучно тряся плечами, уже не мог больше сдерживаться — хохотал во все горло. Зоя прыскала, зажав кулачком рот.

— Придурки! — процедил сквозь зубы Сергей.

Дядя Вова, повернувшись к ним, опустив руки, уронив их по бокам, как плети, растерянно, недоуменно смотрел, понемногу начиная прозревать... Шуруп встал, протянул руку.

— Познакомимся, — икая от смеха, сказал он. — Товаровед Долгоруков.

Дядя Вова смотрел теперь только на Зою. В его взгляде смешалось все — и растерянность, и страх, и надежда, и отчаяние... Зоя перестала прыскать, повела плечиками. Презрительно скривила губы.

— А что? — резко сказала она. — Что вы на меня так уставились?

— Да я... Зоенька... — пробормотал дядя Вова. — Как же так?.. Я ведь думал — свадьба... внуки... В лес будем ходить... С внуком буду в лес..

Он вдруг отшатнулся от взгляда, который бросила на него дочь.

— Вы че? — грубо сказала она. — Вы че, Владимир Семенович? Какие внуки? В какой лес?.. Треснулись, что ли? Да у меня вообще детей не может быть, проверено... Выдумал тоже. — Она повернулась к Шурупу, как к сообщнику. — Во дает!.. Лес...

Шуруп понимающе прикрыл глаза. Но смеяться не стал, сообразил.

Дядя Вова словно увидел себя со стороны: с зубовным скрежетом топочет ногами, машет над головой сжатыми кулаками, надвигаясь на Шурупа, кричит:

— Убирайтесь! Убирайтесь отсюда!.. Все убирайтесь! Все!.. Вон! Вон!..

Шуруп бегал по комнате, уворачивался.

— Дядь Вов! Дядь Вов! — кричал он. — Ты чего! Я ж в полусреднем выступал! Угомонись! «Озверин» принял? Дядь Вов!..

...Сергей хлопнул дверью со всей силой, побежал вниз по лестнице, засунув руки в карманы. «Подонки, — подумал он, окунаясь в солнечный свет. — Насмотрелся, хватит...». Он шагал по улице и чувствовал какую-то липкую грязь на всем теле, даже во рту. Он знал, что смоет ее, выплюнет, но очищение придет не сразу; пройдет какое-то время, прежде чем он сможет смотреть на людей так же, как раньше, до рынка...

Ушли и Шуруп с Зоей, затолкав старика на кухню, подперев дверь шкафчиком из «Тауэра».

А на кухне, утопив лицо в ладонях, беззвучно плакал дядя Вова, давился, будто глотал горькую микстуру — без надежды на выздоровление...

Владимир ЕЖОВ

Дневник студента

Я нашел этот дневник, когда учился на первом курсе института — как-то перед лекцией я зашел в аудиторию, чтобы положить в стол свой портфель, а самому походить оставшееся время по коридору, портфель у меня был большой и влезал в ящик впритык, на этот раз что-то помешало ему войти до конца, я засунул туда руку и вытащил помятую общую тетрадь; думая, что это забытый конспект, я стал листать страницы, но вскоре понял, что это не конспект, а дневник; лекция мне предстояла неинтересная, и я, усевшись в самом углу аудитории, открыл тетрадь и начал ее читать:

20 сентября.

Перед тем как заснуть, лежал под одеялом и думал. Я всегда перед сном лежу под одеялом и думаю обо всем, что-то последнее время мне все не нравится: погода отвратительная, тучи висят, дождик моросит, в институт ходить не хочется, единственное, что меня еще там привлекает, так это они! я даже думаю, что и хожу-то я туда не из-за лекций, которые нам читают, а из-за них, последнее время ловлю себя на том, что хожу и их разглядываю, я, конечно, и раньше на них смотрел, но сейчас как-то особенно смотрю, с возросшим интересом, и главное, это совсем не надоедает, — хожу и смотрю, смотреть-то ведь не запрещено, смотри сколько хочешь, даже, наоборот, у них это хорошо считается, когда на тебя смотрят, я думаю, они много всего о себе узнают по этим взглядам, наверное, в тысяче оттенков их разбираются и себя корректируют, стоят где-нибудь на перерывах в местах для курения, курят, держат так как-то особенно сигареты в своих острых пальчиках с накрашенными ноготками, дым струйкой выпускают, пройдешь мимо, а они в тебя глазками стрельнут и дальше болтать, о чем они, интересно, говорят между собой, в своем кругу, мне очень хочется это узнать, что-то тут во всем есть загадочное; у них вообще многое загадочно...

Вот недавно видел одну: голова вся в кудряшках, глазки круглые, ресницы слиплись от туши, но главное у нее ножки, стройные, нежные такие, в каких-то таких матовых чулочках, прямо потрогать хочется, как будто от них какая-то невидимая сила исходит, тянет за собой, как на крючке, а юбочка такая коротенькая, что сердце прямо замирает, туфли на толстой подошве, как копытца, как будто не человек, а зверек какой-то, есть в них что-то от зверьков разных, почему? или взять хотя бы эти ноги, что тут особенного — служат для ходьбы, средство для движения к цели, косвенный предмет, а у них это совсем не средство, а сама цель,

так они их ставят, так ими двигают, они и идут-то куда-нибудь, чтобы не прийти, а пройти! в чем тут дело? все это сильно меня интересует! только вот для чего после этого все то, что нам тут преподают, что для меня-то важнее, что интереснее? ведь, может быть, это и одной даже такой ее ножки не стоит, я уж не говорю про все остальные места, там прямо какая-то бездна, неоткрытая страна, куда можно уйти и не вернуться...

Сегодня тоже, сидел на лекции, наблюдал за одной, слушала, слушала — раз, карандаш уронила, нырнула за ним под парту, а я-то вижу, у нее уже зеркальце в руках, обежала пальчиком нос, щеки, лоб, покривила как-то так губки, потаращила глаза, подняла с полу карандаш, встала и на вопрос ответила, и неплохо ответила, — смотрел потом на нее: сидит, голову склонила, затылок такой с гладкими темными волосами, думает! что там, интересно, в этой головке варится, по каким законам все идет? загадка! мне даже захотелось опять к ним поближе подойти, порассматривать их снова; ну ничего, ничего, ночь осталась...

24 сентября.

Эти дни в основном ходил по институту, в маленьких перерывах по коридору, в больших по лестницам и в буфет спускался, в очереди выстаивал, потом бутерброды с колбасой ел, и томатным соком запивал — все это специально, чтобы их рассмотреть получше, чтобы понаблюдать за ними как следует...

Например, появилась тут недавно одна, раньше я ее что-то не замечал в институте, приняли, наверное, прямо среди года, красавицей, между прочим, считается у наших, много они все в красоте понимают, — я даже специально один раз поближе подошел и рассмотрел: вообще она, конечно, ничего, но так чтобы уж красавицей назвать — нет, нельзя, ножки толстоваты и в лице что-то такое... тут ведь в чем вся сложность, в чем вся беда, я только сейчас это понял, — вот иногда кажется вроде ничего, красивая, но есть у нее где-нибудь какая-нибудь маленькая частичка, которая все дело испортит, или пальчик на ноге кривой, или вдруг попка толстовата, или губка как-то слишком оттопырена, не обратишь на это внимания, увлечешься вроде бы общей красотой, сойдешься, сблизишься, получишь все тридцать три удовольствия, а потом глядишь, а эта частичка начинает уже выползать на глаза, а потом и другая, очень на нее похожая, в другом месте, третья в третьем, — так что нужно с самого начала зорко смотреть, нужно, чтобы во всем была идеальная, и любить, только если нравится вся целиком; Чехов, кажется, сказал: в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, — я считаю, что в женщине тоже, так что эта красавица мне, например, не подойдет, ножки толстоваты, да и в лице что-то лисье, на лисичку похожа, потом ведь все это начнет раздражать, я знаю, а я ведь хочу отыскать себе такую, чтобы на всю жизнь, чтобы я мог ее любить и она меня любила бы до конца наших дней и чтобы умереть в один день, глядя друг на друга...

Ушел из института и по дороге все думал: вот если бы мне такую отыскать, как бы это было чудесно, ведь это же и было бы, наверное, настоящее счастье, то, о чем я мечтаю, к чему так стремлюсь, потом, правда, полезли разные мысли в голову о том, что если я так буду привередлив и придирчив, то никогда ничего себе не отыщу и останусь один и никакого счастья у меня не будет, может, нельзя так уж строго, ведь всегда вначале что-нибудь не устраивает, а потом привыкаешь; что уж я, собственно говоря, так осуждаю эту лисичку, ведь в человеке главное душа, главное, чтобы человек был хороший, как говорят, а все остальное придет...

Вечером, перед сном вспомнил, как она сегодня посмотрела на меня, лукаво так и грустно даже, — это ведь мне особенно нравится, когда так смотрят, между прочим, все остальное в ней как-то просто и легко, этого даже и не передать, и костюмчик так небрежно сидит, я люблю, когда красивые вещи так небрежно носят, и волосы темные блестящие, спереди так не то чтобы челочкой, а как-то приподнимаются немного надо лбом, как козыречки, смешно даже, а лобик чистый, ясный, губы тонкие и глаза, лукаво так и грустно... а что ножки толстоваты, так это, я думаю, из-за брюк такой эффект вышел, ведь она в брюках была, я мог и не разглядеть как следует, а то, что на лисичку похожа немного, так это, может, даже и хорошо, даже прилив какой-то нежности вызывает — лисичка ты моя милая, ты так мне нравишься!

Вообще-то нужно как-то узнать ее поближе, поговорить с человеком, посмотрим, как дальше все пойдет...

25 сентября.

Сегодня прогуливался с одним своим приятелем по коридору на перерыве, встретили эту лисичку, как все-таки они смотрят, не поймешь, что у них в глазах, то ли интерес, то ли просто так, неопределенно как-то все это; а этот мой приятель, солидный такой человек, с бородой, полный, выглядит старше и умнее других студентов, так что я даже порадовался, что она встретила меня именно тогда, когда я с этим своим приятелем шел, ведь, если подумать, это говорит в мою пользу: по тому, что я иду с ним и по тому, как мы непринужденно беседуем, можно заключить, что он мой хороший приятель, что у нас общие интересы, что его интересует то, о чем ему говорю я, а раз я выгляжу моложе его и иду с ним запросто, значит, я умнее своих лет; и кто же вообще будет у меня в приятелях, когда я сам стану таким, как мой приятель, какие-нибудь седые старики?

Тут, если сказать правду, пошло у меня откуда-то какое-то раздражение, ведь со стороны получается, что все это игра и обман, что я специально попался ей навстречу именно с этим своим приятелем, чтобы ей понравиться, произвести на нее впечатление; от понимания этого мне вдруг все как-то неприятно стало, и я даже поспешил отойти от этого своего приятеля, хотя после этого лучше не стало, наоборот, даже какая-то злость появилась, что же это такое, я ведь встретил ее действительно случайно, и он действительно мой приятель, и у нас действительно общие интересы, он, например, смеется, когда я говорю что-нибудь смешное, или, наоборот, задумывается, когда я говорю о чем-нибудь серьезном, о каких-нибудь проблемах в науке или искусстве, и вообще ему интересно со мной; в конце концов получается, что я уж и не могу пройтись по коридору и поговорить со своим приятелем без того, чтобы это не выглядело перед ней игрой или обманом. — мне даже захотелось пройтись с этим моим приятелем, но лекция началась, черт возьми! в общем, непонятное раздражение, только когда ушел из института отпустило...

Перед сном, когда забрался под одеяло, снова стал думать о ней и мечтать, хорошо бы, конечно, мне с ней познакомиться, жалко, что у нас нет общих знакомых, ведь когда не знаешь человека, о нем можно много всего нафантазировать, чего и нет, хорошо бы у нас, предположим, были общие занятия и я бы на этих занятиях выступил, дело в том, что я уже давно чувствую все слабые стороны того, что нам читают, а когда мне кто-нибудь нравится, я чувствую в себе особенную силу и могу, я в этом совершенно уверен, стоит только посидеть в библиотеке немного и подчитать, а то я в терминологии слабоват, слова забываю, что означают, — так вот, если подчитать, я смогу дать свежее направление их науке, я даже хорошо вижу, как это сделаю, как я встаю и задаю нашему преподавателю несколько вопросов, особенных вопросов, он ведь привык к однообразию, к этой скуке, и тут сразу растеряется, а я уж выйду и все сам объясню, разобью его старые утверждения в пух и прах и дам совершенно новое направление в науке! и, главное, она будет сидеть тут же и слышать меня, а потом в коридоре подбежит ко мне с сияющим лицом, со сверкающими глазами, и мы уже больше никогда не расстанемся, ну, конечно, они не выдержат и исключат меня, но я буду бороться, выступать в печати, будет суд, конвойные, и я им тогда все скажу, и она будет в зале, будет меня слушать, плакать, ну а потом тюрьма, баланда, сырые стены, она будет ждать меня, и все будут знать о нашей любви, весь мир, и, может, нам даже разрешат сидеть вместе или, может, вообще она, а не я, что-нибудь там натворит такое и ее посадят, а я попрошусь к ней, может, они разрешат, ведь если человек сам в тюрьму просится посидеть, такого же не бывает, может, и разрешат, главное, надо попросить, чтобы она не в колонии была, а в тюрьме, в камере, это могут разрешить, там, говорят, еще тяжелее, я знаю, я бы выдержал, действительно, я бы прожил там с ней все десять лет, я бы ее согревал, кормил, веселил, я бы выдержал и ее бы спас, я бы эти четыре стены превратил в целый мир, мы лежали бы в обнимку, согревали бы друг друга,

и я представлял бы ей, как потом, когда мы выйдем, будем жить в каком-нибудь высоком новом доме, делать что-нибудь, работать, у нас родились бы какие-нибудь дети, и мы бы их воспитывали, укладывали бы их спать и потом как-нибудь проводили бы свои вечера, в кино ходили бы или представляли бы, как живут разные люди в разных концах света, как они там ходят, стоят, говорят что-то друг другу, что там у них за города и дома, и она бы все это видела, как наяву, не соскучилась бы ни на минуту, а потом мы бы засыпали где-нибудь на нарах и видели бы друг друга во сне...

Нет, я думаю, надо с ней познакомиться, может быть, прямо на днях это и сделать?!

29 сентября.

Эти дни я в каком-то напряжении и никак не могу отвязаться от ощущения, что вот именно так хожу по коридорам в перерывах, как если бы она на меня смотрела, именно с таким видом спускаюсь по лестнице, как-то так стою в очереди в буфете, с особенным выражением плачу деньги и ем даже так, как надо есть, если я у нее на виду,— и, главное, от этого никак нельзя отвязаться, позабыть, я ведь в любую минуту могу ее встретить...

Вот иду, например, случайно забудусь и вдруг ловлю себя на том, что уже смотрю на какую-нибудь там студентку, может, даже на ножки ее заглядываюсь и на все остальное, сразу же от понимания этого получается, что я вроде нарочно это делаю, что вот она увидит, как я на эту студентку-то смотрю,— и выйдет, что я разыгрываю перед ней такого легкого, джинсового мальчика, который может и с одной, и с другой, вроде показываю ей, что она меня не интересует, чтобы быстрее понравиться ей же, вроде хочу привлечь ее таким хитрым путем, но ведь на самом-то деле та студентка, на которую я смотрю, мне совершенно не нравится, а нравится только она, моя лисичка...

Пока думал об этом обо всем, увидел себя стоящим где-то у стены с таким нахмуренным, серьезным лицом и опять сразу же почувствовал, что она может подумать, что я красуюсь перед ней умным видом человека, постоянно погруженного в какие-то свои серьезные мысли, и хочу ей таким образом понравиться, хотя никаких серьезных мыслей-то у меня и нет, а думаю я только о ней, опять выходит обман!

И так все время, как ни встанешь, куда ни пойдешь, но как же отвязаться? Выходит, только на нее и нужно смотреть; стал смотреть, и она на меня поглядывает, то ли с лукавством, то ли с ожиданием, непонятно, черт!

Встретил ее сегодня в коридоре, и обменялись взглядами, как будто уже знакомы, а подойти к ней и объясниться нет сил, но сколько же можно смотреть-то, надо же и подойти когда-нибудь, могла бы, между прочим, и сама подойти, я ведь не могу подойти, потому что не уверен, хочет ли она этого, не знаю точно, если бы я, например, увидел в ее глазах то же желание познакомиться, то же чувство, какое я ей своими глазами посылаю, я бы подошел, если бы она, конечно, мне нравилась, если же я ей не нравлюсь, зачем она вообще на меня смотрит и так непонятно, а если нравлюсь, посылай глазами желание — осторожно ведь нужно, можно ведь и влюбиться!

В общем, ушел с занятий и ее даже глазами напоследок не поискал, но как только ушел, сразу стало легко и главное, думать о ней стал прямо в автобусе, дело в том, что я вдруг обнаружил, что все знаю! вообще знаю все на свете, и из-за этого довольно скучно становится; тут ведь вся хитрость в том, чтобы еще кто-нибудь знал, что ты все знаешь,— вот тогда появляется необычайное наслаждение: будто это все, что ты знаешь, тебе принадлежит, и ты всем этим повелеваешь и сам все сделал, вот хорошо бы мы были уже с ней знакомы и ехали бы вместе, я бы тут прямо в автобусе начал перед ней все это раскрывать и сам бы радовался, видя ее удивление,— вот, мол, я какой! вот, мол, что могу!

Например, мог бы показать ей хоть на этих людей, что в автобусе едут с нами: ведь это они на вид такие одинаковые, в серых каких-то пальто, с такими неинтересными лицами, стоят кучей, а на самом деле каждый из них столько всего с собой тащит, непонятно даже, как они все в автобусе умещаются, только потому, наверное, что как-то переплетены цепочками всяких случайностей, прямо не автобус, а какой-то клубок, страшно даже подумать, что вдруг все это откроется и разом увидишь, голова кругом пойдет...

Или даже просто, если бы мы сейчас с ней шли по улице, когда вот так вдвоем идешь, особенно если обнявшись, появляется ощущение такой силы, что еще немного — и полетишь; вот бы мы, предположим, могли бы летать, невысоко, метров на двести в высоту, и недалеко летали бы, тут, в округе, я думаю, нужно было бы единственно тепло одеваться, а то на скорости и вообще на высоте ветер, и летать нужно было бы вечером, когда стемнеет, чтобы нас не заметили и не сбили, мы перелетали бы от окна к окну, и я показывал бы ей из-за фикусов каких-нибудь, как они там живут: например, как в какой-нибудь спальне с коврами на стенах лежит светловолосый мальчик, натянув до подбородка одеяло, а мать в халате читает ему на ночь сказку, а потом гасит свет и уходит, закрыв за собой дверь, а он, накрывшись с головой одеялом, лежит и мечтает о том, что будет завтра, какой день, мы бы видели это сквозь щель в занавеске и тоже думали бы о завтрашнем дне,— потом мы увидели бы какого-нибудь человека, который что-то пишет за столом, может быть, совершает сейчас какое-нибудь научное открытие, потом вскакивает, начинает ходить по комнате, улыбаясь, грозит кому-то кулаком, хмурится, снова садится, зачеркивает и пишет,— глядя на него, нам бы тоже захотелось что-нибудь открыть, заняться какой-нибудь деятельностью,— в следующем окне мы увидели бы пьяную компанию, которая что-то празднует, гремит музыка, и женщины в длинных платьях крутятся в сигаретном дыму, смеются и задирают ноги, двое каких-то мужчин сидят за столом, уставленным бутылками, и серьезно говорят о чем-то друг другу, выпивают и снова говорят, а у стены, на стуле, опьянев, плачет какая-то девочка в очках, и какой-то длинный бородатый утешает ее — от всего этого нам бы тоже захотелось выпить и потанцевать, а может, даже и поплакать... и, наконец, перед нами появилась бы какая-нибудь кухня, где старики, маленькая старушка в аккуратном фартучке и высокий старик с белыми седыми прядями, упавшими на лоб, пьют свой вечерний чай, причмокивают, закусывая пирожками с вареньем, а потом не спеша отходят ко сну, нам бы тоже захотелось причмокивая попить чайку с вареньем, пирожками и отойти ко сну...

А ведь так мы могли бы летать каждый вечер!

Пришел домой и все думал об этом, а перед тем как заснуть, решил завтра же подойти и познакомиться, сколько же можно тянуть, время ведь уходит, можно, между прочим, и прозевать свое счастье...

1 октября.

На перерыве, как только увидел ее в конце коридора, сразу пошел, да что тут, собственно говоря, такого сложного, взял подошел и смело все ей сказал, иду прямо на нее и все, что тут особенного, вот только на самых подходах какая-то сила давить начала, а когда, кажется, совсем немного осталось, уже несколько шагов,— прямо мимо пронесла, сила какая-то давит и все, попробовал еще раз — то же самое, проносит мимо и, главное, в самый последний момент, совсем рядом, как будто есть какая-то граница, черта какая-то, лежащая между незнакомыми людьми, я вообще-то эту черту давно чувствовал, причем чем больше мне кто-нибудь нравится, тем труднее эту черту перейти, если бы я ее, например, перешел, дальше-то уже легко, дальше я бы и сам смог, да еще как смог, вот только эта черта мешает, черт возьми, то есть, конечно, можно ее перейти, ведь ее на самом-то деле нет, я ведь ее переходил, не какой-нибудь я стыдливый юноша, еще раньше как-то несколько раз подходил к ним и говорил, например: девушка, разрешите с вами познакомиться, я в вас влюблен, или: мне кажется, мы полюбим друг друга и проживем всю жизнь вместе!

Смеются, или злятся, или даже удивляются, но ведь их-то самих на что ловят, я ведь знаю, мальчики-то эти джинсовые, бойцы, ловцы, я ведь знаю этих мальчиков, они ведь только на первый взгляд красивые, а сами глупые, да еще злые, не дай бог,— стоят где-нибудь и только и говорят о том, кто кого как ударил и как тот упал или как там девочку употребил, нет, ударить человека по такому тонкому аппарату, как тело, по-моему, это варварство! один такой учится у нас, все время его вижу,

то с одной идет в обнимку, она его за талию, он ее за плечи, то с другой и, главное, точно так же обнявшись, он ведь, например, запросто может в коридоре подойти или даже где-нибудь на улице, и, главное, она, та, к которой он подходит, идет с ним — вот что меня удивляет! неужели она не видит ничего...

Ведь секрет-то их очень простой, я знаю их секрет: главное, чтобы не сказать правду, отвлечь внимание от самого себя и от нее, от истинных своих желаний по отношению к ней и говорить о чем-то третьем, тут уже можно о чем угодно говорить, об учебе, о работе, можно об искусстве заговорить или о науке какой-нибудь, о чем-то таком высоком — это очень хорошо у них проходит, главное, ей показать — вон, мол, чем я интересуюсь, вон куда стремлюсь, а что с тобой иду, так это так, между прочим, ох, они это любят! на это-то они сразу клюют!

Но особенная вершина, я думаю, в том заключается, чтобы вообще ничего не сказать, сделать все без слов, напустить как-то так такого туману, чтобы и сам черт не разобрал, а уж в этом-то тумане подойти, взять ее, сделать свое дело и дальше...

Но на это редко кто способен, я думаю, большинство-то самые безобидные, они и об этом секрете не догадываются, наверное, хотя и действуют по нему, а сами и не знают, почему действуют так...

Но я-то ведь так не могу, даже если сам захочу — какой уж тут туман, когда я, может быть, люблю и хочу, чтобы любовь была на всю жизнь, чтобы все было далеко видно и ясно кругом...

Меня другое удивляет, что они-то, дуры, клюют на вранье, на пустоту, а если правду им сказать, так этого не хотят, но я разве виноват, что ты мне нравишься, что я тебя люблю и хочу всю жизнь прожить с тобой, как же я могу говорить о чем-то постороннем в этот момент, о работе или учебе, или об искусстве каком-нибудь высоком, — ведь ты же и есть моя работа, и моя учеба, и искусство, и наука, и все высокое...

В общем, как подойти и познакомиться, не знаю, от этого даже тоска стала разбирать, получается, надо ждать, что случай представится, и почему это всегда нужно ждать, когда так плохо, — наверное, мальчик бы этот джинсовый ждать не стал, подошел бы и взял, что ему нужно, что он захочет, и она пошла бы с ним, я знаю, они ведь такие, красивые-то, готовы с первым встречным...

Ушел из института в расстроенных чувствах, а когда вечером, уже перед сном, лежал под одеялом и думал о ней, вдруг жалость такая к ней пошла: господи, за что же я ее ругаю, я ведь ее совсем не знаю, а может, она не такая, может, она тоже ищет меня, ждет и не видит, не может найти, ходит рядом, а этих скотов она отгонит, она их взглядом не подпустит, они одежд ее коснуться не смеют...

Милая, родная моя девочка, лисичка моя, — я даже представил себе, как мы вдруг увидим друг друга, все равно где, на улице, в коридоре или в комнате где-нибудь окажемся вдвоем, посмотрим друг на друга и уже не сможем оторвать глаз, пойдем, пойдем, и нас сведет какая-то сила, столкнет, и мы быстро побежим куда-нибудь, где мы сможем остаться одни, к ней или ко мне — неважно, я знаю, когда так идешь, ничто уже не может остановить, даже ноги слабеют, и все внутри замирает от страха, как будто идешь не сам, а как во сне, как с закрытыми глазами, — придем туда, закроемся, запремся, отключим телефон и все, что можно отключить, и начнем, дрожа, вздыхая и стесняясь, раздевать друг друга, — и вот она ляжет передо мной, лисичка моя, и я увижу все эти ее тревожные места, я когда все это вижу, меня какая-то особенная тревога охватывает, и она будет смотреть так, как смотрит какая-нибудь совсем маленькая девочка, и я лягу к ней, и мы начнем любить друг друга, а потом, после всего этого, я, наконец, смогу сказать ей что-нибудь, смогу с ней познакомиться, и она уже не разозлится, и не засмеется, и не удивится, я думаю, я смогу ей сказать что-нибудь, и она поймет меня...

Хорошо бы так произошло, хорошо бы случай так сделал, мне так хочется этого, а вдруг завтра так произойдет, даже страшно, ночь надо пережить, а вдруг я не проснусь, человек ведь ночью куда-то уходит, вдруг не вернусь?

3 октября.

Сегодня только вошел в институт, в вестибюле наш преподаватель

спрашивает: почему на его лекции не хожу, — лекции тоже мне! велел идти наверх в зал на общее собрание — пошел только потому, что ее хотел увидеть, может, пришла, а так бы ни за что не пошел, как только вошел, сразу и увидел: слава богу, пришла моя девочка, лисичка моя, сидит, читает что-то, а рядом с ней место свободное, как будто нарочно, специально для меня оставили, я даже испугался, но отступать уже некуда — подошел и сел, сижу, смотрю по сторонам, как студенты усаживаются, а сам ничего не вижу, только темные ее волосы вижу краем глаза и немного лицо, чувствую боком, что она рядом сидит, прямо весь бок чувствует, как будто онемел, наконец не выдержал и оглянулся на нее, вроде просто так, и она на меня взглянула, тоже просто так, но в этом-то «просто так» уже много всего было, отвернулись, потом я снова взглянул на нее, и она на меня посмотрела, снова отвернулись, — тут я набрался храбрости и вовсю повернулся к ней, а она уже на меня смотрит, моя любовь... господи, какое же это счастье, когда вот так смотришь, как будто не два взгляда, а один, из глаз в глаза, как луч света, связывающий, как фотоэлемент в метро, и туда и сюда...

Внутри появилось что-то такое тревожное, так иногда перед сном бывает, вместо сна вдруг попадаешь куда-то рядом, а там пропасть, и ты медленно так начинаешь соскальзывать туда, и ужас и скорость нарастают, еле себя назад возвращаешь, как будто смерть, — вот я и засокользил, и страшно стало, понял, что нужно сказать что-нибудь, слово какое-нибудь, и, главное, это слово стало где-то там внутри у меня появляться, медленно, но стало, вот сейчас, вот-вот скажу его, только, милая моя, не опускай глаза, подожди секундочку, еще немного, сейчас слово вылезет...

Тут вдруг, как назло, шум какой-то, фон и свист, черт возьми, засчитал кто-то на весь зал в микрофон «раз», «два», «три», зашумел, я понял, что это собрание открывают, наш преподаватель считает, слышимость проверяет, он ведущий...

Держись, думаю, девочка, держись, не опускай глаз, я сейчас, слово вот-вот появится, рот уже открывается...

Опустила глаза, прикрыла их веками, ресницами, опустила головку, лобик, волосы упали, лицо закрыли, тут ее кто-то позвал шепотом, и она пересела на другое место, взглянула на меня оттуда разок, как-то слабенько, и снова опустила глаза в книгу...

Что-то во мне как будто оборвалось, как будто опустело, упущен момент, когда я еще к ней подойду? зачем же она пересела? какая-то печаль внутри появилась, в перерыве встал и ушел домой...

Весь день лежал на кровати, смотрел в потолок, ни о чем не думал.

5 октября.

Ходил сегодня в институт, ее видел, прошла мимо и посмотрела, кажется, с интересом даже, а я вдруг, сам не знаю почему, взял и улыбнулся ей, так довольно нагло, она даже смутилась, по-моему, — попал, значит, — вот как нужно-то, а я-то еще с человеком не знаком, а уже про любовь вообразил и, главное, сразу хотел бухнуть про эту любовь, это, мол, правда, — может быть, это-то и была бы самая большая неправда, никакой ведь любви-то еще и нет, а так только, легкая влюбленность, а я про любовь заговорю, значит, буду ловить на любовь, врать, вначале, может, надо познакомиться, поговорить, о чем-нибудь, о любой ерунде, о работе или учебе, об искусстве каком-нибудь или науке, — на перерыве решил проверить, прошелся мимо нее совсем близко, чуть плечом не задел и выразительно так взглянул, мол, вот-вот подойду познакомлюсь, она, по-моему, даже напряглась, ждет, верно, потом вдруг подумал: тут ведь тоже есть некоторые плохие стороны, что-то такое нечестное — подойду, например, познакомлюсь, заговорю, увлеку, получу все удовольствия, какие полагается, а любви-то вдруг и не выйдет, нет, тут первому подходить нельзя, надо так как-то изловчиться, чтобы она сама подошла, сама увлеклась и полюбила, ведь если человека принуждать, никакой любви никогда не получится, надо, чтобы он сам подошел к этой любви, если потом он ее не найдет, никто не виноват, — нет, я, конечно, готов выполнять все ее желания, разве что скажет: скажи, мол, что ты меня любишь, — тут лучше промолчать, зачем давать ложные надежды, обещания, я ведь ее пока еще не люблю, а если, предположим, захочет близости

или еще чего-нибудь такого материального, я даже рад! и все выйдет хорошо, а если не выйдет, тоже никто не в обиде, и, главное, — полная свобода, во всем: хочет — ушла, хочет — пришла, — надо свободнее жить, без предрассудков всяких, без этой веры в случайности, — хочет со мной — пожалуйста! хочет с другим — ради бога! а если будет любовь, то вряд ли она захочет еще с кем-нибудь, а потом любовь — это высшее чувство, можно любить одного, а спать с другим, что тут такого, чувственные удовольствия и душевные — разные, человек ведь состоит из души и тела, и потом, что это за отношение к женщине, как к своей собственности, только я и больше никто, она ведь тоже человек, ей ведь тоже хочется иногда и с другими развлечься, не понимаю я этой ревности!

После занятий ехал домой и все думал об этом, вот, например, взять хотя бы эту лисичку: я ведь не знаю о ней ничего, может, у нее муж какой-нибудь есть, кольца я что-то не заметил, но ведь их сейчас и не носят, не модно; может, она к этому своему мужу привыкла и ей хочется с другими поиграть, вот она и посматривает на меня, что ж тут непонятного, плохого-то что? А может, даже и не муж, а вообще кто-нибудь, кого она любит сильной любовью, а когда на меня посматривает — отдыхает от тяжелых чувств, может ведь, что тот, кого она любит, ее и не любит, такое ведь бывает, а она мучается, ходит, ищет его по улицам, хочет встретить, дежурит у телефона, вдруг он позвонит, а ему совсем и не нужна ее любовь, он на нее внимания почти не обращает, какой-нибудь такой старше ее, деятель науки или искусства, солидный на вид, с бородкой и таким умным, серьезным видом, у нас учится один такой, приятель мой, умный, но я-то ведь знаю, он только на вид такой умный, а сам дурак еще, может, похлеще других, хотя действительно деловой, а она-то, девочка, любит такого, сидит где-нибудь в компании, куда он ее привел, смотрит на него своими заблестевшими от вина глазами, как он говорит серьезно так, вдумчиво, какому-нибудь такому же, как он, о проблемах разных, о делах своих в каком-нибудь искусстве или науке, а на нее и не смотрит, так изредка только между прочим поглядывает — разве такие-то, как он, понимают что-нибудь в любви, разве они умеют любить, знал бы он, дурак, что все его проблемы и дела в этих науках и искусствах и одного даже ее темного волоска не стоят, упавшего с головы, — черт, даже волнение какое-то из-за этих мыслей появилось в груди, неужели она действительно любит какого-нибудь такого и встречается сейчас, после занятий с ним, — они пойдут куда-нибудь, к ней или к нему, и у нее на ходу все внутри будет замирать от волнения, и они там, закрывшись, разденутся, и будут любить друг друга...

Вдруг какая-то такая жалость пошла к самому себе и боль в груди, как будто там что-то рвется, прямо физическая боль, неужели она сейчас, вот прямо сейчас, лежит где-нибудь с ним и ничего обо мне не знает, не помнит обо мне, а я, может быть, никогда и не увижу ее, умру тут от рака какого-нибудь или от разрыва сердца, и некому даже помочь будет...

До самого утра все лежал, переживал, и все внутри болело, когда видел это, только под утро заснул...

7 октября.

Был сегодня в институте, как только ее увидел, подумал, что вряд ли она кого-нибудь любит, не смотрела бы так на меня, а даже если и любит, чем я хуже того, решил ведь действовать легко и свободно, по принципу «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» — Пушкин сказал! тогда ведь только она сама сможет мной увлечься, нарочно взял и стал ходить мимо, а сам так игриво поглядываю на ножки проходящих студенток, на все остальное, провожаю их взглядами, чтобы она поняла, что они меня интересуют, а вовсе не она, но почему-то очень скоро стал чувствовать, что из этого ничего не выходит, не получается как-то, стал даже злиться из-за этого на самого себя, в чем же тут дело: получается, что я не из-за самих этих студенток смотрю на них, а из-за нее, получается, что не они меня на самом деле интересуют, а она, ее реакция на мой интерес к ним, но ведь интереса-то этого нет, а нужно, чтобы он был на самом деле, тогда только и реакция будет и удастся ее увлечь, а так игра и вранье, обман получается...

Пока думал обо всем этом, обнаружил себя стоящим где-то в углу коридора, с каким-то растерянным дурацким видом, подумает еще, что я это из-за чувств к ней так растерялся, из-за любви к ней имею такой дурацкий вид, нет, надо легче, проще, веселее, может, лучше будет, если я буду ее просто не замечать и, как только встречу, уйду куда-нибудь, вроде, по делам иду, она яснее поймет, что она меня не интересует, — когда она была рядом, попробовал: таким деловым шагом прошел мимо и ушел, зашел в пустую аудиторию, сел на стул и сижу, а облегчения нет, получается, что своим уходом я тоже играю, дел-то у меня нет никаких, но что же сделать, чтобы она поняла, что она меня не интересует, ведь все эти «не интересует» будут же не абсолютно настоящее «не интересует», ведь если бы она меня абсолютно не интересовала, откуда бы я мог знать, что хочу ее заинтересовать, я бы уж тогда, когда первый раз ее увидел, просто бы не обратил на нее внимание и все, ну, предположим, что и сейчас я могу с головой уйти в учебу, во все, что нам тут преподают, заниматься этим, и буду только трудиться на благо человечества, ничего вокруг не замечая, только вот где гарантия, что она тогда ко мне подойдет, ведь так может случиться, что и один останешься, некому будет даже позаботиться, согреть, накормить, черт возьми!

Когда уходил с занятий домой, снова ее увидел, посмотрела на меня долгим таким взглядом, мне кажется, даже с любовью или с грустью какой-то, черт его знает, но я вдруг окончательно понял, что между нами ничего не выйдет, даже испугался, что она вдруг возьмет и сама подойдет, хотя вот только сейчас этого хотел, мне даже как-то стыдно стало, показалось, что я ей тогда обязательно совру или скажу какую-нибудь ерунду, я даже ответить ей взглядом не смог, кажется, что я ее уже в чем-то обманул, что сами глаза мои врут, что у меня глаза обманщика, опустил их в пол и убежал — ужасно неудобно как-то!

По дороге все думал о случае, что ж получается, если не соврать, то остается зависеть от случая, прозевал его и конец, что ж получается, что всем на свете правит случай и его всегда ждать приходится, даже странно, такая неопределенность! вот все эти люди, что рядом со мной едут, они тоже от случая, что ли, зависят? действительно, вот ведь, например, этих двух стариков, старика и старухи, могло и не быть, стоило какой-нибудь пчеле пролететь мимо, когда их родитель первый раз на их родительницу взглянул, стоило ему тогда отвлечься на эту пчелу, тогда, лет сто назад, он бы ее, может, и не заметил, родительницу-то, прошла бы мимо, и не было бы ничего, а если бы даже и заметил потом, то было бы все не так, появились бы какие-нибудь, но не эти, а немного другие...

Или вон пьяный валяется, он ведь специально в себя столько налил, чтобы ему хорошо было, чтобы этих случаев-то не замечать, а на самом деле он ими еще больше окружен, того и гляди под машину попадет или головой вниз откуда-нибудь свалится, даже странно, что не сразу — вон встал, идет, как будто его кто-то ведет, хранит, витает над ним случай, что ли, или кто, как бы в насмешку над тем, кто не пьет...

Можно, конечно, попытаться вероятность этого случая ограничить, забраться в квартиру куда-нибудь, набрать еды и сидеть там, не выходя, заниматься чем-нибудь, открытия какие-нибудь делать или в постели лежать с какой-нибудь, без ничего, глядеть только друг на друга и любить, но ведь долго-то там не пролежишь, не просидишь, еда кончится, за квартиру платить заставят, выйдешь, а случай тут как тут, сосулькой тебя по башке или еще чем-нибудь...

А дети, как их берегут, кормят, спать укладывают, а они-то лежат под одеяльцами своими, мечтают о том, что завтра-то будет, а ведь все равно умрут, не завтра, так в старости — может, это и есть единственный закон, которому случай не подчиняется, как он ни верти, а все мы смертны, смерть будет обязательно, это даже наукой доказано, хотя и тут, говорят, бывали случаи отсрочки или даже совсем...

Потом он, случай-то, и в смерти тоже, ведь ты не знаешь, когда именно умрешь, где и каким образом, что же это получается, все от него зависит, все мои движения даже, вот, например, захотел пройтись по коридору, или нос зачесался, что ж не чесать, как же сопротивляться-то! ведь можно, например, покончить с собой, я ведь сам себе хозяин, возьму и покончу, только опять же лезут эти три вопроса, когда, где и каким образом? сегодня же покончу с собой, но почему именно сегодня, а не завтра и не послезавтра, — нет, вот пришла мысль о самоубийстве и сразу

работать на ее выполнение, сейчас, например, прямо в автобусе, но как, надо хотя бы выйти, не душить же себя руками за горло, неудобно, надо выйти и сразу под машину кинуться, но там-то, где остановка, ходят ли машины, и потом, задавит насмерть или искалечит — опять случай? но есть же наверняка: броситься с какой-нибудь вершины, с седьмого этажа, например, но ведь до этого этажа-то еще надо дойти, и тут, между мыслью и вершиной, целая цепочка случаев, дверь в подъезде закрыта, лифт сломается, или в окно не пролезешь, достать пистолет, но почему он именно там будет лежать, где ты его найдешь, кто его туда положил и почему именно пистолет, а не яд, — яд, но и с ядом точно так же! получается, что между мыслью о самоубийстве и самим самоубийством случай стоит, еще, может, и неслучившийся, но стоит; может сыграть в мою сторону и скорей всего сыграет, а может и не сыграть, закона тут нет, всегда маленький процентик найдется, значит, это и самоубийством-то назвать нельзя, так случай играет!

Вечером тоже все думал о самоубийстве и в постели думал, накрывшись одеялом перед сном, неотвязные какие-то мысли, что ж, просто лечь вот так и умереть, не двигая ни рукой, ни ногой и не дыша, но как, дышать-то все равно будешь, я даже попробовал задержать дыхание на столько, на сколько смог, но долго не выдержал, все равно вздохнул; можно, конечно, и этому научиться, но ведь и тут есть случай, или очень маленький, или очень большой, может, например, солнце лопнуть, и ничего не будет, да что солнце, сердце может лопнуть от напряжения, — вот если бы человек мог себя убить одной мыслью, только подумал и сразу испарился, душа вон! я даже подумал, а что, вот сейчас же прямо и умру, так сильно подумал, что даже весь похолодел и сердце забилось, глухо так стучит: тух! — тух! — тух!, страшно, но нет, не умираю, живу, — интересно, почему?

10 октября.

Эти дни бывал в институте, бродил из конца в конец по коридорам, по лестницам спускался, в буфет заглядывал, несколько раз замечал ее, проходит мимо, смотрит иногда, — нет, ничего уже назад не вернуть, все кончено, между нами все кончено, — я хоть тоже иногда смотрю на нее, но могу уже и не смотреть, если захочу, чувствую, что могу, так иногда только смотрю по привычке...

Раз, правда, подошел ко мне один, есть у нас такой джинсовый мальчик, учится вместе со мной, вид у него глупый и даже неприятный какой-то, хотя на первый взгляд ничего, красивый даже, волосы до плеч, нос прямой, щеки румяные, что-то ему нужно было от меня, не помню. Идем мы с ним по коридору, и она навстречу, тут я вдруг опять почувствовал какое-то раздражение, и мысли разные полезли в голову, — подумает еще, что раз я с ним иду, говорю о чем-то, улыбаюсь, слушаю его, то, значит, он мой приятель, и у нас есть что-то общее — я даже поспешил скорее от него отделаться, даже как-то грубо получилось, но когда уже отделался, легче не стало, а, наоборот, даже стыд какой-то пошел, — да что я, собственно говоря, все же мы люди, все братья, должны друг друга любить, ну и что, что у него глупый вид, что дурак или там злой какой-нибудь, его из-за этого бросать, что ли, нужно, — он же ведь тоже человек, тоже чего-то хочет, и почему это мне нельзя с ним идти, он же мне ничего плохого не сделал, к тому же ведь если я с ним не пойду, он лучше от этого не станет — нет, это я плохо поступил, мне даже захотелось его отыскать и что-нибудь ему сказать, и потом не все ли ей равно, вернее, не все ли мне равно, с кем я иду, когда она на меня смотрит, хоть с самым последним гадом и дураком, может, я сам хочу быть таким, это же ведь мое дело и никого не касается — что хочу, то и делаю! я уж и не могу пройтись по коридору с тем, с кем хочу...

Сидел потом на лекции в каком-то нехорошем настроении, слушал нашего преподавателя, — странное дело, раньше я его слушал — ничего, он мне даже нравился иногда, а последнее время прямо видеть его не могу, а почему — неясно? я думаю, это из-за света этого неонового, сейчас ведь пасмурно на улице, рано темнеет, и свет этот зажигают, а от него лица у всех делаются какие-то белесые, как у мертвецов, а он-то, видно, и так человек нездоровый, лицо какое-то желтое, синяки под глазами, сердце, наверное, давление и еще выражение на лице какой-то постоянной брезгливости, волосы уже слабые на голове, ходит в каком-то сером костюме с галстуком, в туфлях черных, я как-то заглянул в аудиторию, он другому курсу читал, так все то же, теми же словами, все про то, чертит мелом на доске, и еще свет этот жужжит! мне даже жутко стало, на перерыве попытался отвлечься, заставлял себя думать о чем-нибудь другом, о любой ерунде, вот, например, хотя бы о пластике, которым коридоры недавно покрыли — хорошо теперь уборщицам, удобно мыть, паркет раньше натирать приходилось, только вот зря на пластике снова паркет нарисовали, если нет паркета, зачем же рисовать, врать-то зачем, взяли бы и оставили естественный природный цвет, стал думать — вроде нет у него никакого природного цвета, черт его знает, какой у него цвет, даже зло стало разбирать, да еще свет этот белесый жужжит, так равномерно, как будто ничего не происходит...

Забрал свой портфель и убежал с лекции, не могу больше там находиться, вышел на улицу — там дождь моросит, слякоть, небо серое, оглянулся на институт, окна горят неоновым светом, за окнами головы студентов мелькают, лекция начинается, сейчас он им будет говорить, а они слушать и записывать, а потом ему пересказывать то, что он им сказал...

Влез в автобус, а настроение отвратительное, водитель еще тоже объявляет «следующая остановка — школа», а потом «больница», потом институт какой-то «пищевой».

Пришел домой, поел, а злоба не проходит, спать лег, накрылся одеялом, а она все не проходит, даже еще сильнее разошлась, и страх даже какой-то пополз, — будешь ты, думаю, дурак, вот так жить в каком-нибудь таком новом районе, где дома — коробки бетонные, серые и всегда пасмурно, в этих коробках и вещи все одинаковые, и люди, кажется, на одно лицо, работать будешь в каком-нибудь таком институте, лекции читать одни и те же, все об одном, чертить на доске, а свет жужжать будет и так все время, всегда, ну, потом, может быть, пошлют пару раз посмотреть на мир, провезут в автобусе, с такими же, как ты, дураками, по городам, увидишь, как там будут люди стоять, говорить о чем-то, куда-то идти, пройдет мимо тебя где-нибудь на перекрестке какая-нибудь необыкновенная красавица в своих одеждах развевающихся, обдаст тебя каким-нибудь душистым запахом, посмотрит на тебя своими глазами, тряхнет на солнце темными волосами и исчезнет навсегда, а ты останешься стоять в своих туфлях, в своем костюмчике, плешивый, а тут уже срок вышел, пора домой, на работу в институт, вернешься с работы с портфельчиком, а дома жена какая-нибудь только что пришла из гастронома, рыбу принесла, начнете вы эту рыбу жарить на постном масле, а потом есть, дети будут какие-нибудь: папа, папа, дай еще кусочек? а потом детей спать, а сами телевизор включите, футбол или концертную программу, или в кино, леденцы пососать, посмотреть, как такие же, как вы, на работу ходят, разговаривают там, проблемы разные решают, домой приходят, едят, детей таких же воспитывают, а потом в кино идут посмотреть на самих себя, ну, а утром снова — следующая остановка «школа», «больница», «пищевой институт»...

Боже мой, что ж, так всю жизнь, что ли, навсегда, но как же быть, что же делать, убить кого-нибудь, что ли, но кого, да и за что? потом ведь это не поможет, в тюрьму ведь посадят, будешь там сидеть в камере какой-нибудь двадцать лет, один на нарах засыпать, думать обо всем — с ума сойти можно!

13 октября.

Зачем-то пошел сегодня в институт, в перерыве от нечего делать стал ходить и рассматривать их, я ведь давно уже заметил, что все они похожи на каких-нибудь животных, на кошек, на собак, лошадей, птиц разных, даже на насекомых каких-то иногда, и сейчас я даже специально, когда какая-нибудь навстречу попадалась, смотрел и определял, кто она, например, бежит по коридору одна, а я уже вижу — это мышка, или поднимается медленно так по лестнице, смотрит круглыми глазами в разные стороны — рыба, или в буфете где-нибудь стоит рядом, клюет, глазками боком посматривает, моргает, в лапке хлеб держит — вылитая курица!

Притом я заметил, что вначале они как-то даже нравятся, хочется подобраться поближе, рассмотреть эту мышиную, рыбью или куриную линию, погладить, потрогать, но очень быстро появляется ощущение, что ты

их разгадал, когда увидел, на кого они похожи, слишком быстро становится скучно, глядя на них, и начинаешь понимать, что уж ничего, кроме мышиного, куриного или рыбьего, от них не жди... И потом еще обязательно вылезает какая-нибудь частичка, совсем небольшая, которая почему-то особенно раздражает, прямо ненависть какая-то появляется, причем на кого ни посмотришь, обязательно или глазки слишком близко поставлены, или нос торчком, или коленка костлявая, или пальчик какой-нибудь слишком толстый, и ноготок у него таким лаком покрыт, что жутко делается, потом только эту частичку и видишь, а человека и нет уже...

Неужели среди них нет ни одной без этой частички, неужели нет такой, на которую можно бы было смотреть не отрываясь, и только наслаждаться, лежать где-нибудь с ней и рассматривать ее бесконечно, говорят же, что у человека должно быть прекрасное лицо, одежда, и душа, и мысли, а у женщины тем более! где же она, такая, у которой все прекрасно? может, и нет такой, может, и не стоит искать, может быть, нужно жить одному, в этом, может быть, счастье и состоит?

Заметил в коридоре ту лисичку, на которую я все время смотрел, и даже удивился: что мне могло в ней понравиться, во-первых, это лисье выражение, есть в нем что-то мелкое и неинтересное, во-вторых, ноги явно тяжеловаты и коротки при длинном теле, хоть бы юбку какую-нибудь носила длинную или туфли на каблуках, придумала бы что-нибудь такое, что они умеют, некрасиво же ведь, неужели не понятно!

Забрал свой портфель и ушел из института, не могу я тут больше находиться, свет еще этот жужжит, в автобусе тоже, все мокрые, после дождя, что ли, толкаются, сволочи, вонь, лица у всех какие-то дикие, как у сумасшедших, вылез из автобуса к чертовой матери и пошел пешком, назло, под дождем, домой пришел, разделся догола перед зеркалом и осматривал себя: фигура у меня стройная и даже высокая немного, руки и ноги небольшие, изящные, не то что у этих у всех, потом рассматривал лицо — я еще бороду стал недавно отращивать, так совсем скоро лицо станет похоже на лицо умного и красивого человека, особенно если нахмурить брови и нос немного так усилием мышц выпрямить, а то он у меня задирается на самом конце вверх, это портит впечатление, я даже становлюсь похож на кого-то, вот только на кого — не могу определить, стал внимательно в зеркало вглядываться: похоже на какого-то зародыша какой-то птицы, вот черт, я даже специально маленькое зеркальце взял, чтобы с помощью его и большого разглядеть профиль со стороны, действительно, какая-то идиотская рожа получается, я думаю, это, наверное, из-за волос, я стал замечать последнее время, что заметно лысею, это, наверное, от переживаний, я ведь слишком много переживаю последнее время, нельзя так много переживать, и глаза какие-то мутные стали, лицо серое какое-то, привкус во рту дурной, может, я заболеваю, озноб какой-то, надо бы одеться, может, я действительно заболел, сейчас ведь немудрено, вон погода какая, гнусная погода, дождь льет и льет, солнца совсем нет, утром занавески откроешь, а за окном не утро, а вечер, хоть лампочку зажигай, тучи висят и висят, сплошной крышей, я даже не помню, чтобы так раньше было, ну польет, польет немного и перестанет, а сейчас уже месяц или два нет солнца, как назло, что ли!

Штаны стал надевать, не могу даже и на одной ноге постоять, падаю, и все, нога подгибается, дрожит, устал я что-то, вот, наверное, в чем все дело...

20 октября.

В институте не был целую неделю, болею, температура была высокая, утром только сегодня упала, проснулся, слабость какая-то по всему телу, сразу сон вспомнил, который ночью видел, яркий такой, цветной, такие только во время болезни, говорят, снятся: стою я на вершине какой-то горы, вокруг вроде утро, потому что еще темно, видно плохо, туман какой-то белесый в воздухе или облака, а солнца еще нет, впереди только небо немного светится розовым светом, там, где солнце должно появиться, видно, что оно уже подходит где-то там, а вниз по горе спускается невысокий, довольно густой лес, такие обычно на горах растут, а за лесом, совсем уже внизу, видно море, огромный залив, вода серая и неподвижная до самого горизонта, и тут я замечаю, что стою не один, а с этой лисичкой, стоим мы в обнимку, я ее обнимаю за плечи, а она меня за талию, лица ее я не могу разглядеть, потому что смотрит она все время куда-то в сторону, в темноту, вижу только ее скулу, похожую на какое-то смуглое яблоко, и кончик тонкого лисьего носа, причем снизу из леса все время налетает ветер, и ее темные блестящие волосы попадают мне в лицо, и я никак не могу понять, то ли это ветер так пахнет какими-то душистыми травами и деревьями, то ли ее волосы, запах такой, что у меня немного кружится голова, когда я погружаю в них свое лицо...

Но вот на горизонте загорается ярким таким золотым огнем хребет узкого мыса, которым начинается залив, ветер начинает шуметь в лесу и разносит в стороны клочья тумана, какие-то утренние птицы кричат резкими голосами, небо наполняется светом, становится далеко видно, и вдруг из самой середины хребта на горизонте появляется огненный край солнца..

Я поднимаю руку и показываю ей это, она наконец поворачивает свое лицо, смотрит вперед, а я почему-то, так бывает, наверное, только во сне, начинаю видеть и нас, стоящих на самой вершине, и все вокруг, лица у нас сияют на солнце, глаза прикрыты от нестерпимого света, ветер шумит, рвет нашу одежду, облепляет ею тело, треплет волосы, а солнце поднимается выше, и серая поверхность морской воды...

На этом записи в дневнике обрывались.

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

Ежовка

В 1932 году деревенский парень Ваня Сверчков прибыл в Москву по путевке комсомола. Курносый, конопатый, семнадцатилетний, он скинул котомку, помялся в дверях и пробасил: «Хочу учиться!» Его направили: в торговый техникум, в школу красных эмиссаров, в полпредство в Дании и на ответственную работу в Африку. Жизнь удалась.

В 1982 году генконсул Иван Парфеныч Сверчков заболел. Мучили тошнота, головокружения, потеря бдительности на переговорах. Пришлось лететь в Москву.

— Зачем пожаловал, Иван Парфеныч? — спросил его замнач по кадрам.

— Неможется, Сударь Евсеич.

— Так в чем же дело? — сказал замнач и набрал вертушку. — Сверчкову неможется, зарезервируйте Ежовку № 5, — и похлопал по плечу. — Ступай, Парфеныч, лечи старые раны — и в строй.

Профилакторий «Ежовка» стоял на высоком холме над Москвой-рекой, обнесенный каменной оградой. Сосновая роща шумела вокруг. Асфальтовые дорожки, беседки, качели. Иван Парфеныч гулял и думал: «Вот она, родная сторона. Пропади она пропадом, черная Африка!»

Здание из бетона и стекла. Повсюду кондишн, в коридорах ковры, молоденькие сестры бесшумно скользят по паркету. Палата на одного, с видом на реку. Массивное ложе, столик с фруктами и телевизор «Грюндиг» с непривычной яркостью изображения.

День начинался так: Иван Парфеныч сдавал анализы, взвешивался, шел на процедуры. Плескался и ржал на подводном массаже, надолго залегал в кислородной камере. Потом был завтрак: сок «Чипаулько», клубника, зеленый чай. Наевшись, читал «Правду», «Звездочку», черный и белый ТАСС. Гулял, обедал, спал. По вечерам смотрел телевизор. Так шли дни.

Его просвечивали, выслушивали, простукивали. Установили: застарелый склероз, первичный рак, легкий диабет и еще полдюжины болезней, с которыми после семидесяти можно тянуть как угодно долго.

Приходила жена в мехах. Приходил сын — заботливый, стареющий юноша, в кожаном реглане и с «сейкой» на запястье. Иван Парфеныч

принимал суровый вид, запахивал халат, учил жизни. Под конец — одаривал. Сотней чеков, «паркером» либо «дюпоном».

Раз в неделю звонили из отдела. Иван Парфеныч слушал, поддакивал, рапортовал.

Как-то вечером, после особенно тяжелой процедуры, он решил пройтись по ту сторону забора, посмотреть на зимний лес.

Натянул нерповые унты, повязал мохеровый шарф и потопал. Снег весело скрипел под ногами. Переправился через замерзший пруд, пошел на дымок.

Тихо было в ночной Ежовке. Избы покосившиеся, заборы дырявые, коровник пахучий. Вдали забрехал пес, кто-то ругнулся матом. Иван Парфеныч понял, что он в деревне.

На выходе из села увидел одинокую избушку. Тусклый свет пробивался сквозь окно. Нечто родное почудилось ему. Он подкрался и заглянул вовнутрь.

Бабка Мотря принимала роды у солдатки Сверчковой. Подняв мальчонку за ноги, она сказала:

— Счастливый будет. Родился он в дрянное время, но все же в рубашке. Ждут его учеба дальняя, табор за семью холмами, версты разной длины, морды черные и белые, языки шершавые. Будет жить он в срединном пятаке, быку на славу, коту на упокой. Будет жизнь у него сказка-небывальщина, но все пройдет, и умрет обласканный в непомянь-дому, за тремя засовами. Царю слуга, детям батюшка.

Анатолий МИХАЙЛОВ

Рентген

А все-таки удивительно: какое отвращение может иной раз вызвать прикосновение человека. Например, сейчас: стоило мне только переступить с ноги на ногу, как сзади тут же решили, что я сделал шаг вперед. И сразу же вплотную придвинулись. Но ведь я даже не сдвинулся с места. Точно так же на эскалаторе. Упрутся чемоданом, и как будто так и надо. Возьмешь и опустишься на несколько ступенек. И снова смотришь. На тех, кто едет навстречу. Какие угрюмые лица. Неужели и я такой же? Но не успеешь об этом подумать, как чемодан опять к тебе впритык.

Я делаю резкое движение — как будто хочу согнать с плеча муху. И отодвигаюсь. Но сзади, как ни в чем не бывало, придвигаются снова.

Повернув голову, я замечаю, что за мной стоит женщина. Неужели не обиделась? Что я так невежливо отодвинулся. Как-то даже странно.

Но женщина даже не обращает на меня внимания. Стоит и смотрит. Как на пустое место. Просто соблюдает дистанцию.

В мое окошко выстроились восемнадцать человек. Я сосчитал. Если на каждого придется хотя бы по три минуты, то стоять не меньше часа. Но можно было бы и не считать.

Я еще понимаю, в железнодорожных кассах: забьешь сразу три очереди и ходишь, подсчитываешь. В одной кассе кассирша взяла и выставила картонку. Без предупреждения. Все недовольны, шумят, а нас голыми руками не возьмешь: у меня еще две кассы в запасе.

Но, с другой стороны, здесь даже преимущество. Стоишь — и не рыпаешься. Можно даже подремать. Жалко, что я не умею спать стоя. Я облизываю пересохшие губы и, проведя по ним пальцами, проглатываю слюну. Вместо смазки для горла. Но в горле все равно продолжает саднить. Не там, где миндалины, а чуть пониже.

Утром я ел лапшу и скорее всего недоварил. Но дело даже не в лапше. Повреждена слизистая оболочка. И поэтому спазмы.

А все проклятый балык ставриды. Вдруг появился. В кулинарии. Иду, смотрю — что-то дают. Ну, и взял. Десять кусков. И всего два рубля. Дешевле «бормотухи». Могу я себе такое позволить? Растяну, думаю,

дней на десять. Все-таки лакомство. Каждый день по кусману. А пришел домой и все десять кусков сразу и срубал. Сам не знаю почему. Накинулся как собака. А если бы кто-нибудь постучался, наверно, даже бы зарычал. А когда заглатывал последний кусок, что-то вдруг застряло в горле. И ни туда, ни сюда. Добежал до туалета и давай травить. Вместе с кровью. Думал, осталась косточка. Но в травмопункте сказали, что ничего нет. С тех пор и болит. Уже целый месяц.

Может, я и ошибаюсь, но мне вдруг показалось, что народу впереди становится не меньше, а больше. Но ведь очередь двигается вперед! Как же так? Неужели обман зрения?Надо проверить.

Да, я не ошибся. На этот раз получилось двадцать два. Да еще человека три отошли. Выходит, что прирост. Семь человек. За каких-то полчаса. Можно даже построить график.

Между тем очередь выросла еще и, обогнув колонну, приблизилась к справочному. В справочном должна находиться дежурная. Но дежурной почему-то нет. Все стоят и ждут. Наверно, сейчас придет.

Один не выдержал и полез прямо к регистраторше. Ему только спросить. Но его тут же одернули и поставили на место. Чтобы не мешал человеку работать. «Ты что, лучше всех? Видишь, все стоят!»

Тот, что хотел только спросить, смотрит на очередь и, махнув рукой, скрывается за колонной.

А один просто подошел и говорит, что стоял. А его никто не видел. Сзади закричали: «Не стоял! Не стоял!»

Но впереди кто-то возьми и ляпни: «Надо же, не дадут человеку отойти. Вот народ!»

Тот, что влез без очереди, после этих слов сделался ну прямо скала. Теперь его не свернешь и бульдозером.

Тогда стали допытываться у того, кто за ним. А тот сначала молчит. А потом вдруг говорит:

— Да, товарищи. Он стоял, я точно помню. Я, говорит, гражданин, за вами. И отошел. — Потом поворачивается к тому, что влез без очереди, и улыбается: — Так что стой. Будешь за мной.

Не успели еще как следует успокоиться, как подошел ветеран войны. Его встретили в штыки. Потребовали развернуть удостоверение и показать фотокарточку. Регистраторша высунулась из окошка и закричала:

— Как только не стыдно? Человек защищал Родину, а вы его не пускаете!

Решительный тон регистраторши все-таки подействовал. Как будто в приемном пункте стеклотары. Когда кто-нибудь начинает шуметь и приемщица строго предупреждает: «А ну-ка, прекратите!» И все тут же затихают. С приемщицей шутки плохи: возьмет и перестанет принимать. И ветеран войны, как слепой, тычется в чьи-то спины и раздвигает выставленные локти.

Регистраторша сердито отодвигает стул и, выдвинув ящик картотеки, ковыряется в карточках. Задвигает ящик обратно и, хлопнув мотающейся дверцей, пропадает.

В справочном все так же никого нет. Но на подступах все равно толпа. Правда, состав толпы полностью сменился. Те, что стояли раньше, уже давно махнули рукой и растворились по очередям.

Регистраторши все нет, и в очереди усиливается ропот. Все как-то разом заговаривают. Кто-то в самом хвосте замечает:

— А чего спешить? Не сдельщина. День прошел, и ладно.

Но впереди сразу же находится защитник:

— Она одна, а нас много. Посидишь здесь с восьми до восьми...

Но вот снова появляется регистраторша, и разговоры сразу же прекращаются.

Я уже второй. Спина впереди меня наконец разгибается, но не исчезает, снова перегибается и опять загораживает окошко.

— Я же вам сказала, что на сегодня талонов нет! Сколько раз можно повторять? Вы что, не русский? Приходите завтра к половине девятого... — Голос у регистраторши злой и какой-то надтреснутый. Как будто ее только что обвесили. — Следующий!

Тот, которому не достался талон, выпрямляется и некоторое время

все еще стоит на месте. Поворачивается и, обведя затравленным взглядом очередь, как бы сравнивает ее с предстоящей завтрашней. Но наконец отходит и, подойдя к вывешенным под стеклом спискам, начинает водить по строчкам пальцем. Очередь ему сочувствует. Я наклоняюсь к проему и, навалившись на выступ, просовываю голову.

Кто-то сзади вздыхает:

— Как же, придешь... В восемь откроют гардероб и полный колидор... Утром еще хуже, чем днем...

Я говорю:

— Понимаете... Мне нужно сделать рентген...

— Адрес! — нетерпеливо произносит регистраторша и, повернувшись ко мне вполоборота, готовится искать мою карточку.

— Невский, сто тридцать четыре, квартира...

Но регистраторша меня недослушивает:

— Невский, сто тридцать четыре рядом. Следующий!

Я рассматриваю на ее щеке складки кожи и пучок волос за дужкой очков возле уха. Женщина, что выдерживает со мной дистанцию, пытается втиснуться между моим плечом и стойкой окошка. Но я растопыриваю локти и расчищаю себе на выступе пространство.

Регистраторша поворачивает на меня дула очков:

— Вы что, не понимаете русского языка? Я же вам сказала, дом 134 относится к другому участку. Следующий!

Женщина, что выдерживает со мной дистанцию, возмущается:

— Надо же... Стоит как пень. Вам же сказали!

Я к ней поворачиваюсь:

— Да заткнитесь!

Потом выхожу из очереди и подхожу к вывешенным под стеклом спискам. К тем самым, к которым подходил тот, кому не достался талон. Мы с ним теперь побратимы. Мой побратим топчется возле справочного. В справочном все так же пусто.

Я вожу глазами по списку и нахожу Невский проспект. Четная сторона. Я ведь уже смотрел. Прежде чем становиться в очередь. И вдруг замечаю, что дома до 132-го идут все подряд, а потом вдруг сразу дом 146. А где же остальные?

Очередь, которая теперь на моей стороне, мне симпатизирует. Сейчас я пострадавший. Но самое главное — обезвреженный.

— А вы поищите в Перекупном, — приходит мне на помощь женщина, что вздыхала про «колидор», — может, ваш дом там.

Теперь я вожу глазами по списку, в котором Перекупной. И женщина, что вздыхала про «колидор», оказывается права. Несколько домов по Перекупному вклинилось в квартал между Дегтярной и Полтавской. А шесть номеров по Невскому считаются в Перекупном переулке. Так почему-то удобнее.

Придется начинать все сначала. Я подхожу к своей новой очереди и делаю прикидку на глаз. Эта прикидка не сулит мне ничего хорошего. Человек двадцать, не меньше. А если точно, даже страшно подумать.

Но, с другой стороны, это мои бывшие соседи. Стояли плечом к плечу. Неужели они меня не запомнили? Передние, конечно, все слышали. И видели. На них теперь главная надежда. Но обычно решают задние. А задние только что пришли.

Прежде чем лезть прямо к регистраторше, я делаю разведку боем. Но мой голос какой-то не очень убедительный.

— Понимаете... — начинаю я издалека, стараясь вызвать сострадание, — я уже стоял, вы, наверно, видели, но дом сто тридцать четыре... я вам сейчас все объясню... — В этом месте я делаю паузу и жду, какая будет реакция. Может, кто-нибудь меня все-таки вспомнит и выступит в мою поддержку. Но передние делают вид, что видят меня первый раз, а задние уже кричат: «Ну-ка, давай встань-ка в очередь! Все вы стояли!» Обескураженный, я плетусь в хвост своей новой очереди.

Но мое поведение ставит мою новую очередь в тупик. Никто такого поворота не ожидал. Если бы я стоял насмерть и полез бы по трупам, то все бы легли костьми, но поставили бы меня на место. А тут я всех даже разочаровал.

Кто-то впереди говорит:

— Так ведь он же стоял. Я сам видел. В соседней очереди. Что же, человеку опять два часа стоять?

И хотя задние теперь уже недобро молчат, это решает дело в мою пользу. Моя новая регистраторша достает на букву «М» целую охапку карточек и находит сразу же двух Мельниковых. Один из дома 136, тоже Анатолий, но не Григорьевич, а Васильевич. А другой даже из моего подъезда и хотя тоже Григорьевич, но теперь уже не Анатолий. А Анатолия Григорьевича нет.

Новая регистраторша спрашивает:

— А вы когда у нас были последний раз?

Я говорю:

— В последний раз?.. Сейчас... Да, наверно, в прошлом году. Нет, в позапрошлом. У хирурга. Кажется, в девятом кабинете. Такой старичок...

Кто-то из очереди замечает:

— Он недавно умер. Хороший был врач. Я тоже у него лечилась.

Регистраторша засовывает охапку обратно в ящик и говорит:

— Все ясно. Ваша карточка на Красной коннице. Теперь хирургическое там.

Я говорю:

— А что же мне теперь делать?

Все пропало. Придется ехать на Красную конницу. Я смотрю на часы. Уже четверть пятого. В троллейбус, пожалуй, и не влезть. Значит, пешком. Минут двадцать пять. А там опять в очередь.

Регистраторша задумывается:

— Ну, хорошо. Давайте паспорт. Я вам заведу новую карточку.

Я лезу в карман, хотя знаю, что паспорта в кармане нет. Паспорт в письменном столе. Вместе с квитанциями за квартиру.

Очередь уже начинает нервничать. Вот так — пойди человеку навстречу, он тебе и сядет на шею. Но теперь мне на очередь наплевать. Сейчас меня отсюда не вынуть и клещами.

Я говорю:

— Знаете, паспорт у меня дома, но я могу за ним сбегать... Понимаете, мне нужно сделать рентген...

Регистраторша поднимает на меня глаза. Они у нее немного навыкате. Но не от злости. А от усталости. Скоро, наверно, на пенсию. Та бы вспомнила сейчас русский язык. А эта еще со мной разговаривает. Даже не верится.

— Так что же вы не сказали сразу? Направление на рентген дает терапевт. Но ваш участковый болен. Поднимитесь на третий этаж к заведующей. 34-й кабинет.

Я говорю:

— А как же талон?

Но, оказывается, талона не нужно. К заведующей в порядке живой очереди.

Регистраторша высовывается из окошка:

— Подождите. Возьмите карточку.

Я говорю:

— Спасибо. Большое вам спасибо...

Регистраторша записывает место моей работы и, улыбаясь, протягивает мне дубликат. Очередь облегченно вздыхает и тут же обо мне забывает. Я хватаю карточку и, счастливый, несусь на третий этаж.

В 34-й кабинет очередь хотя и живая, но двигается еле-еле. Как будто ее посыпали дустом. И в основном почему-то старухи. С личными вопросами. Как-никак заведующая отделением.

Часть устроилась на сиденьях, а кому не хватило места, стоят. В другие кабинеты почти та же картина. Только публика помоложе.

Примерно полчаса никто не выходит. Но вот появляется женщина в белом халате и, нажав на ручку, натыкается на дверь. Оказывается, никого нет. В кабинете проветривается. А заведующая пошла пить чай. Минут через двадцать идет. Вместе с той, что уже приходила. Заведующая тоже в белом халате, но чуть пониже. Та, что уже приходила, поддерживает заведующую за локоть. О чем-то разговаривают.

Заведующая вынимает ключ, и обе скрываются за дверью. Вслед за

стуком фрамуги раздается телефонный звонок. Тишина, и все ждут. Та, что вошла вместе с заведующей, сейчас выйдет. Но никто не выходит. Оказывается, не тишина. Заведующая разговаривает по телефону. Пауза. Все еще разговаривает. И снова пауза. Такая длинная, что теперь, кажется, уж точно: вот-вот и откроется дверь. Но разговор все продолжает тянуться. Заведующая в хорошем настроении. Смеется...

Плавно позвякивая, телефон разъединяется. И снова тишина. Но опять временная. Теперь уже разговаривают в кабинете. Дверь слегка приоткрывается. То больше, то меньше. Снова закрывается. Но вот наконец открывается совсем. И заведующая выходит. А та, что пришла к заведующей, остается в кабинете.

На этот раз заведующая возвращается довольно быстро. Минут через десять. И тут же выходят обе. Поворачивается ключ, и обе некоторое время все еще стоят. Теперь уже с этой стороны. Все никак не расстанутся. Тоже, наверно, заведующая. Только из другого отделения. И тоже где-нибудь ждут.

Наконец расстаются. Та, что приходила к заведующей, скрывается за поворотом на лестницу. Заведующая, что-то вспомнив, опять достает ключ, но, уже вставив в скважину, передумывает и снова исчезает. Минут через пятнадцать появляется и, как ни в чем не бывало, приглашает в кабинет. Старуха, довольная, поднимается и, опираясь на палку, ковыляет к приоткрытой двери.

Минут через пять выходит, и заходит следующая. Эта выскакивает минуты через три. А может, через две. Человек пять проскакивают примерно в таком же темпе. Но вот дверь опять запирается на ключ, и заведующая снова куда-то уходит. И все опять сидят и ждут.

Наконец я уже в кабинете. Заведующая еще совсем нестарая. В самом соку. На столе в банке из-под огурцов букет мимозы. Наверно, подарили. Что-то у себя записывает и поворачивается ко мне. Подойдя поближе к столу, я не совсем уверенно начинаю:

— Понимаете, месяц тому назад я ел рыбу и что-то повредил.— И, показывая где, дотрагиваюсь указательным пальцем чуть пониже кадыка.

Заведующая смотрит на меня без всякого выражения. Примерно так же, как в регистратуре. Та, что выдерживала дистанцию.

Я протягиваю заведующей карточку и продолжаю дальше.

— Но в травмопункте ничего не нашли и меня направили в больницу Кировского завода к ухо-горло-носу. А ухо-горло-нос послал к хирургу. Хирург считает, что повреждено горло, но у него для осмотра горла нету оптики. А ухо-горло-нос считает, что поврежден пищевод, но у него нет аппаратуры для осмотра пищевода...

Заведующая нетерпеливо поерзывает на стуле и перебивает:

— Ну, так что же вы хотите от меня?

Я поднимаю на заведующую глаза:

— Понимаете, мне нужно сделать рентген. Но в больнице рентген на ремонте. Я знаю, талон должен давать участковый врач. Но мой участковый заболел. И мне сказали, что талон можете дать вы...

Заведующая нахмуривается:

— Это кто же вам такое сказал?

Чтобы не подводить регистраторшу, я пускаюсь на хитрость:

— Да вообще-то никто... Это я сам догадался...— И, немного подумав, уточняю: — Посоветовали... в очереди...

Заведующая нахмуривается еще больше и вдруг обрезает:

— У меня талонов нет, понимаете, нет.— И, давая понять, что разговор окончен, возвращает мне карточку обратно, даже в нее и не заглянув. И голос точно такой же, как у регистраторши. Но не той, что выписывала дубликат, а той, что вспоминала русский язык.

Я продолжаю стоять на месте и говорю:

— А что же мне теперь делать?

Заведующая сжимает губы, но, видя, что я все так и не ухожу, вдруг меняет тактику. Голос ее неожиданно становится мягким и доброжелательным:

— Знаете, что я вам посоветую? Сходите в двадцать первый кабинет... там должны дать... у них есть.

Я говорю:

— Но ведь там же очередь...

Заведующая улыбается:

— Ничего страшного... скажите, что вы у меня уже были.

Я выхожу из кабинета и иду в другой конец коридора. Ей-то, конечно, ничего страшного. Но ведь они же мне не поверят. Написала бы записку. Или сходила бы вместе со мной. Плохо, что не рядом. Так бы все-таки видели.

В 21-й кабинет толпа еще длиннее, чем в 34-й. И под цифрой кабинета вывеска: «Зам. заведующей». Здесь уже не только старухи. Дождавшись, пока пойдет мужчина, я вместе с ним прохожу. В очереди было ощериваются, но я даже не объясняю. А только бросаю:

— Мне на минуту.

Зам. заведующей — женщина с кудельками седых волос и со старческим гребнем. Но еще довольно шустрая. В руке у нее что-то вроде клизмы. Наверно, мерить давление.

Я говорю:

— Понимаете. Я уже был в тридцать четвертом кабинете. У заведующей. И она меня послала к вам. Я месяц тому назад ел рыбу...

Зам. заведующей меня перебивает:

— Какую еще рыбу?!.

Я говорю:

— Балык ставриды.

Зам. заведующей поднимает на меня очки.

Я говорю:

— Мне нужен талон на рентген. Понимаете, мне бы дала участковый, но она заболела...

Зам. заведующей снимает очки и смотрит на меня без очков:

— Ну, а при чем тут я?

— Заведующая сказала, что у вас может быть талон. А у нее уже нет.

Зам. заведующей задумывается и подзывает к себе медсестру. Медсестра что-то промывает под рукомойником. Какие-то склянки.

Зам. заведующей к ней поворачивается:

— Ну-ка, сходи в тридцать четвертый. И скажи, что никаких талонов нет. Еще чего придумали! — И недовольно отворачивается.

На стуле сидит мужчина, с которым я вместе вошел. Мужчина снимает пиджак и закатывает рукав. Медсестра вытирает полотенцем руки и, тоже недовольная, выходит со мной в коридор. Народу в коридоре прибавилось, и очередь в 34-й кабинет уже загнулась на лестничную клетку.

Сначала входит медсестра, а вслед за медсестрой и я. На стуле сидит старуха. Заведующая снова видит меня и морщится.

Медсестра называет заведующую по имени-отчеству и говорит, что у зам. заведующей талонов нет. Еще раз окидывает меня недружелюбным взглядом и уходит. Я стою перед заведующей и смотрю на старуху. Старуха сидит на стуле и смотрит на заведующую.

Заведующая еще раз морщится и тяжело вздыхает. Ей что-то надо со мной делать. Кажется, придумала.

— Ну, хорошо,— говорит заведующая, и тон ее снова делается доверительным,— сходите к Тихомирову. В шестой кабинет. Я думаю, он пойдет вам навстречу. Сходите-сходите. Пока он еще не ушел.

Я смотрю на часы. Уже без пятнадцати шесть. Спустившись на первый этаж, я нахожу шестой кабинет. Под номером кабинета табличка. Зам. главного врача по лечебной части. На первом этаже тишина. Никого народу. Рядом бухгалтерия. Плановый отдел. Туалет. Где-то стучит машинистка. Я нажимаю на дверь и, слегка потарабанив, просовываю голову:

— Можно?

За столом в позе мыслителя сидит зам. главного врача. Почти мой ровесник. Ну, может, чуть постарше. Если бы я не знал, что этот человек врач, то я бы его принял за руководителя спортивной делегации.

— Подождите, я занят.— Зам. главного врача окидывает меня беглым взглядом и, упершись кулаками о стекло, опускает глаза.

Я говорю:

— Извините. — И, повернувшись, возвращаюсь в коридор. Облокачиваюсь на подоконник и жду.

На стене висит плакат. На плакате нарисована змея. Горло змеи сжимают здоровенные пальцы. Я думал, что «зеленый змий», но, оказывается, венерические заболевания. А карающая рука — профилактика и гигиена. А внизу две картинки. И надпись. 90 процентов венерических заболеваний — результат случайных знакомств. На одной картинке нарисована пляшущая женщина. И вместе с ней мужчина. И тоже пляшет. На столе бутылка и закусон. Через несколько дней кто-то из них пойдет в диспансер. А на картинке рядом радостные муж и жена. Держат за руку мальчишку. Те, что плясали, маются теперь в диспансере. А эти поедут на прогулку за город.

Дверь в шестой кабинет открывается, и товарищ Тихомиров приглашает меня зайти. Снова садится за стол и скрещивает перед собой ладони. И только после этого поворачивает голову:

— Я вас слушаю.

Я говорю:

— Понимаете, месяц тому назад я ел рыбу и повредил горло. Но в травмопункте у меня ничего не нашли. А все равно болит. В институте ухо-горло-носа меня направили в больницу Кировского завода. И там смотрел ларинголог. И сказал, что мне нужно к хирургу. А хирург опять послал к ларингологу. А ларинголог уже не принимает. Там у них по неделям. Неделя больница Кировского завода, а на следующей — больница Мечникова...

Товарищ Тихомиров меня перебивает:

— А что вы хотите от меня?

— Мне нужно сделать рентген, — улыбаюсь я товарищу Тихомирову, — но у них рентген на ремонте. Значит, в районной поликлинике. А участковый заболел. Не могли бы вы мне дать талон? Или как-то без талона. Все-таки уже целый месяц. Опасно.

Товарищ Тихомиров разжимает ладони и складывает их стоймя, кверху пальцами:

— Хорошо. Идите в рентгеновский кабинет и скажите, что я разрешил принять вас без талона.

Товарищ Тихомиров доволен. Другой бы на его месте даже не отреагировал, а он не такой. Раз человеку надо, значит, надо. Но я все еще стою.

— Так как же, ведь они...

— Идите-идите. Рентгеновский кабинет в подвале.

Все, разговор окончен. Товарищ Тихомиров опять опускает глаза и задумывается. О чем-то своем. Я выхожу из шестого кабинета и снова оказываюсь на лестнице. Возле ступенек указатель. Стрелка показывает, что на рентген надо идти вниз.

Возле рентгеновского кабинета горит красная лампочка. И никого нет. А я думал, толпа. Странно. Почему же тогда нет талонов? Я сажусь на скамейку и жду.

Но никто не выходит. Все так же горит красная лампочка. Можно, конечно, войти, но вдруг снимают. И все засветится.

По ступенькам кто-то спускается. В белом халате. Наверно, сестра. И, не обращая внимания на красную лампочку, открывает дверь и входит. Чего ж я тогда сижу? Я вхожу вслед за ней и натыкаюсь на женщину. Тоже, наверно, сестра. А та, что вошла, уже сидит на стуле. Наверно, пришла в гости. Наверху ходят друг к другу заведующие. А в подвале — сестры.

— Вам чего? — не совсем вежливо обращается ко мне сестра, та, что хозяйка. А та, что в гостях, тоже поворачивается. Обе примерно одного возраста. Лет по двадцать пять. (А где же врач?)

Я говорю:

— Мне нужно сделать рентген. Понимаете? Месяц тому назад...

— Давайте талон, — говорит та, что сидит на стуле. Оказывается, хозяйка она.

Я говорю:

— У меня талона нет. Но я только что был в шестом кабинете. У Тихомирова. И он велел принять без талона. У меня повреждение...

— Ничего не знаю... — Та, что сидит на стуле, поднимается и, подойдя к столу, выдвигает из стола ящик. Роется и что-то достает. Показывает той, что стоит. Обе рассматривают. Я все не ухожу.

Теперь ко мне поворачивается уже другая:

— Вам же сказали, неужели непонятно?

— Но Тихомиров сказал... — Я все еще не ухожу.

— Вот и идите к своему Тихомирову! Пусть он вам и делает...

Я возвращаюсь к шестому кабинету и снова стучусь.

— Можно?

Товарищ Тихомиров сидит все в той же позе. Никого нет. Увидев меня, товарищ Тихомиров устало прикрывает глаза:

— Ну, что там?

— Они без талона не принимают.

— Не принимают... — Товарищ Тихомиров делает вид, что озадачен. — То есть как не принимают? Так. Вы вот что, сходите в тридцать четвертый кабинет и скажите...

— Я уже там был, — перебиваю я товарища Тихомирова, — у нее тоже талонов нет.

— Я не об этом... — Оказывается, я товарища Тихомирова совсем не понял. Он мне хочет помочь, а я какой-то бестолковый.

— Пойдите и скажите, что я прошу ее позвонить. В рентгеновский кабинет. И пусть вас примут без талона. Скажите, что я разрешил. Идите.

В это время дверь открывается, и в кабинет входит какой-то деятель с портфелем. Товарищ Тихомиров широко улыбается и порывисто поднимается ему навстречу. Тот, что вошел, останавливается и, кивнув в мою сторону, как бы передо мной извиняется. Дескать, помешал. Но товарищ Тихомиров делает небрежное движение, показывая, что на мое присутствие можно не обращать внимания. Я все еще стою. Товарищ Тихомиров уже не совсем доволен. Мое присутствие начинает товарища Тихомирова раздражать. Тот, что вошел, понимающе ухмыляется Он с товарищем Тихомировым солидарен. Да. С народом работать трудно. Тот, что вошел, располагается в кресле, а я поворачиваюсь и выхожу.

Заведующая, увидев меня снова, уже не морщится, а передергивается. Но берет себя в руки и, стараясь сдержаться, тихо произносит:

— Вы долго еще будете тут ходить? — Но, встретившись с моим взглядом, вдруг вспоминает, что посылала меня в шестой кабинет. — Ну, и что вам сказал Тихомиров?

— Он сказал, чтобы вы в рентгеновский кабинет позвонили. От его имени.

— Ну, уж это слишком! — Лицо заведующей делается каким-то плаксивым и одновременно злым.

Я ей предлагаю:

— А вы позвоните ему сами. И он вам подтвердит.

— Еще чего?! — окрысивается заведующая. — Ему надо, пусть и звонит! Пожалуйста, выйдите из кабинета.

Я бросаюсь к двери и, столкнувшись со старухой, выскакиваю. Публика, видя меня в таком состоянии, уважительно затихает. Чувствует, что дело серьезное. Даже уступает дорогу.

На первом этаже я чуть не сшибаю с ног деятеля с портфелем. Деятель с портфелем от меня шарахается. Распахнув рывком дверь, я иду прямо к столу. Товарищ Тихомиров сидит все в той же самой позе. Поднимает на меня глаза и двигает желваками скул:

— Вы мешаете мне работать!

Я смотрю на товарища Тихомирова и перевожу взгляд на чернильницу. Чернильца на подставке. Килограмма полтора. Снова поворачиваюсь к товарищу Тихомирову. Товарищ Тихомиров опускает глаза и снимает телефонную трубку:

— Ну, хорошо, идите в тридцать четвертый кабинет.

...С талоном в руке я спускаюсь в подвал. Возле рентгеновского кабинета красная лампочка уже не горит. В зале полумрак. Из соседней двери слышно, как елозит по полу тряпка. Я хватаюсь за ручку и несколько раз тупо дергаю. Все. Закрыто. Рабочий день окончен.

г. Ленинград.

Вячеслав БАШИРОВ

Четыре стихотворения

На весь экран

Мы опоздали на сеанс,
нас не пускают билетеры,
и фильм, снимавшийся про нас,
теперь покажут нам нескоро,
когда он станет про других,
которых мы понять не сможем.

За дверью слышен чей-то крик,
ведь это мы кричим! О чем же,
о чем там плачут, и поют,
и проклинают, и хохочут?
Ведь это нашу жизнь дают
на весь экран. Там жизнь клокочет.

А мы бормочем у двери,
мол, как же так, мы заплатили,
хоть в щелку глянуть, отвори!..
Но дверь уже заколотили.
Мы опоздали на сеанс.
А кто посмотрит нас, зевая?

Ведь это, над собой смеясь
и над смешной судьбой рыдая,
глядим с экрана мы сейчас
на тех, кого сюда не звали!
Мы опоздали на сеанс.
А вы свой час не прозевали?

Черты

Когда потомки с чувством превосходства
увидят наши стертые черты,
быть может, с нами — глядя с высоты
своих времен — не обнаружат сходства? —
ответим взглядом гордой нищеты,
что дорого дается первородство,
что мы за них узнали цену скотства,
душевной косности и тесноты,
что среди явной грязи и уродства
черты вдруг проявлялись — красоты.
А так — цена какая благородству?
Всех драгоценней редкие цветы.

Открытое пространство

Под небом нет и тени божества.

Мы жили в пещере, в тепле и уюте,
такие родные все, близкие люди.
Давили друг друга, но там, в тесноте,
любили мы ближних своих, как нигде.

Глядели из мрака ужасные камни,
мы их высекали своими руками.
Зачем же, однако, мы вышли на свет,
где наших возлюбленных идолов нет?

Они нас пугали, они нам грозили,
мы в жертву им даже детей приносили.
Зато и не ведали с ними забот,
которые злая свобода несет.

Свобода безбрежной холодной пустыни,
где нет ничего, что годится в святыни.
Все ищем чего-то, но тянет назад —
со страшною силой! — в надышанный ад.

Все ищем и ищем, чего — непонятно:
дороги оттуда? дорогу обратно? —
поскольку покуда неведомо нам:
насколько мы, здешние, — все еще там?

Поздний Рим

Не обессудь, ты будешь осужден
на скуку — тем, кого на муку — судишь.
Не варваром ты будешь побежден,
а сам свое величие забудешь
и станешь — духом и обличьем — он.
Надменный старец, ты унижен будешь
и пролежишь забвенный до времен,
когда твой труп разбудят... А покуда ж —
без удержу, до судорог живи,
и, обладая миром без любви,
ему вливая в кровь свое наследство,
останешься ты вирусом в крови,
являя рецидивы декадентства...
О, сколько раз впадем в тебя, как в детство!

г. Казань.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Триумф и трагедия

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

Сталин и Киров

В выступлении Енукидзе на XVII съезде прозвучали такие слова: «Товарищ Сталин сумел окружить себя лучшими людьми в нашей партии, сумел вместе с ними обсуждать и решать всякие вопросы, сумел из этой группы людей создать такую могучую силу, которой не знала история ни одной революционной партии». Доля истины здесь есть: действительно, особенно в двадцатые — конце тридцатых годов в окружении Сталина было немало интересных людей. Среди них был и С. М. Киров, хотя к понятию «окружение» он едва ли подходил, поскольку работал в Закавказье, а затем в Ленинграде, но был все же близким к Сталину человеком. Енукидзе, также личный друг генсека, преувеличивает, однако, когда утверждает, что всегда вокруг Сталина были «лучшие люди в нашей партии». Рядом с ним были разные люди: умные теоретики и талантливые политики; подхалимы, главной заботой которых было угадать и исполнить желание вождя; и, к величайшему несчастью для народа, рядышком с ним стояли (особенно в конце тридцатых, в сороковые годы) те, которых иначе как преступниками не назовешь.

Сталин не был глупым человеком. Он хотел иметь возле себя верных, преданных друзей, соратников, а главное — беспрекословных исполнителей, понимающих с полуслова его желание, намерение, жест. Хотя генсек, дабы хорошо выглядеть в глазах общественного мнения, всегда старался подчеркнуть, что отношения, основанные на личной преданности, не достойны высоких принципов.

Отвечая Шатуновскому на его письмо, Сталин пишет: «Вы говорите о вашей «преданности» мне. Может быть, это случайно сорвавшаяся фраза. Может быть... Но если это не случайная фраза, я бы советовал вам отбросить прочь «принцип» преданности лицам. Это не по-большевистски. Имейте преданность рабочему классу, его партии, его государству. Это нужно и хорошо. Но не смейте ее мешать с преданностью лицам, с этой пустой и ненужной интеллигентской побрякушкой».

На деле же Сталин руководствовался другим и в конце концов собрал около себя людей, которые не доставляли ему особых хлопот. Это прежде всего касалось помощников. Их перебывало у него немало: Назаретян, Товстуха, Бажанов, Каннер, Марьин, Двинский, Поскребышев. Больше всего он привязался к двум: Товстухе и Поскребышеву.

И. П. Товстуха, человек с неплохой теоретической подготовкой, был способен сформулировать идею, заметить в тексте принципиальную ошибку. Сталин любил его за исключительную самоотверженность в работе — он понимал генсека с полуслова.

В архиве сохранилась записка Сталина Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, в которой он пишет, что «Товстуха не хочет уезжать в отпуск. В деле есть мое предложение о немедленном отпуске т. Товстухе, которое он не допустил к голо-

---

В журнале публикуется сокращенный вариант книги. Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 10—11 с. г.

сованию». И тут же Сталин выговорил своему помощнику, что тот о своем несостоявшемся отпуске поведал Каменеву. Вконец расстроенный Товстуха написал официальную записку генсеку:

«Сталину.

Копия Каменеву.

Заявляю, что ни тов. Каменеву, ни кому бы то другому я никогда не говорил, что будто бы хочу в отпуск, но меня т. Сталин не пускает.

Товстуха».

Каменев карандашом полушутливо набросал резолюцию на этой бумажке «местного значения»:

«Подтверждаю, что никогда, нигде, ни в каком виде Товстуха не говорил мне об отпуске, а лишь о том, что он бы мог увеличить свою работу над Лениным, если бы он начинал свою работу в ЦК пораньше. В смерти Товстухи прошу меня не винить.

Л. Каменев».

Как видим, в аппарате Сталина иногда вершились не только серьезные и «великие» дела.

Короткое время у Сталина работал Б. Бажанов.

Генсек быстро проникся уважением к этому интеллигентному, высокообразованному человеку. Вскоре он, а не Мехлис, стал стенографировать заседания Политбюро. Однако этот человек, умело скрывавший свои подлинные взгляды, в 1928 году смог бежать в Персию, а оттуда перебрался в Англию. Целые десятки лет он подвизался на ниве антисоветчины, зарабатывая вначале комментированием того, что он знал, а потом сочинением самых разных домыслов о нашей стране и ее руководстве.

Многие годы Сталин держал около себя Мехлиса, занимавшего затем ряд крупных постов. Человек, не лишенный способностей, но с откровенно полицейскими мозгами, он был одним из тех, кто регулярно доносил Сталину доверительную информацию о людях в верхнем эшелоне власти. Но едва ли это был человек идеи. Однажды в 1924 году он обратился к Сталину с просьбой, чтобы генсек сделал дарственную надпись на только что вышедшей книге «О Ленине и ленинизме». Сталин быстро начертал на титульном листе:

«Молодому другу по работе т-щу Мехлису от автора. 23.05.24.»

Самое интересное, что Мехлис, заполучив автограф, никогда ни разу не раскрыл книги: все листы теперь уже ссохшегося и пожелтевшего тома так и остались неразрезанными!

Но, пожалуй, наибольшим доверием Сталина пользовался А. Н. Поскребышев, которого Хрущев на XX съезде партии назвал «верным оруженосцем» генсека. Бывший фельдшер из Вятки отличался поразительной работоспособностью и исполнительностью. Его старшая дочь рассказывала мне, что на работе отец был всегда не меньше 16 часов. Хотя незадолго до смерти Сталина Берия смог убрать Поскребышева с его поста, тот остался до конца своих дней преданным слугой вождя. Первая жена Поскребышева была дальней родственницей Троцкого, что в конце концов сыграло трагическую роль.

Вся информация любого характера поступала к Сталину через Поскребышева. Он знал о всех процессах в партии и стране не меньше, чем Сталин. Это был идеальный исполнитель: послушный, не возражающий, в любое время находившийся на своем посту. Бывший нарком путей сообщения И. В. Ковалев, который ежедневно всю войну, иногда по три-четыре раза в день докладывал Сталину о движении военных эшелонов, рассказывал мне, характеризуя Поскребышева: «Двужильный. Можно было быть вызванным к Сталину в любое время, его лысоватая голова всегда была наклонена над ворохом бумаг. Это был человек с компьютерной памятью. У него можно было получить точную справку по любому вопросу. Одним словом, энциклопедия».

Все это были близкие люди, как Сталин иногда говорил, из «обслуги». Но и другие, окружавшие Сталина, его самые близкие соратники — Маленков, Каганович, Ворошилов — отличались прежде всего абсолютным согласием с ним. Во всем. Мы о некоторых из этих людей еще будем говорить. Один из этой

троицы, К. Е. Ворошилов, при решении любых дел — самых мелких и самых ответственных — стремился прежде всего во всем поддержать вождя. В далеком 1923 году почему-то одной из сотрудниц ессентукского санатория, где тогда отдыхали вместе генсек и Ворошилов, понадобилась такая странная справка, собственноручно написанная Сталиным:

«К сведению советских и парт. учреждений.

Свидетельствую, что представительница сего Мария Генерова, служащая грязелечебницы в Ессентуках, является заслуживающей полного доверия и преданной Советской Республике труженицей.

И. Сталин. 15.11.23».

Тут же, ниже, дописано: «Вполне присоединяюсь. К. Ворошилов».

Когда известный военачальник Якир был арестован и приговорен к расстрелу, он обратился к Сталину с письмом, заверяя, что абсолютно не виновен в приписываемых ему преступлениях. Сталин отреагировал лаконично: «Подлец и проститутка», а Ворошилов, привыкший абсолютно во всем соглашаться не только по форме, но и по содержанию, написал:

«Совершенно точное определение. К. Ворошилов».

Но были и другие люди, которые считались соратниками Сталина и которые все же сумели сохранить свое доброе имя. Одним из них был Сергей Миронович Киров. Везде, где бы он ни работал, люди любили этого общительного и отзывчивого человека. Когда Кирова, по ленинской рекомендации, послали работать в Азербайджан, в его партийной характеристике значилось:

«Устойчивость во всех отношениях. Энергичный работник... В проведении принятых решений более чем настойчив. Уравновешен и обладает большим политическим тактом... Великолепный журналист. Первоклассный и великолепный оратор». Годы работы Кирова в Закавказье оставили о нем исключительно теплую память.

После XIV съезда, когда «новая оппозиция» пыталась сделать Ленинградскую парторганизацию своей опорой, ЦК партии направил Кирова в Ленинград, где он был избран секретарем горкома и обкома. Ю. Помпеев свидетельствует, что, когда Киров прибыл в Ленинград, один из самых близких его друзей, Серго Орджоникидзе, прислал в губком такую любопытную записку:

«Дорогие друзья!

Ваша буза нам обошлась очень дорого: отняли у нас тов. Кирова. Для нас это очень большая потеря, но зато вас подкрепили как следует. У меня нет ни малейшего сомнения, что вы там справитесь и каких-нибудь месяца через два все будет сделано. Киров — мужик бесподобно хороший, только, кроме вас, он никого не знает. Уверен, что вы его окружите дружеским доверием. От души желаю вам полного успеха».

А чуть ниже Серго добавил постскриптум:

«Ребята, вы нашего Кирыча устройте как следует, а то он будет шататься без квартиры и без еды».

Сталин знал Кирова давно, с октябрьских дней революции. Трудно сказать, почему сухую, черствую, а порой и просто ледяную натуру Сталина потянуло к этому вечно улыбающемуся, энергичному крепышу. Они не раз с ним вместе отдыхали, дружили семьями, хотя и находились обычно далеко друг от друга. В одной из сталинских записок Г. Орджоникидзе, написанной в Сочи, упоминается Киров, его лечение (это просто удивительно — Сталина никогда не интересовало чужое здоровье!):

«Дорогой Серго!

...А Киров что делает там? Лечится от язвы желудка нарзаном? Ведь этак можно доконать себя. Какой знахарь «пользует» его?..

Привет Зине.

Привет от Нади всем вам. Твой Сталин.

Сочи. 30 июня 1925 г.»

Пожалуй, ни к одному политическому работнику Сталин не проявлял такого внимания и даже «любви». Там, где появлялся Киров, сразу же собирались люди. Было такое, теперь порядком подзабытое, выражение — «душа общества». Так вот, Киров был в самом хорошем смысле душой любого «общества»: партийного, рабочего, студенческого, красноармейского. На фоне застывшей непроницаемой маски Молотова, угодливого в самом выражении лица Кагановича, фигуры Ворошилова, весь вид которого олицетворял собой абсолютную готовность исполнять волю генсека, заметно, выгодно выделялась открытая и простая натура Кирова.

Почти каждый диктатор имеет свои «слабости», у Сталина она выражалась в интуитивном доверии очень небольшому кругу людей: Мехлису, Молотову, Поскребышеву, Кирову, может быть, еще двум-трем лицам. Чувства симпатии «обосновать» рациональными средствами трудно, а порой и просто невозможно, поскольку они целиком из области психологии. Сталин любил улыбку Кирова, его открытое русское лицо, уважал его за бесхитростность, одержимость работой.

Однажды в воскресный приезд ленинградского лидера они играли на даче в городки. Сталин взял себе в напарники кухонного рабочего Харьковского, а Киров Власика.

— Что ты больше всего любишь, Сергей? — спросил хозяин гостя.

Киров удивленно посмотрел на Сталина и со смехом ответил:

— Большевику положено работу любить больше жены!

— А все же?

— Наверное, идею,— ответил Киров, выстраивая новую фигуру.

Сталин неопределенно махнул рукой, но больше не выпытывал: ему было непонятно, как можно «любить идею»? Может быть, для красного словца сказал? Но генсек знал, что гость его фальшивить не умел, как знал он и то, что Киров, пожалуй, как никто другой, может влиять даже на него, Сталина.

Вспоминается дело М. Н. Рютина, бывшего прапорщика старой армии, которого Сталин знал еще с начала двадцатых годов. В 1918 году он был командующим Иркутским военным округом, в 1920-м — председателем президиума Иркутского губкома, затем, во второй половине двадцатых годов, секретарем Краснопресненского райкома партии Москвы, заместителем редактора «Красной звезды», кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Потом этого большевика «понесло». Сталину докладывали, что Рютин стал одним из авторов нелегального пространного документа, ходившего по рукам,— «Ко всем членам ВКП(б)». Главный удар в этом обращении наносился по генсеку, именовавшемуся в документе не иначе как «диктатор» с антиленинским «намордником» в руках. На заседании Политбюро Сталин настаивал не только на исключении Рютина из партии, но и предлагал вынести ему смертный приговор. Это был, видимо, первый случай, когда генсек стремился до судебного разбирательства предрешить судьбу человека. Члены Политбюро молчали. С одной стороны, по делу выходило, что Рютин пытается создать «контрреволюционную организацию», а с другой — за это сразу «смертный приговор»?! «Партверхушка», как иногда говорил Сталин, была в замешательстве. И тут раздался голос Кирова:

— Нельзя этого делать. Рютин не пропащий человек, а заблуждающийся... черт его разберет, кто только не приложил руку к этому письму... не поймут нас люди...

Сталин тогда как-то быстро согласился. Рютин получил десять лет и окончательно сгинул в 1938 году. Да, генсек помнил: Киров может смело высказать свое мнение, не считаясь даже, если нужно, с ним, Сталиным.

Сталин очень немногим людям дарил свои книги с дарственной надписью. Так вот, Киров удостоился самого сердечного автографа вождя, казалось, абсолютно неспособного даже выговаривать такие слова. На титульном листе книги «О Ленине и ленинизме» рукой генсека четким и твердым почерком выведено:

«С. М. Кирову. Другу моему и брату любимому от автора. 23.05.24. Сталин».

Когда председательствующий на XVII съезде партии П. П. Постышев объявил на очередном заседании, что слово имеет товарищ Киров, зал взорвал-

ся овацией, все встали. Поднялся и Сталин. Зал долго рукоплескал еще одному «любимцу партии» — пожалуй, только сам генсек удостоился такого же приема у делегатов съезда. Речь Кирова была самой яркой, сочной, информативно насыщенной. Да, она, как и все без исключения выступления делегатов на этом съезде, была густо пересыпана хвалебными эпитетами в адрес генсека. Возможно, в чем-то здесь Киров даже «перехлестнул» многих других ораторов. Об этом можно лишь сожалеть, но надо понимать, что, хотя шанс совести существует всегда, его порой можно использовать, только перешагивая обычные нормы поведения, а это уже на грани гражданского подвига. Ни Киров, ни кто-нибудь другой на съезде, где на их глазах и с их помощью утверждался культ личности, не совершили этого шага. К истории нельзя ничего ни прибавить, ни убавить, иначе это уже не история, а ее фальсифицированная копия.

У мраморных богов Древней Греции и Рима лица непроницаемы, как у ящериц, чувства на них застыли на века и тысячелетия. Сталин, что удивительно для носителя южного темперамента, тоже умел сохранять каменную маску невозмутимости в самых критических ситуациях. Так было и после сигнала на съезде, известившего, что далеко не все разделяют радость превращения его в единоличного вождя. Все дальше шло, как и было запланировано. На Пленуме ЦК Кирова избрали членом Политбюро и Оргбюро, секретарем ЦК ВКП(б), и он также остался секретарем в Ленинграде. Сталин первоначально хотел сразу после съезда перевести Кирова из Ленинграда в Москву, но передумал.

Работы у Кирова стало больше. Как секретарь партии Сергей Миронович ведал вопросами тяжелой и лесной промышленности, ему часто приходилось бывать в Москве. Сталин как будто остался по отношению к нему прежним: часто звонил по «вертушке», когда тот бывал в Москве, много раз встречался, обсуждал текущие дела. Казалось, ничего не изменилось у вождя по отношению к «другу и брату любимому». Некоторые историки, правда, считают, что генсек стал с Кировым более официален, холоден, что ленинградскому секретарю даже досталось от вождя за какие-то незначительные промашки. Возможно, но мои собеседники, знавшие этих лиц в то время, не могли мне сказать в этом плане что-то определенное, как, впрочем, и документы того периода.

А 1 декабря 1934 года в Смольном С. М. Киров был убит. В сообщении о трагедии говорилось: «Данными предварительного следствия установлено, что фамилия злодея-убийцы тов. Кирова — Николаев (Леонид Васильевич), 1904 года рождения, бывший служащий Ленинградской РКИ. Следствие продолжается».

За два дня до убийства Киров вместе с другими членами ЦК — ленинградцами вернулся из Москвы с Пленума, на котором было принято важное и радостное решение об отмене карточек на хлеб и другие продукты питания. В поезде живо обсуждали этот долгожданный шаг, поделились мнениями и о просмотренном спектакле Булгакова «Дни Турбиных», поговорили о собрании партактива Ленинграда, которое назначено на 1 декабря. В общем, приехал Киров в приподнятом, деловом настроении.

В день актива, закончив подготовку доклада, Киров к половине пятого приехал в Смольный. Шел по коридору, здоровался, обменивался деловыми фразами с многими людьми. Свернув налево, в узкий коридор, направился к своему кабинету. Навстречу ему шел ничем не приметный человек. У дверей кабинета раздалось два выстрела. Сбежавшиеся увидели ничком лежавшего Кирова с папкой и бьющегося в истерике убийцу с револьвером в руке...

Через два часа после трагедии Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов, Ягода, Жданов, Агранов, Косарев, Заковский и некоторые другие выехали в Ленинград специальным поездом. На вокзале Сталин обругал всех встречавших нецензурными словами, а Медведя, начальника Ленинградского управления НКВД, ударил рукой по лицу. Медведь, как и его заместитель Запорожец, были потом переведены на работу на Дальний Восток, а в 1937 году, когда вовсю заработала машина террора, их уничтожили.

По некоторым данным, первый допрос Николаева провел лично Сталин в присутствии группы людей, приехавших с ним. С самого начала целый ряд обстоятельств, связанных с убийством С. М. Кирова, носит загадочный характер. Об этом доложил на XX съезде партии Н. С. Хрущев. «Необходимо заявить,— сказал он,— что обстоятельства убийства Кирова до сегодняшнего дня содержат в себе много непонятного и таинственного и требуют самого тщательного расследования. Есть причины подозревать, что убийце Кирова — Николаеву — помогал кто-то из людей, в обязанности которых входила охрана личности Кирова. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован из-за его подозрительного поведения, но был выпущен и даже не обыскан. Необычайно подозрительно и то обстоятельство, что когда чекиста, входившего в состав личной охраны Кирова, везли на допрос 2 декабря 1934 года, то он погиб во время автомобильной «катастрофы», во время которой не пострадал ни один из других пассажиров машины. После убийства Кирова,— продолжал Н. С. Хрущев,— руководящим работникам ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что они были расстреляны для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова». А ведь человек, который погиб в катастрофе,— сотрудник НКВД Борисов,— возглавлял охрану Кирова, и, по некоторым данным, именно он предупреждал Сергея Мироновича о возможном покушении. Во всяком случае, Борисова, дважды задерживавшего Николаева с оружием на пути следования Кирова и затем по чьему-то распоряжению отпускавшего его, кому-то надо было убрать.

В архивах, к которым автор получил доступ, нет материалов, позволяющих с большей степенью достоверности высказаться по «делу Кирова». Ясно одно: это не было сделано по приказу Троцкого, Зиновьева или Каменева, как стала вскоре гласить официальная версия. Зная сегодня Сталина, его исключительную жестокость, коварство и вероломство, вполне реально предположить, что это его рук дело. Одно из косвенных свидетельств — устранение двух-трех «слоев» потенциальных свидетелей, а это уже «почерк» Сталина. За рубежом имеется обширная литература по этому вопросу, но она часто носит слишком тенденциозный характер и основана, как правило, лишь на предположениях и умозаключениях. К числу таких можно отнести, например, выводы старого эмигранта Б. Николаевского, завершившего свою жизнь в Соединенных Штатах.

Процесс по делу Николаева был проведен в спешном порядке. Уже через три недели в опубликованном обвинительном заключении утверждалось, что Николаев является активным членом зиновьевской подпольной террористической организации. Под заключением стояли подписи заместителя прокурора страны А. Я. Вышинского, с чьим именем будет связано еще немало трагических и темных страниц ближайшего будущего, и следователя по важнейшим делам Л. Шейнина. Как и следовало ожидать, все обвиняемые по этому делу, как и Николаев, были расстреляны.

Почему же «как и следовало ожидать»? Дело в том, что уже на другой день после убийства по инициативе Сталина без обсуждения на Политбюро был принят документ, выражающий кредо беззакония. Секретарь Президиума ЦИК А. Енукидзе был вынужден подписать документ, вносящий изменения в существующие уголовно-процессуальные кодексы. В нем говорилось:

«1. Следовательским отделам предписывается ускорить дело обвиняемых в подготовке или проведении террористических актов;

2. Судебным органам предписывается не задерживать исполнения смертных приговоров, касающихся преступлений этой категории в порядке рассмотрения возможности помилования, так как Президиум ЦИК СССР считает получение прошений подобного рода неприемлемым;

3. Органам комиссариата внутренних дел предписывается приводить в исполнение смертные приговоры преступникам упомянутой категории немедленно после вынесения этих приговоров».

Ряд дел, рассматривавшихся в Москве, других городах, форсировали в соответствии с новыми указаниями. Поскольку убийство Кирова следствие связало с зиновьевцами, уже в декабре 1934 года во главе с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым большая группа деятелей — Евдокимов, Бакаев, Куклин, Гес-

сен и другие — была посажена на скамью подсудимых. Каких-либо прямых улик, доказательств, свидетельствующих об их причастности к трагедии, выявить не удалось.

Зиновьев после XVII съезда партии, хотя и не был избран в ЦК, как-то оживился, посчитал, что гроза прошла стороной и для него еще могут наступить лучшие времена. Он даже написал и опубликовал после съезда свою последнюю статью в «Большевике» — «Международная значимость истекшего десятилетия». Но после того, как он прочел в газете комментарий к убийству Кирова, где говорилось, что в деле замешаны «троцкистско-зиновьевские мерзавцы», он понял, что теперь его ждет самое худшее. Под напором следствия, а затем и прокурора Зиновьев был вынужден «признать», что в «самом общем плане» бывшая антипартийная группа может нести «политическую ответственность» за случившееся. Этого оказалось достаточно — аргументов, доказательств «правосудию» больше не требовалось. Успешно прошла первая репетиция политических процессов. Зиновьев получил десять лет, Каменев пять лет тюрьмы, были осуждены и все остальные. Это, пожалуй, первый случай, когда идеологические взгляды, отличные от официально провозглашенных, были публично приравнены к уголовному преступлению.

Приговоры были вначале согласованы со Сталиным. Убийство Кирова знаменовало приближение зловещего времени. На тысячах митингов люди требовали революционных, решительных действий по отношению к террористам, классовым врагам. В стране зрела атмосфера, которая могла, по словам В. Окулова, также пострадавшего в 30-е годы, «разрядиться в любой момент массовым террором, где главными жертвами будут невинные люди». Печать непрерывно нагнетала обстановку, сообщая о все новых «вражеских центрах», «заговорах», «тергруппах».

1 декабря 1934 года сразу резко подняло «значение», как любил говорить Сталин, «карательных органов». НКВД стал численно быстро расти, полномочия «органов» расширились, постепенно они станут рядом с партийными комитетами, а затем и заслонят их, выйдя из-под контроля. Самой популярной темой печати станет бдительность, которая, будучи гипертрофированной, начнет щедро сеять семена подозрительности, недоверия к каждому. За многими руководителями будет установлена слежка. Сталин, страшно боявшийся покушения на свою особу, резко усилит меры по охране. Каждая неудача, катастрофа, поломка, авария будут ассоциироваться с вредительством. Постепенно в стране созреет атмосфера, в которой Сталин сможет проводить свои кровавые чистки, рассчитывая на «поддержку» дезинформированных масс.

Еще до смерти Кирова по личному решению Сталина на ряд постов, имеющих немаловажное значение в механизме борьбы с «врагами народа» и партии, были выдвинуты лица, которым предстоит сыграть зловещую роль в беззакониях предстоящих лет. Это прежде всего Н. И. Ежов, член Оргбюро (он станет секретарем ЦК в начале 1935 года) и один из ведущих членов по чистке партии, А. Я. Вышинский, бывший меньшевик, ставший заместителем прокурора СССР, а затем и прокурором страны; примерно в это же время руководителем личного секретариата Сталина, заведующим особым сектором ЦК и ближайшим помощником генсека станет А. Н. Поскребышев, роль которого в силу особого расположения к нему генсека была значительно важнее официального статуса. От характера и содержания его докладов Сталину нередко зависело очень многое.

Директивы, циркуляры, печать просто требовали искать и разоблачать врагов. И как выяснилось, их «оказалось» немало — в центр пошли многочисленные донесения об этом. Вот несколько таких документов, хранящихся в архиве Верховного суда Союза ССР:

«ЦК ВКП(б) тов. Сталину И. В.
СНК Союза ССР тов. Молотову В. М.

Управлением Государственной безопасности УНКВД по Северному краю закончено следствие по делу о контрреволюционной террористической группировке, подготовлявшей совершение террористического акта против члена ЦК и секретаря Севкрайкома ВКП(б), члена ЦИК тов. В. Иванова.

В качестве обвиняемых по настоящему делу привлечены к ответственности и преданы суду 7 человек: Ракитин Н. Г., Заостровский П. В., Попов П. Н., Левинов Г. Н., Ивлев Н. И., Заостровский А. В., Копосов Н. А. Из обвиняемых признал полностью виновным себя только Попов П. Н.

Дело Ракитина и др. предполагается заслушать Выездной сессии Военной коллегии Верх. суда СССР в г. Архангельске с применением закона от 1 декабря 1934 года.

Главных обвиняемых: Ракитина, Заостровского П. В., Левинова считаем необходимым приговорить к расстрелу, а остальных обвиняемых к лишению свободы на разные сроки. Просим Ваших указаний.

23 января 1935 г. А. Вышинский, В. Ульрих».

Еще документ:

«Секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину.

При рассмотрении дела осуждена к расстрелу Белозир Л. И. за то, что она, будучи членом контрреволюционной подпольной террористической организации украинских националистов, завербовала в эту организацию Щербина и Терещенко, которые должны были во время Октябрьских празднеств 1934 года в Киеве совершить терракт над тт. Постышевым и Балицким.

Белозир на всех допросах упорно отказывалась дать какие бы то ни было показания, а также заявила, что она отказывается от помилования. В силу этого прошу указания о возможности приведения в исполнение приговора над осужденной Белозир Л. И.

Тт. А. Я. Вышинский и А. В. Балицкий считают возможным приговор исполнить.

3 февраля 1935 г. В. Ульрих».

Приведем еще одно донесение из множества таких же подобных:

«Секретарю ЦК ВКП(б)
товарищу И. В. Сталину

9 марта с. г. Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР под моим председательством рассмотрела в закрытом судебном заседании в г. Ленинграде дело о соучастниках Леонида Николаева: Мильды Драуле, Ольги Драуле и Романа Кулинера.

Мильда Драуле на мой вопрос, какую она преследовала цель, добиваясь получения пропуска на собрание партактива Ленинграда 1 декабря п. г., где должен был делать доклад т. Киров, ответила, что «она хотела помогать Леониду Николаеву». В чем? «Там было бы видно по обстоятельствам». Таким образом, нами установлено, что подсудимые хотели помочь Николаеву в совершении терракта.

Все трое приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. В ночь на 10-е марта приговор приведен в исполнение.

Прошу указаний: давать ли сообщение в прессу.

11 марта 1935 г. В. Ульрих».

Молниеносное правосудие: 9-го суд, в ночь на 10-е расстрел, 11-го утром доклад верховному Жрецу. Даже по одной-двум фразам доклада Ульриха видно, сколь поверхностным было рассмотрение в суде.

Сталин сам поддерживал напряжение. В середине 1935 года опубликовали его интервью с Гербертом Уэллсом, которое тот взял у Сталина еще в середине 1934 года. И, видимо, не случайно: Сталин вновь напомнил о главном в диктатуре пролетариата — революционном насилии. На вопрос Уэллса: «Не является ли ваша пропаганда старомодной, ибо она является пропагандой насильственных действий?» — Сталин ответил: «Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу... Кому нужен полководец, усыпляющий бди-

тельность своей армии, полководец, не понимающий, что противник не сдается, что его надо добить?»

Пока действовали сдерживающие тормоза решений XIII съезда партии (пожелание делегаций, ознакомившихся с ленинским письмом), пока у Сталина было свежо в памяти ленинское предостережение, отношение к оппозиционерам было как к идейным противникам. «Капитулянтов» (раскаявшихся) обычно быстро восстанавливали в партии, поручали ответственные посты, публиковали их статьи. Например, Зиновьев и Каменев, восстановленные в партии в июне 1928 года, открыто выражали свою надежду, что «партии еще понадобится их опыт», имея в виду, по всей вероятности, руководящие посты. Бухарина, Рыкова и Томского, не прекращая склонять в печати как «пособников кулачества», тем не менее на XVI съезде партии избрали в состав ЦК. Но потом Сталин с удовольствием начнет их всех «добивать».

Даже сталинская «любовь» к Кирову не остановила, по-видимому, генсека перед тем, чтобы устранить популярнейшего человека, своего потенциального противника. Подозрительность, жестокость, властность всегда у Сталина брали верх, когда нужно было сделать выбор между элементарной порядочностью и тем, что олицетворяло его власть.

Смерть Кирова явилась «хорошим» предлогом для ужесточения всего внутриполитического курса в стране. Генсек не мог забыть, что четвертая часть делегатов XVII съезда голосовала против него, а сколько таких людей во всей стране? Поэтому мало еще кто мог предположить, что из 1225 делегатов с правом решающего и совещательного голоса 1108 человек скоро будут арестованы и большинство из них погибнет в подвалах НКВД и лагерях. Из 139 членов и кандидатов ЦК партии, избранных на том съезде, 98 человек будут арестованы и расстреляны, а ведь подавляющее большинство этих людей были самыми активными участниками Октябрьской социалистической революции, восстановления страны после разрухи. Это была сознательная ликвидация старой ленинской гвардии, которая слишком много знала. Сталину нужны были самоотверженные исполнители, функционеры более молодого поколения, не знавшие его прошлого.

Едва ли случайно, что в середине 1935 года Сталиным было поддержано предложение о ликвидации Общества старых большевиков и Общества бывших политкаторжан. Архивы этих ассоциаций принимали комиссии, где членами были Ежов, Шкирятов, Маленков. Многим из старых большевиков в страшные годы беззакония в конце тридцатых будут предъявлены обвинения в их «преступлениях» четвертьвековой давности. Не использовались ли здесь документы изъятых архивов?

К этому же времени относится начало возвышения Л. П. Берии, бывшего в то время первым секретарем в Грузии. В середине 1935 года Партиздатом ЦК ВКП(б) была опубликована «работа» Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Изданная на хорошей бумаге, в твердом переплете, что тогда было редкостью, книжонка наполовину состояла из сталинских цитат и безудержно превозносила генсека. Но главное, что мы хотим отметить, в «труде» Берии содержался прямой политический донос на двух видных большевиков — Енукидзе и Орахелашвили. И хотя первый из них был членом ЦК и ЦИК, давним личным другом Сталина, судьба и того и другого была решена. Сталин всегда верил доносам, и Берия это быстро усвоил. Правда, Орахелашвили пробовал протестовать. Он написал Сталину личное письмо с проектом опровержения в «Правде». Генсек в своем ответе, по сути, отверг заявление старого большевика:

«Товарищу Орахелашвили.

Письмо получил.

1) ЦК не думает ставить (не имеет оснований ставить!) вопрос о Вашей работе в ИМЭЛе. Вы погорячились и решили, видимо, поставить его. Это ни к чему. Оставайтесь в ИМЭЛе и работайте.

2) «Письмо» в редакцию «Правды» следовало бы напечатать, но текст Вашего «письма», по-моему, неудовлетворителен. Я бы на Вашем месте выбросил из «письма» все «полемические красоты», все «экскурсы» в историю, плюс «решительный протест» и сказал бы просто и коротко, что ошибки (такие-то) действительно допущены, но квалификация ошибок, данная т. Берия, слишком, скажем, резка и не оправдывается характером ошибок. Или что-нибудь в этом роде. Привет!

8.VIII.35 г. И. Сталин».

Страна и партия стояли перед страшными испытаниями. Человек, обожествивший в диктатуре пролетариата лишь насилие, стал диктатором. На трагической ноте заканчивался 1934 год: «съезд победителей», а затем сигнал подготовки к террору. Может быть, действительно 1937 год начался вопреки всем астрономическим календарям 1 декабря 1934 года? Семена будущей трагедии уже давали свои зловещие всходы.

Отрицать ложных богов необходимо, но это еще не все: под их масками следует искать причины их существования.

А. Герцен.

Глава пятая. В ТОГЕ ВОЖДЯ

К середине тридцатых годов взгляды Сталина на роль вождя в общественном процессе претерпели заметную эволюцию. Он, видимо, знал взгляды Г. В. Плеханова на роль личности в истории. В свое время, когда Сталин создавал свою библиотеку, он поставил Плеханова в списке мыслителей пятым после Ленина, Маркса, Энгельса и Каутского; плехановские сочинения испещрены его рукой. Может быть, генсек листал тома Плеханова перед тем, как ехать в декабре 1930 года на встречу с бюро партячейки отделения философии и естествознания Института красной профессуры? Известно только, что, давая указания «разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии», Сталин среди других установок дал и такую: «Плеханова надо разоблачить. Он всегда свысока относился к Ленину».

Так вот, думаю, Сталин знал слова Плеханова: «Великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других». Этот вывод, сделанный человеком, которого надо было «разоблачить», ему нравился. А вот слова Плеханова, которые следовали за этими — вождь не может «остановить или изменить естественный ход вещей»,— едва ли импонировали Сталину, который считал себя теперь единственным в стране вождем.

Если в двадцатые годы слово «вождь» употреблялось в качестве эпитета при произнесении и других имен («вождь Красной Армии Троцкий», «вожди революции Зиновьев и Каменев», «вождь красных профсоюзов Томский», «вожди Интернационала», «вожди коммунистического Союза молодежи»), то теперь так именовался только Сталин. Думается, Ленин, употреблявший слово «вождь», обозначал этим не столько личное, персональное качество революционного руководителя, сколько политическое. Для Ленина, как свидетельствует анализ его работ, вождь — это прежде всего передовой представитель класса, общественной группы. Ничего культового, мифического, связанного с персонификацией власти, Ленин не допускал.

В своей работе «Насущные задачи нашего движения», написанной еще в 1900 году, он подчеркивал: «Ни один класс в истории не достигал господства, если он не выдвигал своих политических вождей, своих передовых (разрядка моя.— **Д. В.**) представителей, способных организовать движение и руководить им». Годом раньше, изучая понятное направление в деятельности русской социал-демократии, В. И. Ленин отмечает особую роль «рабочей интеллигенции», обладающей страстным стремлением к знанию и социализму. Именно из этой среды и берутся, писал он, «рабочие-передовики». Еще ленинская цитата: «Вся-

кое жизненное рабочее движение выдвигало таких вождей рабочих, своих Прудонов и Вальянов, Вейтлингов и Бебелей. И наше русское рабочее движение обещает не отстать в этом отношении от европейского». Ленин говорит, таким образом, о многих вождях как передовых руководителях пролетариата.

Логика действий Сталина и его окружения вела к тому, чтобы создать такую систему политических и социальных отношений в партии и стране, которая бы утвердила положение «господствующей личности» — это выражение Плеханова мы заимствовали из его критического анализа работ историка И. Тэна.

«Господствующая личность»

Неуклонное восхождение одной личности на вершину вождизма стало возможным еще и потому, что партия, как это ни горько говорить, разрешила, согласилась с этим современным цезаризмом. Мы десятилетия говорили о «возрастании» роли партии в самых различных сферах нашей деятельности, но я не слышал и не читал ни в докладе Н. С. Хрущева на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях», ни в известном постановлении ЦК по этому вопросу, ни в других документах о том, что партия хотя бы в какой-то степени виновна в уродствах культа. Но среди причин его появления она, эта причина, не последняя. Подобострастное отношение к своим руководителям, бесконтрольность, пожизненность должностей создали обстановку, в которой человек со злым, изощренным, хитрым умом, человек, не знавший компромиссов, каким был Джугашвили-Сталин, оказался «господствующей личностью» во всем. Партия не смогла, не нашла тех защитных мер, которые уберегли бы ее и народ от единовластия.

В «Святом семействе» приводится глубокая и верная мысль, взятая из газеты «Лустало»: «Великие кажутся нам великими лишь потому, что мы сами стоим на коленях». Маркс к этому добавляет: «Поднимемся!».

Имеется много высказываний Сталина, в которых он верно трактует соотношение «вождь — масса», роль личности в истории, значение коллективного руководства в партии. Так, в декабре 1931 года Сталин говорил: «Единоличные решения всегда или почти всегда — однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения... В нашем руководящем органе, в Центральном Комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки наций Советского Союза и национальной политики. В этом ареопаге,— продолжал Сталин,— сосредоточена мудрость нашей партии. Каждый имеет возможность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки».

Хотел он того или не хотел, но последними словами Сталин невольно подтвердил мысль, что многие из «серьезнейших» ошибок, допущенных в процессе коллективизации, партийного и государственного строительства, в сфере культуры, стали возможны именно благодаря единоличным решениям одного человека.

Прежде всего это выразилось в устойчивой тенденции к свертыванию коллегиальности в работе Центрального Комитета, которой В. И. Ленин придавал такое огромное значение. Известно, что в первые шесть лет после Октября в соответствии с партийными нормами и политической необходимостью было созвано шесть съездов, пять конференций и сорок три Пленума ЦК. На всех этих партийных форумах шли настоящие дискуссии, не было давления авторитетов, коммунисты имели возможность свободно излагать свою точку зрения, формулировать позицию по тому или иному вопросу.

Когда же Сталин в очередной раз был «коронован» на XVII съезде партии и начали рельефно выступать очертания культового обожествления его персоны, «вождь» принял меры к резкому ограничению коллегиальности в выработке решений, поскольку он уже не нуждался в других мнениях. С 1934 года, после XVII съезда, по 1953 год (год смерти Сталина), то есть за двадцать лет, состоялось всего два партийных съезда, одна конференция, двадцать два Пленума ЦК, перерыв между XVIII и XIX съездами партии выразился в тринадцати годах. Были годы — 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1950, 1951,— когда Центральный Комитет на свои заседания не собирался ни разу! Со временем Сталин, что явствует из его решений и линии поведения, смотрел уже на ЦК не как на «ареопаг мудрости», а просто как на партийную канцелярию, удобный аппарат для реализации его решений. А ведь, готовясь к XIV съезду партии в 1925 году и редактируя проект Устава ВКП(б) как секции Коммунистического Интернационала, Сталин подчеркнул в силу особой важности такие слова: «Очередные съезды созываются ежегодно. Центральный Комитет имеет не менее одного пленарного заседания в два месяца».

Жизнь, конечно же, внесла свои коррективы в эти строки, война, заставившая страну превратиться в военный лагерь, тоже не позволила скрупулезно придерживаться принятых норм,— это понятно, но чтобы фактически пренебречь ими... Единоличный вождь все прибирал к своим рукам: мысль, политическую волю, социальный арбитраж, и это становилось похожим на политическое самодержавие.

В. И. Ленин еще на III съезде партии в далеком 1905 году в докладе «Об участии социал-демократии во временном революционном правительстве» говорил: «Революционный народ стремится к самодержавию народа (здесь и далее разрядка моя.— **Д. В.**), все реакционные элементы отстаивают самодержавие царя. Успешный переворот поэтому не может не быть демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». Еще на заре века, задолго до победы социалистической революции, Ленин допускал лишь «самодержавие народа» в форме «демократической диктатуры», для Сталина теперь все эти старые речи о демократии, народном представительстве, коллективном разуме стали как-то сразу неактуальными, даже наивными.

Усилению бюрократических тенденций в партии способствовало специфическое понимание Сталиным партийного единства. Известно, что в двадцатые годы партии пришлось столкнуться с весьма активным противодействием в проведении своей политики со стороны отдельных групп коммунистов. Далеко не всегда это были «враги». Часто особые «курсы», «платформы» возникали от ошибочных оценок ситуации, своеобразного понимания перспектив движения, а иногда зарождались и на личной почве. Сегодня, анализируя весь спектр борьбы оппозиций, группировок, все больше убеждаешься, что одним из решающих пунктов разногласий и ожесточенных схваток были проблемы демократии, соотношения «вождь и партия», роли масс в революционном творчестве, хотя зачастую они скрывались за другими фразами. Во многих случаях оппозиционеры были людьми, не готовыми к единомыслию как духовной униформе. Мы, диалектики, зная, что жизнь движется вперед противоречиями, тем не менее часто инакомыслие рассматривали как враждебное проявление, но, может быть, в нем выражалось стремление найти более оптимальную альтернативу? Разве бездумное единомыслие не плодит догматиков, безликих, равнодушных людей?

Было тогда, конечно, и немало таких людей, которые сознательно ставили перед собой цели, не вписывающиеся в программные установки партии. Как правило, они исповедовали другие приоритеты социальных ценностей. Перед лицом разрухи, внешней империалистической опасности, роста различных оппозиционных группировок по инициативе В. И. Ленина на X съезде партии в марте 1921 года была принята знаменитая резолюция. После его доклада съезд обязал немедленно распустить все фракционные группировки. В резолюции ясно говорилось, что единство и сплоченность рядов партии, «обеспечение полного доверия между членами партии и работы действительно дружной, действительно вопло-

щающей единство воли авангарда пролетариата, является особенно необходимым в настоящий момент». Эта установка, сыгравшая большую роль в сплочении партии, была нацелена не против разномыслия, борьбы мнений, а, повторяем, против фракционных групп с политическими платформами, не совместимыми с программными и уставными целями партии.

Сталин часто обращался к этой резолюции, нанося «удары» по фракциям, оппозициям и уклонам. Постепенно в его устах слова «оппозиция», «оппозиционер» приобрели вполне определенный смысл, тождественный понятиям «враг», «противник». В последующем любое, даже мелкое несогласие с политикой партии отдельных ее руководителей и тем более с его позицией расценивалось генсеком как «борьба с партией», «вражеская деятельность». Выступая за единство, но понимая его не диалектически, а догматически, Сталин постепенно добился полной ликвидации здоровой борьбы мнений, свободного высказывания своих взглядов коммунистами, критики вышестоящих партийных органов. В партии возникло «бездумное однодумство».

В сталинском понимании главными элементами единства выступают исполнительность, беспрекословное повиновение директивам, готовность поддержать любое решение вышестоящих органов. Часто малейшее отступление от догм, провозглашенных вождем, не просто осуждалось, но и было опасно для жизни «сомневающихся». Например, Г. М. Маленков, выступая на январском (1938 года) Пленуме ЦК, привел пример, когда в Калмыкии, в Сарычинской парторганизации был исключен из партии коммунист Кущев. «На занятиях по политграмоте,— говорил он,— Кущеву был задан вопрос:

— Можем ли мы построить социализм в одной стране?

— Построить социализм в одной стране можно, и мы его построим,— отвечал Кущев.

— А построим ли мы коммунизм в одной стране?

— Коммунизм в одной стране построим...

— А полный коммунизм?

— Построим.

— А окончательный коммунизм построим?

— Окончательный — вряд ли,— размышлял Кущев,— без мировой революции. Впрочем, посмотрю в «Вопросах ленинизма», что по этому поводу пишет тов. Сталин».

Вот за последний ответ Кущев был исключен из партии и снят с работы. Но Маленков усматривает здесь не проявление догматизма, не культовое уродство, требующее религиозного, политического единомыслия, а ищет «происки врагов», окопавшихся «на каждом предприятии, в колхозе и совхозе». Кущев допустил малейшее сомнение, «сбой» в единомыслии, и «враги» этим воспользовались.

Подобная трактовка уродует демократическое понимание единства, предполагающее синтез коллективной воли с одновременной возможностью излагать свободно свои взгляды и позиции. Ведь резолюция X съезда о единстве предусматривала, что партия неустанно будет продолжать, испытывая новые приемы, бороться всякими средствами против бюрократизма, за расширение демократизма, самодеятельности. Постепенно любой коммунист, рискнувший выступить с новым предложением, инициативой или несогласный с теми или иными аспектами политики, повседневной практики, рисковал быть ошельмованным, а то и просто причисленным к лику «врагов». Исподволь от коммунистов все более настойчиво требовали лишь «поддерживать» и «одобрять» и все меньше и меньше принимать реальное участие в обсуждении крупных проблем партийной и государственной жизни.

На XVII съезде партии по предложению Сталина была ликвидирована Центральная Контрольная Комиссия, обладавшая прерогативами контроля за работой ЦК и Политбюро. Функции созданной Комиссии Партийного Контроля были переиацелены на контроль за исполнением партийными организациями решений центральных органов. Созданные Лениным контрольные органы наблюдали за деятельностью всей партии — от высшего руководства до низовых организаций, теперь же аппарат контроля следил за исполнением директив и прежде всего указаний «господствующей личности».

Постепенно решения Сталина превращались в решения партийные. Генсек принимал решение, которое затем обычно «оформлялось» как решение Политбюро или ЦК. Например, в сороковые годы, когда вошли в норму «ночные бдения» в кабинетах руководителей, Сталин частенько приглашал нескольких членов и кандидатов в члены Политбюро «поужинать» у него на даче в Кунцеве. Чаще всего к нему приезжали Молотов, Каганович, Хрущев, Берия, Жданов, реже на эти ночные трапезы приглашались Андреев, Калинин, Микоян, Шверник, Вознесенский. Во время застолий решались различные политические и военные вопросы, государственные и партийные дела. Сталин обычно резюмировал итоги «бесед», и Маленков нередко оформлял их как «заседания» Политбюро.

Споры, дискуссии не возникали — соратники Сталина старались чаще всего угадать мнение вождя или вовремя поддакнуть. Даже самому «единодержцу» это иногда надоедало.

Расскажу один случай. Когда за обедом накануне XVIII съезда партии зашла речь о подготовленном докладе Сталина и все начали хором дружно его хвалить, Сталин вдруг жестко бросил:

— Так я вам дал вариант, который я забраковал, а вы аллилуйю поете... Вариант, с которым буду выступать, весь переделал!

Все осеклись. Наступило неловкое молчание, но Берия быстро нашелся:

— Но уже и в этом виде чувствуется ваша рука. А если вы переделали и этот вариант, можно представить, каким сильным будет доклад!

Политбюро, избранное после XVII съезда партии — Андреев А. А., Ворошилов К. Е., Каганович Л. М., Калинин М. И., Киров С. М., Косиор С. В., Куйбышев В. В., Молотов В. М., Орджоникидзе Г. К., Сталин И. В.,— собиралось еще достаточно регулярно, но не всегда в полном составе. Чаще вопросы решались узкой группой: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, позже — еще Жданов или Берия. Со временем Сталин создаст внутри Политбюро различные комиссии, так называемые «пятерки», «шестерки», «семерки», «девятки». Как сообщил в своем докладе на XX съезде партии Н. С. Хрущев, эта система, смахивающая на карточную терминологию, была закреплена специальным решением Политбюро.

Конечно, жизнь сложна, проблем много, и всегда, как еще при жизни Ленина, возможно создание различных комиссий для решения тех или иных вопросов. Но, несмотря на важность работы комиссий, все принципиальные решения должны приниматься полным составом Политбюро, Центральным Комитетом. А сведение управляющей функции партии к мнению «пятерки», в которой, конечно, было тоже «одно мнение», обесценивало всякую коллегиальность.

На документах, во множестве им рассматриваемых, Сталин оставлял обычно резолюции: «Согласен», «За», «Можно», а иногда «бумаги» направлял своим соратникам для того, чтобы выяснить их мнение, хотя часто не придавал им никакого значения.

...В апреле 1936 года Пятаков пишет письмо Сталину с просьбой разрешить полет стратостата «СО-35-1» «при благоприятной метеорологической обстановке».

Сталин на документе пишет, как будто советуясь:

«Т-щу Ворошилову.

Как быть?

И. Ст.»

Ворошилов отвечает:

«Товарищу Сталину. Думаю, что можно разрешить.

К. Ворошилов. 7.4.36.»

Еще ниже на этом же документе следует категорическое:

«Я против. И. Ст.»

Подобная безапелляционность в решениях, которые без аргументов отвергали другие мнения и оставляли в силе лишь свое, постепенно создали обстановку, когда многие члены и кандидаты в члены Политбюро стремились прежде всего предвосхитить решения Сталина. Некоторым это хорошо удавалось, особенно Берии, когда он вошел в состав Политбюро.

Знакомясь с результатами многих поименных опросов, голосования по тому или иному вопросу, которые проводил Сталин, я не встретил ни одного случая, когда кто-нибудь хоть косвенно поставил под сомнение явно ошибочные, а порой и преступные предложения. Никто не желал серьезно возражать даже в самой деликатной форме. Мы знаем, чем бы скорее всего это кончилось, но часто даже люди, находясь у черты, которая отделяла жизнь от небытия, покорно соглашались с мнением вождя, означавшим для них смертный приговор.

Да, обсуждение любого вопроса проводилось на основании «указаний» и «установок» вождя. Даже формулируя часто верные хозяйственные, социальные, технические вопросы, пути их решения, участники совещаний, заседаний, пленумов непременно были вынуждены освещать их «идеями», «положениями», «выводами», высказанными в разное время Сталиным. После XVII съезда и до смерти вождя уже никто не мог публично что-то даже «добавить» или как-то «обогатить» тезис, сформулированный Сталиным. Фактически в партии постепенно утвердился принцип догматического единоначалия. Известно, что этот постулат необходим для военных систем в силу специфики их функционирования, но не для партии.

Взаимоотношения между партией и вождем, полагал Сталин, надо закрепить в массовых, доступных всем коммунистам и народу изданиях. Таковыми явились «Краткий курс истории ВКП(б)», вышедший в 1938 году, и «Краткая биография» вождя, изданная десятилетие спустя. В девятом номере журнала «Большевик» за 1937 год Сталин опубликовал «Письмо составителям учебника истории ВКП(б)». Главный акцент в «Истории», пишет Сталин, должен быть сделан на борьбу партии с фракциями и группировками, антибольшевистскими течениями. И это не случайно, поскольку в данном случае в центре борьбы обязательно окажется он, ведь именно Сталин «разгромил» Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина. Слов нет, различных, чаще все же не антиленинских группировок в то время было немало, но история партии, конечно, не сводилась и не должна сводиться только к этой борьбе.

Сталин не постеснялся (он практиковал это уже давно) дать «указание» составителям учебника чаще ссылаться на его идеи. Например, предложил использовать «письмо Энгельса Бернштейну в 1882 году, приведенное в первой главе моего доклада VII-ому расширенному Пленуму ИККИ «О соц.-дем. уклоне» в ВКП(б), и мои комментарии к нему». Без этих комментариев, пишет дальше Сталин, «борьба фракций и течений в истории ВКП(б) будет выглядеть, как непонятная склока, а большевики,— как неисправимые и неугомонные склочники и драчуны». Группа авторов по поручению ЦК за короткий срок подготовила «Краткий курс», на длительное время ставший основным, а часто и единственным пособием по идейно-теоретической подготовке миллионов советских людей. Книга, вышедшая в нашей стране общим тиражом более сорока миллионов (!) экземпляров, проникнута апологетикой сталинского «гения», его «мудрости» и «прозорливости».

Первоначально в корректуре труда и в первом издании отмечалось: «Комиссия Центрального Комитета ВКП(б) под руководством товарища Сталина и при его активнейшем личном участии разработала «Краткий курс истории ВКП(б)». Однако такая формулировка не удовлетворяла Сталина. В. выпущенной позже «Краткой биографии» Сталина, которая им лично тщательно редактировалась, дополнялась и уточнялась, появилась новая фраза: «В 1938 году вышла в свет книга: «Краткий курс истории ВКП(б)», написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией Центрального Комитета ВКП(б)». Сталина уже не смущало то обстоятельство, что книга, прославляющая его самого, была, оказывается, написана... тоже им. Так осуществлялось идеологическое обоснование абсолютной роли вождя, его контроля над партией и государством. Устранив к тому времени практически всех видных соратников Ленина, Сталин «вычеркнул» их и из истории — в «Кратком курсе», кроме Ленина и Сталина, нет фактически конкретных творцов социализма, есть лишь «враги».

Книга, ставшая обязательной для коммунистов, студентов вузов, всей системы партийного просвещения и политического образования, однозначно изложила несколько сталинских «аксиом»: в революции были два вождя — Ленин и Сталин; основная заслуга в построении социализма в СССР принадлежит Сталину; после Ленина у партии есть лишь один вождь — «мудрый», «дальновидный», «смелый», «решительный»... Сталинская концепция «вождь — партия», таким образом, в этом массовом издании была доведена до всего народа. Простота изложения, элементарный схематизм сделали «Краткий курс» весьма доступным пособием практически для каждого человека.

После выхода книги в свет 1 октября 1938 года было проведено совещание пропагандистов Москвы и Ленинграда, на котором выступил Сталин. Стоит привести некоторые выдержки из его речи. «Одна из задач издания,— заявил Сталин,— ликвидировать разрыв между марксизмом и ленинизмом». Далее генсек дал понять, что пока существует лишь одна книга, которая в единстве рассматривает марксизм-ленинизм,— работа «Об основах ленинизма», тоже написанная им. Эта книга, без тени смущения продолжал докладчик, «излагает то новое и особенное, что внесено Лениным в марксизм. Не скажу, что там изложено все, но книга Сталина дает все основное, что внесено Лениным в марксизм». Вот так сам Сталин дал «высочайшую» оценку своему труду.

Гай Светоний, описывая жизнь Тиберия, уверял, что диктатор знал о своем будущем заранее и «давно предвидел, какая ненависть и какое бесславие ожидают его впереди». Сталин никогда даже не допускал такой мысли — его архив, записки, резолюции, письма, фотографии, кинохроника, стенограммы речей свидетельствуют об абсолютной уверенности вождя в своем бессмертии в народной памяти. После XVII съезда и до конца дней он, не будучи таким проницательным, как Тиберий, закреплял свою «славу» на века.

Постепенно «самодержавные» мотивы места вождя по отношению к партии, народу были закреплены во множестве культовых актов и «обрядов». Так, например, были учреждены Сталинские стипендии, Сталинские премии, хотя еще в августе 1925 года при участии Сталина было принято решение правительства об учреждении премии имени В. И. Ленина, но при единовластии вождя это постановление было просто забыто. Даже Государственный гимн, созданием и редактированием которого он лично руководил, отразил его роль в судьбе Отечества:

Нас вырастил Сталин на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

Сергей Михалков и Эль-Регистан, подготовив по поручению вождя текст гимна, вручили его Сталину. Тот, посидев над строчками, собственноручно внес правку, которая сохранилась в архиве Сталина.

Вместо «Свободных народов союз благородный» Сталин вписал: «Союз нерушимый республик свободных».

Второе четверостишие подверглось большей переработке. Оно выглядело первоначально так:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
Нам Ленин в грядущее путь озарил,
Нас вырастил Сталин — избранник народа,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

После того, как по тексту походил карандаш Сталина, вторая и третья строки стали выглядеть иначе:

И Ленин великий нам путь озарил,
Нас вырастил Сталин — на верность народу...

Генсеку чем-то не понравились слова «избранник народа», хотя, если вдуматься, народ его действительно не избирал. Он стал вождем, диктатором, лидером, правителем огромного народа, не будучи им

избранным! С его самой существенной правкой согласились сразу же не только Михалков и Эль-Регистан, но и присутствовавшие вечером 28 октября 1943 года у Сталина Молотов, Ворошилов, Берия, Маленков и Щербаков. Сталин не просто «утверждал» текст гимна, он его лично редактировал, а предложенный авторами припев:

Живи в веках, страна социализма,
Пусть наше знамя миру мир несет.
Живи и крепни, славная Отчизна!
Тебя хранит великий наш народ —

он сразу же отбросил, не объясняя даже, почему ему он не понравился. Возможно, его не устраивало «миру мир»?

В гимне не было ни слова о партии, но оказались необходимыми слова о вожде... Постепенно в сознании советских людей утверждалась мысль, что Сталин — это не только вождь партии, но и вождь всего народа. В концентрированной форме эту идею публично в печати в декабре 1949 года выразил член Политбюро ЦК ВКП(б) Н. С. Хрущев:

«Все народы Советского Союза видят в Сталине своего друга, отца и вождя.

Сталин — друг народа в своей простоте.

Сталин — отец народа в своей любви к народу.

Сталин — вождь народов в своей мудрости руководителя борьбой народов».

Ем. Ярославский, один из придворных комментаторов сталинизма, в своей книжке «О товарище Сталине» выделяет специальную главу «Вождь народов». Главная ее идея: «рядом с Лениным начиная с конца 90-х годов и всегда вместе с Лениным, всегда по одной дороге, никогда не сворачивая с этого пути, идет товарищ Сталин». В этой книжке-панегирике есть, однако, и верные мысли, которые, помимо своей воли, выразил автор. Так, в нескольких местах он нажимает на «беспощадность Сталина к врагам». Что верно, то верно: вождь был беспощаден ко всем, кого он считал врагами.

Сталин, читая «творения», подобные книжке Ем. Ярославского, все больше утверждался в мнении, что высшую точку параболы своей судьбы он достигнет не скоро,— «вознесение», казалось, будет бесконечным. Так, как славили его, не славили ни одного российского императора! В конце концов он сам поверил в свою земную мессианскую роль: корни народной трагедии тем глубже погружались в социальную почву, чем торжественнее превозносился триумф вождя.

Отмечая все эти культовые уродства, следует вместе с тем сказать, что они на догматической основе играли стабилизирующую роль. Мы сегодня знаем, что сплочение народа, достижение его морально-политического единства возможно и на другой основе, но тогда, когда страна так и не приобщилась к социалистической демократии, упор на воспитание веры в вождя, его мудрость, непогрешимость быстро дал результаты. Несмотря на страшные репрессии конца тридцатых годов, тоталитарные тенденции в развитии государства, диктаторскую роль вождя, общество, его социальные устои были прочными.

Спустя десятилетия после смерти Сталина, когда опубликованы многочисленные материалы о деяниях и преступлениях сталинских времен, есть еще очень много людей, которые по духовной, социальной инерции продолжают считать его великим преобразователем, мудрым вождем с «твердой рукой». Думается, что «тайна» живучести этой приверженности связана не только с временными, возрастными обстоятельствами («своя» судьба, «свое» время, «свои» кумиры), а прежде всего с тем, что всей системой пропаганды, воспитания, социальной жизни утверждалось: «социализм — это Сталин». Поэтому в огромной степени «верность» Сталину — это верность той давней, освещенной молодостью идее.

Дело, повторяем, не только в личных качествах Сталина: только силой своего влияния он был бы не в состоянии так изменить духовные и социальные структуры. Сама общественная практика, методы и политика возвеличивания роли одной личности постепенно создали определенную систему отношений. Только в этой системе Авторитет Вождя мог генерировать процессы, которые мы давно уже именуем «культом личности», только в этой системе отношений все или почти все стало «работать» на усиление Авторитета Вождя. Но, конечно, особенно активно здесь «трудилось» непосредственное окружение, которое само стало неотъемлемым компонентом Авторитета. Да, в перекосе соотношения «вождь и партия» виновна не только одна личность.

Если бы все заключалось только в человеке, то после его ухода, смерти в этой системе, в этом механизме не надо было бы ничего менять: ведь носителя культовых явлений уже нет! Но в том-то и суть, что все обстоит гораздо сложнее. Культ «господствующей личности», обожествляющий Авторитет Вождя, питается «соками» социальной среды, системы, где нет надежного демократического механизма гарантий, защиты от этого. Личностные деформации могут проявляться либо, как уже было в истории, в форме «субъективизма» или «волюнтаризма», либо в карикатурном самовозвеличивании и парадности, ведущих к социальному, экономическому и духовному застою.

Поскольку слишком часто (и это тоже справедливо!) указывают на большую роль в культовых уродствах личных качеств Сталина, попытаемся еще раз на новом уровне выделить в его портрете те черты, которые характеризуют интеллект генсека.

Интеллект Сталина

Интеллектуальные свойства в разной степени присущи каждому нормальному человеку. К. Маркс писал, что «человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы». Можно, пожалуй, сказать, что интеллект является не чем иным, как преимущественно рациональным уровнем сознания, выражающим способности человека к творческому освоению действительности. «Освоение» окружающего мира осуществляется интеллектом на уровне рассудочного мышления («здравого смысла»), разума (высшей мыслительной способности) и интуитивных операций. При общности основных характеристик каждый интеллект уникален, неповторим, своеобразен.

В последние годы, видимо, под влиянием все новой и новой информации негативного содержания о Сталине, его жизни и деяниях стало складываться впечатление, что умственные способности этого человека не поднимались выше обыденного уровня. Иногда утверждается еще более категорично, что характеристика Троцкого в отношении Сталина как «выдающейся посредственности», по сути, является точной. С этим едва ли можно согласиться, поскольку трудно тогда понять, как человек, лишенный каких-либо приметных умственных способностей, мог с 1912 года входить в руководящие органы партии, как мог его Ленин называть одним из «выдающихся вождей», как удалось Сталину в сложнейшем клубке противоречий и политических лабиринтов беспощадной борьбы в двадцатые годы выйти победителем в борьбе с лицами, превосходившими его во многих отношениях.

Все дело в том, что, оценивая личность Сталина (и это естественно), вольно или невольно на первый план выдвигают его преступления, коварство, жестокость, беспощадность к тем, кого он считал врагами. Но все это косвенно характеризует интеллект, а больше — нравственные грани человека. В этом смысле незаурядный интеллект Сталина — думаю, что он таковым и был,— как бы «обрамлен» многими атрибутами антигуманизма и потому глубоко обесценен. Если бы можно было охарактеризовать интеллект Сталина кратко, то, видимо, будет близка к истине формула «незаурядный злой ум». Ведь, например, при всей антигуманности нравственных воззрений Э. Теллера, «отца» американской атомной бомбы, никто не может отрицать у него мощного (возможно, дьявольского) интеллекта. Моральная ущербность сама по себе — огромная брешь в интеллекте, это его нравственные сумерки, без звезд и зарниц добра.

Нравственные изъяны в структуре личности могут низвести даже сильный интеллект до функции счетной машины, логического механизма, до уровня рациональной сухой расчетливости.

Сталин, испытав еще до революции в интеллектуальных спорах с оппонентами немало тягостных, порой унизительных минут, не смирился с ролью статиста в этих диспутах, а старался максимально полно охватить круг обсуждаемых политических вопросов. При огромной загруженности — это удалось установить точно — Сталин весьма много работал над повышением своего интеллектуального уровня.

В личном архиве Сталина сохранился один любопытный документ. В мае 1925 года Сталин поручил своему помощнику Товстухе создать для него хорошую личную библиотеку. Товстуха, немного растерявшись от неожиданной задачи, спросил генсека:

— Какие книги должны быть в библиотеке?

Сталин, начавший было диктовать, внезапно остановился, сел за стол и в присутствии помощника на двух сторонах одного листа бумаги почти без раздумий за 20 минут написал записку библиотекарю, которую мы, несмотря на пространность, приведем полностью:

«Записка библиотекарю. Мой совет (и просьба)

1) Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам:

а) философия;
б) психология;
в) социология;
г) политэкономия;
д) финансы;
е) промышленность;
ж) сельское хозяйство;
з) кооперация;
и) русская история;
к) история других стран;
л) дипломатия;
м) внешняя и вн. торговля;
н) военное дело;
о) национальный вопрос;
п) съезды и конференции (а также резолюции), партийные, коминтерновские и иные (без декретов и кодексов законов);
р) положение рабочих;
с) положение крестьян;
т) комсомол (все, что имеется в отдельных изданиях о комсомоле);
у) история революций в других странах;
ф) о 1905 годе;
х) о Февральской революции 1917 г.;
ц) об Октябрьской революции 1917 г.;
ч) о Ленине и ленинизме;
ш) история РКП и Интернационала;
щ) о дискуссиях в РКП (статьи, брошюры);
щ [1]) профсоюзы;
щ [2]) беллетристика;
щ [3]) худ. критика;
щ [4]) журналы политические;
щ [5]) журналы естественнонаучные;
щ [6]) словари всякие;
щ [7]) мемуары.

2) Из этой классификации изъять книги (расположить отдельно)

а) Ленина (отдельно)
б) Маркса (—)
в) Энгельса (—)
г) Каутского (—)
д) Плеханоаа (—)
е) Троцкого (—)
ж) Бухарина (—)
з) Зиновьева (—)
и) Каменева (—)
к) Лафарга (—)
л) Р. Люксембург (—)
м) Радека (—)

3) Все остальные склассифицировать по авторам (исключив из классификации и отложив в сторону: учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и т. п.)

29.V.25 г. И. Сталин».

Учитывая, что это был фактически моментальный набросок, а также уровень «книжной цивилизации» того времени, нельзя не признать определенную широту взглядов Сталина. Если взять в качестве теста метод, невольно предложенный Сталиным, можно проверить себя на «энциклопедичность», степень универсальности, как и специализации. Во главу угла Сталин поставил, как видим, составные части научного социализма, историю, конкретные области знания, связанные с политической деятельностью и борьбой с оппозициями. Заметно беднее список персоналий, в котором мы видим, кроме Ленина, основоположников научного социализма, а также тех, с кем он полемизировал или будет полемизировать. В списке отсутствуют такие корифеи мысли, как Гегель, Кант, Фейербах, Руссо, Декарт, Дидро, многие социалисты-теоретики, бывшие его современниками.

На некоторых его книгах стоит экслибрис: «Библиотека №... И. В. Сталина». Мы уже говорили, что все тома первого издания Собрания сочинений В. И. Ленина испещрены подчеркиваниями, галочками и восклицательными знаками на полях. К некоторым работам Сталин, по-видимому, обращался не раз: отдельные строки из статей подчеркнуты и красным, и синим, и простым карандашами. Больше всего Сталина, повторяем, интересовали мысли Ленина о диктатуре пролетариата, его борьбе с меньшевиками и эсерами, выступления на съездах.

Из современников Сталин чаще обращался к Бухарину и Троцкому. Например, книга. Академик Бухарин. «Техника и экономика современного капитализма», изданная в 1932 году, судя по подчеркиваниям красным карандашом, внимательно прочитана Сталиным, и его особенно заинтересовали выводы Бухарина о соотношении производительных сил и производственных отношений. На книге М. Смоленского «Троцкий», изданной в Берлине в 1921 году, подчеркнуты все места, критически оценивающие сталинского непримиримого оппонента: «Троцкий — колюч и нетерпим», «это натура властная, любящая повелевать», «политический властолюбец», «Троцкий — гениальный политический авантюрист». Сталин везде, где мог, искал аргументы против своего соперника. Видимо, много аргументов для борьбы с ним Сталин взял из брошюры самого Троцкого «Терроризм и коммунизм», изданной в 1920 году. Так же тщательно «изучена» книга Зиновьева «Война и кризис социализма», Каменева «Чернышевский», Бубнова «Основные моменты в развитии компартии в России», Нарвского «К истории борьбы большевизма с люксембургианством», Стэна «К вопросу о стабилизации капитализма». Все, что касалось «борьбы», не оставалось вне поля зрения Сталина.

И еще. Постоянный, устойчивый интерес Сталин сохранил на всю жизнь к исторической литературе и прежде всего к жизнеописаниям императоров и царей. Книги Беллярминова «Курс русской истории», Виппера «Очерки римской империи», «Иван Грозный» и другие подверглись весьма тщательному изучению. У него всегда под рукой находились все учебники истории для средней школы, вузов с его пометами. Нетрудно догадаться, что в освещении соответствующим образом отечественной истории он также видел один из важнейших рычагов единовластия.

Помощники докладывали Сталину о заслуживающих внимания, по их мнению, материалах периодической печати, из «толстых» журналов. В перерывах между работой над деловыми бумагами он иногда отвлекался на тридцать — сорок минут и брал в руки новинки художественной литературы, листал статьи в журналах. Порой после чтения нажимал кнопку звонка, входил помощник, и Сталин просил его позвонить тому или иному писателю, руководителю творческого союза с пожеланием, выражением мнения генсека. Бывали случаи, когда он сам брался за перо.

Так, пролистав книгу «В степях Украины» Корнейчука, сразу же набросал на листке короткое письмо:

«Многоуважаемый Александр Евдокимович!

Читал Вашу «В степях Украины». Получилась замечательная штука,— художественно цельная, веселая, развеселая. Боюсь только, что слишком она веселая; есть опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания.

Между прочим: я добавил несколько слов на 68 стр. Это для большей ясности.

Привет!

И. Сталин».

А «вставки» Сталина были следующими:

1) «налог теперь будут брать не от количества скота, а от количества гектаров колхозной земли».

2) «разводи сколько хошь колхозного скота, налог остается тот же».

Прагматический ум Сталина сработал и здесь — он не упустил случая, чтобы устами героев Корнейчука не пояснить одно из последних указаний ЦК.

Прочитав пьесу Эрдмана «Самоубийца», написал Станиславскому:

«Многоуважаемый Константин Сергеевич!

Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство» (так в тексте.— Д. В.). Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна... Не исключаю, что театру удастся добиться цели. Культпроп (т. Стецкий) поможет Вам в этом деле. Будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант.

Привет!

9.XI.31. И. Сталин».

Стараясь прослыть «либералом» в творческих кругах, Сталин кокетничает своим «дилетантством». А мы знаем, сколь категоричны его суждения по поводу не только пьес, но и книг, фильмов, музыки, архитектуры! Положение Первого лица в государстве, обязанного знать если не все, то очень многое, действительно делало Сталина «универсальным дилетантом», и он позволял себе иногда этим бравировать.

Сталин внимательно следил за литературой, выходящей и за рубежом. Ему почти все переводили (в одном экземпляре), что выходило из-под пера Троцкого. Просматривал Сталин и эмигрантские издания.

В декабре 1935 года заведующий отделом печати и издательств ЦК Б. Таль обращался к членам Политбюро:

«Просьба сообщить, какие из нижеперечисленных белоэмигрантских изданий выписывать для Вас в 1936 году:

1. Последние новости
2. Возрождение
3. Соц. Вестник
4. Знамя России
5. Бюллетень экономического кабинета Прокоповича
6. Харбинское время
7. Новое русское слово
8. Современные записки
9. Иллюстрированная Россия».

Сталин, ознакомившись с очередным списком, велел помощнику выписать все.

Бросается в глаза отношение Сталина к антирелигиозной литературе, которую он откровенно называет «макулатурой». Что бы ни говорили, а религиозное образование сказывалось у него всю жизнь. Часто элементы религиозного звучания проскальзывали в письменной и устной речи Сталина. Вспомним его драматическое выступление по радио 3 июля 1941 года, когда он обратился к народу с необычными для советской действительности словами: «Братья и сестры!» После празднования своего пятидесятилетия Сталин собственноручно написал на листке из блокнота для «Правды» благодарность за поздравления в библейском духе: «Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию (разрядка моя.— Д. В.)». Сталин и Черчилль в Москве в августе 1942 года во время беседы вспомнили о Ллойд-Джордже, одном из инициаторов интервенции против Советской России в годы гражданской войны. Сталин, помолчав и вздохнув, как бы подвел итог воспоминаниям о далеких теперь уже годах: «Все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит богу».

Конечно, мы далеки от мысли утверждать, что в мировоззрении Сталина существенную роль играли религиозные элементы. Но то, что ярко выраженный догматизм интеллекта имел своими истоками религию, представляется весьма вероятным. Сталин был апологетом формулы, застывших определений. Он мог часами искать нужное слово, выражение у классиков, чтобы «неотразимо», как он полагал, «ущучить», сразить своих оппонентов.

Так, на апрельском (1929 года) Пленуме ЦК и ЦКК Сталин уличил Бухарина, как он выразился, в «незнании Ленина». Для него это было особенно важно, поскольку репутация Бухарина как талантливого теоретика была всем известна. Бухарин, выступая на одном из совещаний накануне Пленума, высказал резонное соображение, что чрезмерная перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность будет «непосильной данью». Сталин тут же отметил про себя слова о «военно-феодальной эксплуатации крестьян», о «дани» и потом долго вечером рылся вместе с Товстухой у себя в библиотеке в ленинских работах. Рылся, нашел и тут же выстроил ряд, как ему казалось, «убийственных» аргументов.

Выступая на Пленуме, Сталин заявил: «Бухарин «разорялся» здесь насчет того, что марксистская литература не может будто бы терпеть слова «дань». Он возмущался и удивлялся по поводу того, что ЦК партии и вообще марксисты позволяют себе употреблять слово «дань». Но что же тут удивительного,— торжествующе обвел Сталин глазами зал,— если доказано, что это слово давно уже получило права гражданства в статьях такого марксиста, как тов. Ленин? — Помолчав, он тоном триумфатора добавил: — Или, может быть, Ленин не удовлетворяет требованиям марксиста с точки зрения Бухарина?» И здесь Сталин привел ленинские работы «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности», «О продналоге», «Очередные задачи Советской власти», где Владимир Ильич совсем в другом контексте употребляет слово «дань». На голос с места: «Все-таки по отношению к середняку никогда не употреблялось понятие «дань»,— Сталин немедленно парировал: «Не думаете ли вы, что середняк ближе к партии, чем рабочий класс? Ну и марксист вы липовый. (Общий смех.) Если можно насчет рабочего класса говорить о «дани», насчет рабочего класса, партией которого мы являемся, почему нельзя сказать то же самое насчет середняка, который является всего-навсего нашим союзником?»

Тут Сталин, довольный, что он уличил «теоретика» в беспомощности, добавил, что он-де, Бухарин, «угодил здесь пальцем в небо». Сталина мало беспокоило, что он перевел спор в малосодержательную плоскость — говорил или не говорил Ленин слово «дань»,— сущностная сторона для него осталась на втором плане.

Мы уже упоминали, что во многих дискуссиях Сталин прибегал к одному и тому же приему, который всегда ставил в тупик оппонентов: он «подавал»

себя «защитником» Ленина, исходил априори из того, что только он правильно, верно истолковывает Ленина. Почти на любой аргумент противной стороны у Сталина быстро находилась цитата, выражение Ленина, иногда высказанные совсем по другому поводу,— он давно заметил, что броня из ленинских цитат делает его практически неуязвимым.

Зиновьев, обсуждая однажды коминтерновские дела, когда их отношения уже основательно испортились, в споре бросил Сталину довольно удачную фразу:

— Для вас ленинская цитата — как охранная грамота вашей непогрешимости. А надо видеть ее суть!

— А разве плохо идее быть «охранной грамотой» социализма? — тут же нашелся Сталин.

Прямолинейность, наступательность, воинственность, грубость Сталина в конце концов помогли ему повергнуть своих оппонентов. Странное дело: нередко более тонкие, иногда даже изящные аргументы Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина не встречали поддержки в аудитории, а грубоватые, плоские, часто просто примитивные филиппики Сталина, тесно увязанные с «защитой» Ленина, генерального курса партии, единства ЦК и т. д., быстрее доходили до сознания людей. Сталин в бесчисленных спорах и полемике с ними одолевал их главным своим аргументом: они хотели «ревизовать ленинизм», а он его «защитил». Такая интерпретация уже с начала тридцатых годов стала официальной.

Сталинское мышление было очень схематичным, он любил все «разжевывать», популяризировать до элементарщины. И если оппоненты излагали свои идеи иначе, генсек это квалифицировал очень жестко: «немарксистский подход», «проявление мелкобуржуазности», «анархистская схоластика».

Догматический интеллект Сталина оказался неспособным постичь хотя бы относительные глубины философии. Генсек, мы знаем, чувствовал это сам, поскольку долго и настойчиво пытался расширить свои знания в области философии. По рекомендации руководства Института красной профессуры Сталин пригласил к себе для своеобразных «уроков по диалектике» известного в то время советского философа Яна Стэна, из плеяды старых большевиков. Стэн работал заместителем директора Института Маркса и Энгельса, был затем ответственным сотрудником аппарата ЦК, избирался делегатом ряда партийных съездов, был членом ЦКК. Как Карев и Луппол, он со временем будет объявлен «меньшевиствующим идеалистом», теоретическим «прислужником троцкизма». Но это будет потом, а пока Стэн выступил в качестве «учителя философии», а Сталин в роли «ученика».

Стэн разработал специальную программу занятий, в которую включил изучение трудов немецких классиков Гегеля, Канта, Фейербаха, Фихте, Шеллинга, а также Плеханова, Каутского, Брэдли. Дважды в неделю он приходил к Сталину в назначенный час и терпеливо пытался разъяснить высокому ученику гегелевские концепции о субстанции, отчуждении, тождестве бытия и мышления — понимания реального мира как проявления идеи. Высокая абстрактность раздражала Сталина, но он пересиливал себя и продолжал слушать монотонный голос Стэна, изредка перебивая репликами: «Какое все это имеет значение для классовой борьбы?», «Кто использует всю эту чепуху на практике?», «Какое это имеет значение для теории марксизма?».

Сталин смог лишь отрывочно как-то понять закон перехода количественных изменений в качественные, но не одолел сути диалектического отрицания, единства противоположностей, а также, несмотря на все ухищрения Стэна, не смог усвоить тезис о единстве диалектики, логики и теории познания. Анализ сталинских «философских работ» и фрагментов свидетельствует, что все они на грани примитивизма и элементарщины. Уроки Стэна фактически не помогли генсеку придать более философский характер своему интеллекту. Может быть, поэтому у «ученика» ничего не осталось к «учителю», кроме неприязни. Стэн, как и ряд других философов, учеников Деборина, был в 1937 году арестован и погиб.

Казалось, что та же участь ожидает и академика А. М. Деборина, весьма близкого в конце двадцатых годов к Бухарину. Но Сталин ограничился тем, что надолго приклеил к крупному ученому ярлык «воинствующего идеалиста-меньшевика», отстранил его от активной общественной и научной работы. В октябре 1930 года состоялось заседание президиума Комакадемии, где обсуждался вопрос «О разногласиях на философском фронте». Заседание свелось, по существу, к долгой «проработке» академика Абрама Моисеевича Деборина за его «недооценку ленинского этапа в развитии марксистской философии». Деборин отчаянно защищался, но выступающие Милютин, Митин, Мелонов, Ярославский «уличали» его, а заодно и Стэна, Карева, Луппола в «недооценке» материалистической диалектики. После заседания президиума страсти в Академии продолжали бушевать — ученые не могли мириться с внесением полицейских методов в науку. Пожалуй, философия была первой жертвой сталинского «науковедения». Генсек ясно дал понять: в общественной науке лидер должен быть один, тот, кто является лидером политическим.

Сталин в декабре того же года выступил с докладом о положении на «философском фронте». Формально это было выступление на бюро партийной ячейки Института красной профессуры, который возглавлял Деборин. Речь Сталина была категоричной, она весьма красноречиво свидетельствует об уровне его философского мышления, рациональности его интеллекта:

— Надо разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии и естествознании. Все, что написано деборинской группой,— разбить. Стэна, Карева вышибить можно. Стэн хорохорится, а он ученик Карева. Стэн — отчаянный лентяй. Он умеет лишь разговаривать. Карев важничает и ходит как надутый пузырь. Деборин, по-моему, безнадежный человек, однако в редакции (речь идет о журнале «Под знаменем марксизма».— **Д. В.**) его надо оставить, чтобы было кого бить. Будете в редакции иметь два фронта, но у вас большинство...

После выступления докладчику посыпались вопросы:

— Надо ли связывать борьбу в теории с политическими уклонами?

— Не только можно, но и обязательно нужно,— поучал Сталин.

— А как насчет «левых»? «Правых» уже касались...

— Формализм выступает под левацкими прикрытиями,— рассуждал генсек,— подает свой материал под левым соусом. А молодежь падка на левизну. А эти господа — хорошие повара.

— На чем следует сосредоточить свое внимание Институту в философской области? — следует новый вопрос.

— Бить — главная проблема. Бить по всем направлениям и там, где не били. Гегель для деборинцев — икона. Плеханова надо разоблачить. Он всегда свысока относился к Ленину. И у Энгельса не все правильно. В его замечаниях об Эрфуртской программе есть местечко насчет врастания в социализм. Это пытался использовать Бухарин. Не беда, если где-то в своей работе заденем Энгельса...

Вот так Сталин «наставлял» философию, примитивно разбираясь в ней. Главное — «бить»... А какой должна быть марксистская философия, он показал в специальном разделе «Краткого курса истории ВКП(б)». Его рубленые фразы делят всю философию на три основные черты, ничего больше! Это типичная метафизика, которую Сталин называл диалектикой. Для ликбеза при наличии других работ эта «философская азбука» могла еще сойти, но после сталинских работ никто из ученых уже не смел на эту тему писать, можно было только комментировать, разъяснять, прославлять. Сталинское время — период глубокой стагнации и деградации философской мысли. Да и философской ли только?

Ум Сталина отражал мир, действительность, естественно, не зеркально, созерцательно, а целенаправленно, если так можно сказать, «выборочно». Сталин изучал, анализировал все общественные и социальные процессы через призму классовости политических позиций, принятых программ. Интеллекту генсека была присуща высокая прагматичность. Есть свидетельства, что, обсуждая про-

смотренные фильм, спектакль, прочитанную книгу, Сталин нередко от высказываний о достоинствах или недостатках произведения прямо переходил к каким-либо практическим выводам, иногда имеющим весьма отдаленное отношение к просмотренному или прочитанному.

Вернемся еще раз к его выступлению перед философами. Отвечая на вопросы после своего доклада, Сталин уже решил: надо свои указания этим философам закрепить особым решением. И уже в следующем месяце было принято специальное постановление ЦК о журнале «Под знаменем марксизма». Сторонники Деборина, объединявшиеся вокруг издания, были охарактеризованы как «группа меньшевиствующего идеализма».

Мышление Сталина со временем приобрело, если так можно сказать, «директивный» характер. Очевидно, генсек хорошо усвоил истину: ум слабеет не от «износа», а «ржавеет» лишь от лености мысли и бездеятельности.

А. П. Балашов рассказывал мне, что Сталин в течение суток перерабатывал колоссальное количество информации: доклады, справки, телеграммы, шифровки, письма, оставляя почти на каждом документе распоряжения. В иные дни Сталин «пропускал» через себя по сто — двести документов. Ум его всегда работал с «нагрузкой».

Прочитав кипу писем, адресованных ему лично, и набросав на них лаконичную резолюцию: «Поблагодарите за доброе отношение», «Помогите человеку», «Ерунда какая-то», он нередко выбирал одно-два из стопки и отвечал обстоятельно. Так он поступил, например, с письмом старого большевика Шнеера из Ленинграда, который спрашивал генсека об опасности реставрации капитализма и о том, есть ли уклоны в Политбюро.

Сталин на листе из большого блокнота написал четким, разборчивым почерком:

«Тов. Шнеер!

Опасность реставрации у нас существует. Правый уклон недооценивает силу капитализма. А левый — отрицает возможность построения социализма в нашей стране. Он намерен провести свой фантастический план индустриализации ценой раскола с крестьянством.

В Политбюро у нас нет ни левого, ни правого уклона.

27.X.28 г. С ком. приветом И. Сталин».

Алексей Стаханов и Грант поставили перед правительством вопрос об «обучении на инженеров и техников» путем освобождения стахановцев от производства на один-два дня в шестидневку. Многие поддерживали это предложение, оно казалось новым, революционным.

Сталин прочел документ и коротко написал:

«т. Орджоникидзе.

Дело не серьезное. И. Ст.».

По текущим, «мелким» вопросам Сталин принимал решения, как правило, не советуясь. Со временем его интеллект приспособился к быстрому переходу при решении самых различных вопросов: экономических, социальных, политических, военных, юридических, международных, идеологических, и нам непросто в таком случае проследить способности Сталина к творческому решению возникающих проблем. Мы помним, что он все стремился делать в соответствии со схемой, постулатом, устоявшимся представлением. Вместе с тем генсек был способен и к интуитивному мышлению, когда выводы и решения приходят, как бы «перескакивая» через этапы, ступени познания.

Болезненную подозрительность Сталина нельзя считать проявлением его интуитивного мышления (догадка, подозрение), она была следствием его глубоко ущербной позиции — во всех видеть потенциальных врагов. Беспочвенное подозрение обычно возникает при дефиците каких-то нравственных элементов в сознании, именно так и было у Сталина. Он мог посмотреть на кого-либо из своих соратников и заявить: «Почему ты сегодня не смотришь прямо?», «Почему ты избегаешь смотреть мне в глаза?»

Следует назвать еще одну черту сталинского интеллекта — это воля. Наличие сильной воли делает интеллект активным, деятельным, целеустремленным. Обычно такой интеллект чаще встречается у военачальников и полководцев. Не случайно, что именно они прежде всего отмечают наличие сильного интеллекта у Сталина.

Мы еще будем рассматривать Сталина в роли Верховного Главнокомандующего, но сейчас, характеризуя его мышление, приведем некоторые свидетельства выдающихся советских полководцев Жукова и Василевского, много работавших с ним бок о бок в годы войны. Маршал Жуков отмечал в Сталине «способность четко формулировать мысль, природный аналитический ум, большую эрудицию и редкую память». В другом месте своих воспоминаний он пишет, что Сталин «читал много и был широко осведомленным человеком в самых разнообразных областях знаний. Поразительная работоспособность, умение быстро схватывать суть дела позволяли ему просматривать и усваивать ... такое количество самого различного материала, которое было под силу только незаурядному человеку... Он обладал сильной волей, характером скрытным и порывистым. Обычно спокойный и рассудительный, временами он впадал в острое раздражение. Тогда ему изменяла объективность, он резко менялся на глазах, еще больше бледнел, взгляд становился тяжелым, жестким».

Маршал Василевский, отмечая многие характерные качества Сталина, выделяет у него «удивительно сильную память. Я не встречал людей, которые бы так много помнили, как он. Сталин знал не только всех командующих фронтами и армиями, а их было свыше ста, но и некоторых командиров корпусов и дивизий... В течение всей войны И. В. Сталин постоянно помнил состав стратегических резервов и мог в любое время назвать то или иное формирование».

Приведем еще одно свидетельство, характеризующее интеллект Сталина, на этот раз У. Черчилля. Когда он доложил о плане «Торч», Сталин быстро оценил его стратегические преимущества. «Это замечательное заявление произвело на меня глубокое впечатление,— писал английский премьер.— Оно показывало, что русский диктатор быстро и полностью овладел проблемой, которая до этого была новой для него. Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев. Он все оценил молниеносно».

Трудно что-либо возразить против наличия у Сталина немалой «мыслительной силы», высокой целеустремленности, сильной воли. Думается, не только игра случайностей и различного рода стечения обстоятельств вынесли его в годы революции и гражданской войны в число соратников Ленина. Важно подчеркнуть: Сталину удавалось проявить свои сильнейшие качества — волю и целеустремленность — обычно тогда, когда в них была особая нужда. Может быть, поэтому они были тогда замечены; может быть, поэтому сам Сталин поверил в себя; может быть, поэтому ему удалось многое из того, что оказалось невозможным для других?

Интеллект Сталина, будучи незаурядным, но отнюдь не «гениальным» или выдающимся, не имел рациональных «тормозов» в оценке собственных возможностей. Сталин безапелляционно мог судить почти о всех сферах знания — от политической экономии до языкознания, наставлять специалистов в области кинематографии и сельского хозяйства, делать решающие выводы в области военного дела и истории. Эта всеядность в подавляющем большинстве оборачивалась его дилетантскими суждениями, которые хором «хвалителей» немедленно возводились в ранг высших откровений.

Приведем пример из истории уничтожения одного из величайших русских памятников культуры — храма Христа Спасителя. Как известно, по предложению группы геростратов-архитекторов Каганович и Молотов предложили Сталину для строительства Дворца Советов (в соответствии с решением, принятым еще в 1922 году) именно то место, где возвышался великолепный храм.

Еще до доклада Сталину место строительства Дворца Советов определялось тайным голосованием Совета строительства. Предлагались три площадки:

Китайгород, Охотный ряд и место, где стоял великолепный храм — гордость России. В голосовании приняли участие начальник строительства Крюков, Иофан, Красин, Лавров, Попоа, Беседа, Крутиков, Мордвинов, Орлов, приглашенные Щусев, Людвиг, Бархин, Пожарлицкий. Народ, сотворивший на века это изумительное творение, никто спрашивать о судьбе храма и не собирался.

Сталин быстро одобрил предложение снести храм, его интеллектуальная ущербность в этом факте проявилась в полной мере: он оказался не в состоянии оценить бесценную историческую значимость этого памятника, построенного на пожертвования народа. И храм, создававшийся около полувека, был снесен 5 декабря 1931 года. Когда раздались взрывы, Сталин, работавший в своем кабинете в Кремле, вздрогнул.

— Что за канонада? Где взрывают? — спросил он тревожно помощника.

Поскребышев доложил, что в соответствии с июльским решением по определению места строительства Дворца Советов, одобренным им, сносят храм Христа Спасителя.

И Сталин успокоился — на продолжавшиеся в течение часа взрывы он уже больше не обращал внимания, а вновь перешел к просмотру донесений с мест о ходе коллективизации.

Едва ли Сталин знал, что эту национальную святыню народ строил на свои копейки, что над интерьером и убранством собора работали Верещагин, Маковский, Суриков, Прянишников, Клодт, Рамазанов, другие прославленные мастера. Храм, созданный на века, по «атеистическим и архитектурным соображениям» был уничтожен. Редкие, уникальные кадры, запечатлевшие взрыв храма, отдаются острой болью в сердце. Тогда взрывали не просто храм — взрывали культуру, взрывали ушедшее, взрывали народное благодарение.

Академик архитектуры Б. Иофан, автор утвержденного проекта Дворца, так описывал внешний вид готовящегося к сносу храма: «Шел 1931 год. Храм Христа Спасителя еще стоял посредине огромной площади у Москвы-реки. Большой и грузный, сверкающий своей позолоченной головой, похожий одновременно на кулич и на самовар, он давил на окружающие его дома и на сознание людей своей казенной, сухой, бездушной архитектурой, отражая собою бездарный строй российского самодержавия и его «высокопоставленных» строителей, создавших это помещичье-купеческое капище... Пролетарская революция смело заносит руку над этим грузным архитектурным сооружением, как бы символизирующим силу и вкусы господ старой Москвы».

Далее академик с восторгом описывал «гениальные замечания», сделанные Сталиным по проекту к макету Дворца. Его «дерзновенные» предложения предусматривали высоту Дворца свыше четырехсот метров; скульптуру Ленина на верхней части сооружения Сталин предложил довести до ста метров. Вообще гигантомания всегда была присуща Сталину: Большой зал — непременно до двадцати одной тысячи мест. Почему так низко возвышение для президиума, ведь там будет находиться вождь? Выше, выше! Никаких люстр — освещение только отраженным светом. Главные мотивы Дворца должны выражать шесть частей клятвы Сталина после смерти Ленина. Сталин дал ясно понять, что это будет не просто Дворец Советов, а дворец, прославляющий вождя на века. То есть, конечно, его самого.

Все грандиозное общественное здание будет апофеозом «идеи торжества многомиллионной советской демократии». «Демократии», при которой силуэт Дворца, его облицовка, высота пилонов, содержание скульптурных групп, мозаика, другие сугубо специальные вопросы определялись человеком, который в своей «гениальности» полагал нормальным делать решающие заключения и в области архитектуры. И Б. Иофан все это дилетантство, помноженное на преступное отношение к одной из жемчужин русской культуры, называл «искусством», свойственным «античному обществу и эпохе Возрождения».

Примат политического всегда брал верх, когда речь шла об истории, культуре, искусстве. Сильный прагматизм интеллекта Сталина был не в состоянии сопоставить конкретные исторические и культурные ценности с вечностью, эпохой, временем. Например, заявление Хрущева на февральско-мартовском (1937 года) Пленуме о том, что «перестраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм», встретило молчаливое одобрение генсека.

Мы отмечали, что интеллект проявляет себя преимущественно в сфере рационального сознания, однако для него свойственны и некоторые сложные чувства: любознательность, удивление, уверенность, сомнение. Эти чувства, которые условно можно назвать «интеллектуальными», сопровождают процесс проявления творческого мышления человека. Именно об этой роли чувств говорил В. И. Ленин, отмечая, что без эмоций никогда не бывало, нет и не может быть человеческого искания истины. Сталин умел «прятать» непосредственные чувства, он был чужд сентиментальности.

Атрибуты цезаризма

В начале 1937 года немецкий писатель Лион Фейхтвангер посетил Москву. Результатом его поездки стала апологетическая книга «Москва 1937». В этом «отчете о поездке для моих друзей» Фейхтвангер не скрывал, что он пустился в путь в качестве «симпатизирующего». За время пребывания в СССР его симпатии к стране еще больше возросли. Но что не мог не заметить Фейхтвангер и чему посвятил едва ли не большую часть своей книги — это место Сталина в жизни советских людей. «Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина,— это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, в подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные темы пересыпаны прославлениями Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы».

Когда Фейхтвангер сказал об этом лично Сталину при встрече, тот лишь пожал плечами и ответил, что рабочие и крестьяне были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами — портретов, которые мелькают у него перед глазами. Вот как объяснял Сталин массовое идолопоклонство: у народа не развит «хороший вкус».

Фейхтвангер, пытаясь понять истоки этого вождизма, пошел не намного дальше Сталина. Преклонение перед вождем, утверждал он, «выросло органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели он избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный «коммунизм», а конкретного человека — Сталина. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину — оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства»... Это бесхитростное объяснение, опубликованное в вышедшей в Амстердаме книжке Фейхтвангера, так понравилось Сталину, что уже в конце того же 1937 года она была быстро переведена и издана большим тиражом в Москве.

Пожалуй, это единственное в нашей стране издание, увидевшее свет при Сталине, где признавалось наличие культа личности, вождизма, цезаризма и давалось какое-то ему обоснование. Оказывается, народ не сам добывает хлеб, мясо, содержит свою армию, поддерживает «порядок», а все это результат деятельности одного человека. Очень удобная формула, во многом дожившая и до наших дней: «почитание», оказывается, относится не столько к Сталину как к человеку, а как «представителю» все возрастающих успехов. По сути, Фейхтвангер олицетворял в Сталине социалистические идеалы и реальность, а посему народ должен выражать ему «благодарность». Эта вождистская концепция верноподданничества чрезвычайно живуча и сейчас.

После публикации статей о Сталине в «Литературной газете» и «Правде» я получил несколько тысяч писем. И некоторое число читателей, возможно, десятая часть, оперирует такими доводами: «Сталин построил социализм, поэтому народ чтил вождя»; «Хотя люди были «винтиками», зато был порядок»; «Сталин не велел себя славить, это народ от благодарности за сделанное для него чтил вождя»; «При Сталине снижались цены, как не быть ему благодарным?». Эти фразы взяты из писем без изменений. Иногда есть, правда, оговорки: «В большом деле нельзя обойтись без ошибок, и не один Сталин в них виноват»; «Сталин был вынужден прибегнуть к репрессиям»; «Сталина обманывали Берия и Ежов — беззаконня творил не он»; «Легко сейчас все валить на Сталина, ведь он ответить не может». Это тоже буквальные фразы. Я не хочу обидеть людей, написавших эти строки,— они главным образом объясняются дефицитом правды, незнанием подлинной картины деяний этого человека и его окружения, грузом культивировавшихся долгие годы представлений. Хочу сказать другое: концепция культового вождизма оскорбительна для народа.

Культовый вождизм можно назвать цезаризмом XX века. Напомню: цезаризм как политическая система ведет свой отсчет от владычества Юлия Цезаря. Будучи лишь магистратом, слугой народа, который являлся и должен являться единственным сувереном, Юлий Цезарь тем не менее сосредоточил всю верховную власть в полном объеме. Сохранив старые республиканские формы правления, признавая на словах ее демократические прерогативы, Цезарь превратил народные собрания в послушное орудие одобрения своей воли. Цезарь создал новую прослойку — патрицианское сословие, разновидность древней бюрократии,— которая стала главным инструментом его власти.

Разумеется, я далек от мысли проводить прямые аналогии, но косвенные можно. Цезаризм в условиях XX века — это диктатура единовластия при сохранении всех внешних атрибутов государственной демократии. Конечно, это не легитимная (монархическая) власть, данная «божиею милостью». Любой современный «цезарь» оскорбился бы, если бы был сделан хоть намек на это. Но термин «цезаризм» уместен как выражение узурпации власти отдельной личностью при сохранении формальных признаков народовластия. Другими словами, речь идет не об аналогиях, а о политическом принципе.

Как сложилась цезаристская, вождистская концепция, каковы ее предпосылки? Без выявления этих истоков трудно понять, как Сталин при всей своей жестокости, попрании элементарных общечеловеческих норм был популярным в народе. Сейчас еще многие пожилые люди, часто даже терпевшие в жизни невзгоды, связанные с культом личности, с большой симпатией относятся к давно умершему вождю. Мы уже говорили ранее, что страна, жившая столетия под сенью царской короны, не могла, к сожалению, за несколько лет после революции так легко отбросить груз старого мышления, как другой самодержавный хлам. Царя, династию, царские атрибуты в стране уничтожили, а мышление, склонное боготворить сильную, державную личность, осталось.

С конца двадцатых годов стал сильно ощущаться дефицит демократии. Начало двадцатых годов в этом отношении выглядит весьма привлекательно: издается множество журналов, существует большое количество добровольных обществ, в печати можно высказывать самые различные точки зрения, критика является естественным элементом повседневной жизни. Например, «Правда» считала нормальным сообщить, что, например, на XIV съезде РКП(б) за резолюцию по докладам Сталина и Молотова голосовало 559 делегатов, против — 65; сообщалось, кто наиболее существенно поддержал заем индустриализации и на какую сумму; можно было узнать, что на 1 сентября 1926 года было зарегистрировано один миллион двадцать шесть тысяч безработных.

Со временем правда станет жестко «дозироваться», будет строго определяться, сколько ее «выдать», когда и каким образом. В таких условиях людям сложно делать выводы в отношении тех, кто руководит народом, кто способен быть лидером. В. И. Ленин еще на заре века писал, что партия должна вести дело так, «чтобы она видела перед собой, как на ладони, всю деятельность каждого кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными особенностями, с их сильными и слабыми сторонами, с их победами и «поражениями». Открытость, гласность подобны свету, поэтому Ленин призывал и требовал: «Света, побольше света!» Правда воистину не может быть роскошью. Однако со временем и сам Сталин, и его окружение, и многие их решения окажутся отгороженными непроницаемой завесой от людей и общественного мнения. Возьмем акты беззакония, репрессии против невинных людей. Что было известно о них? Знали лишь о крупных деятелях, известных ученых, выдающихся военачальниках, а основная масса несчастных исчезала незаметно в немоте ночи, и часто навсегда. Сама чудовищная форма, применяемая ко многим арестованным — «без права переписки»,— была апофеозом антигласности.

Постепенно люди научились потреблять лишь часть правды, совсем не зная о другой ее половине. Миллионы людей 20 февраля 1938 года узнают, что в Гренландском море ледоколами «Таймыр» и «Мурман» снята с дрейфующей льдины четверка отважных зимовщиков: И. Д. Папанин, П. П. Ширшов, Э. Т. Кренкель, Е. К. Федоров, но ничего не было сообщено, что одновременно заканчиваются последние приготовления к суду-спектаклю над Н. И. Бухариным, который начнется через две недели.

В условиях всеобщих запретов, контроля, цензуры, ограничений неосторожное слово, действие, поступок могут быть расценены как покушение на монополию истины. Выступая на февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК, его «бдительный» участник Богушевский усмотрит опасное деяние... в работе минского радио. Он увидит опасность там, где ее никогда не было: «С минской радиостанции шли антисоветские передачи. 23 января — день трансляции обвинительного заключения по делу о троцкистском центре. После передачи обвинительного заключения и отчета об утреннем судебном заседании по радио начинают передавать концерт, включающий известную бемольную сонату Шопена. Это не случайность. Сделано очень тонко: передается не просто траурный марш — это было бы слишком откровенно, а бемольная соната. Не всякий знает, что в ней-то и содержится этот марш. А это — не случайность».

Для тех, кто теперь зависел от Сталина, его прославление, проявление подобной «бдительности» окажется одним из способов находиться наверху. Секретарь Свердловского обкома партии Кабаков усмотрел покушение на правду в другом. «Мы обнаружили,— говорил он на Пленуме,— что в одном ларьке покупки обертывают докладом Томского (покончившего к тому времени с собой и объявленного «врагом народа».— Д. В.). Мы проверили и обнаружили, что торгующие организации закупили порядочное количество такой литературы. Кто может сказать,— «проницательно» вопрошал Кабаков, который сам скоро станет жертвой,— что эту литературу используют только для обертки?!»

«Заталкивание» правды в прокрустово ложе сталинских схем создавало духовные условия для утверждения концепции вождизма. Темные стороны, темные пятна, мрачные замыслы, коварные планы могут быть только у троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, всех, кто выступает против народа. Человек, который распознал, увидел, разгромил всю эту «нечисть», обладает прозорливостью, проницательностью, мудростью. И этот человек, Сталин, понимал, что нужно стимулировать энтузиазм, шире пропагандировать успехи, объяснять неудачи главным образом «вредительскими происками».

Тогу вождя, пусть и не пурпуровую, а в виде скромной красноармейской шинели, он не мог бы надеть без широкого контроля над умонастроениями людей. Власть над сознанием формировала нужные духовные состояния — энтузиазм был неподдельный, подвижничество было часто жертвенным, люди искренне требовали смерти, суровой кары изменникам. Даже такой пионер трудового героизма, как Алексей Стаханов, чье имя было у миллионов на устах, писал: «Когда в Москве происходил процесс сначала Зиновьева — Каменева, потом Пятакова и его банды, мы немедленно потребовали, чтобы их расстреляли. В нашем поселке даже те женщины, которые, кажется, никогда политикой не

занимались, и те сжимали кулаки, когда слушали, что пишут в газетах. И стар и млад требовал, чтобы бандитов уничтожили».

Вырастали новые поколения, в основе убеждений которых была глубокая вера в правильность всех шагоа «великого вождя». Мало кто задумывался, что вере очень недоставало полной истины. Когда ныне реабилитированы, то есть признаны невиновными в том, что им инкриминировалось, практически почти все политические противники Сталина, совсем по-иному предстает и вся прошлая борьба в партии. Многие ошибались, но настоящих врагов, какими изображал их Сталин, повторяем, было очень мало. Однако инакомыслие представлялось Сталиным наихудшей разновидностью аражеской деятельности. Малейшее подозрение, только подозрение могло вырасти в обвиинение, которое вело к трагическому концу.

4 августа 1938 года Ворошилов, например, направил Сталину статью М. Кольцова с такой запиской:

«Тов. Сталину.

Посылаю статью т. Кольцова, которую он так давио обещал. Прошу посмотреть и сказать, можно ли и нужио ли печатать. Мне статья не нравится.

К. Ворошилов».

Сталин резолюции на записке не оставил, однако, как удалось установить, отдал распоряжение внимательно «разобраться с Кольцовым», за которым уже следили. Этого было достаточио, чтобы подозрение закончилось трагедией писателя. Даже Цезарь не проявлял такую воинственную нетерпимость и беспощадность.

Сталин вообще очень часто обходился без резолюций. Я, наверное, просмотрел не одну тысячу документов, адресованных лично ему,— документов о ходе сева, выполнении планов строительства, перемещениях руководящего состава, строительстве военных заводов, расшифрованные телеграммы разведорганов, переводы статей из буржуазной печати, различные «прожекты», с которыми к нему обращались изобретатели и просто одержимые маниакальиой идеей люди. В большинстве случаев он просто расписывался: «И. Ст.» или «И. Сталин».

Поскребышев до доклада прикреплял «клапанок» — квадратик бумажки с возможным предложением по решению дела и кому его далее направить. Часто Сталин, соглашаясь с проектом решения, ставил свою подпись на этом крохотном листке, который для многих людей означал их дальнейшую судьбу. Передавая своему помощнику бумаги, Сталин отдавал и отдельно сложенную стопку документов без его резолюций и коротко бросал: «Согласен».

...Одиаждьы Мехлис при очередном посещении Сталина в конце разговора подал ему несколько листочков отпечатанного текста.

— Что это? — спросил Сталин.

— Один историк мне рассказал, как генерал Драгомиров оценивал своих подчиненных. Показалось забавным. Для разрядки, Иосиф Виссарионович, как-нибудь посмотрите,— изобразил улыбку Мехлис.

Сталин тут же, едва вышел его «любимец», перелистал три-четыре страницы и, чего с ним никогда не бывало, расхохотался. Один, в кабинете. Поскребышев, зашедший с очередиой папкой к Сталину, растерялся и не мог иичего понять, пока «хозяин» не сунул ему эти листки.

Генерал Драгомиров, блестяще образованный человек, крупный ученый, одно время в конце прошлого века командовал Киевским военным округом. Ежегодно ему докладывали на утверждение около тридцати аттестаций на генералов, находившихся в его подчиненни. Драгомиров, написавший многие свои книги афористичным, сочным языком, остался верен себе и в этом рутинном деле. Вот некоторые выводы из аттестаций, собственноручно написанных им. Генерал-лейтенант Донатович: «Был конь, да уездился». Генерал-лейтенант Плаксин: «Отличный начальник дивизии, будет таким же корпусным, если бог веку даст». Генерал-лейтенант Зегелер: «Усерден, болезнен. Более претензий, нежели содержаний». Генерал-лейтенант Засс: «Мягок, чтоб не сказать — слаб. В умственном отношении скромен». Генерал-майор Отфиновский: «Давно по дряхлости нуждается в покое». Генерал-майор Воинов: «Настойчив, мягок, симпатичновкрадчив, тактичен. К нежному полу прилежен». Генерал-лейтенант Сулин: «Исполнителен, энергичен, знает дело отлично. Пылок не по годам». Генерал-майор Бергер: «В мирное время бесполезен, а в военное время будет вреден».

Концепция сталинского цезаризма складывалась на осноае все растущей централизации власти. Анализируя резолюции Сталина, убеждаешься, что часто еще до решения высших государственных и правительственных органов власти все было предопределено. Одновременно сложилось глубокое разделение социального критерия общественного развития: все, что решалось успешно, таорчески, новаторски, тут же приписывалось «мудрому руководству товарища Сталина», все, что было связано с отставанием, невыполнением планов, головотяпством, бюрократией, косностью, нехватками, объяснялось «происками» троцкистов, двурушников, диаерсаитов, шпионов, вредителей.

Конечно, наивно смотреть на Сталина как на руководителя, который принимал только ошибочные решения, совершал преступления, делал все, чтобы целенаправленно ослабить общество. Это было бы большим упрощением. Сталин действовал в соответствии со своим, во многом глубоко ошибочным, представлением о социализме и путях его построения. Идеал, модель, контуры социализма он видел во многом, возможно, главном, иначе, чем это представляли Леиин и многие его соратиики. А видел иначе не потому, что не понимал ленинской концепции, а потому, что в центре этой концепции он давно уже отвел место себе, «вождю на все времена».

Эпизодически Сталин делал «знаки», изображал «жесты», с помощью которых хотел убедить партию, массы в том, что он против своего прославления, идолопоклонства. С полной уверенностью можно сказать, что эти «протесты» были, как говорится, тонко рассчитаны «на публику». В его архиве, например, имеется такое письмо:

«Тов. Андрееву (Детиздат ЦК ВЛКСМ) и Смирновой (автору «Рассказов о детстве Сталина»)

Я решительно против издаиия «Рассказов о детстве Сталина». Книжка изобилует массой фактических неверностей... Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Народ делает героев — отвечают большевики...

Советую сжечь книжку.

16 февраля 1938 г. И. Сталии».

Написанное четким почерком письмо рассчитано на еще большее прославление Сталина. Кто может теперь сказать, что ему чужда скромность? Но здесь есть и другая сторона: вождь никогда не любил вспоминать свое детство, которое у него ассоциировалось с такой глубокой пропастью по сравнению с той вершиной, где он находился сейчас, что у него кружилась голова. Да и зачем людям знать, что он был такой же, как все?

На февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК Мехлис рассказал случай: «Мне товарищ Сталин прислал еще в 1930 году а «Правду» такое письмо. Позволю его зачитать без его разрешения.

«Тов. Мехлис!

Просьба пустить в печать прилагаемую поучительную историю одного колхоза. Я вычеркнул в письме слова о «Сталине» как «вожде партии», «руководителе партии» и т. д. Я думаю, эти хвалебные украшения ничего кроме вреда не дают (и не могут дать). Письмо нужно напечатать без таких эпитетов.

С ком. приветом И. Сталин».

Такие «реплики» вождя служили лишь для муссирования живучих легенд об «исключительной скромности товарища Сталина», чуждого-де какого-либо тщеславия. Сталин знал, что Мехлис поймет его письмо «как надо» и соответственно использует.

Концепция культового вождизма питалась и тем обстоятельством, что, например, к трагическому 1937 году Сталин был на своем посту уже целых пятнадцать лет! Так уж произошло, что Ленин не успел в деталях разработать механизм ротации, периодической смены одних руководителей другими. Хотя, как мы говорили ранее, в последних работах Ленина содержались глубокие идеи постоянного обновления центральных органов государственной власти, руководства в партии. Сталин их просто не «заметил», а добившись к середине тридцатых годов единовластия, он, естественно, не намеревался создавать и отлаживать демократический механизм передачи власти от одного руководителя к другому. И никто уже не мог, разумеется, даже поставить вопрос о длительности пребывания генсека на посту.

Сейчас много спорят и пишут, как могла бы развиваться история нашего Отечества, выполни XIII съезд партии волю Ленина. В этой связи хотелось бы сделать одно замечание. История не запрограммирована. Мы можем давать научный прогноз на 2000 год, можем пытаться представить и более дальний эшелон прогноза, но как реализуется предвидение, с полной точностью никто сказать не может. Часто свершившееся кажется нам неизбежным, а потому и закономерным. В действительности же это лишь одна из многих реализованных возможностей. То, что Сталин остался у власти,— историческая реальность, но она не была неизбежной.

Кажется, зачем гадать по поводу того, что не произошло, не случилось? Но люди почему-то всегда возвращаются к прошлому и ищут, как выразился однажды Ключевский, то место, за которое они «запнулись». Мы хотим постичь корни былых ошибок, просчетов, промахов, которые обычно в истории оплачиваются слишком дорогой ценой. Поэтому сегодня можно утверждать, что если бы пребывание Сталина на посту генсека было определено конкретным уставным сроком, культового уродства почти наверняка бы не было, хотя, разумеется, сроки пребывания первого лица партии и государства на высшем посту не единственное условие гарантии народовластия.

В многочисленных письмах читателей, полученных мною, есть и такие, где говорится: «Не будь Сталина, кто знает, выжили бы мы или нет», «Кто может сказать, как повернулась бы война без Сталина?», «В трудное время выживания социализма нужен был такой сильный человек, как Сталин». Не называю фамилий этих конкретных людей из глубокого убеждения, что через какое-то время такие вопросы едва ли станут возможны. Но, впрочем, одно имя можно назвать — П. А. Молодцов из Череповца. Он прислал злое письмо «гр-ну Волкогонову», в котором пишет, что он тоже сидел при Сталине за хулиганство, но не видел, чтобы тогда сажали напрасно: «Безвинно никто не сидел. У нас в бараке был дневальным один из политических по фамилии Папкин. Срок ему дали за то, что разбил окно в избирательном участке,— 10 лет. Сейчас вы скажете, много дали, а по тем временам как раз, потому что страна кишела врагами. Да их и сейчас полно... А Сталин был настоящим отцом нации, был настоящим полководцем, был настоящим руководителем и вождем».

Такое вот письмо. Полемизировать с ним едва ли имеет смысл, но одну мысль высказать в связи с этим необходимо. Обращение этих людей к Сталину, его времени, «порядку в обществе» не случайно. Главная причина реанимации интереса и возвеличивания давно умершего вождя выступает как своеобразная реакция людей на годы застоя с коррупцией, разложением, бездуховностью, дуализмом. Та же «брежневщина» есть не что иное, как исторический продукт той системы, которую так долго создавал Сталин. Нынешние трудности обновления связаны, в частности, с заметной декларативностью и явно недостаточными конкретными результатами. При низкой демократической культуре многих людей гласность, другие реальные свободы и права слабо увязываются с обязанностями, делом, деятельной стороной перестройки. Тема обновления и «порядка» не столь уж консервативна, как иные понимают. Без высокой организованности, дисциплины, ответственности, законности быстро обесцениваются и демократические достижения.

Наш народ никогда не был беден на таланты и светлые головы. При демократическом способе определения своих руководителей на самых ответственных постах всегда могут оказаться люди, достойные исторического признания. Без боязни впасть в ошибку можно сказать, что все то, что мы стыдливо называем проявлениями «субъективизма», годами «застоя», по большому счету есть не что иное, как результат культового вождизма, последствий современного цезаризма. Предпосылки сталинского единовластия могли способствовать рождению культа личности только в условиях формальной демократии. Именно она, формальная демократия, привела к тому, что уже в тридцатые годы сложилась система административных отношений, когда партийные органы стали в огромной степени подменять государственную власть.

Партия, осуществляя роль идейного, политического, коллективного руководителя, незаметно сбилась на широкую подмену всех институтов Советской власти, стала главным инструментом сталинского единовластия. И когда Жданов в феврале 1937 года в осторожной форме поставил вопрос о «нежелательности подмены» партийными органами хозяйственных органов, Сталин, заключая обсуждение доклада «О подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР», не преминул однозначно и жестко подчеркнуть: «Нельзя политику отделять от хозяйственной деятельности. Партийным организациям нужно по-прежнему вплотную заниматься хозяйственными вопросами». Роль Советов «непосредственно» была низведена до второстепенного придатка партийной власти.

Для цезаризма всегда было необходимо уравнивание всех в бедности, единомыслие и бездумность, исключительно важны для него готовность откликнуться на лозунги и призывы, способность донести, «сообщить» в вышестоящие органы. У меня в архиве лежит несколько десятков писем (нет, не мне), а в вышестоящие органы с требованием, чтобы мне «запретили» писать о Сталине, чтобы меня «наказали», «пресекли», «разжаловали». Кроме жалости, эти люди сегодня ничего не вызывают. Но подобная психология опасна, и в прошлом благодаря ей отправили в могилы тысячи честных людей. Без доносительства цезаризм также существовать не может.

Цезаризм создавал гарантии не народовластия, а «господствующей личности». Именно поэтому ни в Конституции, ни в партийном Уставе не были оговорены, например, прерогативы Генерального секретаря, его взаимоотношения с государственными институтами. Все это способствовало, как того и хотел Сталин, огосударствлению партии, превращению ее в аппарат, механизм власти, а не общественное объединение людей, приверженных определенной системе ценностей и идей. Подлинная демократия как главный гарант недопущения единовластия лежит в плоскости развития советского парламентаризма, повышении роли Советов, отчетности исполнительных органов, ротации кадров на выборных должностях.

Сегодня многие люди в условиях, когда у нас в стране идут, хотя и трудно, позитивные преобразования, считают, что культ личности после всего того, что мы знаем о Сталине, просто невозможен. Думаю, что это не так,— культ личности может иметь самые различные формы и проявления. И совсем не обязательно бояться только цезаристской, диктаторской формы. Она, эта форма, по моему мнению, может быть совсем другой, возможно, даже в «гуманистической» упаковке, если мы не создадим четкую систему правовых, политических, нравственных гарантий. Начиная от крупных мер: максимально широкого влияния людей на процесс выборов, выдвижения руководителей — и до «мелочей»: широкой гласности в назначении помощников, референтов, играющих тем не менее огромную роль в ходе принятия решений. У каждого решения должны быть конкретные авторы, и о них должны знать люди. Думаю, тот, например, кто когда-то предложил первым переименовать город с поэтическим, прекрасным названием «Набережные Челны» в город «Брежнев», заслуживает, чтобы о нем мог сказать свое мнение народ. А сколько подобных бездуховных и головотяпских предложений было реализовано? Однако действительные авторы их навсегда остались в тени.

Да, трудно измерить ущерб, который нанесли общественному сознанию мифы, культивировавшиеся в то время. И главный из этих мифов — «непогрешимость, мудрость и прозорливость всепобеждающего вождя», как его именовали официальные издания. Люди верили, когда читали такие, например, строки: «На мавзолее Ленина окруженный своими ближайшими соратниками — Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Калининым, Орджоникидзе, стоял Сталин в серой солдатской шинели. Спокойные его глаза смотрели в раздумье на сотни тысяч пролетариев, проходящих мимо ленинского саркофага уверенной поступью лобового отряда будущих победителей капиталистического мира... К сжатой, спокойной, как утес, фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия, шли волны уверенности, что там, на мавзолее Ленина, собрался штаб будущей победоносной мировой революции». Эти строки, написанные в 1934 году, принадлежат К. Радеку.

Со школьных лет человеку внушали: «Сталин думает о нас»,— и это не просто «воспитывало» молодых. Непрерывный психологический «массаж» сознания вел к перерождению кадров. Отныне ценились лишь те работники, которые готовы были соглашаться с самыми абсурдными постулатами, выводами, решениями, если они были освящены волей Сталина. Едва ли верил А. И. Микоян собственным словам, говоря в докладе, посвященном 20-летию ВЧК — ОГПУ—НКВД: «Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина!», о чем сообщала «Правда» 21 декабря 1937 года. Но так должны были говорить все, кто занимал хотя бы мало-мальский пост, да и не только они. Большинство верило в эти заклинания, а кто не верил, все равно произносил их. Тот трудный, едва уловимый в то время шанс совести, выражающийся в принципиальном несогласии с культовым вождизмом, цезаризмом, пытались использовать очень немногие. Как писал поэт Е. Евтушенко:

Потихоньку людей приручали
И на все налагали печать.
Где молчать бы — кричать приучали
И молчать, где бы надо кричать.

Писать портреты ушедших людей не просто. И большую помощь оказывают мне воспоминания людей, знавших Сталина лично. Всем им сегодня далеко за восемьдесят. Слушая их негромкие голоса, словно смотришь в бинокль, но с обратной стороны... Все видится не просто уменьшенным, а у д а л е н н ы м растущей временной исторической дистанцией. Каждый такой рассказ о «великом вожде» непременно сопровождается попутным описанием и тех, кто как бы скрывался в его тени. При жизни о них знали мало. И не только потому, что некоторые из них лишь мелькнули на фоне Сталина и исчезли — Г. Я. Сокольников, Н. А. Угланов, С. И. Сырцов, В. Я. Чубарь, К. Я. Бауман, Р. И. Эйхе,— но и потому, что вождь любил тайну. Кроме десятка-полутора скупых слов в энциклопедиях, о людях из ближайшего окружения Сталина знать народу было не положено.

В тени «вождя»

После XVII съезда партии из тех соратников, кто составлял ядро руководства партии десять лет назад, на XIII партсъезде, в составе членов Политбюро остался лишь Сталин. Бури междоусобиц смели с политической арены всех, с кем ему было тесно и неуютно. Те люди знали Кобу всяким: твердым и колеблющимся, напористым и растерянным, привлекательным и жалким.

После XVII съезда партии на трибуне мавзолея, в президиумах собраний, за столом Политбюро рядом со Сталиным появились новые лица, среди которых он быстро выделил новое ядро: Молотов, Каганович, Ворошилов. В составе Политбюро, среди его кандидатов скоро опять появились зияющие бреши: от руки убийцы пал Киров, скончался Куйбышев, покончил с собой Орджоникидзе, были выведены из состава Политбюро и стали жертвами репрессий Косиор, Постышев, Рудзутак, Чубарь... На глазах членов и кандидатов в члены Политбюро была разыграна едва ли не самая жуткая сцена в нашей истории. Эти люди не были просто очевидцами и свидетелями происходящего, все в окружении ближайшей «тройки» были причастны к трагедии, никто не попытался остановить беззаконие, творимое вождем. Так кто же были эти люди, окружавшие Сталина?

До ноября 1986 года в подмосковной Жуковке можно было встретить медленно идущего по дорожке старого невысокого человека с высоким лбом и в неизменном пенсне. Постукивая тростью, старик внимательно вглядывался в редких прохожих своими выцветшими карими глазами. Видавшее виды ратиновое пальто, стоптанные ботинки, потухший взгляд выдавали в нем очень старого человека. Но едва ли кто мог сказать, что ему шел девяносто седьмой год и что это не кто иной, как бывший Председатель Совнаркома, бывший член Политбюро, бывший народный комиссар по иностранным делам и один из самых близких соратников Сталина — Вячеслав Михайлович Молотов. Еще при Ленине этот долгожитель стал секретарем ЦК партии, первым кандидатом в члены Политбюро. И хотя история сохранила ряд нелестных замечаний Владимира Ильича о стиле работы Молотова в секретариате (например, о том, что мы плодим «под носом у себя позорнейший бюрократизм и глупейший»), это был именно один из тех могикан, кто многие десятилетия тому назад работал рядом с Лениным. Само по себе явление уникальное: встретить в середине восьмидесятых годов человека, который входил в состав ЦК, возглавляемого Лениным! У поэта Ф. Чуева, многократно встречавшегося с Молотовым, имеется много документальных свидетельств об этом ближайшем соратнике Сталина. «Был он скромен, точен и бережлив. Следил, чтобы зря ничего не пропадало, чтобы свет попусту не горел в других комнатах. Когда он умер 8 ноября 1986 года,— записал Чуев,— и вскрыли его завещание, в конверте была сберегательная книжка — 500 рублей на похороны».

Да, этот человек здоровался с Троцким и Бухариным, Рыковым и Зиновьевым; он провел не один час за столом переговоров с Гитлером и Риббентропом; его знали Черчилль, Рузвельт и Трумэн. Он один из главных «архитекторов» Пакта о ненападении с Германией и Договора о дружбе и границе с ней. Советские люди помнят драматические слова Молотова, произнесенные им (не Сталиным!) в полдень 22 июня 1941 года: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Сегодня мы точно знаем: Сталин был ошеломлен катастрофическим началом войны. До последнего момента у него в глубине души теплилась искра надежды: войны можно избежать, по крайней мере оттянуть ее начало. Генсек, доверявший не фактам, а лишь интуиции, оказался в плену эфемерного предположения, а точнее, своего желания. Потрясение было столь большим, что он отказался, как его ни уговаривали выступить члены Политбюро, от Обращения к народу, поручив это Молотову.

За долгие десятилетия Молотов стал настоящей тенью вождя. Везде рядом: на заседаниях Политбюро, на трибуне мавзолея, в газетных строках, на международных конференциях... Даже опубликовав 23 июня 1941 года выступление Молотова в «Правде», газета по привычке дала рядом большую фотографию Сталина.

О чем думал этот обитатель квартиры на улице Грановского и казенной дачи в Жуковке? Что вспоминал этот реликт былого могущества? Может быть, свои доклады на съездах? Молотов «специализировался» на организационных вопросах. Может быть, думал о том, что, когда сместили Рыкова с поста Председателя Совнаркома, Сталин сам предложил его кандидатуру? Тогда на заседании ЦК в декабре 1930 года Молотов сказал, что в течение ряда лет он проходил «школу большевистской работы под непосредственным руководством лучшего ученика Ленина, под руководством товарища Сталина», что он гордится этим. Надо сказать, что десятилетия после смерти Сталина не сделали его другим. А он помнил, что в конце жизни вождя его, Молотова, судьба висела на волоске — неожиданно пришла опала. Но незадолго до своей кончины он все равно сказал Ф. Чуеву о Сталине: «Если бы не он, не знаю, что с нами и бы-

ло бы». До последних своих дней он считал Сталина гениальным, был убежден в том, что Тухачевский был военной силой правых — Рыкова и Бухарина, якобы готовивших заговор. До конца утверждал, что «1937 год позволил устранить у нас «пятую колонну» во время войны». Конечно, соглашался Молотов, «были допущены ошибки, погибло много честных коммунистов, но удержать завоеванное мягкими мерами было нельзя». У человека, которого овеяли самые разные ветры истории, мышление как бы застыло. А может быть, это была моральная мимикрия: попытаться использовать последнюю возможность для оправдания перед потомками? Этот послушный, усердный, настойчивый, педантичный, изощренный исполнитель воли Сталина несет особо большую ответственность за деформации законности, за превращение насилия в решающий инструмент власти.

На печально известном февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году Молотов сделал доклад «Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». Все содержание доклада было подобно призыву к социальному погрому: «Вчерашние колебания неустойчивых коммунистов перешли уже в акты вредительства, диверсий и шпионажа по сговору с фашистами, в их угоду. Мы обязаны ответить ударом на удар, громить везде на своем пути отряды этих лазутчиков и подрывников из лагеря фашизма... Мы должны торопиться доделать это дело, не откладывая его и не проявляя колебаний».

И он не «колебался». В июне этого же года один из доносчиков (ведь был призыв «доделать это дело», он не был брошен в пустоту) написал Сталину, что ответственный работник Совнаркома, старый большевик Г. И. Ломов якобы был близок с Рыковым и Бухариным. Сталин начертал наискосок: «Т-щу Молотову. Как быть?»

Ответ не заставил себя ждать и был немногословным: «За немедленный арест этой сволочи Ломова. В. Молотов».

Судьба человека была решена. Арест, зверские допросы, скорый приговор, расстрел. Член партии с 1903 года, делегат исторической Апрельской конференции, член ЦИК СССР, как и многие тысячи честных большевиков, росчерком пера был зачислен во «враги народа». Именно Молотов давал прямые санкции на арест первого секретаря Свердловского обкома Кабакова, наркома легкой промышленности Уханова, председателя Дальневосточного крайисполкома Крутова и многих, многих других товарищей. При прямом соучастии Молотова из двадцати восьми народных комиссаров Совнаркома, который он возглавлял, больше половины были репрессированы.

Для Сталина это был очень удобный человек, с полуслова понимавший намерения вождя и обладавший колоссальной работоспособностью. Сталин, что делал очень редко, не раз в присутствии других членов Политбюро отмечал рвение Молотова. Когда тому в марте 1940 года исполнилось пятьдесят лет, Сталин распорядился, чтобы Пермь стала городом Молотовом, хотя на карте Отечества уже был не один десяток городков, поселков, колхозов, совхозов, носящих это имя...

В тридцатые годы вокруг Сталина теоретиков не осталось. Большим «теоретиком» был, естественно, сам генсек. Но иногда он снисходил до того, что позволял и некоторым из своих сподвижников, прежде всего Молотову, проявить себя в теоретических изысках. В одном из писем Сталину Адоратский попросил вождя написать в готовящуюся Комакадемией «Философскую энциклопедию» статьи о стратегии и тактике ленинизма и об учении ленинизма о социалистическом строительстве. Сталин наложил на письме резолюцию: «Т. Адор-ому

Страшно занят практическими делами и никак не могу исполнить Вашу просьбу. Попробуйте обратиться к Молотову: он в отпуску и, возможно, у него найдется свободное время.

С ком. пр. И. Сталин».

Конечно, Молотов не был теоретиком, но на фоне сталинских соратников Ворошилова, Кагановича, Андреева и других выглядел предпочтительнее.

За внешней невозмутимостью, исключительной выдержкой, непроницаемостью, вежливой и официальной корректностью скрывалась сильная, злая воля. Черчилль, не раз встречавшийся с Молотовым, так характеризовал его в своих мемуарах: «Его подобная пушечному ядру голова, черные усы и смышленые глаза, его каменное лицо, ловкость речи и невозмутимая манера держать себя были подходящим выражением его качеств и ловкости... Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взвешенные и часто разумные слова, его приветливая манера себя держать делали его совершенным орудием советской политики в дышащем смертью мире». С такой же одержимостью Молотов во всем поддерживал Сталина и во внутренней политике. В тени вождя это был едва ли не самый влиятельный и безоговорочный исполнитель его воли. Без таких исполнителей культовый вождизм едва ли был возможен.

Мало чем уступал в рвении Молотову другой соратник Сталина — Лазарь Моисеевич Каганович.

Сергей Ильич Семин, работавший после войны у Вознесенского, рассказывал мне: «Помню, пришел я к Кагановичу с какими-то бумагами (он тогда возглавлял и Военно-промышленную комиссию) в новых сапогах. Каганович взял бумаги, посмотрел на меня, и взгляд его остановился на моих сапогах.

— Сними! — скомандовал сталинский нарком.

— Зачем? — заикнулся было я, ничего не понимая.

— Снимай быстрей...— не захотел объяснять Каганович.

Взяв затем в руки мои еще не разношенные сапоги, нарком долго их вертел, лазил рукой в голенище и, бросив наконец их мне на пол, удовлетворенно резюмировал:

— Хорошие сапоги.— Затем добавил: — Ведь я был сапожником...»

Кто знает, останься он навсегда сапожником, сохранил бы свое доброе имя. Правда, едва ли кто знал бы тогда его. Но свой выбор, не профессиональный, а политический, Каганович сделал еще в 1911 году, вступив в партию большевиков, в которой уже состоял его старший брат. Оказавшись в 1918 году в Москве, Каганович, будучи сотрудником Всероссийской коллегии по организации Красной Армии, познакомился со Сталиным. В 1920 году его послали в Туркестан. Но когда Сталин стал генсеком, он вытребовал Кагановича из Средней Азии и поставил его во главе организационно-инструкторского отдела ЦК. Так малограмотный, но исключительно напористый и в высшей степени исполнительный функционер стал быстро продвигаться по партийной и служебной лестнице вверх.

Он тоже из долгожителей. Во всяком случае, свое девяностопятилетие он отметил в ноябре 1988 года в своей квартире на Фрунзенской набережной в Москве и, возможно, думает дожить до ста лет, что не удалось Молотову.

Сталин любил Кагановича за нечеловеческую работоспособность, абсолютное отсутствие своего мнения в политических вопросах (он так и говорил, не дожидаясь выяснения вопроса, о чем идет речь: «Я полностью согласен с товарищем Сталиным») и за безропотную исполнительность. А она выражалась в постоянной готовности выполнять любые задания вождя, даже если они были дикими. Когда однажды Сталин перед одним заседанием спросил Кагановича:

— Лазарь, ты знаешь, твой Михаил (брат, министр авиационной промышленности, большевик с 1905 года) якшался с «правыми»? Есть точные данные...— Сталин испытующе смотрел на наркома.

— Надо поступать с ним по закону,— дрогнувшим голосом выдавил Каганович.

Сообщив после заседания об этом разговоре по телефону брату, Каганович ускорил развязку — его брат в тот же день, не дожидаясь ареста, застрелился.

Сталин ценил таких людей. Ведь преданность ему, вождю, нужно постоянно доказывать, и доказывать не мелочами, не одним славословием. Разве Ка-

ганович не доказал ее, например, на длинном-предлинном Пленуме ЦК в феврале — марте 1937 года? Карательная машина еще только настраивалась, нацеливалась на «прореживание» рядов партии, интеллигенции, рабочего класса, крестьянства, военных, а Каганович уже отличился. В двухчасовом докладе «сталинский нарком» железных дорог излагал первые, «пробные» результаты:

«Мы в политаппарате дороги НКПС разоблачили 220 человек. С транспорта уволили 485 бывших жандармов, 220 эсеров и меньшевиков, 572 троцкиста, 1415 белых офицеров, 282 вредителя, 449 шпионов. Все они были связаны с контрреволюционным движением».

Нетрудно представить, что означали слова Кагановича об «увольнении» с дороги «шпионов и вредителей»! Генсек мог быть по-настоящему доволен анализом Кагановича, когда тот с жаром докладывал Пленуму: «Мы имеем дело с бандой оголтелых разведчиков-шпионов. В отношении железной дороги их приемы особенно ухищрены. Серебряков, Арнольдов, Лифшиц культивировали низкие нормы пропускной способности, организовывали крушения, противодействовали стахановскому движению. Особо вредили Кудреватых, Васильев, Братин, Нейштедт, Морщихин, Беккер, Кронц, Бреус — они мешали внедрению паровоза «ФД». Линия Москва — Донбасс строилась вредительски; Пятов строил Турксиб вредительски; Караганда — Петропавловск строилась Мрачковским вредительски; линия Эйхе — Сокур строилась Барским и Эйдельманом вредительски». Каганович, хотя газеты писали о перевыполнении планов перевозок, новаторстве, движении кривоносовцев, продолжал нагнетать атмосферу психоза:

— Шермергон, начальник управления железнодорожного строительства, вредил. Тов. Сталин не раз нам говорил: «Плохой он человек, враждебный человек». Тов. Сталин прямым образом предупреждал о нем и предложил присмотреться, проверить его.

— Подозрительный человек,— бросил Микоян реплику.

— Мерзавец Серебряков,— продолжал Каганович,— очень метко назвал оборонные узлы и определил свои вредительские цели...

Все в докладе Кагановича было в том же духе: множество фамилий, брань, целые стаи вредителей, которые только тем и занимаются, что взрывают, делают пробки, плохо проектируют, срывают перевозки. Разве мог Сталин не оценить такого юмора Кагановича в докладе на Пленуме: «Емшанов, мерзавец, с 1934 года начальник Московско-Донецкой железной дороги. После снятия он уже другой работы не получил и пошел на ж и т е л ь с т в о прямо к т. Ежову, в НКВД. Арнольдову объявлял, объявлял выговоры... все говорили — не сохранили человека. Вот его теперь и сохраняет-охраняет т. Ежов».

Будучи глубоко невежественным, Каганович, как и все соратники Сталина, тоже пытался создать себе некое теоретическое реноме. В статье Кагановича «Великий машинист локомотива истории», подготовленной его помощниками, нарком, как мог, соревновался с другими соратниками Сталина в славословии вождя.

Одно из постановлений ЦК обязывало руководителей учреждений, предприятий и ведомств лично вести марксистско-ленинские занятия с кадрами. Нарком путей сообщения в годы войны И. В. Ковалев рассказывал мне, как Каганович однажды собрал группу руководителей и открыл семинар. Вскоре Каганович предоставил ему слово.

«В своем выступлении,— говорил Ковалев,— я остановился на том, что пролетариат в силу своего положения, действуя стихийно, способен выработать лишь тред-юнионистское сознание... Каганович ошалело смотрел на меня, смотрел и вдруг заявляет:

— Чего городишь, что еще за «юнионистское» сознание! Пролетариат может все выработать!

Все переглянулись. Сколько я ни пытался, опираясь на Ленина, растолковать Кагановичу о необходимости внесения в сознание пролетариата научной теории, до наркома это не доходило. Подозрительно глядя на меня, Каганович скоро свернул семинар и больше за проведение таких непосильных для себя вещей не брался».

Свой авторитет у Сталина Каганович поднял частыми наездами (по поручению генсека) для «наведения порядка» в те или иные области. Его поездки в Челябинскую, Ивановскую, Ярославскую и другие областные партийные организации сопровождались настоящим погромом: снятием местных работников, заведением на них «дел», кончавшихся нередко трагически для многих честных людей. Вот, например, какой результат имела одна из его поездок. Выступая на январском (1938 года) Пленуме ЦК, Каганович заявил:

— Я товарища Постышева знаю хорошо. Я ездил по поручению ЦК в прошлом году в Киев, когда вскрывали грубейшие ошибки товарища Постышева. Он показал себя работником, срывавшим на практике директивы партии. Ильин, Радков, Сапов, Лейбман — злейшие враги народа, которых Постышев в свое время вырвал для себя, прямо лично к Сталину обращался: дайте мне этих людей. А это оказались враги народа... Наблюдая тебя в кулуарах,— продолжал Каганович, обращаясь к Постышеву,— и слушая твое выступление на Пленуме, я утверждаю, что ты хитришь с ЦК партии... Что говорил здесь Постышев — это повторение враждебных разговоров.

Судьба Постышева была решена. Сталин был доволен «железным» Лазарем, как он его не раз называл. Такие «соратники» ему и были нужны: беспрекословные, фанатично преданные, с полуслова понимающие намерения вождя.

Когда же Каганович решал судьбы людей на местах, он ни с кем не советовался, а просто выполнял инструкцию Сталина: «Посмотри там внимательнее на месте и решай... Не миндальничай». Архивы бесстрастно подтверждают, что нередко до окончания следствия Каганович лично составлял и «редактировал» проекты приговоров, вносил в готовящиеся материалы произвольные изменения, вроде того, что против него, наркома, готовились якобы «террористические акты». Чем все это в конце концов заканчивалось, теперь ясно.

Пройдя причудливый путь из Москвы в Туркестан, затем опять в Москву, он стал заведующим отделом ЦК, через который шли основные назначения на крупные посты. Уже в 1926 году Каганович становится кандидатом в члены Политбюро ЦК, ему было тогда тридцать с небольшим лет. В связи со сложной обстановкой на Украине по рекомендации генсека Каганович возглавляет партийную организацию республики — он первый секретарь ЦК КП(б) Украины. У него складываются сложные отношения с Председателем СНК Украины В. Чубарем, что в тридцать девятом году самым роковым образом скажется на судьбе последнего. Конфликты Кагановича с остальными руководящими работниками ЦК не прекращались. В 1928 году он был возвращен в Москву и избран первым секретарем Московского городского и областного комитетов партии. На XVI съезде партии он стал членом Политбюро.

В первой половине тридцатых годов влияние Кагановича было особенно сильным. Нарком неоднократно выезжал в районы, где коллективизация шла трудно, и сразу же после его «налетов» дело ускорялось. Сталина мало интересовали методы, которыми пользовался «железный Лазарь». Жестокий по натуре, предельно грубый и невежественный, Каганович был типичным, более того — классическим представителем административно-бюрократического аппарата, с особой социальной бесцеремонностью бравшимся за любое дело. Долго помнили члены партии результаты его поездки и на Северный Кавказ, после чего поток «раскулаченных», вывозимых на Север, увеличился; в Московской области он без колебаний снимал любого, кто не следовал его директивам; в соответствии с его невежественными заключениями были запрещены некоторые пьесы на московских сценах; будучи председателем Центральной комиссии по проведению партийной чистки, «железный Лазарь» вел ее беспощадно; именно его имя фигурирует и в центре загадочного инцидента по выборам в ЦК на XVII съезде партии. Он был одним из главных инициаторов уничтожения под видом реконструкции Москвы многих ее исторических памятников, в том числе знаменитого храма Христа Спасителя. Словом, Каганович успевал всюду.

Сталин по достоинству оценил безграничное усердие соратника, наградив его в числе первых только что учрежденным орденом Ленина. Этот человек

вместе со Сталиным и его соратниками несет перед нашей историей полную ответственность за широкое внедрение бюрократических, административных, я бы сказал, «силовых» методов в социалистическом строительстве, за развязывание в стране кровавого террора.

Долголетие дает возможность продлить пир памяти. Кагановичу есть о чем вспомнить: его жесткое руководство на Украине, «победы» над Постышевым и Чубарем, особую благосклонность Сталина, которого он не раз замещал в тридцатые годы, когда вождь уезжал на юг; дружбу с Хрущевым; его «вклад в реконструкцию» Москвы, сопровождавшуюся сносом Сухаревой башни, разрушением Страстного монастыря, взрывом храма Христа Спасителя, снесением Иверских ворот и многих других «старорежимных» строений... Если прозревает совесть, можно пережить содеянное вновь, страдая. Если же она застыла несколько десятков лет назад, память может лишь восстановить в сознании мелькание немых черно-белых кадров былого. У людей с такой судьбой долголетие подобно наказанию. Ничего изменить нельзя. Все вечно в своей необратимости. Кроме тех оценок, которые люди давали, дают и будут давать прошлому.

В число ближайших соратников в тридцатые годы входил и Климент Ефремович Ворошилов, прославленный герой гражданской войны. Еще при жизни его имя стало легендарным. В те далекие теперь уже годы пионеры, комсомолия с энтузиазмом распевали:

Когда нас в бой
Пошлет товарищ Сталин
И первый маршал
В бой нас поведет...

К революционному движению Ворошилов приобщился рано. Еще в 1906 году, будучи делегатом IV съезда РСДРП, он познакомился с Лениным, Сталиным, рядом других известных революционеров. Пройдя ссылки и аресты, Ворошилов встретил Февральскую революцию в Петрограде. Защита завоеваний Октября бросала Ворошилова по разным фронтам, особенно он был заметен в битве за Царицын, где и окрепла его дружба со Сталиным. Сражался будущий нарком обороны храбро, но без выдумки, отдавая дань партизанщине. Выступая на VIII съезде партии, В. И. Ленин, в частности, сказал:

«Ворошилов приводил такие факты, которые указывают, что были страшные следы партизанщины. Это бесспорный факт. Тов. Ворошилов говорит: «у нас не было никаких военных специалистов и у нас 60 000 потерь». Это ужасно... Героизм царицынской армии войдет в массы, но говорить, мы обходились без военных специалистов, разве это есть защита партийной линии... Виноват тов. Ворошилов в том, что он эту старую партизанщину не хочет бросить».

Боевой путь Ворошилова впечатляющ: Первая Конная армия, где он был членом Реввоенсовета, бои на Северном Кавказе, в Крыму, против отрядов Махно; участие в разгроме Кронштадтского мятежа. За героизм и мужество в гражданской войне Ворошилов был удостоен двух орденов Красного Знамени. После X съезда партии он непременный член ЦК партии, а с XIV съезда (1925 год) и член Политбюро. Будучи после Фрунзе наркомом по военным и морским делам, Ворошилов внес определенный вклад в военное строительство Красной Армии. Успех этого дела, в частности, объяснялся и тем, что в наркомате, военных академиях, в ряде округов к тому времени находился ряд интересных, творческих военачальников, военных теоретиков как из числа тех, кого выдвинула революция, так и офицеров старой армии. К ним следовало бы отнести Б. М. Шапошникова, автора глубокой работы «Мозг Армии», М. Н. Тухачевского, написавшего «Вопросы современной стратегии», К. Б. Калиновского, В. И. Величко, А. П. Верховского, А. М. Зайончковского, В. Ф. Новицкого, А. А. Свечина, Р. П. Эйдемана, И. Э. Якира и многих других.

Надо сказать, Ворошилов всегда был последовательным сторонником Сталина, часто просто бездумным. В тридцатые годы слава Ворошилова была поистине всенародной, он был для народа, повторяем, легендарной личностью. Еще в двадцатые годы появились биографии, книги, многочисленные статьи о нем. Например, такие: «Вождь армии мировой революции», «Мы слушаем твой приказ, тов. Ворошилов», «Большевистский полководец», «Главнокомандующий от станка». В стране было почетно получить знак «Ворошиловский стрелок»; тяжелый танк был назван в честь Ворошилова «КВ» (правда, более современный и мощный танк был уже назван «ИС» — «Иосиф Сталин»).

Как Сталин относился к всенародной славе своего соратника? Спокойно. Он на нее мало обращал внимания, поскольку, возвеличивая Ворошилова, говорили о наркоме только как о человеке, «выполняющем волю вождя»,— «красный маршал под руководством товарища Сталина», «сталинский нарком». Сталин более чем кто-либо знал Ворошилова. Все считали, что они были друзьями. Но ведь в настоящей дружбе не должно быть должников, а Ворошилов всегда считал себя «должным» генсеку: за славу, почет, посты, награды, положение. Имеется множество фотографий Ворошилова рядом с вождем: на съезде, на юге, на даче Сталина, при осмотре новой военной техники, у Горького...

Да, Сталин знал «цену» Ворошилова... Уже в тридцатые годы это был абсолютно послушный исполнитель, который не имел по важнейшим вопросам иного мнения, отличного от взгляда генсека. У него не было нечеловеческой работоспособности Кагановича, ума и хитрости Молотова, осторожности и осмотрительности Микояна, он уступал во многом и другим членам Политбюро. Но Сталину Ворошилов был нужен из-за того ореола легендарности, который сформировался вокруг «вождя Красной Армии». Генсек был уверен, что в решающую минуту нарком, не колеблясь, поддержит его. И Сталин не ошибся: когда пришел час выношенного им кровавого чистилища, Ворошилов без тени сомнения стал вместе с вождем разжигать костер репрессий военных кадров. Ворошилов не защитил трех расстрелянных Маршалов Советского Союза, не защитил сотен и тысяч командиров, ставших жертвами репрессий. В своей речи на печально известном февральско-мартовском Пленуме ЦК в 1937 году, перечислив поименно многих «врагов народа», проникших в РККА, Ворошилов решил проиллюстрировать сказанное примером, что, мол, не только «наверху» есть троцкисты-вредители. Нарком зачитал письмо арестованного майора Кузьмичева:

«Наркому обороны т. К. Е. Ворошилову.

Меня обвиняют, что я являюсь членом контрреволюционной террористической группы, которая готовила покушение на Вашу жизнь. Да, я в 26—28 годах входил в троцкистскую организацию. Начиная с 29 года я стремился загладить свою вину. В Вашем лице всегда видел не только вождя Красной Армии, но и чрезвычайно отзывчивого человека. Я награжден двумя орденами Красного Знамени. Как же меня зачислили в банду фашистских убийц?

По-видимому, меня расстреляют. Может быть, через несколько лет все же троцкисты скажут, зачем они оболгали честного человека, и вот когда раскроется действительная правда, я Вас прошу восстановить моей семье честное имя. Простите за марание, больше не дают бумаги.

21.VIII.36. Кузьмичев».

Ворошилов обвел глазами зал и эффектно закончил:

— А через десять дней он признался: хотели терракт совершить в районе Белой Церкви во время маневров.

Ворошилов знал, как добываются эти признания. Докладывая Пленуму, он сказал, адресуясь, конечно, к Сталину, что часто «говорит с Ежовым в отношении лиц, подлежащих изгнанию из рядов армии». Иной раз отстаивает отдельных лиц: «Правда, сейчас можно попасть в неприятную историю: отстаиваешь, а он оказывается доподлинным врагом, фашистом». Видимо, эти же соображения руководили Ворошиловым, когда он выразил свое отношение к письму Якира, с которым тот обратился к нему накануне расстрела:

«К. Е. Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я прошу Вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой я обратился к Н. И. Ежову.

Якир, 9 июня 1937 г.».

Ворошилов, прочитав записку, размашисто написал:

«Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще.

К. Ворошилов. 10 июня 1937 г.».

Передо мной несколько томов документов, подписанных Ворошиловым или с его резолюциями. Беру том с письмами тех командиров, которые до суда, до расстрела успели обратиться к наркому с просьбой, мольбой, криком о помощи. Письма Горячева, Кривошеева, Сидорова, Хаханьяна, Букштыновича, Прокофьева, Красовского. Вот письмо М. Ефремова, бывшего командующего войсками Забайкальского военного округа (такие же письма Сталину и Микояну):

«Товарищи, располагая всеми данными, опровергающими возведенную на меня фашистами Дыбенко и Левандовским клевету, однако я на Политбюро 18.IV.38 г. так, к стыду моему и огорчению, был рассеян, что забыл привести доказательства моей невиновности и преданности партии Ленина — Сталина... Комвойск Дыбенко на себя говорит что-то невероятное. Он после учения, безусловно, помешался, иначе я не мог понять — ведь это был бы 1934 год! По показанию Дыбенко, он меня «завербовал»... и дает задание завербовать командный состав...

Все мои братья — коммунисты, четверо командиры РККА. Сын — 17 лет, комсомолец. Мать и сестры с двенадцатью детьми в колхозе «Путь социализма» в Орловской области. Дядя повешен в 1905 г. за восстание на флоте, отец убит кулаками. Сам я московский рабочий, Участвовал в войне в Китае. Имею ранения. Награжден: орденом Ленина, тремя орденами Красное Знамя, орденом Трудового Красного Знамени... Прошу Вас скорее прекратить мои переживания и муки.

Всегда Ваш Ефремов Михаил».

Письмо, как и тысячи других, осталось без последствия, то есть без вмешательства Ворошилова. Машину репрессий никто не тормозил и не сдерживал. По существу, такое отношение — тоже элемент этой беспощадной машины. Зато на запросы с мест Ворошилов отвечал лаконично. Приведу текст нескольких телеграмм из множества им подобных (в 1937 и 1938 годах):

«Хабаровск. Блюхеру. На номер 88. Судить. К. Ворошилов»; «Свердловск. Горбачеву. На номер 39. Разрешаю арест. К. Ворошилов»; «Полярное. Командующему Северной Полярной флотилии. На номер 212. Судить и наказать как подобает. Ворошилов»; «Свердловск. Гайлиту. Найти, арестовать и строжайше судить. Ворошилов»; «Смоленск. Белову. Мезису. На номер 475. Арестуйте. К. Ворошилов»; «Ленинград. Дыбенко. Мегеру. На номер 16758. Разрешаю арестовать и судить. Ворошилов»; «Тбилиси. Куйбышеву. Апсе. На номер 344. Судить и расстрелять. Ворошилов».

В апреле — мае 1937 года Ворошилов направил Сталину одну за другой ряд записок такого содержания:

«Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину.

Прошу исключить из состава Военного совета при народном комиссаре обороны СССР:

Тухачевского М. Н.
Эйдемана Р. П.
Лонгва Р. В.
Ефимова Н. А.
Аннога Э. Ф.
как исключенных из рядов РККА.

25 мая 1937 г. К. Ворошилов».

Расписавшись, Ворошилов слово «исключенных» зачеркнул и заменил словом «уволенных», хотя он-то хорошо знал, куда всех их собираются «уволить». В последующие дни на имя Сталина шли такие же записки, но с другими именами: Горбачева, Казанского, Корка, Кутякова, Фельдмана, Лапина, Якира, Уборевича, Германовича, Сангурского, Огилея и других... Наркома, видимо, не волновало, что практически весь Военный совет при народном комиссаре обороны СССР оказался «шпионским», «фашистским», «троцкистско-бухаринским». И здесь тоже не пытались использовать редкий шанс совести; главное — не перечить, соглашаться, «поддерживать линию товарища Сталина».

Таким был еще один из тройки ближайшего окружения Сталина. Правда, его в отличие от других тень вождя укрывала не полностью — жизнь Ворошилова больше, чем других, была на виду у народа, однако на самостоятельности суждений это никак не сказалось. Соратники оказались под стать вождю.

Конечно, все эти люди, и особенно Берия, несут ответственность за все извращения и преступления, которые совершил Сталин. Но эту ответственность должны разделить и те, кто просто поддакивал, соглашался, голосовал, восхищался «мудрыми» решениями Сталина. Степень вины их различна, и история рассудит, кто больше, а кто меньше виновен. А. А. Андреев, А. А. Жданов, М. И. Калинин, А. И. Микоян, Н. С. Хрущев, Г. А. Маленков, некоторые другие из высшего политического и государственного руководства фактически и не пытались ограничить единовластие диктатора.

В тени вождя находились и люди, которые, хотя и не занимали официальных высоких постов, тем не менее весьма сильно влияли на политику, решения, исполнение воли Сталина. Так, в секретариате Сталина, насчитывавшем около 90 человек, который возглавлял А. Н. Поскребышев, в первой половине тридцатых годов трудились еще ряд заместителей заведующего, референты-докладчики Двинский, Герценберг, Иванов, Селицкий, Логинов и некоторые другие. Верным человеком, который с полуслова понимал Сталина, знал все его тайны, был, как мы уже говорили, Александр Николаевич Поскребышев, умерший в 1963 году. Члены его семьи рассказывали мне, что их отец все жалел, что не вел в свое время дневника, так много он знал. Правда, подумав, он всегда заключал, что если бы такой дневник у него был, то его самого давно бы не было в живых. Его неспешное перемещение в густой тени вождя обеспечивало Сталину возможность всегда быть в курсе дела по любому вопросу, влиять на решение любых проблем. Хотя Поскребышев по натуре не был жестким человеком, перед ним заискивали — так много зависело от того, когда, как доложит «бумагу», что предложит сделать первый помощник.

В тени вождя свою особую, зловещую роль играл еще один человек, который некоторое время был помощником Сталина. Но еще 1 декабря 1926 года Оргбюро ЦК ВКП(б) постановило:

«Удовлетворить просьбу т. Мехлиса, освободив его от обязанностей зав. Бюро секретариата ЦК и пом. секретаря ЦК...

Секретарь ЦК Сталин».

Итак, Лев Захарович Мехлис. Он родился в Одессе, революционную деятельность начинал меньшевиком. Вступил в партию в 1918 году, со Сталиным познакомился в гражданскую войну. Занимал ряд видных постов в аппарате ЦК, «Правде», был народным комиссаром Госконтроля СССР, начальником Главного политуправления РККА. Но его влияние на генсека определялось не столько должностями, сколько отношением к нему самого Сталина. Мехлис бывал у него часто, подолгу оставаясь с ним один на один. Ему Сталин давал самые щекотливые поручения. Передо мной лежит целый том личных донесений Мехлиса из разных мест, куда его направлял генсек. Сотни шифровок, телеграмм, письменных докладов об одном и том же: «враги орудуют», «везде беспечность», «благодушие губит дело», «нужно ужесточить меры». Сталин верил Мехлису, пожалуй, больше, чем кому-либо другому. Он умел найти «врагов» там, где даже и подозревать-то было вроде смешно. В июле 1937 года, когда Краснознаменный ансамбль песни и пляски был на востоке, к Сталину поступила шифрованная телеграмма.

«Доношу: в ансамбле краснознаменной песни тяжелое положение. Прихожу к заключению: в ансамбле орудует шпионско-террористическая группа (разрядка моя.— Д. В.). Уволил на месте девятнадцать человек. Веду следствие. В составе есть бывшие офицеры, дети кулаков, антисоветские элементы. Привлек к работе нач. особого отдела. Пускать ансамбль в части? Мехлис».

Думаю, вопрос, заключавший телеграмму, был напрасным: арестовав пол-ансамбля, кого «пускать»? Подозрительность Сталина нашла в Мехлисе идеальный источник для ее поддержания.

Мы коснулись не всего окружения, а лишь ближайшего. О некоторых других лицах, «исполнявших волю Сталина», мы еще скажем в других главах. Эти люди находились как бы в его тени, но был еще один человек, призрак которого часто посещал Сталина,— это, конечно, Троцкий.

Призрак Троцкого

После высылки Троцкого Сталин ненавидел его гораздо больше, чем тогда, когда он был рядом. Генсек проклинал ту минуту, когда согласился с предложением о его выдворении. Он не хотел себе признаваться в том, что все еще боялся Троцкого, этого нынешнего политического призрака. И от ощущения бессилия, что он никак не может решить «проблему» Лейбы Давыдовича, как он раньше мысленно обращался к Троцкому, злоба закипала в нем еще больше. Однажды Сталин не удержался и почти публично сказал об этом.

В беседе с Э. Людвигом, о которой мы уже не раз упоминали, Сталин, говоря об авторитетах, вдруг заявил:

— Троцкий тоже пользовался большим авторитетом. И что же? Как только он отошел от рабочих, его забыли.

— Совсем забыли? — переспросил Людвиг.

— Вспоминают иногда — со злобой.

— Все со злобой?

— Что касается наших рабочих, то они вспоминают о Троцком со злобой, с раздражением, с ненавистью.

Сталин был неискренен: возможно, и рабочие поминали Троцкого недобрым словом, но прежде всего так вспоминал о нем он сам, генсек,— «со злобой, с раздражением, с ненавистью». Сталин не мог забыть «одного из выдающихся вождей», думается, в силу ряда обстоятельств: когда он слушал Молотова, Кагановича, Хрущева и даже Жданова, ему нередко приходила мысль: насколько же Троцкий по уму был выше всех этих функционеров! На целый порядок! Он мысленно перебирал других своих соратников и в растерянности убеждался: ни по мышлению, ни по организаторской хватке, ни по ораторскому таланту, красноречию публициста они не могли с ним сравниться. Как он мог выпустить такого врага? Однажды он признался в своем кругу, что это была, пожалуй, одна из самых крупных ошибок в его жизни.

Другое обстоятельство, постоянно подогревавшее его ненависть к Троцкому (в этом он не мог признаться даже самому себе), заключалось в том, что в своей практике Сталин часто следовал рецептам изгнанного врага. Генсек помнил, что, когда шла борьба вокруг нэпа, Троцкий однажды заявил на Политбюро: «Рабочий класс может приблизиться к социализму лишь через великие жертвы, напрягая все свои силы, отдавая свою кровь и нервы». Эту же мысль он провел затем в октябре 1922 года на комсомольском съезде. Поверженный соперник не уставал тогда повторять, что без «рабочих армий», «милитаризации труда», «полного самоограничения» революция рискует никогда не вырваться из «царства необходимости в царство свободы».

Почти весь пятнадцатый том сочинений Троцкого посвящен идее «милитаризации труда». Выступая на заседании фракции Всероссийского Центрального Совета профсоюзов, Троцкий призывал производственные районы превращать в милиционные дивизии; военные округа слить с производственными единицами, на особо важные объекты посылать «ударные батальоны, чтобы они повысили производительность личным примером и репрессиями». Необходимы «принудительные меры, необходимо установить военное положение в ударных областях... Нужно применить трудовую повинность с военными методами». В этих выкладках — классическая азбука «казарменного коммунизма», певцом которого, как мы помним, в начале двадцатых годов был Троцкий. Полностью, от этих идей он и позже не отказался.

Сталину всегда импонировала идея так поставить дело, чтобы люди были готовы добровольно «отдавать свою кровь и нервы». Троцкий в изгнании (на Принцевых островах, во Франции и Норвегии) не раз писал об «эпигонстве» Сталина, подразумевая, видимо, не только его компиляторские склонности, но и заимствования в социальной методологии.

Но главное, почему Сталина постоянно беспокоил призрак Троцкого,— это то, что его изгнанник создал свою политическую организацию — IV Интернационал — и при первой возможности ставил генсека на одну доску с Гитлером. Это уже было невыносимо. Страшный призрак мстил ему за поражение так больно и коварно, как не мог бы придумать и сам Сталин. Нередко у вождя создавалось ощущение, что их борьба, которая, казалось бы, закончилась в 1929 году, когда пароход «Ильич» незаметно покинул Одесскую гавань с Троцким на борту, в действительности только начинается.

Два «выдающихся вождя», будучи разделенными многими границами, каждый по-своему вели неравную борьбу. Один, «вознесшийся вождь», достигший редкого по силе единовластия, перед которым меркнут абсолютистские режимы, стремился сформировать у партии и народа устойчивую ненависть к Троцкому как предателю и пособнику фашистов. Другой, «вождь поверженный», не жалел своего богатого красноречия, чтобы доказать, что Сталин и Гитлер «стоят друг друга». Будучи в изгнании, поддерживаемый небольшими группами единомышленников ряда стран, Троцкий умел влиять на общественное мнение. Его выступления, устные и печатные, по-прежнему были эффектны, и, как раньше, главной мишенью его был Сталин, которого Троцкий величал «могильщиком революции».

Да, Троцкий много знал. В годы революции и гражданской войны будущий изгнанник был ближе к Ленину, чем Сталин. Даже, судя по опубликованной военной переписке, Ленин 78 раз обращался к Троцкому с телеграммами и письмами, а к Сталину 62 раза. Ленин не единожды брал Троцкого под защиту, ценил его организаторский и пропагандистский талант. Сталин помнил, что в то время, когда их отношения еще были терпимыми, он в основном с одобрением отнесся к некоторым левацким идеям Троцкого, например, идти на Польшу, с тем чтобы ускорить революционный пожар в Европе,— и не возразил против идеи двинуться в Азию. Троцкий однажды в беседе уверял, что Азия более революционна, чем Европа. Что, мол, если создать на Южном Урале революционную базу, то поход в Азию с целью ускорить революцию реален, революции в Китае и Индии победят тогда обязательно. Собеседники тогда уклончиво отнеслись к этой идее, Сталин тоже не возразил. У Троцкого было много вывихов, заскоков: он пытался торопить время, мыслил уже не масштабами России, а мировой революции. Но Сталин понимал, что публично говорить об этих «грехах» Троцкого значит бросить тень на самого себя, ведь сегодня он «наследник» революционных дел Октября...

Особенно сильно задевали Сталина слова Троцкого о том, что он не только говорит от своего имени, но и выражает взгляды своих замолчавших сторонников, всех притихших оппозиционеров, находящихся в СССР. Читая переведенные книги и статьи Троцкого «Сталинская школа фальсификации», «Сталинский термидор», «Открытое письмо к членам большевистской партии», генсек буквально терял самообладание. Какой он слепец! Выходит, его оценка, данная Троцкому в ноябре 1924 года, неверна? Тогда, выступая перед коммунистической фракцией ВЦСПС, он охарактеризовал Троцкого как человека, который хорошо действует при подъеме революционного дела и теряется, «дрейфит» при его поражении. Ведь сейчас Троцкий потерпел, кажется, полную катастрофу, но он не сдался! Сталина вновь и вновь терзают мысли о промахе: зачем он выпроводил Троцкого за кордон? А теперь приходится расплачиваться за этот легкомысленный поступок. Его, Троцкого, подручные готовят против него заговор, организуют диверсии, ведут шпионаж, сколачивают подполье, а он, Сталин, уже несколько лет бездействует!

В своем докладе на февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных

двурушников» Сталин, по обыкновению, выделил «главное звено». Им стал раздел «Современный троцкизм». Как всегда, генсек в первую очередь поставил перед слушателями, как перед семинаристами, вопрос: что такое троцкизм? И ответил: «Современный троцкизм — это оголтелая банда вредителей. Еще 7—8 лет назад это было ошибочное антиленинское политическое течение. Теперь же это банда фашистских вредителей». А дальше продолжил: «Каменев и Зиновьев отрицали наличие у них политической платформы. Они лгали. А Пятаков, Радек и Сокольников на процессе 1937 года не отрицали наличия такой платформы. Реставрация капитализма, террористическое расчленение Советского Союза (Украину — немцам, Приморье — японцам); в случае нападения врагов — вредительство, террор. Это все платформа троцкизма». Так Сталин повязал всех своих поверженных и потенциальных врагов троцкистской веревочкой.

По истечении десятилетий наш взгляд на Троцкого, видимо, должен быть изменен. Мы уже имели возможность сказать о его интеллектуальных и нравственных качествах, весьма противоречивых, сложных. Амбициозная, в известном смысле авантюристическая натура Троцкого имела одну неизлечимую слабость: демон революции верил, был убежден в том, что он гениален, и почти не скрывал этого. Отсюда его непомерные амбиции, бонапартистские замашки, диктаторские выходки. И кто знает, одолей Троцкий Сталина, не столкнулся ли бы наш народ с диктатурой не менее ярко выраженного цезаристского типа?

Но при всем при том истина должна быть превыше всего: в годы революции и гражданской войны после Ленина следующим по значению лидером был Троцкий. Мы помним оценки Лениным этого «выдающегося вождя». Ленин не случайно подчеркивал, что это, «пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК». Никто не знает, каким бы был далее Троцкий, будь жив Ленин. Конечно, я слишком много сейчас высказываю предположений, памятуя, что исследователь имеет право на гипотезу. Но одно могу сказать однозначно: Троцкий в годы его активной деятельности в партии (1917—1925 годы особенно) не был врагом революции и социализма. Он был врагом Сталина. Я совсем не хочу закрывать глаза на те антисоветские пассажи, к которым прибегал Троцкий в конце своей трагической жизни. В этот тупик, идейный и политический, его завела логика борьбы со Сталиным.

Возможно, дореволюционная деятельность Троцкого, как и усилия антисоветского характера после его депортации принесли вред нашему общему делу. Но нельзя не отдать должное Троцкому: он не сломался, как многие, перед диктатурой Сталина. Он раньше других рассмотрел диктаторскую сущность генсека и те грядущие беды, которые он нес народу и партии. Есть еще одно объективное обстоятельство, которое позволяет нам говорить, что по крайней мере в Октябре и первой половине двадцатых годов Троцкий шел с революцией. До конца своих дней он с уважением относился к Ленину. Как писал Луначарский: «Троцкий колюч и властен. Только в отношениях с Лениным после их объединения он проявлял трогательное и нежное, почтительное отношение, со скромностью, характерной для действительно великого человека, Троцкий признавал превосходство Ленина». Но, мы уже говорили, Троцкий любил себя в революции больше, чем саму революцию. Истоки его личной трагедии не столько в борьбе со сталинизмом, сколько в борьбе со Сталиным, борьбе за власть. Вечная горечь несостоявшегося взлета на самую вершину пирамиды власти окончательно выдвинула у Троцкого на шкале приоритетов, исторических и социальных, интересы личные. Возможно, мои размышления вызовут «праведный» гнев некоторых людей. Думаю, нас рассудит время.

Какова была в тридцатые годы реальная опасность со стороны троцкизма? Существовало ли какое-то влияние Троцкого на политические и общественные процессы в СССР? Важно выяснить эти вопросы, поскольку некоторые мотивы «троцкистской опасности» послужат потом поводом для страшной трагедии партии и народа.

Пока Сталин укреплял свое единовластие, Троцкий скитался по миру. Принцевы острова в Мраморном море, Франция, Норвегия и, наконец, Мексика отметили путь депортированного лидера оппозиционеров. Вначале Троцкий надеялся на скорое возвращение в Союз, верил, что Сталин продержится недолго. Ему казалось, что интеллектуальные недостатки, бескультурье, промахи, грубость и хитрость Сталина столь очевидны, что они сами по себе должны генерировать очередную оппозицию, рождать все новых и новых противников генсека. Вновь, в который раз, Троцкий ошибся. «Отверженный гений» верил, что при его высокой популярности и известности он будет притягательным центром для всех сил, враждебно настроенных к Сталину.

Бродя среди коричневых валунов Бийюк Ада, крошечного островка, затерявшегося в Мраморном море, Троцкий размышлял о причудливости человеческой судьбы. Когда-то этот остров был местом заточения знатных особ Византии, теперь здесь оказался один из «архитекторов русской революции», как называл себя изгнанник. Эти слова из дневника Троцкого, написанные на заброшенной вилле острова, еще раз подтверждают исключительно высокое самомнение главного оппонента Сталина.

Буржуазная пресса к высылке Троцкого вначале отнеслась настороженно. Одно время по страницам газет гуляла версия, что-де Сталин умышленно выслал одного из бывших вождей русской революции, чтобы способствовать подъему рабочего движения в капиталистических странах. В Германии, Англии буржуазные газеты даже описывали «детали» этого «дьявольского» плана Сталина, не отказавшегося от надежд на разжигание пожара мировой революции. О Троцком писали как о «революционной взрывчатке», и поэтому буржуазные правительства воздерживались от шагов по предоставлению ему политического убежища. Но постепенно в политическом мире Запада почувствовали, что, хотя Троцкий по инерции продолжал ругать фашизм, буржуазное филистерство, империалистическую политику грабежа, вектор его злобы переместился к Сталину, его режиму, бывшей родине.

С помощью своих единомышленников-троцкистов, которые стали совершать из разных стран паломничество на Принцевы острова, опальный вождь установил довольно широкие контакты со многими мелкими группами, оппозиционно настроенными к Коминтерну, партии большевиков, лично к Сталину. С их помощью Троцкий вскоре наладил выпуск небольшого журнала «Бюллетень оппозиции», издававшегося на нескольких языках. Иногда, особенно до 1935 года, Троцкому удавалось засылать некоторое количество экземпляров «Бюллетеня» и в Советский Союз. В фонде Сталина есть несколько экземпляров троцкистского журнала с пометками генсека.

Стало ясно, что Троцкий пытается установить связи с бывшими соратниками и единомышленниками в Советском Союзе. Об этом сообщает в своей трехтомной биографии Троцкого и Исаак Дейчер. Он пишет, например, что через немецкого корреспондента в Москве Соболевичнкуса Троцкий получал важную информацию из России, справочные материалы, статистические данные для его книг и статей. Через руки Соболевичнкуса и его брата шла значительная часть переписки Троцкого со своими корреспондентами в СССР, передавались шифры, письма, написанные тайными чернилами, адреса почтовых ящиков. И хотя эти связи Троцкого со своими сторонниками, надо сказать, были слабыми, все же до 1935 года он имел возможность получать некоторую информацию из СССР и направлять туда свои письма по нелегальным каналам. Известно также, что Троцкий вывез около тридцати ящиков со своими архивами и книгами. Сталин позже приписал это «преступной близорукости» органов, которым была поручена депортация.

Долгих четыре года, что пробыл изгнанник на Принцевых островах, были временем ожидания, выбора и определения дальнейших путей борьбы. У Троцкого постепенно гасла уверенность, что его «позовут» в Москву; он все чаще приходил к выводу, что единственный способ остаться на плаву — это продолжение борьбы со Сталиным. Ну, а пути, методы этой борьбы были ему пока

неясны. Он еще не понимал до конца, что его третья эмиграция станет последней и он уже больше никогда не ступит на землю родины.

...Сидя вечером в своей комнатке, оборудованной под кабинет, с окнами в сторону моря, Троцкий под шум прибоя перелистывал страницы своих произведений. Вообще лучшим из всего написанного им, и он это сам знал, была книга «История русской революции», созданная уже после разрыва со Сталиным. Но главная ее слабость — обнаженный эгоцентризм автора. Трудно в это поверить, но к 1927 году Троцкий выпустил 21 том своих сочинений! Листая страницы, он сам поражался своей скорописи. Вот восьмой том сочинений — «Политические силуэты». О ком он только не написал! Об Адлере, Каутском, Бебеле, Жоресе, Вальяне, Плеханове, Мартове, Раковском, Коларове, Либкнехте, Люксембург, Витте, Азефе, Николае II, Сухомлинове, Милюкове, Пирогове, Герцене, Струве, Свердлове, Литкенсе, Ногине, Мясникове, Склянском, Фрунзе и многих, многих других... О Ленине очерка нет, но он часто его упоминает в рассказах о других. Или вот целый том, посвященный в основном Брестскому миру. Глаза пробежали строки: «Партийный съезд, высшее учреждение партии, косвенным путем отверг ту политику, которую я в числе других проводил... и я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия». Как давно это было — на VII съезде партии...

Шелестят страницы... Сталину нет в них места. Пожалуй, ближе других ему был том о культуре. Наугад открывается том «Бюрократизм и молчалинство». Вот как он писал несколько лет назад: «Все, что направлено против интересов революционной диктатуры, должно быть беспощадно отметено. Но это не значит, что у нас не должно быть своей демократии, пролетарской, полнокровной, бьющей ключом. Мы ее должны создать. Социалистическое строительство возможно только в условиях роста подлинной демократии трудящихся масс... А там, где бюрократизм, там он рождает из себя молчалинство... Главный молчалинский принцип: у г о ж д а т ь. Кому? Хозяину». Трудно не согласиться с этим мнением. Троцкий при всей любви к самому себе мог подумать, как все это теперь неактуально... У Сталина будут иные заботы, иные мотивы, иные приоритеты. Ему же остается только борьба, борьба со Сталиным. Едва ли с системой, прежде всего с личностью...

И. Дейчер, получивший после смерти Троцкого доступ к его закрытым личным архивам, показывает, что еще до своего окончательного поражения и высылки Троцкий, Зиновьев и даже Шляпников сделали попытку организовать своих сторонников в иностранных коммунистических партиях. Незначительные группы троцкистов оказались в ряде коммунистических и рабочих партий. Во Франции во главе их были Альфред Росмер, Борис Суварин, Пьер Менотт; в Германии — Аркадий Маслов и Рут Фишер (бывшие сподвижники Зиновьева); симпатизировал Троцкому Андрес Нин в Испании, в Бельгии поддерживали троцкизм Ван Оверштаттен и Лесойл, изгнанные из компартии. Малочисленные группы троцкистов возникли в Шанхае, Риме, Стокгольме, ряде других городов.

Троцкий надеялся из этих осколков создать новое движение антисталинского толка, но у него не было ни серьезной социальной базы, ни солидной программы. Он вновь стал пережевывать мотивы «перманентной революции», доказывая, что «доктрина социализма в одной стране есть национал-социалистическое извращение марксизма». Другим элементом его «программы» был ярый антисталинизм, за проявлениями которого была все же видна прежде всего личная ненависть к Сталину, обида за крах своих амбициозных надежд, боль утраты близких в России.

Троцкий надеялся, что его злобный антисталинизм найдет широкий отклик в компартиях, но этого не произошло. В глазах коммунистов Запада достижения СССР в индустриализации, в области культуры, образования были связаны с именем Сталина. Там еще не знали многого о характере генсека, еще не начались громкие политические процессы в Москве, еще не сварена была та краска, которой можно было бы нарисовать подлинный портрет Сталина. Попытка Троцкого вызвать извне политическое давление на Советский Союз, Сталина, его политику была заведомо обречена на провал.

Еще меньше шансов имел Троцкий, чтобы «поднять» бывших сторонников непосредственно против Сталина. Но своими статьями, бюллетенями, речами, интервью на Западе Троцкий, хотел он этого или не хотел, без конца провоцировал, создавал впечатление, что оппозиция растет, что число его единомышленников увеличивается; что «идет консолидация антисталинских сил». Это был блеф, а крайне подозрительный и мнительный Сталин очень многое из этих трескучих заявлений брал на веру, и одно из них, возможно, сыграло трагическую роль. Генсек исходил злобой, но ничего не мог поделать — ряд своих книг Троцкий уже одними названиями адресовал против него: «Сталинская школа фальсификаций», «Преступления Сталина», «К политической биографии Сталина». Последняя работа, которую Троцкому помешала закончить его смерть, называлась красноречиво: «Сталин...»

Произведения Троцкого издавались в десятках стран. Образ Сталина в глазах мирового общественного мнения формировался — и это действительно так — не под влиянием Фейхтвангера и Барбюса, а прежде всего благодаря работам Троцкого, который изобразил генсека мрачным азиатским деспотом, коварным, жестоким, фанатичным, недалеким, мстительным. Изгнанник не жалел красок. И Сталина одна мысль о Троцком уже настраивала на жестокую непримиримость, в любом троцкисте он видел частицу их лидера и требовал, чтобы «к ним не было пощады».

Находясь в 1936 году в Норвегии, Троцкий написал книгу «Преданная революция». В ней он обратился к коммунистам своей бывшей родины фактически с призывом совершить государственный переворот. Правда, этот переворот он назвал «политической революцией», которую-де должны, обязаны совершить его сторонники, участники бывших разгромленных оппозиций, бывшие меньшевики, эсеры, выходцы из других партий. Слепая ненависть к Сталину, безысходность и бесперспективность собственного положения лишили Троцкого возможности трезво оценивать политическую ситуацию в СССР. Впрочем, как мы уже отмечали, Троцкий никогда не был сильным политиком.

«Преданная революция» была написана не только о том, «что было», «как было», по мнению Троцкого, но и содержала его долгосрочные прогнозы общественного развития в СССР. Будучи посредственным политиком, он оказался и в этом вопросе неудачным футурологом, поскольку уверенность в «политической революции» против Сталина основывалась лишь на его страстном желании поражения «вождя». Он, в частности, высказывал и такую мысль, что в случае, если Германия развяжет войну против СССР, Сталину не избежать поражения. Трудно однозначно утверждать, желал ли этого Троцкий или личная ненависть и здесь исказила его гносеологическое видение мира.

Своей книгой Троцкий между тем добился все же одного результата. Сталин, очень жалевший, что принял в 1929 году ошибочное и в значительной мере единоличное решение, которое лишь задним числом одобрили члены Политбюро, о высылке Троцкого за рубеж, залпом прочел перевод этой книги. Он кипел желчью. У него давно зрели два «пункта» вынашиваемого решения. Именно вынашиваемого — Сталин редко прибегал к мерам, которые он долго не обдумывал. Теперь, он считал, решение созрело. Во-первых, нужно любой ценой устранить Троцкого с политической арены. Он понимал, что всякая «маскировка» убийства своего заклятого врага будет бесполезной. Все поймут, кто его инспирировал. Во-вторых, он еще больше утвердился в «правильности» принятого решения по окончательному устранению всех, кто потенциально мог быть врагом его диктатуры. Возможно, Сталин и сам не предполагал тогда, как далеко заведет его это решение.

Книга Троцкого «Преданная революция», доставленная ему в начале 1937 года, была одной из последних капель, переполнивших чашу его терпения ко всем «недобиткам». Чувство мести за пережитые в прошлом моменты глубокой неуверенности, почти унижения перед «интеллигентами», «соратниками»

и «оппонентами» захлестнуло его. Он понимал, что скоро пробьет час, когда медлить и колебаться будет нельзя, тем более что Ежов все время докладывает об «активизации бывших оппозиционеров».

На днях нарком принес на большом листе «схему связи» Троцкого со своими единомышленниками в СССР. Сталин вспомнил полузабытое дело Блюмкина. Да, именно того эсера Блюмкина, который убил немецкого посла Мирбаха, чтобы сорвать мир. Тогда он был приговорен к расстрелу, но благодаря вмешательству Троцкого смертную казнь заменили на «искупление в боях по защите революции». Блюмкин довольно долго служил в штабе Троцкого, сблизился с ним, а затем перешел работать в органы ГПУ. Возвращаясь летом 1929 года из Индии через Константинополь, он встретился с Троцким. Для этого ему пришлось специально сесть на пароходик и побывать на Принцевых островах. Исаак Дейчер пишет, что «изгнанник» после долгих разговоров написал послание своим сторонникам в Москве, дал Блюмкину советы, как бороться со Сталиным. Когда Блюмкин вернулся в СССР, его быстро арестовали: то ли за ним следили в Турции и видели, как он садился на пароход для поездки на Принцевы острова, то ли неосторожно поделился в Москве с кем-либо о своей встрече с Троцким. А скорее всего, по свидетельству И. А. Сац, бывшего секретаря Луначарского, произошло вот что: Блюмкин привез Радеку запечатанное письмо от Троцкого. Но тот, уже открестившись от своего бывшего товарища, передал пакет, не распечатывая, Ягоде. А уже Ягода, в свою очередь, дал его Сталину. Реакция была быстрой: после короткого суда Блюмкина расстреляли — судьбе не было угодно вторично улыбнуться смертнику.

Сталин вспомнил о Блюмкине неспроста. А может быть, такие «блюмкины», проинструктированные Троцким, находятся где-то рядом? Ведь убили же Мирбаха... Сколько их? Кто они? Кто может знать размах реальной опасности? Как далеко запустил свои щупальца Троцкий? Сомнения, опасения, злоба, страх, раздражение, ненависть к Троцкому переполняли Сталина. Хотя смерть Блюмкина напугала многих троцкистов, кто может поручиться, что страх лишил воли к борьбе всех сторонников опального лидера? И здесь личные качества Сталина, его худшие черты, а их у него было немало, вновь в который раз сыграли зловещую роль.

Сталин в ряде своих выступлений провозгласил, что троцкизм является главной враждебной платформой, на которой блокируются все враги Советского государства. Призрак Троцкого, который не склонил перед ним, Сталиным, головы, гипертрофировался до размеров государственной угрозы. В любом провале, неуспехе, неудаче, катастрофе Сталину виделась рука Троцкого, его направляющие указания. Кстати, на политических процессах 1937—1938 годов одной из основных линий обвинения подсудимых являлось утверждение о прямых «связях», «директивах», «указаниях» Троцкого, даже встречах с ним то в Берлине, то в Осло и других местах. В политических докладах на февральско-мартовском и других Пленумах ЦК, которых в 1937 году состоялось четыре, чаще всего звучали слова «Троцкий», «троцкизм», «троцкистские шпионы и убийцы». Неважно, какой обсуждался вопрос,— тень троцкизма витала в зале. Но еще более густой эта тень стала на знаменитых «политических» процессах. Троцкий стал для Сталина олицетворением универсального зла.

В действительности же все было не так. Троцкий даже в пору своего наибольшего влияния в середине двадцатых годов имел не более двух-трех процентов активных сторонников в партии. После его высылки отдельные троцкисты сохранили ему верность, но таких были единицы, может быть, десятки, пусть — сотни. Многие почувствовали, что Троцкий уже давно борется не за идеалы, а ведет личную борьбу, которая выглядела явно бесперспективной. Другие отошли от активной политической деятельности или, осудив троцкизм, стали честно трудиться на ниве созидания. Те, кого Сталин «простил» и кому разрешил вернуться в Москву (Раковский, Преображенский, Муралов, Сосновский, Смирнов, Богуславский, Радек и другие), находились на третьестепенных постах. Сталин позволил бывшим оппозиционерам-троцкистам заниматься экономикой, просвещением, но ни одного не вернул на значительный политический пост. Подавляющее их большинство покаялись публично, в печати. Никто из них не был в состоянии представить хоть какую-то «угрозу» строю, внутренней стабильности общества.

Конечно, Сталин понимал, что он всех их идейно «кастрировал», заставив отказаться от «левого курса», осудить «перманентную революцию», принять трактовку демократии в своей интерпретации, но вождь понимал также, что в глубине души эти люди по-прежнему не согласны с ним, а это, по его мнению, представляло для него большую потенциальную опасность.

Факты говорят, что троцкизм в тридцатые годы не представлял серьезной опасности. После 1935 года Троцкий фактически (и это явствует из его публикаций того времени, писем) потерял какую-либо связь с СССР. Газеты и радио были его главными источниками. Процеживая, «выуживая» нужную ему информацию, Троцкий продолжал изображать себя человеком, который может влиять на социальные, политические и идеологические процессы в Советском Союзе. Сталин з а с т а в и л себя в это поверить. Ему нужен был повод, чтобы «раз и навсегда» покончить со всеми, кто когда-либо не разделял его взглядов. Или кто м о ж е т потенциально, в будущем, поступить враждебно по отношению к нему. Ведь не мог же он допустить реализации пророчеств Троцкого, от воспоминания о которых Сталину становилось не по себе. Особенно его взбесила последняя книжка Троцкого, которую тот «накатал» за два-три месяца после январского, 1937 года, политического процесса в Москве над Пятаковым, Радеком, Сокольниковым, Серебряковым и другими. Одно ее название — «Преступления Сталина» — могло вывести из себя кого угодно.

Троцкий, вновь утверждая (а фактически — инспирируя), что Советский Союз едва ли выдержит столкновение с западными странами, считал одновременно безнадежными в перспективе и позиции Сталина. Слова Троцкого звучали как зловещее предзнаменование: «Завтра Сталин может стать обременительным для правящей прослойки... Сталин стоит накануне завершения своей трагической миссии. Чем сильнее кажется, что он ни в ком больше не нуждается, тем ближе час, когда никто не будет нуждаться в нем. При этом Сталин едва ли услышит слова благодарности за совершенный труд. Сталин сойдет со сцены, обремененный всеми преступлениями, которые он совершил». Троцкий, как часто это у него бывало, ошибся в сроках прогнозов. Стремясь ликвидировать осколки бывших оппозиций, Сталин тем самым хотел нанести смертельный удар и по Троцкому, лишить его малейшей надежды на осуществление своих пророчеств.

Читая Троцкого, Сталин видел не только политические, подстрекательские призывы изгнанника. Троцкий все время говорил, что фигура Сталина на олимпе власти случайна, что это гримаса истории. В «Истории русской революции» Троцкий писал: «Из-за колоссального значения, которое приобрел приезд Ленина, следует сделать лишь вывод, что вожди создаются не случайно, что они избираются постепенно и готовятся десятилетиями, что их нельзя заменить п о к а п р и з у и что их механическое устранение из борьбы наносит партии громадную рану и во многих случаях может парализовать ее на длительный период». Троцкий не скрывает, что «устранение», смерть признанного вождя Ленина выдвинули не Сталина, а именно его, Троцкого, на роль лидера: «Теперь нет никого, за исключением меня, кто может выполнить миссию вооружения нового поколения революционным методом».

Около человека в тоге вождя все время стоял призрак, хотя этот призрак был п о к а живым человеком и находился далеко от Москвы. Для Сталина Троцкий, троцкизм стали олицетворением «перманентного» зла. А может быть, Сталин, думая о призраке, вспоминал начало века, партийный съезд в Лондоне? Тогда он впервые увидел Троцкого: вьющиеся волосы, энергичные движения, пенсне, красивая речь, театральные жесты. Тот привлекал всеобщее внимание. Троцкий несколько раз задержал свой взгляд на хмуром кавказце, который тогда еще носил фамилию Джугашвили. Знал ли в тот момент молодой Лейба,

что этот загадочный представитель боевой дружины с Кавказа станет его спутником-врагом до конца жизни, которая оборвется не без участия Сталина 21 августа 1940 года?

Популярность триумфатора

Уже в тридцатые годы славословие Сталина достигло, казалось, «человеческого предела». Даже на выставке картин Рембрандта, как писал в своей книжке Лион Фейхтвангер, красовался «колоссальный некрасивый бюст Сталина». Но следует сказать, что Сталин был тогда, как бы это странно ни звучало сегодня, действительно популярен в народе. О человеке, который на своем «лицевом счету» имел так много преступлений против собственного народа, подавляющее большинство людей судили тогда лишь по внешним проявлениям, часто не имея ни возможности, ни желания проникнуть в сущность происходящего. С детского сада детей приучали скандировать здравицы в честь «великого вождя». Это было время, когда никто не мог себе позволить «не любить Сталина».

И все же каковы «тайны» популярности Сталина в народе? Думаю, что этот феномен может объяснить целый комплекс причин. Одна из них заключается в том, что, несмотря на огромные моральные провалы и физические жертвы, общество в целом не деградировало и добивалось немалых результатов в экономической, социальной, культурной сферах. Думаю, что, будь на посту генсека другой руководитель, руководитель ленинского типа, эти успехи были бы, конечно, бóльшими. И тем не менее культовые уродства не заморозили полностью общественного развития.

В области промышленности был совершен рывок от глубокой отсталости к индустриально-промышленному государству. Люди, пережившие империалистическую, гражданскую войны, разруху, восстановление, не могли не поражаться, сколь огромный потенциал энергии, творческого заряда имеется у народа, освободившегося от эксплуатации. Разумеется, и здесь глубоко сказались новизна дела, ошибки и перегибы, связанные с утверждением культового вождизма. Но тем не менее в национальном, народном самосознании настойчиво пульсировала гордая мысль: «Мы многое можем! Даешь пятилетку в четыре года!» Сталинские слова: «Жить стало лучше, жить стало веселее!» подтверждались изменением панорамы Отечества к концу тридцатых годов — появились сотни новых заводов, фабрик, дорог, городов, дворцов культуры, домов отдыха, больниц, школ, лабораторий.

Значительно хуже дело обстояло в сельском хозяйстве. Крупные ошибки в определении путей и методов кооперирования, помноженные на преступные деяния по раскулачиванию, на многие десятилетия определили безрадостную картину здесь. Если накануне коллективизации в стране было 25 миллионов мелких единоличных крестьянских хозяйств, то к середине тридцатых годов свыше девяноста процентов крестьянских дворов вошли в состав коллективных хозяйств, однако это не дало, как ожидалось, решающего прироста сельхозпродукции.

Стратегические просчеты, связанные с использованием насилия как основного инструмента решения проблем в сельском хозяйстве, не только породили долгую социальную напряженность в обществе, но и исторически «отомстили» хроническим отставанием в этой сфере деятельности. Что бы ни говорил Сталин в своих речах о крупных успехах в колхозном строительстве, о «решающих достижениях» здесь говорить не было оснований. Да, в колхозы пошли техника, специалисты, образование, культура, но разрушенные вековые структуры оказалось совсем не просто заменить новыми.

Неизмеримо более впечатляющими выглядят достижения в области подготовки специалистов. Всеобщая грамотность населения, ставшая большим достижением народа, позволяла активно влиять посредством печати, радио, кино на миллионы людей, приобщенных к строительству социалистического общества. Подавляющее большинство простых людей верили, что это только начало, что скоро — завтра, послезавтра — откроются новые горизонты улучшения их жизни, труда, социального обеспечения. После отмены карточек, нормирования продуктов питания в витринах магазинов стало больше появляться не только промышленных товаров, но и продукции сельскохозяйственного производства. И хотя, по сегодняшним меркам, жилось трудно, тесно, без достатка, общая атмосфера в обществе была достаточно оптимистичной. Пропаганда настойчиво внушала, что все успехи, нынешние и особенно будущие, связаны прежде всего с «мудрым руководством вождя». Если бы не Сталин, проводилась мысль, мы не были бы индустриальной державой, у нас не было бы крова над головой и гарантированного куска хлеба. Несмотря на промахи, изъяны и прямые преступления Сталина и его окружения, народ строил, творил, дерзал. Самое парадоксальное и драматическое заключается в том, что в дни, когда многие честные сыны Отечества отдавали свои жизни, будучи оклеветанными, те, кого миновала эта горькая чаша, своими делами изумляли страну, часто мир.

Почти в те же июньские дни 1937 года, когда М. Н. Тухачевский и группа других военачальников попали на скорый и неправый суд, «Правда» сообщала, что героический экипаж в составе В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова на отечественном самолете АНТ-25 совершил первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка. Это был триумф советской техники, советских людей. «Правда» рассказывала, что Алексей Стаханов установил новый трудовой рекорд, но его обязательно увязывали с именем Сталина. А. Стаханов в своей книге «Рассказ о моей жизни», вышедшей вскоре после рекорда, пишет: «Когда я все припоминаю, все мысли собираю вместе, то мне хочется каждый раз сказать одно и то же: — Спасибо товарищу Сталину! Товарищ Сталин так поднял меня, рядового рабочего, что об этом я не мог и думать никогда. Я уже теперь привык к словам «стахановское движение», часто встречаю свое имя в газетах, слышу на собраниях. Первое время мне все это, откровенно говоря, непонятно было. Да и теперь я считаю, что наше движение справедливо звать сталинским, потому что рабочий класс, двинувшийся в сталинский поход за овладение техникой, родил мой рекорд и рекорды моих товарищей».

Папанин, Чкалов, Бусыгин, ткачихи Виноградовы, Кривонос, Дюканов, многие другие пионеры своего дела, патриоты, новаторы, энтузиасты пропагандировались не сами по себе, а непременно через призму «руководства», «участия», «заботы» Сталина о каждом из них, о каждом рабочем, о каждом человеке страны. Реальные успехи, рекорды, изобретения, достижения, увязываясь в контексте с ролью Сталина, создавали вождю устойчивую популярность. Часто это выражалось в самых необычных формах.

Недавно я получил письмо от члена партии С. Е. Плоста. Он пишет, что его отец, крупный политработник Красной Армии, после рождения сына по единодушной просьбе друзей, слушателей Военно-политической академии имени В. И. Ленина, назвал его в честь вождя Сталием. Сталий Ефимович пишет мне, что дальнейшая судьба его отца, однако, сложилась трагически: 15 мая 1937 года он был арестован как враг народа, а 4 ноября, накануне очередной годовщины Великого Октября, расстрелян. И вот всю жизнь Плост носит имя, связанное с фамилией деспота, погубившего его отца...

Даже кампании поиска и уничтожения «врагов» увязывались с авторитетом и популярностью Сталина. Непрерывно в печати муссировалась мысль, что троцкистско-зиновьевские вредители имели целью осуществить террористические акты по отношению к руководителям партии и государства и прежде всего «хотели убить товарища Сталина». И вместе с тем «товарищ Сталин, постоянно подвергаясь опасности, проявляет внимание к каждому человеку, имевшему ошибки, если он хочет стать на путь исправления». На февральско-мартовском Пленуме ЦК Молотов привел пример такого «бережного отношения товарища Сталина к кадрам», зачитав одно из писем генсека:

«Пермь, секретарю горкома тов. Голышеву.

До ЦК дошли сведения о преследованиях и травле директора моторного завода Побережского и его основных работников из-за прошлых грешков по

части троцкизма. Ввиду того, что как Побережский, так и его работники работают ныне добросовестно и пользуются полным доверием у ЦК ВКП(б), просим вас оградить товарища Побережского и его работников от травли и создать вокруг них атмосферу полного доверия.

О принятых мерах сообщите незамедлительно в ЦК ВКП(б).

26 дек. 1936 г. Секретарь ЦК Сталин».

«Вот как надо относиться к товарищам из бывших троцкистов, которые теперь честно работают на своем посту»,— заключил Молотов. Даже в самый разгар репрессий Сталин и его окружение стремились создать вождю репутацию в высшей степени справедливого и внимательного человека. Надо признать, что страна, еще не остывшая от революционных бурь, активно воспринимала и впитывала в себя призывы к усилению бдительности, необходимости ужесточения борьбы с «врагами народа», живо реагировала на факты «разоблачений», не замечая в них ни мистификаций, ни фальсификаций.

Сталин, будучи чрезвычайно хитрым человеком, заботился даже о мелочах, если они были связаны с его «явлением народу». Его манера просто одеваться, просто говорить весьма импонировала простым людям. Лион Фейхтвангер отмечал, что «Сталин определенно не является великим оратором. Он говорит медлительно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих не быстро, но основательно... Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией».

Он тщательно готовился к своим редким выступлениям. Товстуха, а затем Поскребышев поручали к каждому выступлению подобрать дюжину интересных цитат из произведений основоположников научного социализма, художественной классики, фольклора. Как сообщал Антонов, работник секретариата Ворошилова, «референты-докладчики Сталина помогают ему подбором цифрового материала по соответствующим вопросам. Часто эти данные заказывают в соответствующих наркоматах. Из этих цифр тов. Сталин выбирает себе нужные. Никакого текста референты не дают». В ходе выступлений Сталин иногда их использовал. При этом генсек придерживался всегда определенной литургической тональности, усвоенной им еще в духовной семинарии. Выше я уже упоминал, что он любил катехизисную структуру своих речей: вопрос — ответ, вопрос — объяснение. Часто прибегал к рефрену, умышленным повторам, оказывающим, по его мнению, гипнотическое воздействие. И надо сказать, эта неброская, но продуманная манера производила немалое впечатление на участников различных совещаний и встреч. Самое главное, она настраивала людей на веру в его мудрость. А ведь давно замечено, что ничто так не способствует популярности, как уверенность людей в достоинствах ума их руководителя.

Сталин любил иконические образы своей личности: фотографии вождя в солдатской шинели — воплощение «пролетарской строгости», держащий на коленях или за руку ребенка — как «отец своего народа», в форме генералиссимуса — «великий полководец, победитель». Может быть, поэтому населявшие нашу жизнь бесчисленные скульптуры, портреты, фотографии удручающе однообразны и невыразительны. Во время работы над книгой мне удалось найти большое количество фотографий Сталина, но все они, сделанные в официальной обстановке, дают иконообразное изображение вождя. Наиболее содержательны те, которые получены «случайно», без позирования. Наиболее интересны в этом смысле фотографии Н. С. Власика и Н. С. Аллилуевой.

Сталин, заботясь об упрочении своего единовластия, исподволь способствовал формированию в стране целой иерархии руководителей, которые стояли на более низких ступенях власти, чем он сам. Можно было уже в начале, допустим, тридцатых годов взять подшивку центральной газеты и обнаружить неофициальную табель о рангах. Конечно, на вершине пирамиды — «лучший ученик Ленина». В отчетах пишут, что зал стоя приветствует вождя. Аплодисменты переходят в овации, непременно здравицы, «ура». Единодержцу долго не

дают говорить. Восторг массы неподдельный. Состояние экзальтации. Настоящее идолопоклонение. Предела превосходным степеням, славящим эпитетам нет.

А вот как пишет газета о Молотове, Кагановиче, Ворошилове: «В президиуме появился славный соратник Сталина». Бурные, продолжительные аплодисменты. Могут даже назвать по имени-отчеству. Здесь же тоже непременные эпитеты: «стойкий большевик-ленинец», «сталинский нарком», «руководитель сталинской школы».

Дальше, когда речь идет о руководителях рангом пониже (наркомы, секретари обкомов, руководители крупных ведомств), эпитеты уже более «взвешенные»: «верные большевики», «отличные чекисты», «самоотверженные руководители». Но, хотя эти люди стоят значительно ниже на иерархической лестнице, они управляют целыми областями, наркоматами, и до 1934 года их часто именовали «вождями» (регионального масштаба).

Те же, кто находится еще ниже, ведут непосредственную работу по претворению «гениальных» планов индустриализации, коллективизации, организуют подписки на воздушные флотилии, проводят митинги и шествия, раскулачивание и заполняют своими ликами Доски почета. Многим из них в конце десятилетия сильно повезет, если останутся живыми: они наверняка поднимутся на следующую ступень — вакансий будет немало.

Цезаризм по своей сути не может существовать без широко разветвленной системы руководителей, управляющих, заведующих. Особенно много н а ч а л ь н и к о в. Они жестко дифференцированы, крепко держатся за свое место, смотрят главным образом наверх, а не вниз и не вокруг. И по сей день страсть к начальничеству, к сожалению, сохранилась. Во времена сталинского единовластия табель о рангах составляла одну из важнейших основ цезаризма. Чем меньше народовластия, тем всегда больше начальников.

Сталин, будучи умным человеком, понимал, что в простом народе, особенно среди крестьянства, еще не были изжиты подспудные «царистские» традиции. Века забитости и темноты не могли не оставить глубоких следов, какой-то иррациональной веры во всемогущество любого правителя, особенно находящегося в столице. Эти культовые настроения существовали не только в связи непосредственно со Сталиным, но и с властью вообще.

Сталину много писали простые люди. В его большом секретариате готовили ответы, поручали местным органам разобраться в просьбе заявителей. Иногда Сталин собственноручно отвечал на некоторые письма. В архиве генсека удалось обнаружить десятки фотокопий этих ответов. Вот один из них:

«Ленинград. Семье Климкиных.

Дорогие товарищи!

Из-за перегруженности опоздал с ответом, за что прошу извинения. Выражаемое вами пожелание уже выполнено мною. Направлены облигации: на 100 рублей в распоряжение ЦК МОПРа и на 300 рублей — в распоряжение колхоза «Пламя Революции» в Хоперском округе — одного из застрельщиков массовой коллективизации деревни.

Высылаю детишкам карточку, как они этого просили.

7.04.30 г. Привет! И. Сталин».

Позднее каждое такое письмо становилось предметом широкой пропагандистской кампании в районе, области, крае как пример «простоты и заботы о народе вождя».

Удалось установить, что Сталин уделял немалое внимание не только, как бы теперь сказали, проблемам управления, но и непосредственно «технике единовластия». Он внимательно проштудировал работу В. Воровского «О природе абсолютизма», М. Александрова «Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России», Ю. Казьмина «Судьба властелина» и другие аналогичные труды. Можно сделать заключение, что тяга к исторической литературе у Сталина не была бескорыстной, простым читательским интересом. Ум его искал аналогии, «рецепты», изучал «технологию» власти, ее психологические нюансы. Так, например, генсек усвоил, что большое воздействие на сознание и чувства

людей производят его выступления на различных торжествах, крупных совещаниях в Кремле.

После «съезда победителей» в течение 1935 года Сталин выступил в Кремле на совещании железнодорожников (30 июля), колхозниц-ударниц свекловичных полей (10 ноября), на совещании передовых комбайнеров (1 декабря), на приеме передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана (4 декабря), трактористов (20 декабря). Каждое подобное совещание широко освещалось в печати, отражалось в кинохронике. Сталин много фотографировался, умел выгодно «подать» себя. По мере роста популярности он, однако, пришел к выводу, что выступать, «являться» народу нужно реже — в этом случае в такой же пропорции растет значимость его общения с людьми. Сталин почувствовал, что «затворничество», закрытость дают большие возможности для распространения официальных легенд, мифов, сусальных штампов о вожде.

Страна, где веками народом правил самодержец, не может легко и просто «стряхнуть» психологические напластования одними заклинаниями, нужно время. Поэтому Сталин для поддержания и наращивания своей популярности делал особый акцент на формировании у людей «веры в вождя», веры в его «заботу» о них, «веры в справедливость Сталина». Все те ошибки, просчеты и преступления, которые сопровождали его путь, он всегда объяснял «вредительством», «головотяпством», «тупостью» новых чиновников, местных руководителей, которые или не поняли, или исказили его указания. Эпизодически Сталин жертвовал, еще до массовых чисток, тем или иным республиканским, областным руководителем, наркомом, указывая тем самым на того, кто был «виновен» в провалах, нехватках, отставании. Эта линия срабатывала безотказно. Ведь даже сейчас есть люди, которые считают, что трагедия Сталина в том, что он «доверился» Ежову, а затем Берии, что Сталин «многого не знал», что размах репрессий был ему «неизвестен». Все это отголоски той утонченной идеологической кампании, которую Сталин вел многие годы.

Как только генсек почувствовал (а впервые он имел основания для этого лишь в 1927 году и окончательно после XVII съезда партии, в 1935 году), что может стать «долгосрочным» вождем, тут же начал особо заботиться о том, чтобы этот символ был для людей привлекательным. Фильмы, книги, исследования о сильной личности, диктаторах, «прогрессивных» царях стали в ходу. В искусстве исподволь насаждались произведения, фактически абсолютизирующие роль отдельной личности. Сталин, например, лично консультировал С. Эйзенштейна и Н. Черкасова, каким должен быть на экране Иван Грозный.

Сталин, как мы знаем, был крайне подозрителен, в каждом неосторожном жесте, слове, мысли он видел «знак», смысл, намерение. Есть доказательства, что рутинные, бессодержательные, апологетические статьи, написанные соратниками в честь его шестидесятилетия, семидесятилетия, он тем не менее очень внимательно анализировал. Будучи очень скрытным человеком, просматривал кипы журналов, книг, в которых писали о нем. Его тщеславие было ненасытным, но он умел его скрывать на людях, поддерживая легенду о своей «исключительной скромности». Правда, несмотря на различные заголовки, они, эти статьи, были очень похожи друг на друга. Например, Молотову подготовили статью «Сталин как продолжатель дела Ленина», а Микояну — «Сталин — это Ленин сегодня».

Окружение знало об этой особенности генсека и «соревновалось» между собой в поиске эпитетов, возвышенных сравнений, исторических аналогий, которые бы могли еще больше прославить «великого вождя». Сплошь и рядом «хвалителям» изменяло не чувство меры, а просто здравый смысл. В 1939 году, когда еще не были подведены кровавые итоги искоренения «врагов народа», помощники генсека А. Поскребышев и Б. Двинский писали о нем как о человеке, которому присущи «величайшая человечность и гуманность». Эти оруженосцы вождя в статье «Учитель и друг человечества» заявляли: «Сталин вошел в революцию с образом Ленина в уме и сердце. О Ленине он думает всегда, и даже тогда, когда мысли его погружены в проблемы, подлежащие разрешению, рука его машинально, автоматически чертит на листке бумаги: «Ленин... учитель... друг...». Как часто после рабочего дня уносили мы с его стола исчерченные этими словами вдоль и поперек листочки».

Подобная сусальность должна была, по мысли авторов, воздействовать не столько на ум, сколько на чувства людей. О том, что это придуманная сусальность, могу судить по такому факту. В архиве (фонде) И. В. Сталина хранятся самые различные бумаги, документы: от имеющих историческое значение вплоть до малозначащих записок. Там есть доклады, с которыми Сталин выступал на съездах, и одновременно записки вроде: «тт. Андрееву, Молотову, Ворошилову: Пора кончать. Закругляйте выступления. К четырем надо закончить пленум. И. Ст.». Так вот, в архиве есть и бумажки, на которых Сталин что-то машинально, автоматически начертил. Но это совсем не то, о чем писали Поскребышев и Двинский. На одном из заседаний Политбюро в руках у Сталина оказалась брошюра «О правой опасности в нашей партии». Он рассеянно слушал выступления и все время отвлеченно водил карандашом по обложке. Я переписал с нее следующие слова:

«Сталин. Признавать. Учитель. О правой опасности. О правой опасности в нашей партии. Мухалатка. Частное совещание. Токио. Сокольников. Рабочее издательство «Прибой». Огонь. Дискуссия. Молотов».

В конце добавлено:

«1. Не общий документ, а от ПБ.

2. Ни в одном пункте не уступать».

По машинальным записям, сделанным в конце двадцатых годов, можно сделать лишь один определенный вывод: Сталин жил борьбой. Утверждения Поскребышева и Двинского о том, что Ленин был у Сталина «в душе и сердце», со ссылками на подобные записи — увы! — не подтверждаются. В доказательство этого я мог бы привести немало тарабарщины, подобной той, что уже привел выше.

Популярность Сталина принимала у людей вместе с тем и уродливую форму социальной самозащиты. Человек, не желающий навлечь на себя подозрения, в своих публичных выступлениях, разговорах не мог допустить промашки в отношении Сталина. Любое, даже косвенное «очернительство» роли вождя кончалось трагически для неосторожного человека.

Как мне рассказывал А. Федоров, в конце сороковых годов в одной МТС на Витебщине у них произошел такой случай. После побелки помещения конторы собирались вновь развесить портреты на стенах. Молодой тракторист, зашедший с улицы, нечаянно уронил портрет Сталина, прислоненный к стене, и, пытаясь удержаться на ногах, наступил на лицо вождя. В комнате было несколько человек. Наступило тягостное молчание. Затем мастер сделал трактористу резкое замечание. Как уж там развивались события дальше, никто не знал, но через три дня парня забрали и вернулся он лишь после XX съезда партии. Одна из машинисток в редакции районной газеты в словосочетании «сталинский взор» допустила ошибку, вставив букву «д» («вздор»). Больше ошибаться ей не пришлось — тут же она исчезла.

Где-то в невидимом слое «популярности», если посмотреть на нее в разрезе существовавших отношений между людьми, постоянно присутствовал страх. Не все и всегда это осознавали, но люди, знавшие о репрессиях, те, у кого пострадали родные и знакомые, славили Сталина, держа в сознании известные им факты. Поэтому популярность вождя держалась не только на определенных достижениях, которых добивался народ, усилиях пропаганды и манипуляции общественным сознанием в угоду «величайшего из вождей», но и на понимании (не всегда ясно осознанном) возможности реальной кары за выражение сомнений в адрес генсека. Неудивительно, что самый расцвет популярности вождя совпал с расцветом и доносительства как неизбежным следствием политики насаждения всеобщей подозрительности и шпиономании.

Естественно, было бы неправильно считать, что абсолютно все граждане нашей страны фанатично любили вождя и он у всех пользовался безоговороч-

ной популярностью. Нельзя забывать, что в партии была большая прослойка коммунистов с дореволюционным стажем, которую часто называли «ленинской гвардией». Эти люди не по «Краткому курсу», отредактированному Сталиным, знали историю партии и реальную роль всех руководителей в Октябрьской революции. Старые коммунисты, по крайней мере большая их часть, узнали о Сталине значительно позже, поскольку в Октябрьские дни да и в годы гражданской войны будущий генсек находился на вторых-третьих ролях. Не случайно Сталин с особенным пристрастием относился к судьбам старых большевиков. Как человек исключительно честолюбивый и обладающий незаурядным практическим умом, он понимал, что эти люди, даже не выступая открыто против него, потенциально оценивают генсека иначе, чем уже сложившееся общественное мнение. Люди с таким прошлым были ему не нужны, и в итоге старая «гвардия» понесла наиболее тяжелый урон.

Сталин видел, что, несмотря на движение вперед, многое получалось не так, как виделось ему; после революции прошло столько лет, а пока он только призывал во имя будущего идти на ограничения. Крупных результатов в улучшении жизни людей не было. Если он, Сталин, скажет, что в них, этих трудностях, повинны вредители, разве народ не поверит? Тем более все эти люди — бывшие оппозиционеры, люди с подмоченной репутацией. Кто не видит: факты вредительства налицо в народном хозяйстве, в промышленности, в аппарате. Разве за рубежом не пытаются использовать бывших оппозиционеров? Вон, например, белоэмигрантская газета «Русское слово» прямо говорит, что у Сталина есть оппозиция не только в партии, но и в армии...

Только полное устранение потенциальных недоброжелателей безоговорочно укрепит его положение. Нужна крупная акция. И хорошо, что он еще раньше предупреждал: «Враги не сложили оружия».

Сталину казалось, что он дождался своего часа. Отныне даже в потенции, даже мысленно никто не сможет посягнуть на его цезаристское единовластие. Час трагического начала приближался. Решение зрело и окончательно оформилось, когда он был вдали от Москвы, в Сочи, где мог спокойно обдумать пути дальнейшего упрочения своей личной власти.

25 сентября 1936 года вместе со Ждановым, который на XVII съезде партии стал секретарем ЦК и быстро вошел в доверие к генсеку, он направил из Сочи на имя Молотова, Кагановича и других членов Политбюро телеграмму:

«Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы тов. Ежов был назначен на пост Народного Комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкистско-зиновьевский блок. ОГПУ отстает на четыре года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД».

Сигнал был дан. Чудовищный, страшный сигнал. Едва ли кто мог предположить, как много будет обнаружено после него в нашем Отечестве «шпионов», «вредителей», «диверсантов», «террористов», просто «двурушников». Можно даже подумать, что не они жили среди нас, а мы среди них! А люди пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»

Сталина ободрил и недавний процесс над Зиновьевым и Каменевым: народ горячо поддержал государственное обвинение. Еще не состоялся суд, неизвестны обстоятельства дела, а печать, радио дружно скандируют: «Уничтожить гадов!», «Смерть врагам!», «Никакой пощады двурушникам!». Генсек почувствовал, что он добился многого: отобрал истину у народа, превратил его в толпу, за которую теперь будет думать только он сам. Возможно, это преступление Сталина, а у него их длинный ряд, одно из тягчайших.

Помните, вождь еще в 1933 году предсказывал, что «контрреволюционные элементы» могут «зашевелиться»? Так и произошло! Речь шла уже не просто об унижении народа культовым уродством, а о чем-то большем и страшном. Надвигалась трагедия.

Все понять — отнюдь не значит все простить.

Кестнер.

Глава шестая. КУЛЬМИНАЦИЯ ТРАГЕДИИ

Наступал новый, 1937 год. В Москве, других городах Отечества, тысячах сел и деревень огромной страны шла обычная в новогодние праздники суматоха: в клубах и тесных квартирах ставились елки, ребята клеили самодельные гирлянды, шли последние приготовления в кружках художественной самодеятельности, которые тогда были на каждом предприятии, в колхозе, школе. В последние год-два на прилавках и в витринах магазинов появился определенный выбор гастрономии. Новогодняя «Правда» 1937 года, например, в небольшой заметке «Праздничные покупки» сообщала: «Разнообразные вина от советского шампанского до муската, сотни сортов колбасных и рыбных изделий, торты, пирожные, фрукты—все это в большом количестве покупали вчера в магазинах москвичи. Тысячи агентов «Гастронома», «Бакалеи» и других продовольственных магазинов были заняты доставкой на дом покупателям различных продуктов к новогоднему праздничному столу...

По сообщению заведующего московским городским отделом внутренней торговли тов. Эпштейна, магазинами столицы было продано на 4 млн. рублей различных елочных украшений и игрушек».

Мужчины запасались одной-двумя бутылками «Московской», в магазинах крупных городов можно было купить и хорошее вино, «для женщин». В наркоматах, крайкомах, обкомах, райкомах завершали «подбивку» итогов года: надо было «рапортовать». А сказать народу было о чем: в минувшем году введен в строй Харьковский станкостроительный завод, был торжественно открыт Канский целлюлозно-бумажный комбинат, заработал Соликамский магниевый завод, в Армении дала промышленный ток Конакарская ГЭС, завершен ввод в строй Мурманского рыбного комбината, сотен других, больших и малых производственных объектов.

Количественные показатели (но отнюдь не качественные) впечатляли. Было о чем докладывать Сталину. Даже образованный лишь в 1936 году Наркомат оборонной промышленности, не выполнивший по многим показателям и заводам плана, послал Сталину письмо: «Оборонная промышленность будет лучшей в стране». Рапорты наркомов Кагановича, Микояна, Любимова радовали вождя: не только железнодорожный транспорт, но и легкая, местная промышленность наконец дали большую прибавку. Пусть все знают, что Сталин слов на ветер не бросает. Ведь по его указанию было принято решение 1936 год сделать ударным: прирост производства средств производства предусмотреть на 22, а предметов потребления — на 23 процента. По его указанию «Правда» дала специальную статью «План подъема благосостояния народа», где писала, что слова вождя «жить стало лучше, жить стало веселее» никогда не расходятся с делом. Пусть еще раз все убедятся в справедливости этого лозунга.

Пульс страны бился ускоренно и мощно. Шли годы, а революционный энтузиазм, получивший заряд от октябрьского генератора, не иссякал. Жили еще очень бедно, одевались просто, скромно. Без конца были «ударные» декады, ставили производственные рекорды, печать пестрила именами героев труда. Социалистический облик страны был аскетическим, но устремленным в будущее. Говоря о соотношении общественного и личного, считалось даже кощунственным упоминать об интересах конкретных индивидов; общее дело целиком поглощало отдельного человека. Державные мотивы не позволяли ставить в полный голос вопросы о всестороннем, гармоническом развитии личности. Социалистические ценности, в центре которых должен быть человек, всей системой сформировавшихся отношений ставились в решающую зависимость от воли и разума одного лица. Припадание к идеологическому алтарю «господствующей личности» стало обязательным.

Передовая «Правды» за 1 января 1937 года озаглавлена «Нас ведет великий кормчий». Статья заканчивается красноречивым панегириком: «Советский

корабль хорошо оснащен и хорошо вооружен. Ему не страшны штормы. Он идет по своему курсу. Его корпус сооружен гениальным строителем для борьбы с враждебной стихией в эпоху войн и пролетарских революций. Его ведет гениальный кормчий Сталин». Здесь же рядом огромный портрет вождя, возвышающийся над людским морем. Кто-то в этом «море» несет и небольшой портретик Ленина...

Отечественные газеты первых дней 1937 года передавали не только напряженное дыхание трудившегося народа, страницы полны предупреждений о грозной опасности, нависшей из-за кордона. Очередные корреспонденции М. Кольцова из Испании, подробности потопления фашистами советского парохода «Комсомол», постановление ЦИК СССР о присвоении звания Героя Советского Союза группе командиров РККА «За образцовое выполнение специальных и труднейших заданий Правительства». Все понимают — это «испанские» герои.

Здесь же статья Я. Рудзутака, которому осталось жить немногим больше года: «посредством своих агентов — Троцкого и его банды, фашисты пытались расстроить путем вредительства наше хозяйство, их руками они хотели убить лучших людей нашей страны, мозг и сердце нашей страны — товарища Сталина...».

Всего неделю назад Чрезвычайный VIII съезд Советов принял новую Конституцию СССР, провозгласившую расширение основных демократических прав и свобод советских людей, включая свободу совести, слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности, жилища, тайну переписки. Над ней работали Акулов, Бубнов, Бухарин, Гамарник, Крыленко, Егоров, Тухачевский, Эйдеман, Уборевич, Якир, другие видные государственные, военные и общественные деятели. Создавая Основной Закон государства, провозглашавший на словах социалистическое народовластие, они еще не знали, что вопреки провозглашенному праву совсем скоро они будут безжалостно уничтожены. В условиях единовластия «господствующей личности» никакая конституция защитить не может.

А почти в это же самое время прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский уже «шлифовал» свою огромную, многочасовую обвинительную речь на готовящемся втором открытом судебном процессе «троцкистских заговорщиков», которую он с пафосом, как артист, произнесет 28 января 1937 года.

Миллионы советских людей, полные искренней гордости за продолжающийся «затяжной рывок» к экономическому и оборонному могуществу страны, поздравлявшие друг друга в новогоднюю ночь и желавшие взаимного счастья, не могли и предполагать, каким кровавым будет наступающий год. Двадцатая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции станет кульминацией трагедии советского народа, эпицентром социального цинизма и, как казалось, необъяснимых замыслов вождя. Но об этой трагедии, как это ни звучит парадоксально, люди (в основном!) узнают почти через два десятилетия, и то далеко не полностью. А пока им предстоит вместе со всеми возмущаться, негодовать и проклинать «фашистских выродков», «шпионов» и «террористов». Даже такие люди, как А. Фадеев, А. Толстой, П. Павленко, Н. Тихонов, Б. Ясенский, Л. Никулин, в статье «Шпионы и убийцы» предадут анафеме тех, кто стал жертвами и актерами постыдного и преступного январского спектакля.

А Главный режиссер этого действа еще раз обратит внимание народа: мол, еще в январе 1933 года я говорил, что при определенных условиях «могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов из троцкистов и правых уклонистов». Чем больше наши успехи — тем сильнее противодействие им... Вот она, жестокая классовая борьба, натягивающая тетиву противоборства до предела!

К XVII съезду была выпущена необычная книга. Называлась она «Канал имени Сталина». Тридцать шесть советских писателей под руководством М. Горького, Л. Авербаха и С. Фирина написали панегирик первому в истории опыту переделки «врагов народа в его друзей». Это, говорилось в книге, «отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата... в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно необходимого труда». Авторы писали, что «человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл»; «книга рассказывает, как лечили и вылечили социально больных: как врагов пролетариата перевоспитали в сотрудников и соратников его. Тема огромнейшей и глубочайшей значимости». В толстом томе портреты «бывших вредителей» — инженеров, профессоров, учителей Н. И. Хрусталева, К. М. Зубрик, А. Г. Ананьева; тысячи других интеллектуалов (а не только кулаков, воров и рецидивистов) превращались в «соратников пролетариата». Преступление многих было лишь в том, что они думали иначе, чем Иосиф Сталин, которому, как пишут авторы, присущи «отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который тонко разбирается в сложности качеств людей и, воспитывая лучшие из этих качеств, беспощадно борется против тех, которые мешают первым развиться до предельной высоты». А мешали Сталину не только какие-то качества. Мешали люди. Много людей. Страшно много.

Все эти «недобитки» мешали ему (потенциально, просто в сознании) окончательно утвердиться в роли единственного, безраздельного и всеми, именно всеми, любимого вождя.

«Враги народа»

Никакие справедливые цели и намерения не могут оправдать безнравственных средств. Ведь «в нашем идеале — и в это страстно верил В. И. Ленин — нет места насилию над людьми». А именно к нему широко прибег Сталин в печальном, трагически вошедшем в нашу историю тридцать седьмом году, как и в году следующем. Это была кульминация трагедии единовластия не только в силу масштабов бесчеловечности (в 1929—1933 годах пострадало людей больше), но и в результате невиданного политического цинизма, который не мог своевременно разглядеть целый великий народ.

Кто ввел в обиход страшный термин «враг народа»? Конечно, дело не в понятии, а в попытке найти какие-то исторические, политические, логические обоснования, которые использовал Сталин для широкого применения социального насилия.

Мы уже говорили, что Сталин впервые познакомился с книгой об истории Великой французской революции в Туруханске. На него тогда произвели большое впечатление решительность Робеспьера и Кутона, добившихся в критическую минуту принятия Закона об упрощении судебного процесса над «врагами революции». Ему импонировала формула Робеспьера: «Кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов». Кто не с революцией — тот ее враг, по-своему читал Робеспьера Сталин. Еще тогда он обратил внимание на интересное, по его мнению, место из речи Робеспьера в Конвенте 22 прериаля (10 июня) 1794 года: «Когда свобода добивается, по-видимому, блестящего триумфа, враги отечества составляют еще более дерзкие заговоры».

Хотя термин «враг народа» был в обиходе и раньше, Сталин после 1934 года наполнил его «конкретным содержанием». Еще в «Закрытом письме», которое ЦК партии направил в республиканские и областные парторганизации 29 июля 1936 года и к которому Сталин непосредственно приложил руку, подчеркивалось, что «враг народа» обычно выглядит «ручным и безобидным», что он делает все для того, чтобы «потихоньку вползти в социализм», что «враги народа» — это люди, не принявшие социализма, и что чем безнадежнее будет их положение, тем охотнее «они будут хвататься за крайнее средство».

Как мне рассказывал А. А. Епишев, работавший в 1951—1953 годах заместителем министра государственной безопасности, Берия любил на совещаниях подчеркивать мысль, авторство которой он приписывал Сталину:

— Враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии. А таких среди нас еще много, и мы должны их ликвидировать...

Епишев, скупой на рассказы о себе, как-то поделился со мной в редкие минуты откровений:

— Удалось с трудом вырваться из бериевского вертепа. После моих неоднократных просьб отпустить меня вновь на партийную работу Берия зловеще бросил: «Не хочешь со мной работать? Ну что же — как хочешь...» Через несколько дней меня направили в Одессу, вновь избрали первым секретарем обкома, а вскоре ко мне зашел начальник областного управления НКВД и предложил с завтрашнего дня оставаться дома. Я знал, что это значит: со дня на день будет арест... А тех, кто работал рядом с Берией и в чем-нибудь сомневался, министр считал не «простыми» врагами народа. Меня чудом спас счастливый случай: Берию в эти самые дни арестовали... «Враг народа»,— продолжал Алексей Алексеевич,— это была универсальная формула отбора тех, кто не подходил под сталинский ранжир...

Ну, а не «подходили» под сталинскую модель, концепцию многие, большинство же просто подозревалось в том, что они «не подходят». Таким образом, сталинская концепция «врагов народа», внешне заимствованная из выступлений руководителей Великой французской революции, ничего общего с их пониманием не имеет. Робеспьер, установивший революционно-демократическую диктатуру, видел врагов в обладателях несправедливо приобретенного богатства и тиранической аристократии. Сталин — во всех тех, кто даже потенциально мог не разделять его взглядов. Даже инакодумство, само подозрение в его существовании считалось враждебным деянием. Никто не выступал против единовластия Сталина, но генсек чувствовал, что в душе многие, особенно из ленинской старой гвардии, не могут его одобрять. Этого было достаточно, чтобы беспредельно подозрительный и жестокий диктатор постепенно созрел для страшного решения.

Подавляющее большинство советских людей безоговорочно поверили, что идет борьба не на жизнь, а на смерть с людьми, которые не оставили надежд реставрировать капитализм в нашей стране. Передовицы газет были красноречивыми уже в январе 1937 года: «Шпионы и убийцы», «Торговцы Родиной», «Троцкист — вредитель — диверсант — шпион», «Подлейшие из подлых», «Троцкистская шайка реставраторов капитализма»... Непрекращающийся «массаж» общественного сознания давал свои плоды: люди негодовали, «узнав» о подлости тех, кто так долго маскировался.

Почему Сталину и его окружению удалось убедить себя, партию, народ в том, что они живут среди врагов? Каким было обоснование настоящего безумия шпиономании и вредительства? В значительной мере на эти вопросы отвечает февральско-мартовский (1937 года) Пленум ЦК партии.

На Пленуме, который продолжался около двух недель, было заслушано немало докладов. Начал Жданов, доложивший о подготовке парторганизаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой избирательной системе и перестройке партийно-политической работы. В докладе он поставил вопрос о состоянии внутрипартийной демократии как важнейшем условии нравственного здоровья ВКП(б). Но тут же привел цитату генсека о том, что не должны забывать указаний товарища Сталина: хотя «нам бьет в глаза культурная работа диктатуры», органы подавления сегодня так же нужны, как и в период гражданской войны; мы не можем не учитывать, что, «пока наши люди дремлют и раскачиваются, враги уже действуют». А в партии обстановка, по словам Жданова, непростая. Ряды партии редеют; в ней оказалось немало врагов. И здесь докладчик привел данные, которые были не просто симптомом. Жданов заявил: «Вредная практика кооптации укоренилась и зашла далеко. Практика кооптации нарушает законное право членов партии принимать участие в выборах своих руководящих органов».

Затем секретарь ЦК сообщил: в бюро райкомов и горкомов кооптировано до 59 процентов. В Киеве, например, 19 октября 1934 года в горком кооптировали сразу 14 человек, в том числе Ашрафьяна, Дзениса, Сенченко, Тодера и других, оказавшихся «врагами народа». В Харькове в горкоме из 158 членов и 34 кандидатов, избранных на IV городской партийной конференции, осталось только 59, а кооптировано 61. Бюро горкома, за исключением одного, состоит целиком из

кооптированных. В Ленинском районе Харькова 4 апреля 1936 года ставился вопрос об «исключении целой пачки людей». Пригласили и актив. Зачем? А затем, что на пленуме присутствовало 10 членов, а надо было вывести 12 человек! «Так 10 человек сожрали 12 человек! (Смех среди участников Пленума.)» Жданов еще долго приводил подобные примеры.

То были не просто симптомы партийной антидемократии. В партии создавалась атмосфера законности беззакония, дозволенности широкого использования силовых методов. Сталиным и его окружением уже был подготовлен духовный, моральный климат широкого перехода от административных методов решения социальных проблем к методам прямого насилия над потенциальными противниками.

К моменту этого Пленума «господствующая личность» уже провела «разведку боем». Речь идет о расправе над Зиновьевым и Каменевым, группе других большевиков. Сталину мешали эти деятели, низведенные до мелких служащих, но которые очень много знали о нем такого, что было очень неприятно для вождя. Например, о тех совещаниях, которые проводил Сталин у себя в кабинете, настраивая Зиновьева и Каменева против Троцкого. Знали о его многочисленных интригах, подделывании старых протоколов (Сталин «организовал», например, записку Вл. Сорина и Е. Стасовой о необходимости внесения изменений в протоколы заседания ЦК от 23 февраля 1918 года о Брестском мире), о загадочной истории болезни и смерти М. В. Фрунзе и других сомнительных страницах былого, которые вождь никогда не ворошил. Зиновьев и Каменев уже сидели. 15 августа 1936 года их по личному решению Сталина вновь предают суду. Еще не начались заседания, не оглашено обвинительное заключение, а газеты и радио дружно начали скандировать: «Смерть гадам!», «Нет пощады врагам!», «Врагов народа — на свалку истории!». Сталинская месть не знала компромиссов: его бывшие коллеги по Политбюро были приговорены к смерти и расстреляны. Их последняя мольба — письма о помиловании к Сталину — осталась без ответа. Вождь надеялся, что вместе с Каменевым умрет и его заявление на XIV съезде партии: «Я пришел к убеждению что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба»; уйдут в небытие злые, ироничные слова Зиновьева о генсеке как «восточном деспоте, не ведающем, что такое совесть».

Сталин не любил ограничиваться одним «слоем» снятых врагов. Как у Зиновьева, Каменева, сотен, тысяч других, кому он «отказал в доверии», были уничтожены и их семьи. Например, вслед за Л. Б. Каменевым погибли его жена, два сына (один — не достигший совершеннолетия), брат Каменева с женой... Сталин вырубал не только дерево, но и поросль вокруг. А тогда, в тридцать седьмом, эта рубка шла день и ночь. Главный Дровосек, как кровавый прораб, руководил сечей. «Опоздание» на четыре года спешили ликвидировать.

Доклады Молотова, Кагановича, Ежова на Пленуме были посвящены зловещему вопросу: «Уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». В них отсутствовали какой-то разумный анализ, реальное осмысление положения дел по той простой причине, что сам предмет обсуждения был миражем, видимостью. Было много крепких, слов, заклинаний. Одновременно докладывались и первые «результаты», которые сегодня просто ошеломляют.

Молотов, начав доклад, заявил, что делает его вместо Орджоникидзе. За неделю до открытия Пленума Серго застрелился. В правительственном сообщении говорилось, что он умер от паралича сердца. По свидетельству ряда лиц, знавших семью Орджоникидзе, он крайне болезненно относился к нагнетанию шпиономании и выискиванию врагов. У него было по этому поводу несколько крупных и резких разговоров со Сталиным, генсек стал посылать Орджоникидзе доносы на него, поступавшие в НКВД, явно намекая, что «дыма без огня не бывает». По существу, Орджоникидзе понял, что вождь или требует полного послушания, или его ждет ликвидация. В довершение всего Сталин поручил Серго сделать доклад на Пленуме «О вредительстве в тяжелой промышленности». Орджоникидзе предстояло своими руками отдать на заклание многих командиров производства, принять прямое участие в произволе, с чем настоящий большевик смириться не мог. Свой шанс совести Орджоникидзе использовал, хотя и не лучшим, но в той об-

становке, пожалуй, единственно достойным способом. В день трагического выбора люди Ежова передали Орджоникидзе протокол допроса его брата Популии. Были арестованы и некоторые другие родственники Серго. Его буквально подталкивали к роковому шагу, и Серго сделал этот шаг.

Сталин, прибыв на квартиру Орджоникидзе, приказал, чтобы в печать пошла «обоснованная» версия самоубийства. Письмо, написанное, по свидетельству близких, покойным, оказалось у Сталина. Его содержание осталось, по-видимому, навсегда неизвестным для истории. Из-за похорон наркома Пленум пришлось перенести. Для Сталина смерть Серго была лишь эпизодом. он не любил тех, кто колебался. А Орджоникидзе перед лицом программы террора, которую должен был одобрить Пленум, не просто заколебался, а выразил протест, покончив с собой. Впрочем, так поступят в те годы и многие другие: Томский, Гамарник, Сабинин, А. Любченко...

Молотов в докладе сыпал цифрами, множеством фамилий «врагов народа», пробравшихся в тяжелую промышленность: Аристов, Гайдеров, Берман, Норкин, Карцев, Аркус, Язовских, Яковлев, десятки других руководителей. По его словам, всем этим шабашем «террористов и троцкистских агентов» руководил Пятаков. Чтобы показать, что нужно не только констатировать расширение вредительства в народном хозяйстве, но и активно бороться с ним, Молотов сообщил Пленуму о количестве осужденных в аппаратах ряда наркоматов к 1 марта 1937 года: Наркомтяжпром — 585; Наркомпрос — 228; Наркомлегпром — 141; НКПС — 137; Наркомзем — 102 человека. И так по двадцати одному ведомству. Докладывая Пленуму, Молотов все время делал акценты на то, что все эти вредители действовали по указаниям из троцкистского центра. Председатель Совнаркома объяснял «стратегию» вредительства лозунгом Троцкого: «Наносить чувствительные удары в чувствительных местах».

Однако, даже допуская, что факты вредительства могли быть и даже, возможно, где-то были, предсовнаркома должен был знать, что при огромных темпах проектирования, строительства, развертывания все новых и новых промышленных и иных объектов делалось это часто в большой спешке, «кавалерийским наскоком», при безусловных случаях головотяпства и некомпетентности. Слабая техническая вооруженность, низкая производственная, технологическая культура и дисциплина приводили к многочисленным авариям, крушениям, пожарам, браку, рекламациям. Однако все это объявлялось только как результат «происков троцкистских вредителей».

В этом же духе был выдержан и доклад Кагановича, «осветившего» уроки вредительства применительно к железнодорожному транспорту. Здесь был другой набор: троцкисты вредили делу внедрения паровоза «ФД», не допускали «превышать нормы» (а как только, вопреки установкам «предельщиков», их нарушали,— следовали аварии и катастрофы), противодействовали стахановскому движению, срывали планы перевозок. У Кагановича тоже был длинный список вредителей-руководителей.

Ежов своим докладом еще дальше стал нагнетать обстановку, по которой выходило, что буквально всюду проникли «враги». Его обширная статистика, которую не стоит здесь приводить, оставляет самое мрачное впечатление...

Ежов, этот нравственный и физический пигмей, накануне Пленума был удостоен специально учрежденного для него звания Генерального комиссара государственной безопасности, которое до него никому более не присваивалось. Его удостоится позже только Берия. Некоторые идеи его доклада были откровенно подстрекательскими, стимулирующими развертывание обязательных доносов против «внутренних врагов». «За несколько месяцев,— заявил Ежов,— не помню случая, чтобы кто-нибудь из хозяйственников и руководителей наркоматов по своей инициативе позвонил бы и сказал: «Тов. Ежов, что-то мне подозрителен такой-то человек, что-то там неблагополучно, займитесь этим человеком». Таких фактов не было. Чаще всего, когда ставишь вопрос об аресте вредителя, троцкиста, некоторые товарищи, наоборот, пытаются защищать этих людей».

В специальном постановлении, принятом по докладу Ежова, снова отмечалось, что Наркомвнудел в борьбе с врагами запоздал по крайней мере на четыре

года. Похоже, по мысли Сталина, кровавую чистку надо было провести накануне XVII съезда партии. НКВД вменялось «довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов до конца, с тем, чтобы подавить малейшие проявления их антисоветской деятельности». Но все это было прелюдией. Эмпирические сыскные выкладки Молотова, Кагановича, Ежова больше пугали здравомыслящих участников Пленума, нежели убеждали их в ситуации повального вредительства. Нужно было теоретическое и политическое обоснование. Первые докладчики обрисовали «ландшафт», где «резвились» враги, но их сущность, «природа» и причины активизации были неясны.

Была нужна четкая «программа» — и вождь сформулировал ее; нужно было теоретическое обоснование террора против «врагов» — Сталин проделал и эту работу; надо было «поднять» людей на «ликвидацию» троцкистских и иных двурушников — ему удалось решить и эту задачу.

По тщательности формулировок, продуманности структуры доклада, с которым выступил Сталин, содержанию его заключительного слова и резолюции, написанной им собственноручно, видно, сколь большое значение генсек придавал предстоящей кровавой чистке.

Доклад Сталина был озаглавлен: «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». По многочисленным зачеркиваниям, пометкам на полях, вставкам, сделанным четким почерком генсека, видно, как тщательно Сталин готовился к докладу. Он не «опустился» до мелкого «вылавливания» вражеских функционеров, чем самозабвенно занимались Молотов, Каганович и Ежов. Основной Докладчик все разложил по полочкам. Вначале Сталин охарактеризовал феномен «политической беспечности», затем перешел к последствиям капиталистического окружения. Здесь он верно отметил, что опасность со стороны империализма реальна и постоянна, она требует постоянного учета в процессе социалистического строительства. Но эту опасность Сталин органично связал, что не было оправданным, с троцкистской опасностью. Троцкистов он охарактеризовал как «оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств».

Фактически Сталин поставил троцкизм в центр опасности для социализма. Но идеология и платформа троцкизма в СССР были идейно и политически разбиты раньше. Однако Сталин, дав подробнейшую характеристику современного троцкизма, теневым сторонам нашего движения вперед, пришел к далеко идущему зловещему теоретическому выводу: «Чем больше мы будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных».

Генсек давно привык к тому, что все его теоретические выкладки были обоснованием и оправданием политического курса. С одной стороны, еще в 1934 году Сталин утверждал, что эксплуататорские классы в СССР ликвидированы, а теперь, спустя три с лишним года, стал вдруг доказывать, что борьба «обостряется». Это, нажимал Сталин на Пленуме, стало возможным при условии маскировки бывших оппозиционеров, которые вели скрытую подрывную работу, консолидировали свои силы, дожидаясь своего часа. Для Сталина «классовая борьба» переместилась в «полицейскую область». Основной Докладчик насчитал целых «шесть гнилых теорий», которые мешают партии окончательно разгромить «троцкистскую банду»: мол, нельзя считать, что перевыполнение плана сводит на нет работу вредителей; мол, не стоит полагаться на то, что стахановское движение само по себе ликвидирует вредителей; мол, ошибочна позиция некоторых, людей, полагающих, что троцкисты не готовят свои кадры, и так далее.

Если предыдущие докладчики и многие выступающие сосредоточивали свое внимание на «конкретных» фактах вредительства, то Сталин, как всегда, все загнал в жесткую схему. В заключительном слове 5 марта он заявил, что

«есть семь пунктов, по которым у участников Пленума нет ясности». Были среди этих пунктов и отдельные как будто бы верные суждения (например, ряд бывших троцкистов заняли правильные позиции, и «их не следует опорочивать»), были суждения явно вождистские (надо иногда прислушиваться к голосу так называемых «маленьких людей»), суждения «мобилизующие» («врагов мы будем в будущем разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом»). Сталин заявил Пленуму: «Чтобы выиграть сражение, может потребоваться несколько корпусов. А для того, чтобы его провалить,— несколько шпионов. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого нужны тысячи людей. Чтобы его взорвать, нужно всего несколько человек». Так Сталин подчеркнул особую опасность даже «отдельных шпионов», стимулируя тем самым повышенное рвение к их разоблачению.

Резолюция по докладу Сталина содержала двадцать семь категорических тезисов. Карандаш генсека придал им вид, который он весьма любил:

— осудить практику недооценки пропагандистского фронта;

— осудить практику превращения пленумов в средство парадных манифестаций;

— осудить практику кооптации и сведения выборов к пустой формальности;

— осудить практику артельности в деле распределения партийных сил;

— осудить практику бездушного отношения к судьбе отдельных членов партии...

Внешне вроде бы много верного в сталинских постулатах, но вся беда в том, что эти декларации нисколько не влияли на реальное положение «судеб отдельных членов партии». Например, за два дня до принятия этих решений, обязывающих «осуждать бездушие», фактически была решена судьба Бухарина и Рыкова, а месяцем раньше был объявлен приговор Пятакову, Радеку, Сокольникову, другим «шпионам» и «террористам», а фактически — товарищам по партии. У Сталина вошел в привычку постоянный разрыв между словом и делом. То, что адресовалось для широкого «потребления», как правило, выглядело более или менее респектабельно, демократично, законно. То же, что оставалось в сфере информации узкого круга лиц, держалось в строгом секрете. Двойная мораль, двойные стандарты, двойные подходы уже стали нормой в сложившейся вокруг Сталина системе отношений. Особенно наглядно это проявилось в решении судьбы Бухарина и Рыкова.

По докладу Ежова 3 марта на Пленуме была принята резолюция «По делу Бухарина и Рыкова», которые до Пленума еще продолжали оставаться кандидатами в члены ЦК. Для выработки проекта постановления по этому вопросу создали комиссию под председательством А. И. Микояна, в которую вошли также Андреев, Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Ежов, Шкирятов, Крупская, Косиор, Ярославский, Жданов, Хрущев, Якир, Берия, Эйхе, Багиров, Буденный, Чубарь, Косарев, Постышев, Гамарник, ряд других членов Центрального Комитета (всего 36 человек).

К заседанию этой комиссии Бухарин подготовил обстоятельную, страстную записку, в которой отверг все обвинения в его адрес. Опальный теоретик написал и несколько писем Сталину, пытаясь убедить вождя, что «показания» на него со стороны группы арестованных «врагов народа» инспирированы, что он никакого отношения к террористической, шпионской и другой подобной деятельности не имеет. Бухарину удалось по «вертушке» (специальной правительственной связи, аппарат которой все еще стоял в его квартире) два-три раза дозвониться до Сталина.

— Николай, не паникуй. Разберемся,— успокаивал его Сталин.— Мы верим, что ты не враг. Но раз на тебя «показывают» Сокольников, Астров, Куликов, другие двурушники, которые признались в своем вредительстве, надо спокойно разобраться... Успокойся!

— Как можно даже думать, что я «пособник террористических групп»! — срывался Бухарин.

— Спокойно, Николай, спокойно. Разберемся...— И Сталин клал трубку.

Объяснения Бухарина и Рыкова на комиссии, по сути, слушать не стали. Главные «аргументы» были те же: участники «параллельного троцкистского центра» утверждают, что Бухарин, Рыков, другие будущие их «однодельцы» знали об их вредительской, террористической деятельности и помогали в ней. Бухарин был в отчаянии, Рыков вел себя сдержаннее, поняв, что их неотвратимо ждет судьба недавно расстрелянных Зиновьева, Каменева, а затем и Пятакова, Муралова, Дробниса, Шестова и других «подлых изменников». Бухарин объявил голодовку в знак протеста против чудовищно несправедливых обвинений.

Утром 27 февраля позвонил Поскребышев и пригласил Бухарина и Рыкова на Пленум, который уже шел (хотя они еще были кандидатами в члены ЦК, их, однако, приглашали уже не на все заседания). Кроме Уборевича и Акулова, никто не подал им руки. Началось заседание комиссии Пленума по делу Бухарина и Рыкова. Еще до доклада Ежова Сталин бросил в зал:

— Бухарин объявил голодовку. Николай, кому ты выдвигаешь ультиматум, Центральному Комитету? Проси прощения у него.

— Но ведь вы собираетесь меня исключать из партии...

— Проси прощения у ЦК.

Бухарин, как с ним бывало не раз, не выдержал. Ему почудились в словах генсека проблески надежды. Однако тут же он понял, что в основе рассмотрения его «дела» лежат «материалы следствия» НКВД, а его объяснение, письменное и устное, расценивается лишь как попытка «ввести партию в заблуждение». Сейчас можно только догадываться, что испытали Бухарин и Рыков перед стеной не просто непонимания, а заранее запрограммированной враждебности. У членов комиссии были данные, которые опирались на «доказательства», «показания» уже осужденных, полученные недозволенными способами.

Бухарин на предложение председателя комиссии А. И. Микояна чистосердечно признать свое участие в антигосударственной деятельности резко с места ответил:

— Я не Зиновьев и Каменев и лгать на себя не буду.

— Не будете признаваться,— тут же зло ответил ему Молотов,— этим и докажете, что вы фашистский наймит, они же в своей прессе пишут, что наши процессы провокационные. Арестуем — сознаетесь!

— В НКВД есть люди, которые, прикрываясь авторитетом партии, творят невиданный произвол,— продолжал Бухарин.

— Ну, вот мы тебя туда пошлем,— вмешался Сталин,— ты и посмотришь...

Пожалуй, всё знали о фальши обвинений лишь Сталин, Ежов, его ближайшее окружение. Бухарин и Рыков, жизнь которых у партии была как на ладони, не могли быть врагами. Сталин почувствовал колебания членов комиссии, ознакомившихся с письменным заявлением Бухарина, и поспешил завершить обсуждение заранее обговоренным решением. Приступили к поименному голосованию предложения Ежова, которое гласило: «Исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК и членов партии, с преданием их суду военного трибунала, с применением высшей меры наказания — расстрела». Но следующий же голосующий, Постышев, заявил, что он «за исключение и предание суду, но без расстрела». Буденный, Мануильский, Шверник, Косарев — «за исключение, суд и расстрел». Антипов, Хрущев, Николаев, Шкирятов — «за исключение, суд, без расстрела»...

Сталин почувствовал, что единогласия комиссии уже не будет, и, как всегда, сделал свой ход, продумав его до конца.

— Я предлагаю,— сказал генсек,— исключить Бухарина и Рыкова из партии, суду не предавать, а направить это дело для расследования в НКВД.

Сталин знал, что это равносильно чудовищному и противозаконному: «исключить, судить, расстрелять», но внешне он выступил миротворцем. Возможно, у Бухарина и Рыкова после предложения Сталина вновь затеплился уголек слабой надежды. Естественно, что после сталинского резюме большинство членов комиссии стали с облегчением говорить: «Я за предложение това-

рища Сталина». Так сказали Крупская, Варейкис, Молотов, Ворошилов. Иные — Косиор, Петровский, Литвинов — говорили, как Постышев: за суд без расстрела. Но из истории не выбросишь и того, что Косарев и Якир, например, ближайшие очередные жертвы беззакония, выступили и после сталинского предложения «за исключение, суд и расстрел». Как видим, пять членов комиссии высказались, как суд, заранее предсказав приговор; остальные изложили иное мнение, не предрешающее, казалось бы, ужасного конца. Микоян, председательствовавший на заседании комиссии, публично своего мнения не высказал. После опроса единогласно проголосовали за предложение Сталина:

«1. Исключить из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и членов ВКП(б) Бухарина и Рыкова; суду их не предавать, а направить дело Бухарина и Рыкова в НКВД;

2. Поручить комиссии в составе тт. Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна и Ежова выработать на основе принятого решения проект мотивированной резолюции.

Председатель комиссии

27.02.37 г. А. Микоян».

Сталин понял, что надо готовить еще один процесс. Исход его был для него ясен.

Бухарин и Рыков сразу же после окончания заседания, едва выйдя из зала, были арестованы. Начались долгие тринадцать месяцев заключения, которые после Пленума отделяли финал трагедии Бухарина и Рыкова.

Остается добавить, что по делу Бухарина и Рыкова была принята испещренная собственноручными поправками и вставками Сталина резолюция. Она явилась, по существу, политической инструкцией и «методологическим ключом» подхода в аналогичных делах. В резолюции были три пункта. Краткое их содержание таково:

1. На основании следственных материалов Пленум ЦК устанавливает, что тт. Бухарин и Рыков, как минимум, знали о преступной, террористической, шпионской и диверсионной деятельности троцкистского центра, но скрывали это, чем и содействовали преступному делу.

2. На основе следственных материалов НКВД, очных ставок Пленум ЦК устанавливает, как минимум, что тт. Бухарин и Рыков знали об организации преступных террористических групп со стороны их учеников и сторонников — Слепкова, Цетлина, Астрова, Марецкого, Нестерова, Родина, Куликова, Котова, Угланова, Зайцева, Кузьмина, Сапожникова и др. и не только не вели борьбы, но и поощряли их.

3. Пленум ЦК ВКП(б) устанавливает, что записка т. Бухарина в ЦК ВКП(б), где он пытается опровергнуть показания поименованных выше троцкистов и правых террористов, является по своему содержанию клеветническим документом.

Учитывая сказанное и принимая во внимание, что и при жизни Ленина т. Бухарин вел борьбу против партии и против самого Ленина (как и Рыков), все происшедшее не является случайным или неожиданным, а посему (здесь написано непосредственно рукой Сталина.— **Д. В.**): исключить Бухарина и Рыкова из состава канд. в члены ЦК ВКП(б) и из рядов ВКП(б). Передать дело Бухарина и Рыкова в НКВД.

Сокращений слов «товарищей» (тт.) здесь уже нет.

Просто так убрать этих большевиков Сталин еще не мог — их слишком хорошо знали в народе и партии. Нужен был процесс, а для того, чтобы обвиняемые к нему «созрели», требовалось время.

Решения Пленума ЦК стали чудовищной командой. В республиках, областях в марте прошли пленумы партийных комитетов. На них не только излагались установки вождя, но и докладывались первые результаты их выполнения. Вот, например, что поведал ленинградским коммунистам 15 марта 1937 года Андрей Александрович Жданов, который быстро входил в силу и в особое доверие к вождю:

«Бухарин и Рыков, как оказалось, ничем не отличались от зиновьевцев и троцкистов. Это одна шайка разбойников. Более позорного, более гнусного, более отвратительного поведения, как вели себя Бухарин и Рыков, я не припомню. Четыре дня мы добивались от них правды. Но даже искры, даже намека на человеческое отношение к партии мы не дождались. С их стороны было заявлено, что мы им не судьи». Далее Жданов пытался поунизительнее представить Бухарина. Мол, его голодовка — актерский прием: «в 12 часов ночи поплотнее поел, как следует, и до 10 утра объявил голодовку».

Жданову уже было что сказать и о развернувшейся в Ленинграде «работе» по выявлению врагов: «На Кировской и Октябрьской железных дорогах вскрыто 8 вредительских групп; 10 групп — на заводах города, а также в НКВД, в ПВО, в партийном аппарате». За короткое время в каждом аппарате райкома выявлены гнезда врагов: в Выборгском районе — 13 человек, Василеостровском — 12, Кировском — 12, всего 223 партийных работника. «Можете представить засоренность партийного аппарата!» — патетически восклицал Жданов. Энергичными мазками он продолжал рисовать картину засилия врагов в городе — колыбели революции. «Институт красной профессуры с 1933 по 1936 годы выпустил 183 человека. 32 из них уже арестовано. Из 130 оставшихся сейчас в Ленинграде — 53 выявлены как враги народа»,— под гул негодования зала продолжал один из сталинских теоретиков и практиков террора. Такой же гул, раскаты возмущения шли по всей стране. Недоумение и страдание, скованные страхом, были, наоборот, немыми, безмолвными.

Более полувека минуло с тех пор. Гул слепого возмущения деяниями «врагов» давно смыт паводками правды, а боль и страдания остались. Как мне пишет К. А. Кужела, восьмидесятилетний ветеран из Перми, «почти каждую ночь он видит себя, молодого, в далеком Колымском лагере и каждый раз просыпается от ужаса...»

Фарс политических спектаклей

На иконописных изображениях Страшного суда кистью художников «написаны» кары за грехи земные.

Главный Режиссер судебных политических спектаклей знал, чего хочет. И хотя Сталин ненавидел Троцкого, он вовсе не отвергал его многих теоретических взглядов. Мы уже говорили, что в библиотеке генсека были практически все книги Троцкого, но одна из них — XII том сочинений, «Основные вопросы пролетарской революции»,— была ему очень близка по духу, особенно раздел «Терроризм и коммунизм». Там Троцкий пишет: «Революция требует от революционного класса, чтобы он добился своей цели всеми средствами, какие имеются в его распоряжении: если нужно — вооруженным восстанием, если требуется — терроризмом... Там, где он (революционный класс.— **Д. В.**) будет иметь против себя вооруженный заговор, покушение, мятеж, он обрушит на головы врагов суровую расправу. Вопрос о форме репрессии или об ее степени, конечно, не является «принципиальным». Террор может быть очень действен против реакционного класса, который не хочет сойти со сцены. Устрашение есть могущественное средство политики». Сталин, приступая к «великому очищению», скорее всего разделял идеи, высказанные Троцким еще полтора десятилетия назад. Он следовал этим рецептам периода революции, но применил их, однако, когда уже, по его словам, «социализм победил полностью». Нет никакого сомнения в том, что Сталин видел в массовых репрессиях «законный метод» диктатуры пролетариата и тогда, когда эксплуататорских классов в стране не осталось. Ведь именно так разъяснял в Ленинграде А. А. Жданов установки сталинского доклада: «Репрессия имеет воспитательную роль». Конечно, можно сказать: ч т о понимать под «репрессией»? Едва ли есть сомнения в том, как понимал суть репрессий Сталин. В этой связи хотелось бы сделать одно отступление.

Некоторые мои корреспонденты хотели бы вывести сталинские репрессии за скобки. Согласны анализировать все его шаги, «заслуги», «свершения», но не

хотят даже говорить о репрессиях, в лучшем случае отсылают к Ежову, Берии. Происходит своеобразное «расслоение» биографии: признается то, во что эти люди верят. Когда я читал тома дел с фамилиями невинно погибших по вине Сталина тысяч людей, я как бы слышал их голоса из давно ушедшего: вечного недоумения, смертельной тоски, отчаяния и утраченной надежды. Думаю, хорошо бы этим людям, пытающимся обелить деспота, дать почитать эти тома. Репрессии — крайнее выражение диктаторского единовластия — являются апофеозом аморализма. Сталин медленно, но неуклонно шел к тотальному террору. Но ему, человеку злого, хитрого ума, были необходимы «оправдательные» аргументы перед партией, народом, историей. Этих аргументов у него не было. Он их сфальсифицировал, и в частности с помощью политических процессов. Сталин, дирижировавший из-за кулис этими спектаклями, преследовал ясные для него цели.

Во-первых, с помощью судилищ генсек хотел нанести последний, сокрушающий удар по троцкистам, заклеймив их, как «оголтелую банду вредителей», ведущую «шпионаж, террор, убийства, поджоги». Троцкий был главной идейной и политической мишенью Сталина. Борьба с Троцким продолжалась, в ней не могло быть ничьей. Не случайно, что в обвинительном заключении по делу Ю. Л. Пятакова, К. Б. Радека, Г. Я. Сокольникова и других на нескольких страницах текста Троцкий упоминается пятьдесят один раз! Аналогична картина и в обвинительном заключении по делу Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, Н. Н. Крестинского, Х. Г. Раковского, А. П. Розенгольца и других несчастных.

Когда начались процессы, Троцкий из Мексики все время давал понять, что да, «судят его единомышленников, но судят за идеи». Так, почти в каждом выпуске своего журнала «Бюллетень оппозиции» Троцкий обязательно что-нибудь печатал о Раковском, Крестинском, Розенгольце, показывал их «несовместимость» со Сталиным, подчеркивал свою солидарность с ними. Почти регулярно изгнанник публиковал «протесты» против преследований своих «сторонников». Вся эта гуманитарная защита Троцким «врагов народа» Сталину была на руку, давала ему дополнительные «аргументы».

Во-вторых, Сталин чувствовал, что бывшие оппозиционеры, старые большевики, коммунисты, знавшие его еще с дореволюционных лет, в душе не могут примириться с его беспрецедентным возвышением. При своей мстительности он никогда не мог забыть своемыслия, «вольнодумства» Бухарина, Рыкова, Пятакова, других бывших соратников, знавших истинную цену ему, генсеку. Они мешали трактовать концепцию социалистического строительства так, как она ему представлялась. Большевизм после Октября, полагал Сталин, слишком заражен троцкизмом, метаниями всех этих уклонистов и оппозиционеров. А у некоторых из них, думал генсек, кроме дореволюционного партийного стажа, уже ничего не осталось.

В-третьих, Сталин чувствовал приближение войны и боялся ее. Он не мог избавиться от ощущения, что смотрит на внешний мир глазами Троцкого, и в этом он, наверно, боялся признаться даже самому себе. Стоило генсеку прочесть что-либо, написанное Троцким, он чувствовал, что тот «каркает беду» не зря. Вот в той же «Преданной революции» он пишет: «Можем мы ожидать, что Советский Союз выйдет из приближающейся великой войны без поражения? На этот откровенно поставленный вопрос мы ответим также откровенно: если война останется только войной, поражение Советского Союза будет неизбежным. В техническом, экономическом и военном смысле империализм несравненно сильнее». Это звучало как приговор не только социализму, но и ему, Сталину. Нужно уже сейчас, до войны, убрать всех потенциальных пособников Гитлера! Ведь если фюрер придет с мечом, то посадит здесь Троцкого... Мы будем сейчас готовиться к грядущей войне, Гитлер и Троцкий не найдут здесь опоры... Такой ход мыслей у Сталина возможен, тем более что Молотов, как мы уже говорили, незадолго до своей смерти подтвердил курс Сталина накануне войны на максимальное ослабление социальной базы возможных квислингов и лавалей.

И последнее обстоятельство: несмотря на общий подъем, заметные успехи и консолидацию общества на вождистской основе, многочисленные недостатки в промышленности, хроническое отставание сельского хозяйства, очень медленный рост жизненного уровня народа требовали объяснений. Самым удобным для Сталина казалось свалить все на «вредительство и диверсии».

В ежедневных сводках послушные исполнители, точно уловив адрес классового врага, указанный вождем, докладывали ему. Вот, например, небольшая выдержка из сводки за 19 октября 1937 года:

«ЦК, товарищу Сталину
СНК, товарищу Молотову
Секретарю ЦК тов. Ежову.

— На Урале, в с. Таборы за развал колхоза приговорено к расстрелу 5 человек (в том числе пред. Таборинского РИКа Мотырев А. Л., пред. райзо Мешавкин Н. Л.).

— Минск. За умышленное засорение муки расстреляно 5 человек (в том числе зав. заготконторой Чудновский Р. Л., зав. конторой «Заготзерно» Левченко В. М., директор элеватора Капланский В. Н.

— Саратов. Троцкистско-правая группа выпустила большое количество нефти в Волгу. К расстрелу приговорено 9 человек, в том числе: управл. Саратовской конторой Главнефть Браткин М. Н., директор крекинг-завода Богданов В. Ф., профессор Саратовского университета Орлов Н. А.

— Ленинград. По заданию агентов гестапо в системе Ленэнерго систематические поломки с увечьями рабочих. Приговорено к расстрелу 10 человек».

Подобные перечни длинны. В конце, перед подписью «В. Ульрих», лаконичная приписка: «Все приговоры приведены в исполнение». Часто на этих чудовищных сводках в углу торопливая подпись: «Товарищу Сталину доложено. Поскребышев».

Эти массовые трагедии стали обычными в течение тридцать седьмого, тридцать восьмого годов после громких политических процессов. Сталин был уверен, что теперь каждому «ясно», кто мешает еще более быстрому движению вперед, кто «торгует» Родиной, кто готовит «убийство Сталина и его окружения», кто выполняет директивы Троцкого. Политические процессы в Москве стали своеобразными детонаторами взрыва насилия в стране, массового доносительства и террора по отношению не только к потенциальным противникам Сталина, но и в большинстве своем просто случайных людей, особенно руководителей, на предприятиях и учреждениях которых происходили пожары, взрывы, обвалы, аварии.

Где-то в конце тридцать седьмого года размах репрессий вышел, пожалуй, из-под контроля. Во многих наркоматах, иных высоких ведомствах донос становился способом выживания.

Поражает та ледяная бесчувственность и беспредельная жестокость, с которой Сталин неизменно давал согласие на уничтожение людей, порой огромными списками. Мне лишь однажды встретился случай, когда он проявил «милосердие». А. Вышинский докладывал главному Жрецу правосудия:

«т. Сталину И. В.

В Прокуратуру обратилась жена Куклина А. С., осужденного 18 января 1936 года к 10 годам лишения свободы. Куклин содержится в Бутырской тюрьме. При медосвидетельствовании 7 января с. г. было установлено, что Куклин болен злокачественной опухолью пищевода. Положение его признано безнадежным.

Прошу Ваших указаний.

22 марта 1936 года. А. Вышинский».

Ниже изложено решение: «Дано указание Сталина т. Ульриху о досрочном освобождении. А. Вышинский».

Может быть, в 1936 году Сталин еще «не созрел»? У Сталина ни разу не дрогнули рука, голос, не взбунтовалась совесть, когда речь шла и о людях, которых он хорошо знал. Сталин, лично пообещав Зиновьеву и Каменеву сохранить им жизнь в случае самооговора в троцкистском вредительстве и подготовке покушения на его, вождя, жизнь, в итоге поступил иначе: как только смертный при-

говор был вынесен, он проследил, чтобы той же ночью его привели в исполнение. Он лично санкционировал расстрел своего бывшего заместителя по Наркомнацу Н. Бройдо; своего бывшего помощника А. Назаретяна; Н. Горбунова, бывшего секретаря Ленина; своего друга А. Енукидзе; А. Косарева, о котором он в свое время говорил, что это «настоящий вожак молодежи»; Я. Стэна, своего «учителя философии»; С. Урицкого, известного разведчика, которого он весьма ценил; Л. Карахана, бывшего заместителя наркома иностранных дел,— его он ставил в пример другим; Я. Агранова, чекиста, с которым у него в свое время были дружеские отношения; А. Бубнова — с ним в годы гражданской войны ему пришлось выполнять поручения Ленина; И. Варейкиса, «крепкого большевика», по оценке самого вождя... Что мог думать человек, отбирая у людей самое дорогое, жизнь? У людей, с которыми он встречался, общался, которых хвалил, которым поручал, выражал знаки дружбы, расположения?

Сталин, обладая феноменальной памятью, пробегая многочисленные списки осужденных или арестованных, часто отмечал про себя, что знает этих людей лично. Он мог бы о каждом из них что-то сказать, вспомнить. Вот секретари обкома, которые бывали у него в кабинете: И. Варейкис, И. Кабаков, П. Смородин, Б. Шеболдаев, Э. Прамнэк, Я. Сойфер, Л. Картвелишвили, Б. Калмыков, М. Хавкин... А об этих заметных партийных работниках знал не только он, знала и партия: Н. Гикало, С. Эфендиев, М. Кулиев, М. Нариманов, Г. Султанов, М. Кахиани, Н. Лакоба, А. Ханджян, С. Нурпеисов, А. Икрамов, Ф. Ходжаев. Или вот ученые, с большинством из которых он имел личные контакты: Ю. Стеклов, В. Сорин, М. Фурщик, И. Луппол, А. Гастев, Н. Вавилов, Г. Надсон, А. Свечин... Множество знакомых имен встречалось и в списках писателей, деятелей культуры: Б. Пильняк, Б. Ясенский, О. Мандельштам, А. Веселый, Н. Клюев, А. Воронский, Е. Чаренц, Ю. Таубин, Т. Табидзе, С. Сейфуллин... Читая списки работников Коминтерна, он как бы слышал шум зала, где проходил последний конгресс, видел лица Бела Куна, Лапиньского, Ф. Табора, А. Варского, Я. Энвельта, Я. Ленцманиса, О. Рестаса, Ф. Бошковича, Ф. Шультке, Р. Хитарова... А бесконечные списки военных — так знакомы все эти фамилии и имена! Тысячи людей со своими судьбами, надеждами, болями, страстями. Людей, которые славили его, вождя, и готовы были выполнить любую его волю.

Многие из них успеют написать ему и его окружению свои последние письма.

Сталин, как и все члены Политбюро, за полгода до ареста Бухарина получил его письмо. Только что прошло судилище над Зиновьевым и Каменевым и их четырнадцатью «подельцами». Во время этого процесса, на котором подсудимые будут «показывать» на Бухарина, Рыкова и других, Вышинский объявит о начале следствия по «делу Бухарина». Бухарин был в то время в отпуске, в Средней Азии. Узнав по возвращении домой о заведенном на него «деле», он в отчаянии сразу же написал письмо Сталину, которое нам, к сожалению, обнаружить не удалось. Затем тут же он отправляет аналогичные письма членам Политбюро и Вышинскому.

Передо мной два письма Бухарина К. Е. Ворошилову. Чтобы понять, как драма Бухарина перерастала в трагедию, приведу отрывки из них.

«Дорогой Климент Ефремович!

Ты, вероятно, уже получил мое письмо членам Политбюро и Вышинскому: я писал его ночью сегодня в секретариат тов. Сталина с просьбой разослать. Там написано все существенное в связи с чудовищно-подлыми обвинениями Каменева. (Пишу сейчас и переживаю чувство полуреальности: что это — сон, мираж, сумасшедший дом, галлюцинация? Нет, это реальность.) Хотел спросить (в пространство) одно: и вы все верите? Вправду?

Вот я писал статьи о Кирове. Киров, между прочим, когда я был в опале (поделом) и в то же время заболел в Ленинграде, приехал ко мне, сидел целый день, укутал, дал вагон свой, отправил в Москву с такой нежной заботой, что я буду помнить об этом и перед самой смертью. Так вот, что же я неискренне писал о Сергее? Поставьте честно вопрос. Если неискренне, то меня нужно немедля арестовать и уничтожить: ибо таких негодяев нельзя терпеть. Если вы думаете

«неискренне», а сами меня оставляете на свободе, то вы сами трусы, не заслуживающие уважения...

Правда, я — поскольку сохраняю мозги — считал бы, что с международной точки зрения глупо расширять базис сволочизма (это значит идти навстречу желаниям прохвоста Каменева! им того только и надо было показать, что они — не одни). Но не буду говорить об этом, еще подумаете, что я прошу снисхождения под предлогом большой политики.

А я хочу правды: она на моей стороне. Я много в свое время грешил перед партией и много за это и в связи с этим страдал. Но еще и еще раз заявляю, что с великим внутренним убеждением я защищал все последние годы политику партии и руководства Кобы, хотя и не занимался подхалимством.

Хорошо было третьего дня лететь над облаками — 8 градусов мороза, алмазная чистота, дыхание спокойного величия.

Я, б. м., написал тебе какую-то нескладицу. Ты не сердись. Может, в такую конъюнктуру тебе неприятно получить от меня письмо — бог знает: все возможно.

Но «на всякий случай» я тебя (который всегда так хорошо ко мне относился) заверяю: твоя совесть должна быть внутренне совершенно спокойна; за твое отношение я тебя не подводил: я действительно ни в чем не виновен, и рано или поздно это обнаружится, как бы ни старались загрязнить мое имя.

Бедняга Томский! Он, быть может, и «запутался» — не знаю. Не исключаю. Жил один. Быть может, если б я к нему ходил, он был бы не так мрачен и не запутался. Сложно бытие человека! Но это — лирика. А здесь — политика, вещь малолиричная и в достаточной мере суровая.

Что расстреляли собак—страшно рад. Троцкий процессом убит, политически, и это скоро станет совершенно ясным. Если к моменту войны буду жив — буду проситься на драку (не красно словцо), и ты тогда мне окажи последнюю эту услугу и устрой в армии хоть рядовым (даже если каменевская отравленная пуля поразит меня).

Советую когда-либо прочесть драмы из франц. рев-ции Ром. Роллана.

Извини за сумбурное письмо: у меня тысячи мыслей, скачут как бешеные лошади, а поводьев крепких нет.

Обнимаю, ибо чист

1-IX-36 г.

Ник. Бухарин».

Ворошилов, прочитав письмо, счел необходимым тут же переслать его Сталину и ответить Бухарину, но так, чтобы об этом ответе знали Сталин и другие руководители. На всякий случай нарком запасается политическим алиби. Следует распоряжение своим помощникам. Быстро составляются два документа:

«Сов. секретно. Лично.

Товарищу СТАЛИНУ
« » МОЛОТОВУ
« » КАГАНОВИЧУ
« » ОРДЖОНИКИДЗЕ
« » АНДРЕЕВУ
« » ЧУБАРЮ
« » ЕЖОВУ

В дополнение к письму Н. Бухарина, направленному Вам 1/IX с/г. за № 2839 с. с., по приказанию тов. К. Е. Ворошилова направляю Вам копию ответа тов. Ворошилова Бухарину и копию ответа Н. Бухарина.

Приложение: на трех листах.

Адъютант наркома обороны СССР комдив

4-IX-36 г.

Хмельницкий».

А ответил Ворошилов своему бывшему товарищу в духе нравов, уже царивших тогда в окружении единодержца.

«Тов. Бухарину.

Возвращаю твое письмо, в котором ты позволил себе гнусные выпады в отношении партруководства. Если ты твоим письмом хотел убедить меня в твоей

полной невинности, то убедил пока в одном: впредь держаться от тебя подальше, независимо от результатов следствия по твоему делу, а если ты письменно не откажешься от мерзких эпитетов по адресу партруководства, буду считать тебя и негодяем.

К. Ворошилов».

3. IX. 36.

Можно представить, как был ошеломлен Бухарин, хотя в глубине души он понимал, что нож сталинской гильотины давно занесен над его головой. Боролся ли Бухарин? Судите сами. По прочтении убийственного письма Ворошилова у Бухарина еще хватило сил ответить «сталинскому наркому».

«Тов. Ворошилову.

Получил твое ужасное письмо.

Мое письмо кончалось: «обнимаю».

Твое письмо кончается «негодяем».

После этого что же писать?

У каждого человека есть или, вернее, должна быть своя личная гордость. Но я хотел бы устранить одно политическое недоразумение. Я писал письмо личного характера (о чем теперь очень сожалею), в тяжком душевном состоянии; затравленный, я писал просто к человеку большому; я сходил с ума по поводу одной только мысли, что может случиться, что кто-то поверит в мою виновность.

И вот, крича, я писал: «Если вы думаете «неискренне» (что я, напр., кировские статьи писал «неискренне»), а оставляете меня на свободе, то вы сами трусы и т. д. И далее: «А если вы сами не верите в то, что набрехал Кам...» и т. д. Что же, я думаю, по-твоему, что вы — трусы или обзываю трусами руководство? Наоборот, этим я говорю: так как всем известно, что вы не трусы, значит, вы не верите в то, что я мог написать неискренне статьи. Ведь это же видно из самого письма!

Но если я так сумбурно написал, что это можно понять как выпад, то я — не страха ради иудейска, а по существу — трижды, письменно и как угодно, беру все эти фразы назад, хотя я совсем не хотел сказать, что ты подумал.

Партийное руководство я считаю замечательным. И в самом письме к тебе, не исключая возможности ошибки со мной с вашей стороны, я писал: «В истории бывают случаи, когда замечательные люди и превосходные политики делают тоже ошибки частного порядка»... Разве этого не было в письме? Это же и есть мое действительное отношение к руководству. Я это давным-давно признал и не устану повторять. Смею думать, я доказал это своею деятельностью за все последние годы.

Во всяком случае, это недоразумение прошу снять. Очень извиняюсь за прошлое письмо, впредь отягощать никакими письмами не буду. Я — в крайне нервном состоянии. Этим и было вызвано письмо. Между тем мне необходимо возможно спокойнее ждать конца следствия, которое, уверен, докажет мою полную непричастность к бандитам. Ибо в этом — правда.

Прощай. Бухарин».

3.IX.36 г.

Бухарин сказал «прощай». Но Сталин решил еще раз ослабить петлю на горле задыхающегося Бухарина. 10 сентября «Правда» объявила, что органы НКВД, не найдя должных данных преступлений, закрывают дело. Но это была лишь передышка — Сталин просто решил, что в следующем акте трагедии главным действующим лицом будет Пятаков. Он, вождь, сам установит очередность спектаклей. Очередь Бухарина подошла в феврале. Февральско-мартовский (1937 года) Пленум ЦК не только теоретически «обоснует» необходимость кровавой жатвы, но и бросит под сталинские серпы новые жертвы.

Сталин прочтет много подобных писем обреченных, но ничего уже не изменится. Человек с железной фамилией не знает жалости и сострадания, зова товарищества и чувства чести. Он, похоже, тоже, как и человек с косой челкой, считал совесть «химерой», во всяком случае, она никогда ему не мешала. Достаточно было поставить карандашом несколько букв на уголке списка или просто бросить Поскребышеву: «Согласен». И все. Это значило, что все эти люди сегодня же или завтра исчезнут навсегда. А со временем ему будут докладывать только об уже

свершившихся актах и его согласие просто будет не нужно. Вышинский и Ульрих вместе с Ежовым так отладят карательную машину, что генсеку останется лишь знакомиться с сухими цифрами жуткой статистики. Но у него с детства были крепкие нервы.

Есть сведения, что Сталин несколько раз встречался накануне процессов с А. Я. Вышинским и В. В. Ульрихом. В документах генсека нет следов его разговоров с этими жрецами «правосудия», но они, как можно предположить, носили характер инструктажа. Армвоенюрист Ульрих чем-то нравился Сталину. Возможно, лаконизмом речи, строгостью и краткостью донесений о кровавой жатве, которые тот во множестве направлял Сталину в 1937—1938 годах. Можно лишь догадываться о реакции вождя на них. На некоторых из них стоит краткая мета генсека «И. Ст.», на других — завитушка Поскребышева. Они как бы «регистрировали» уход из жизни тысяч обреченных. Но уход не чужестранцев-агрессоров, а своих соотечественников.

Поток, а затем просто лавина этих ужасных донесений должны были бы нравственно сломать нормального человека, напугать, потрясти до основания. Однако и в самый разгул репрессий Сталин, как обычно, бывал в театре, смотрел ночное кино, принимал наркомов, редактировал резолюции, устраивал полуночные застолья, диктовал ответы на письма, давал замечания по поводу тех или иных статей в «Правде» или «Большевике», говорил, что «кадры — это самый ценный капитал». Даже если допустить (но это невероятно!), что Сталин безоговорочно верил в то, что террор косит подлинных врагов народа, можно только поражаться его абсолютной бесчувственности и жестокости.

Ульрих отвечал представлениям Сталина о судье, которому чужды сантименты. Сталин видел, что армвоенюрист, подписывая десятки, сотни смертных приговоров, сохраняет полную невозмутимость и спокойствие. Это была живая составная часть гильотины. Любому диктатору такие люди важнее мудрецов и героев.

По-другому выглядел Вышинский, коренастый, плотный человек в очках. Сталину нравилось красноречие прокурора Союза ССР, который своими обвинительными тирадами буквально парализовал сидящих на скамье подсудимых. Им оставалось в последнем слове лишь соглашаться с Вышинским. За рвение на бухаринском процессе по предложению Сталина Вышинского наградили орденом Ленина. На генсека, по-видимому, произвели немалое впечатление заключительные слова речи прокурора на том процессе:

«Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов! Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!

Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным...».

«Вождь и учитель» любил усердие. Вышинский в последующем стал заместителем председателя Совнаркома, затем министром иностранных дел, удостоился Сталинской премии, других знаков особого внимания генсека. Вышинский не меньше, чем Главный Режиссер процессов, знал цену политического фарса, который ему поручили разыграть. На последнем, третьем политическом процессе, состоявшемся в марте 1938 года, была завершена публичная обработка общественного мнения. Набор обвинений был прежним: выполнение «директив» Троцкого, шпионаж и диверсии, подготовка поражения СССР в грядущей войне, расчленение страны, замысел убить Сталина и других высших руководителей.

Для того, чтобы политические спектакли удались, их тщательно «репетировали». Да и опыт уже был. Процесс Бухарина готовился более года. Несколько месяцев ушло на то, чтобы сломить волю обвиняемых. Следователи распола-

гали широким набором средств насилия, способных вырвать нужные показания. А это вопреки элементарным нормам считалось главным аргументом доказательства вины. Некоторые держались месяц, два, три, иные ломались быстро. А затем шли унизительные «репетиции». Сломленных людей заставляли заучивать нужные версии, делать подсказанные заявления, «обличать» указанных людей. После многократных повторений этих постыдных инсценировок давали знать режиссуре о готовности тех или иных «актеров» к «премьере». Правда, были иногда и временные сбои.

Так, в обвинительном заключении, которое зачитал секретарь суда 2 марта 1938 года, говорилось, что подсудимый Н. Н. Крестинский «вступил в изменническую связь с германской разведкой в 1921 году», договорился с генералами Сектом и Хассе о сотрудничестве с рейхсвером за 250 тысяч марок ежегодно на троцкистскую работу. Когда после зачтения обвинительного заключения председатель суда стал опрашивать подсудимых, признают ли они себя виновными, Крестинский вопреки прежним показаниям стал их полностью отрицать. Среди режиссеров процесса произошел заметный переполох. Сделали перерыв, доложили Сталину. Тот зло выругался: «Плохо работали с дрянью». Дал понять: подобного больше слышать не намерен. Приняли экстренные «меры», и уже на следующий день к вечеру Крестинский вошел в «норму».

Крестинский: Свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю.

Вышинский: Что означает в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать как троцкистскую провокацию на процессе?

Крестинский: Вчера, под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен.

Вышинский: Машинально?

Крестинский: Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство...

За исключением подобных нескольких мелких «осечек» процесс шел гладко. Обвиняемые дружно принимают чудовищные обвинения. Все соглашаются с прокурором, с готовностью уточняют любые детали своих злодеяний. Демонстрируется уникальное сотрудничество суда и обвиняемых! Никто ничего не опровергает, все обвиняют только самих себя.

Впрочем, не всегда и не все. Бухарин, например, понимая, что он обречен, пытался, иногда в прямой или эзоповской форме, а подчас и в виде трагической сатиры поставить под сомнение ложь обвинения. Возможно, прощаясь с жизнью, он думал о будущем, нашем времени. Вот лишь некоторые фразы Бухарина, свидетельствующие о сохранении им в самую трагическую минуту присутствия духа и высоты интеллекта. Свои «признания» Бухарин в конце концов опроверг единственной, исключительно глубокой репликой:

— Признания обвиняемых есть средневековый принцип.

В своем последнем слове он, в частности, заявил:

— Я считаю себя... и политически и юридически ответственным за вредительство, хотя я лично не помню, чтобы я давал директивы о вредительстве.

— Гражданин прокурор утверждает, что я наравне с Рыковым был одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказательства? Показания Шаранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения...

— Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова. Киров, по показанию Ягоды, был убит по решению «право-троцкистского блока». Я об этом не знал...

— Голая логика борьбы сопровождалась перерождением идей, перерождением психологии, перерождением нас самих, перерождением людей...

Последний фрагмент из последнего слова Бухарина весьма примечателен. Это уже не признание, а скорее обвинение организаторов процесса, тех, кто, следуя «голой логике борьбы», привел к перерождению и идей, и людей. Косвенный намек на Сталина здесь весьма прозрачен. Бухарин пытался, как мог, использовать свой последний шанс совести...

Ежедневно Сталину подробно докладывали о ходе процесса. Сталин уточнял детали, давал советы. Ему первому показали кинохронику процесса, фотографии зала с обвиняемыми. По его указанию спектакль широко освещался в печати, на радио. Были приглашены иностранные корреспонденты и даже дипломаты. Все поражались, как преступники были идеально «сознательны»! Не нужно экспертиз, дополнительных расследований, судебных споров, диалога прокурора и защитников. На процессе безраздельно солирует прокурор, все остальные ему подыгрывают. Даже Лион Фейхтвангер в своей книжке «Москва 1937» вынужден был признать, что «если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, гипнотизеры, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств, должны были быть выдающимися режиссерами и психологами». В этом выводе немецкий писатель был прав: режиссеры фарса, особенно Главный Режиссер, были «выдающимися».

Кроме грубого нарушения законности во время следствия, актов насилия, существует еще одна причина полной безропотности людей, сидевших на скамье подсудимых. На протяжении недель и месяцев им внушали: их признание «нужно народу и партии». Только «признание поможет до конца разоблачить преступников». А это означало: надо «признаваться» и оговаривать других... Раз нас судит народ, страна, то нужно говорить то, что они требуют. Этот мотив, очевидно, руководил действиями многих людей. В последнем слове он звучал по-разному. Подсудимый Гринько Г. Ф.: «Самый тяжелый приговор — высшую меру наказания — я приму как должное». Подсудимый Крестинский Н. Н.: «Мои преступления перед Родиной и революцией безмерны, и я приму, как вполне заслуженный, любой ваш, самый суровый приговор». Подсудимый А. И. Рыков: «Я хочу, чтобы те, кто еще не разоблачен и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали. Мне бы хотелось, чтобы они на моем примере убедились в неизбежности разоружения». Подсудимый Н. И. Бухарин: «Стою коленопреклоненным перед страной, перед партией, перед всем народом».

Сталин, читая эти слова, мог быть вполне доволен. Он расценивал эту «чистосердечность» как победу, не подозревая, что в ней кроются корни его, Сталина, неизбежного исторического морального поражения. История еще осудит «победителя». Генсек знал: первые три месяца ареста Бухарин «держался». Ему угрожали, требовали, но опальный академик и из тюрьмы все время пытался убедить Сталина (известно, что он написал несколько писем ему, своему бывшему соседу по квартире в Кремле, судьба которых неизвестна) в главной идее своего заявления на февральско-мартовском Пленуме ЦК: «Заговор, враги народа существуют, но главные из них находятся в НКВД». Однако Сталин не реагировал на эти сигналы.

Возможно, Н. И. Бухарин, встречая ледяное молчание в ответ на свои письма, вспомнил между допросами судьбу Фердинанда Лассаля...

Лассаль полюбил девушку из дворянской семьи, хотя она и была невестой другого. Лассаль, красавец и умница, сумел завоевать ее сердце. Однажды девушка сказала ему: «Моя семья настроена к вам враждебно, мы должны бежать!» Он стал успокаивать ее: «К чему вызывать скандал и калечить вашу судьбу? Несколько месяцев терпения — и мы поженимся с согласия родителей». Лассаль не получил ни этого согласия, ни девушки. Более того, ее жених убил его на дуэли. Влюбленная оплакивала Лассаля, а затем вышла замуж за его убийцу...

Кто знает, может быть, судьба и Бухарину давала такой шанс — бежать? Совсем недавно он несколько недель пробыл за границей в попытках заполучить некоторые архивы из истории марксизма. Бухарин уже тогда чувствовал, что

петля на его шее затягивается,— Коба не умел шутить. Его шутки, как у висельника... Приходили ли ему мысли о невозвращении на Родину тогда, в Париже, сожалел ли он об этом упущенном шансе сейчас? Никто не знает. Однако вся его жизнь была такой, что, говоря словами М. Робеспьера, вместе с могилой он мог обрести бессмертие только в своем Отечестве.

Лежа на нарах в камере, Бухарин старался понять, почему ирония судьбы столь жестока? Ведь именно он помогал на каком-то этапе утвердиться Кобе... Если бы он с Томским и Рыковым были более решительными и последовательными, то, пожалуй, могли бы с помощью других в 1927 году обуздать Сталина. Однако Бухарин вновь, в который раз поверил тогда генсеку...

После того, как процесс признания Бухарина стал явно затягиваться, Сталин разрешил Ежову использовать «все средства», тем более что по его настоянию на «места» было еще ранее послано такое разъяснение: «Применение методов физического воздействия в практике НКВД начиная с 1937 года разрешено ЦК ВКП(б). Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата и притом применяют эти методы в самой отвратительной форме. Возникает вопрос, почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманны по отношению к бешеным агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников? ЦК ВКП(б) считает, что методы физического воздействия должны, как и с к л ю ч е н и е, и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться, в этом случае, как допустимый и правильный метод».

По существу, это «исключение» стало обычным правилом, к нему прибегали тотчас же, как только обвиняемый проявлял неподатливость в «диалоге» со следователем. Фактически Сталин официально санкционировал нарушение элементарных норм социалистической законности. Поэтому, когда Сталину вновь доложили, что Бухарин «запирается», было предложено расширить «методы допроса». Когда угрозы по адресу его жены и крохотного сына в сочетании с «методами физического воздействия» стали применяться в комплексе, Бухарин сдался. Он подписал самые чудовищные выдумки следователя, заклеймил себя как «троцкиста», «руководителя блока», «заговорщика», «предателя», «организатора диверсий». Невыносимо тяжело сегодня читать его слова: «Я признаю себя виновным в измене социалистической Родине, самом тяжком преступлении, которое только может быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации. Я признаю себя далее виновным в подготовке заговора «дворцового переворота».

Но Сталин не спешил с началом процесса. Он не мог допустить осечки — Бухарин и его «однодельцы» должны были полностью «созреть». К тому же процесс, по замыслу вождя, должен был уже завершить первый этап широкой чистки и террора, развернувшихся в партии и стране. Сталин относился к процессу не только как к юридическому акту, венчающему ликвидацию наиболее опасных «врагов», но и как к всесоюзному у р о к у классовой бдительности, настороженности, непримиримости и ненависти ко всем, кто посмеет даже потенциально выступить против него, вождя, а следовательно, и социализма. Не случайны его указания о широчайшем освещении процесса в печати, по радио, организации бесчисленных митингов с требованиями «уничтожить фашистских гадов».

Народ, партия не могли, по мнению Сталина, не усвоить урока бесперспективности любой возможной оппозиции. Этими процессами он насаждал систему широчайшего взаимного социального контроля, в ходе функционирования которой все следили друг за другом. Только он, признанный и теперь окончательно единственный вождь, находился вне этой системы слежки и доносов. Но люди даже из ближайшего его окружения не могли себя чувствовать спокойно ни на миг. Судьба Косиора, Постышева, Рудзутака, Эйхе, Чубаря, других руководителей из самого верхнего эшелона власти красноречиво свидетельствовала об этом.

С другой стороны, политические процессы были организованы так, что Сталин как их Главный Режиссер находился в тени. Имеется очень мало публичных высказываний генсека по поводу процессов. Его истинная роль абсолютному большинству народа не была известна. Создавалось впечатление, что «шпионов», «предателей» и «убийц» судит сам народ. Но если бы было возможно, чтобы в е с ь народ непосредственно судил обвиняемых, результат, вероятно, был бы тот же. Страна еще не остыла от классовых схваток революции, гражданской войны, коллективизации. Социальные инстинкты, классовые нервы масс обнажены. Фашизм устроил пробу сил в Испании, идет милитаризация Германии, сколачиваются антикоминтерновские пакты.

Вот что, например, писала «Вечерняя Москва» 15 марта 1938 года:

«История не знала злодеяний, равных преступлениям банды из антисоветского «право-троцкистского блока». Шпионаж, диверсия, вредительство обер-бандита Троцкого и его подручных — Бухарина, Рыкова и других — вызывают чувство гнева, ненависти, презрения не только у советского народа, но и всего прогрессивного человечества».

«Они пытались убить нашего дорогого вождя товарища Сталина. Они в 1918 году стреляли в товарища Ленина. Они оборвали пламенную жизнь Сергея Мироновича Кирова, умертвили Куйбышева, Менжинского и Горького. Они предавали нашу Родину».

«Славная советская разведка, руководимая сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, разгромила змеиные гнезда этих гадов!».

Так народ превращали в толпу, так «массаж» общественной психологии рождал феномен единения вокруг ложной идеи.

Троцкисты-вредители для всех были безусловными врагами. А как же иначе? В день завершения процесса, 13 марта 1938 года, был выпущен 200-тысячный автомобиль «ЗИС» на Московском автозаводе имени Сталина; люди впервые проехали по только что сданному Покровскому радиусу второй очереди Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича; радио сообщило, что в Тульской области в передовых колхозах начали строить водопроводы (в колхозе им. Хрущева пробурена скважина глубиной 46 метров)... Каждая республика, каждая область, каждый завод и колхоз стремились порадовать партию и вождя новыми достижениями. Атмосфера общества, в каком-то исступлении строящего новые города и дороги, заводы и дворцы, была наэлектризована до предела.

Чудовищная мистификация процессов казалась реальным отражением продолжающегося обострения классовой борьбы. Отсутствие гласности, подлинной информированности облегчало манипулирование сознанием миллионов.

В те дни, когда закончился процесс над Бухариным, Рыковым и другими обвиняемыми по делу «антисоветского право-троцкистского блока», в газете «Правда» мы видим тени тех зловещих событий, которые развернулись в стране. В частности, говорилось о «вредной поспешности» в проведении партактива одним из комитетов, о «бюрократах из Куйбышевского обкома комсомола». Тень до предела сгущалась в статье Поспелова «Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина и партии». Сталинский теоретик без зазрения совести писал об обреченных бывших руководителях партии и государства как «банде преступников и наемников». Таким было то жестокое и одновременно подвижническое время. Где-то следователь Родос, о котором Хрущев сказал, что это «пустая личность с куриными мозгами», допрашивал новую жертву, а в Ленинграде выходит фильм «Великий гражданин»; В. В. Ульрих подписывает очередную сводку Сталину о работе трибуналов, а восторженные люди готовятся встречать героев-папанинцев...

Судить прошлое всегда легче, чем настоящее. Обогащенные опытом долгого пути, мы знаем больше, чем те, кто жил в то время. Справедливо ставя в эпицентр исторической вины одного человека, мы не должны вместе с тем забывать, что эта личность могла там оказаться благодаря той системе отношений, которую в конечном счете создают сами люди. У Ж. Лабрюйера есть глубокая мысль: «Невинно осужденный — это вопрос совести всех честных людей». Сталин узурпировал власть и совершал преступления еще и потому, что ему

петля на его шее затягивается,— Коба не умел шутить. Его шутки, как у висельника... Приходили ли ему мысли о невозвращении на Родину тогда, в Париже, сожалел ли он об этом упущенном шансе сейчас? Никто не знает. Однако вся его жизнь была такой, что, говоря словами М. Робеспьера, вместе с могилой он мог обрести бессмертие только в своем Отечестве.

Лежа на нарах в камере, Бухарин старался понять, почему ирония судьбы столь жестока? Ведь именно он помогал на каком-то этапе утвердиться Кобе... Если бы он с Томским и Рыковым были более решительными и последовательными, то, пожалуй, могли бы с помощью других в 1927 году обуздать Сталина. Однако Бухарин вновь, в который раз поверил тогда генсеку...

После того, как процесс признания Бухарина стал явно затягиваться, Сталин разрешил Ежову использовать «все средства», тем более что по его настоянию на «места» было еще ранее послано такое разъяснение: «Применение методов физического воздействия в практике НКВД начиная с 1937 года разрешено ЦК ВКП(б). Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата и притом применяют эти методы в самой отвратительной форме. Возникает вопрос, почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманны по отношению к бешеным агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников? ЦК ВКП(б) считает, что методы физического воздействия должны, как исключение, и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться, в этом случае, как допустимый и правильный метод».

По существу, это «исключение» стало обычным правилом, к нему прибегали тотчас же, как только обвиняемый проявлял неподатливость в «диалоге» со следователем. Фактически Сталин официально санкционировал нарушение элементарных норм социалистической законности. Поэтому, когда Сталину вновь доложили, что Бухарин «запирается», было предложено расширить «методы допроса». Когда угрозы по адресу его жены и крохотного сына в сочетании с «методами физического воздействия» стали применяться в комплексе, Бухарин сдался. Он подписал самые чудовищные выдумки следователя, заклеймил себя как «троцкиста», «руководителя блока», «заговорщика», «предателя», «организатора диверсий». Невыносимо тяжело сегодня читать его слова: «Я признаю себя виновным в измене социалистической Родине, самом тяжком преступлении, которое только может быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации. Я признаю себя далее виновным в подготовке заговора «дворцового переворота».

Но Сталин не спешил с началом процесса. Он не мог допустить осечки — Бухарин и его «однодельцы» должны были полностью «созреть». К тому же процесс, по замыслу вождя, должен был уже завершить первый этап широкой чистки и террора, развернувшихся в партии и стране. Сталин относился к процессу не только как к юридическому акту, венчающему ликвидацию наиболее опасных «врагов», но и как к всесоюзному уроку классовой бдительности, настороженности, непримиримости и ненависти ко всем, кто посмеет даже потенциально выступить против него, вождя, а следовательно, и социализма. Не случайны его указания о широчайшем освещении процесса в печати, по радио, организации бесчисленных митингов с требованиями «уничтожить фашистских гадов».

Народ, партия не могли, по мнению Сталина, не усвоить урока бесперспективности любой возможной оппозиции. Этими процессами он насаждал систему широчайшего взаимного социального контроля, в ходе функционирования которой все следили друг за другом. Только он, признанный и теперь окончательно единственный вождь, находился вне этой системы слежки и доносов. Но люди даже из ближайшего его окружения не могли себя чувствовать спокойно ни на миг. Судьба Косиора, Постышева, Рудзутака, Эйхе, Чубаря, других руководителей из самого верхнего эшелона власти красноречиво свидетельствовала об этом.

С другой стороны, политические процессы были организованы так, что Сталин как их Главный Режиссер находился в тени. Имеется очень мало публичных высказываний генсека по поводу процессов. Его истинная роль абсолютному большинству народа не была известна. Создавалось впечатление, что «шпионов», «предателей» и «убийц» судит сам народ. Но если бы было возможно, чтобы весь народ непосредственно судил обвиняемых, результат, вероятно, был бы тот же. Страна еще не остыла от классовых схваток революции, гражданской войны, коллективизации. Социальные инстинкты, классовые нервы масс обнажены. Фашизм устроил пробу сил в Испании, идет милитаризация Германии, сколачиваются антикоминтерновские пакты.

Вот что, например, писала «Вечерняя Москва» 15 марта 1938 года:

«История не знала злодеяний, равных преступлениям банды из антисоветского «право-троцкистского блока». Шпионаж, диверсия, вредительство обер-бандита Троцкого и его подручных — Бухарина, Рыкова и других — вызывают чувство гнева, ненависти, презрения не только у советского народа, но и всего прогрессивного человечества».

«Они пытались убить нашего дорогого вождя товарища Сталина. Они в 1918 году стреляли в товарища Ленина. Они оборвали пламенную жизнь Сергея Мироновича Кирова, умертвили Куйбышева, Менжинского и Горького. Они предавали нашу Родину».

«Славная советская разведка, руководимая сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, разгромила змеиные гнезда этих гадов!».

Так народ превращали в толпу, так «массаж» общественной психологии рождал феномен единения вокруг ложной идеи.

Троцкисты-вредители для всех были безусловными врагами. А как же иначе? В день завершения процесса, 13 марта 1938 года, был выпущен 200-тысячный автомобиль «ЗИС» на Московском автозаводе имени Сталина; люди впервые проехали по только что сданному Покровскому радиусу второй очереди Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича; радио сообщило, что в Тульской области в передовых колхозах начали строить водопроводы (в колхозе им. Хрущева пробурена скважина глубиной 46 метров)... Каждая республика, каждая область, каждый завод и колхоз стремились порадовать партию и вождя новыми достижениями. Атмосфера общества, в каком-то исступлении строящего новые города и дороги, заводы и дворцы, была наэлектризована до предела.

Чудовищная мистификация процессов казалась реальным отражением продолжающегося обострения классовой борьбы. Отсутствие гласности, подлинной информированности облегчало манипулирование сознанием миллионов.

В те дни, когда закончился процесс над Бухариным, Рыковым и другими обвиняемыми по делу «антисоветского право-троцкистского блока», в газете «Правда» мы видим тени тех зловещих событий, которые развернулись в стране. В частности, говорилось о «вредной поспешности» в проведении партактива одним из комитетов, о «бюрократах из Куйбышевского обкома комсомола». Тень до предела сгущалась в статье Поспелова «Борьба Бухарина и Рыкова против Ленина и партии». Сталинский теоретик без зазрения совести писал об обреченных бывших руководителях партии и государства как «банде преступников и наемников». Таким было то жестокое и одновременно подвижническое время. Где-то следователь Родос, о котором Хрущев сказал, что это «пустая личность с куриными мозгами», допрашивал новую жертву, а в Ленинграде выходит фильм «Великий гражданин»; В. В. Ульрих подписывает очередную сводку Сталину о работе трибуналов, а восторженные люди готовятся встречать героев-папанинцев...

Судить прошлое всегда легче, чем настоящее. Обогащенные опытом долгого пути, мы знаем больше, чем те, кто жил в то время. Справедливо ставя в эпицентр исторической вины одного человека, мы не должны вместе с тем забывать, что эта личность могла там оказаться благодаря той системе отношений, которую в конечном счете создают сами люди. У Ж. Лабрюйера есть глубокая мысль: «Невинно осужденный — это вопрос совести всех честных людей». Сталин узурпировал власть и совершал преступления еще и потому, что ему

позволили это сделать. Сегодня признания осужденных выглядят как вечное историческое обвинение организаторам спектаклей.

Нет, не только сейчас люди с горестным недоумением разводят руками: почему все они признались в несовершенных преступлениях? Уже во время процессов для западной печати, которая широко освещала их, это стало одной из самых больших загадок. Сталин, всегда внимательно следивший за барометром общественного мнения, и не только у «себя» в стране, немедленно отреагировал. По его указанию была быстро подготовлена и опубликована в «Правде» статья «Почему они признаются» за подписью Д. Осипова. В ней, в частности, говорилось: «Почему вы признаетесь,— спросил Вышинский,— может, есть давление со стороны?

Подсудимые категорически отвергли такое предположение. Они подтверждают, что следствие велось в совершенно корректной форме, что ни о каком насилии, прямом или косвенном, не может быть и речи. Подсудимый Муралов заявил, например, что в заключении к нему относились все время «культурно и воспитанно». Муралов запирался 8 месяцев, Богуславский — 8 дней, Радек — 3 месяца. Они заговорили. Под уликами. Обвинение обосновано строго фактически. Подсудимые подавлены тяжестью неоспоримых улик». Так официально объясняли тогда феномен полных признаний.

В том, что подсудимые были «подавлены», сегодня не приходится сомневаться. Но только не «уликами». Как определила Комиссия Политбюро ЦК КПСС на своем заседании 5 февраля 1988 года, предварительное следствие «проводилось с грубыми нарушениями социалистической законности, фальсифицировалось, от обвиняемых недозволенными методами добывались признательные показания». Не случайно и то, что, например, в «обойме» подсудимых по так называемому «антисоветскому право-троцкистскому блоку» собраны люди, часто даже не знавшие друг друга: партийный работник и врач, дипломат и нарком, хозяйственник и республиканский руководитель. Организаторам политического фарса нужно было показать широкую сеть право-троцкистских предателей, развернутую в СССР. Дается понять, что существует реальная опасность попасть в эту сеть всякому, кто допустит благодушие, утрату классовой бдительности, ротозейство. Действия участников «блока» показывают, внушали организаторы процесса, что они не только «торгуют Родиной», готовясь ее расчленить, но и занимаются шпионажем в пользу Германии и Японии, взрывом шахт и крушением поездов, убийством выдающихся советских людей, подготовкой покушений на Сталина, Молотова, Кагановича, Ежова, других руководителей...

Мало зная о реальных фактах, сопутствующих процессу, буржуазная пресса не поднялась выше абстрактных осуждений «антидемократизма». Генсека больше всего бесил Троцкий, который продолжал почти ежедневно изливать на страницах западных газет свои доводы, опровержения, разоблачения, и вдобавок стало известно, что изгнанник готовится провести свой пропагандистский «контрпроцесс». Совершенно вывела Сталина из себя издевательская статья Троцкого в 65-м номере «Бюллетеня оппозиции» за 1938 год. С присущим ему сарказмом и проницательностью Троцкий зло подметил фальшь процессов: «В этой преступной деятельности наркомы, маршалы, послы, секретари неизменно получают приказы из одной инстанции, не от их официального вождя, а от изгнанника. Троцкому стоит подмигнуть, и ветераны революции достаточно стать агентами Гитлера и микадо. По «инструкциям» Троцкого, переданным через лучшего корреспондента ТАСС, руководители промышленности, сельского хозяйства и транспорта уничтожают производительные ресурсы страны. По приказу «врага народа номер 1», отданного из Норвегии или Мексики, железнодорожники уничтожают военные транспорты на Дальнем Востоке, а очень уважаемые врачи травят своих пациентов в Кремле. Эту удивительную картину рисует Вышинский, но тут возникает трудность. При тоталитарном режиме аппарат осуществляет диктатуру. Но если мои наймиты занимали все ключевые посты в аппарате, почему Сталин сидит в Кремле, а я в ссылке?».

Сталин пришел буквально в бешенство, прочитав эти строки. Обругав Ежова за «кретинизм» в фабрикации дел, он вновь, в который уже раз, задумался: не пора ли завершить всю эту кампанию процессов? Нет, пока еще рано: до тех пор, пока остаются люди, которые хотя бы в душе могут видеть в Троцком альтернативу ему, он остановиться не может. Генсек читал, кажется, в истории Французской революции: террор, остановленный на полпути, опасен. Выжившие полны страсти отмщения.

Политические процессы имели еще одну цель: ко всем бывшим оппозиционерам, троцкистам, бухаринцам, зиновьевцам, меньшевикам, дашнакам, эсерам, анархистам, бундовцам фактически «пристегнули» и большинство из тех, кто бывал за границей,— дипломатов, деятелей культуры, производственников, ученых, даже тех, кто воевал в Испании. К «врагам» отнесли многих вернувшихся на родину эмигрантов, немало зарубежных коммунистов, работавших в Коминтерне или его организациях. Сюда же попадали и те, кто когда-то был исключен из партии, был «обижен» Советской властью, кто когда-либо выражал политические сомнения. Автоматически к «врагам» относились и близкие родственники репрессированных. Большую группу составляли чекисты. Некоторые из них уничтожались потому, что пытались хотя бы косвенно саботировать преступные замыслы, а иные, наоборот, попадали в разряд врагов, как, например, Ягода, Фриновский, Берман, за чрезмерное рвение, за то, что слишком много знали. На таких людей, как мы уже говорили, списывали все «перегибы», извращения, «вредительство в органах НКВД».

Особенно преследовались те, кто помнил о Ленине и подлинном ленинизме, кто в свое время боролся с царизмом, а значит, хотя бы инстинктивно ценил истинную свободу и демократию. Это были люди, которые понимали буквально указание В. И. Ленина о том, что «нет другого пути к социализму, кроме как через демократизм, через политическую свободу». Эти люди не хотели питаться суррогатами сталинского толкования ленинизма, но таких уже было меньшинство. Остальные попадали в репрессивные жернова попутно, касательно: одни работали под началом «врагов народа», другие их вовремя не разоблачили, третьи «пособничали» им в чем-то, о чем они даже сами не могли догадываться...

Всевидящее око подозрительности усиливало инерцию насилия. Едва ли В. Захаров, М. Моциев и другие железнодорожники со станции Арзамас представляли, в чем суть «троцкистских» взглядов, но они, эти взгляды, вкупе с «намерениями к террористическо-диверсионной деятельности» послужили основанием для вынесения 31 октября 1937 года им смертных приговоров. Как докладывал в своей сводке Сталину председатель Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульрих, «все обвиняемые признали себя виновными полностью». Чудовищная подозрительность, трактуемая как «сталинская бдительность», исправно поставляла Молоху «правосудия» свои жертвы.

Еще одной особенностью этих процессов было стремление Сталина не просто физически уничтожить своих реальных и потенциальных оппонентов, но и предварительно вывалять их в грязи аморализма, «измены», «предательства». Все процессы являют собой беспрецедентный пример самоуничижения, самооговоров, самоосуждений. Часто это выглядело просто абсурдным и продиктованным лишь низкой местью. Так, подсудимые, «актеры» спектакля, назойливо твердили, что они «предатели», «шпионы», «двурушники», «вредители», «убийцы». Каменев, например, прямо заявлял, что «мы служили фашизму, мы организовали контрреволюцию против социализма». Обещания снисхождения, угрозы репрессий по отношению к семьям, физическое насилие на допросах ломали этих людей, заставляли играть свои роли по сценарию, написанному «жрецами правосудия».

Сталин: «ценить кадры...»

4 мая 1939 года Сталин произнес речь в Кремле на выпуске «академиков» Красной Армии. К тому времени кадровый погром, начатый еще в конце 1936 года, постепенно стихал. В руководящих эшелонах партийного, государственного, хозяйственного аппарата, среди профессиональных военных, в рядах технической

и творческой интеллигенции, местных работников в республиках, краях и областях зияли крупные бреши. Словно эпидемия страшной чумы выкосила сотни тысяч людей. Сталин затребовал из ГУК (Главное управление кадров РККА) справку о качественном составе командного руководства армией и флотом. Генсек долго всматривался в графы, таблицы, скупыми цифрами свидетельствующие об очень «зеленом» по возрасту составе — около 85 процентов командиров были моложе 35 лет. Может быть, Сталин подумал тогда, что, кроме трех маршалов и большой группы командармов первого и второго рангов, исчезли по его воле и другие способные военачальники? Многие из них при назначении побывали здесь, в кабинете генсека... Может быть, вспомнил речь Ворошилова на заседании Военного совета при наркоме 29 ноября 1938 года? Тогда нарком, как о великом достижении, доложил: «В ходе чистки в Красной Армии в 1937—1938 годах мы вычистили более сорока тысяч человек... За десять месяцев 1938 года выдвинули более 100 тысяч новых командиров. Из пятидесяти с небольшим членов Военного совета старого состава остались лишь десять человек». Какие чувства испытывал вождь, взирая на бреши в командном корпусе? Едва ли кто теперь расскажет об этом, только известно: Сталин после чтения справки предложил увеличить численность академий, создать новые училища. Но такие «пустоши» в кадровом составе были не только у военных...

Бывший нарком путей сообщения И. В. Ковалев как-то рассказывал мне:

— В тридцать седьмом году получил назначение начальником Западной железной дороги. Приехал в Минск, захожу в управление дороги. Пусто. Принять мне дела не у кого: Русакова, моего предшественника, арестовали и расстреляли. Вызываю заместителей — никого нет, тоже арестованы... Ищу того, другого — какая-то тишина страшная стоит, как смерч прошел. Даже удивительно, что поезда еще идут,— кто руководит всем этим огромным хозяйством?! Пошел домой к знакомому работнику из управления дороги. К моему удивлению, застал его там вместе с заплаканной женой.

— Ты чего не на работе? — не успев поздороваться, начал я.

— Жду. Сегодня, сказали, придут меня забрать. Вот белье собрал. Наседкин из НКВД каждого второго подчищает. Дорогу может парализовать...

Далее Ковалев рассказал мне, что, выяснив картину бедствия и осмелев от размахов погрома, он позвонил в Москву Сталину («Ведь если дорога не заработает по-настоящему, быстрехонько возьмут и меня»). Ответил Поскребышев. Он рассказал ему об обстановке, и чудовищная вакханалия как-то быстро прекратилась. «Да и сажать-то было уже некого»,— завершил свой рассказ Иван Владимирович.

Положение на той дороге не было исключением. Машина репрессий была запущена на полный ход. Как она работала, дают представление выдержки из выступлений участников октябрьского (1937 года) Пленума ЦК ВКП(б). Вот что, например, говорил Соболев, секретарь Красноярского крайкома партии, во время обсуждения доклада Молотова о ходе избирательной кампании (хотя вопрос был о выборах, говорили все же о «врагах народа»):

— Сейчас мы разоблачаем и уничтожаем врагов: бухаринцев, рыковцев, троцкистов, колчаковцев, диверсантов, всю эту сволочь, которую мы громим в крае. Они совершенно открыто делают выступления против нас... Я имею в виду одну из наиболее излюбленных форм диверсий в крае — это поджоги.

Пескарев из Курской области, в свою очередь, рисовал такую картину:

— В связи с тем, что в руководстве областной прокуратуры и областного суда у нас долго орудовали мерзавцы, вредители, враги народа, то оказалось, что они центр тяжести карательной политики перенесли на ни в чем не повинных людей: за три года в области было осуждено 18 тысяч колхозного и сельского актива (часто за то, что лошадь захромала или были опоздания на работу).

«Разоблачали и уничтожали» везде. К маю 1939 года, когда состоялось известное выступление Сталина в Кремле, о котором мы уже говорили, результаты этих «разоблачений и уничтожений» были слишком ощутимы, чтобы не упомянуть их. Но, как всегда, Сталин подошел к этой «проблеме» с неожиданной стороны.

В абсолютной тишине Кремлевского зала звучал его негромкий голос. Держа перед собой текст, Сталин редко в него заглядывал. Сотни глаз молодых командиров, политработников, инженеров, с новыми скрипящими портупеями на плечах, «кубарями» и «шпалами» в петлицах, напряженно всматривались в невысокую, плотную фигуру вождя.

— Вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке,— повествовал генеральный секретарь партии.—Дело было весной, во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно ответили: «Остался там». На мой вопрос: «Как же так, остался?». Они с тем же равнодушием ответили: «Чего же там спрашивать, утонул, стало быть». И тут же один из них стал торопиться куда-то, заявив, что «надо бы кобылу напоить». На мой упрек, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: «Что ж нам жалеть их, людей-то; людей мы завсегда сделать можем. А вот кобылу... попробуй-ка сделать кобылу...»

Тут было отмечено «общее оживление в зале». Полусогнутый указательный палец вождя застыл в воздухе, фиксируя парадоксальность ответа сибиряка.

— Так вот, равнодушное отношение некоторых наших руководителей к людям, к кадрам и неумение ценить людей,— продолжал Сталин, иногда по-прежнему взмахивая здоровой рукой, словно отрубая слова,— является пережитком того страшного отношения людей к людям, о котором я только что рассказал...

Так вот, товарищи, если мы хотим изжить с успехом голод (разрядка моя.— **Д. В.**) в области людей и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперед технику и пустить ее в действие,— мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника (разрядка моя. — **Д. В.**), способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры решают все.

Я привел эту пространную выдержку из речи Сталина по нескольким причинам. С одной стороны, мы видим, что генсек косвенно признал дефицит («голод») кадров, возникший после двух лет их широчайшего уничтожения. С другой,— зная роль и место Сталина в массовых репрессиях, еще и еще раз поражаешься политическому цинизму «вождя», его двуличию и жестокости. Санкционируя расправу над тысячами преданных партии и народу работников, тут же публично рассуждает о кадрах как «самом ценном капитале». Даже если допустить, что на каком-то этапе карательная ситуация вышла из-под контроля Сталина и беззаконие совершалось уже в силу страшной инерции, нельзя не испытать потрясения, сопоставляя фарисейские сентенции «вождя» и его личный «вклад» в дело уничтожения кадров.

Я не располагаю официальными данными о количестве жертв в 1937—1938 годах, возможно, их пока и нет. Но на основании доступных мне материалов (составы съездов, партийные статотчеты, доклады того времени из областей, данные из архивов судебных органов и так далее) можно сделать осторожную оценку общего количества репрессированных. Наиболее точные данные в этом случае по Наркомату обороны. На основании целого ряда сведений, возможно, повторяю, недостаточно полных, в эти трагические годы — с 1937-го по 1939-й,— по моему мнению, репрессиям подверглось порядка трех с половиной — четырех миллионов человек. Из них получили смертные приговоры около 600—650 тысяч человек. Кроме того, и это мы знаем точно, очень многие сгинули в лагерях и тюрьмах, не будучи приговоренными «судом» к смерти.

Если говорить о персональной ответственности, то главный виновник случившегося — И. В. Сталин. «Вождь» лично давал указания Ежову о направленности и масштабах репрессий, нередко указывал конкретных лиц, которых, по

его мнению, следовало «проверить». Чтобы избежать в переписке, телефонных разговорах упоминания слов «смертная казнь», «высшая мера наказания», Сталин предложил именовать эту меру наказания «первой категорией». Из документов известно, что по личному указанию Сталина были осуществлены репрессии в отношении многих известных лиц. Р. Эйхе, Я. Рудзутак, В. Чубарь, С. Косиор, П. Постышев были арестованы, осуждены и расстреляны по санкции Сталина. В аппарате ЦК, например, генсек предложил «проверить» (а это означало самое худшее) заведующего отделом пропаганды А. Стецкого, заведующего отделом печати Б. Таля, заведующего сельхозотделом Я. Яковлева, заведующего отделом науки К. Баумана, ответственного работника Комиссии партийного контроля Ф. Зайцева, десятки других работников. Для всех них эта «проверка» закончилась расстрелом.

Когда дело приняло широкие масштабы, Сталин начал «одобрять» смертные приговоры большими списками, а в 1938 году, «устав» от этого занятия, предоставил это право — без всякого доклада — решать судам и трибуналам. Н. С. Хрущев на XX съезде партии сказал, что в 1937—1938 годах Ежов направил Сталину 383 списка с именами многих тысяч партийных, советских, комсомольских, армейских и хозяйственных работников. Все они были утверждены. Но Сталин не ограничился только этими списками. Их было больше.

Поскольку на этих бумагах часто стояли визы и других руководителей, немало документов после XX съезда партии просто исчезло. Как рассказывал мне А. Н. Шелепин в апреле 1988 года, списки с визой Хрущева, в частности, были по указанию первого секретаря изъяты из многих архивов Серовым, бывшим в то время заместителем министра госбезопасности. Их передали Хрущеву, решившемуся на смелый шаг в разоблачении злодеяний Сталина: Никите Сергеевичу очень уж не хотелось выглядеть соучастником сталинских преступлений, но это было именно так. К слову сказать, я сам убедился, что ряд центральных архивов после XX съезда «почищен»; многие документы, касающиеся Сталина и его непосредственного окружения, изъяты. Все ли они целы? Очень сомневаюсь. Молотов, Каганович, Ворошилов, Маленков, Хрущев, другие руководители виновны в беззакониях или как соучастники, или как послушные исполнители, или как бездумные «поддакиватели». Но, конечно, Сталин несет перед историей главную ответственность за эти злодеяния.

Генсек заботился, как мы помним, чтобы его имя не часто фигурировало в качестве лица, санкционировавшего «ВМН» (высшую меру наказания), но все равно таких документов немало. У меня есть много писем, адресованных Сталину, Ворошилову, Молотову, другим деятелям партии с мольбами о помиловании. Какие-то из них они читали, чаще не оставляя своих «автографов» на письмах. Все писавшие погибли, и остается предположить, что Сталин предпочитал устно излагать свое решение, а иногда и вообще не рассматривать прошения о помиловании, поскольку судьба этих людей была им заранее предрешена. Вот эта «закрытость» роли Сталина как прямого, непосредственного участника террора и позволила возникнуть и долго существовать легенде о том, что вождь «не знал» о репрессиях. Старая большевичка Д. А. Лазуркина говорила, например, на XXII съезде КПСС, что, когда она сидела в тюрьме, то «ни разу не обвиняла тогда Сталина. Я все время дралась за Сталина, которого ругали другие заключенные, высланные и лагерники. Я говорила: «Нет, не может быть, чтобы Сталин допустил то, что творится в партии. Не может этого быть». Подобная наивность могла проистекать лишь от незнания истинной картины. Как говорилось в докладе на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях», произвол «одного лица поощряет и разрешает проявление произвола другими лицами. Массовые аресты и высылки многих тысяч людей, расстрелы без суда и нормального следствия создали обстановку, лишенную чувства безопасности и полную страха и даже ужаса».

Печальным и трагическим является то обстоятельство, что террор был развязан в условиях, когда прямой, непосредственной угрозы социалистическому строю в стране не было. Внешняя угроза, которая существовала всегда, не могла в такой степени воплотиться и реализоваться внутри самой страны, чтобы подобное насилие было хоть как-то оправданным. Вероятно, единичные проявления классовой вражды, неприятия нового строя в стране были, но совершенно нет доказательств наличия массовых вредительских и враждебных элементов. Сталин полностью игнорировал ленинское отношение к революционному террору.

«Террор был нам навязан терроризмом Антанты,— говорил Ленин в своем докладе о работе ВЦИК и Совнаркома 2 февраля 1920 года,— когда всемирно могущественные державы обрушились на нас своими полчищами, не останавливаясь ни перед чем. Мы не могли бы продержаться и двух дней, если бы на эти попытки офицеров и белогвардейцев не ответили беспощадным образом, и это означало террор, но это было навязано нам террористическими приемами Антанты. И как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали». Сталин, видимо, не считал себя лично обязанным относиться к «собственной программе», как «обещанию». Это стало видно еще в декабре 1934 года, когда по настоянию Сталина было принято решение о широком применении смертной казни без сохранения возможности апелляций.

В 1937 году состоялось несколько пленумов ЦК партии. На каждом из них, кроме рассмотрения вопросов о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР, об ошибках при исключении коммунистов из партии, о мерах по улучшению работы МТС и других проблемах, непременно рассматривались и такие, как «о составе ЦК ВКП(б)». А это означало, что продолжалась чистка высшего партийного ареопага. Например, на октябрьском Пленуме ЦК в тот год из его состава было выведено 24 члена и кандидата! Среди них: Зеленский, Лебедь, Носов, Пятницкий, Хатаевич, Икрамов, Криницкий, Варейкис, Гринько, Любченко, Еремин, Дерибас, Демченко, Серебровский, Розенгольц, Птуха, Шубриков и другие. Все они, в основном большевики с большим стажем, представляющие костяк партийных кадров, квалифицировались как «враги народа». И так на каждом Пленуме... На декабрьском Пленуме ЦК — 4—8 декабря,— например, было утверждено (голосование опросом) следующее решение:

«На основании неопровержимых данных Пленум ЦК признает необходимым вывести из состава членов ЦК ВКП(б) и подвергнуть аресту как врагов народа: Баумана, Бубнова, Булина, Межлаука, Рухимовича и Чернова, оказавшихся немецкими шпионами и агентами царской охранки; Михайлова, связанного по контрреволюционной работе с Яковлевым, и Рындина, связанного по контрреволюционной работе с Рыковым, Сулимовым».

Далее почерком Сталина дописано: «Все эти лица признали себя виновными».

Подумать только, как бедна фантазия Главного Инквизитора: более половины состава ЦК «шпионы» плюс «агенты царской охранки»! Двадцать лет спустя после краха дома Романовых их жандармское ведомство продолжало как ни в чем не бывало действовать! Все это похоже на безумие, пир злой силы. Просматривая пожелтевшие листки, которые рассылались членам ЦК при заочном голосовании, я не встретил ни одного (!) случая несогласия, возражения, сомнения. Только «за», «согласен», «безусловно согласен», «верное решение», «необходимая мера». Совесть безмолвствовала в заточении антиистины и страха.

К концу 1938 года почти не осталось кандидатов, которыми можно было пополнять страшную убыль. Как мы уже говорили, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде, 98 человек, или семьдесят процентов состава, были арестованы и в 1937—1938 годах погибли. Та же судьба постигла не только большинство членов Центрального Комитета, но и основную часть делегатов «съезда победителей». А ведь восемьдесят процентов участников того памятного съезда с правом решающего голоса были большевики, вступившие в партию до 1921 года!

Республиканский, краевой и областной партийные эшелоны также были страшно обескровлены. Многие обкомы были просто обезглавлены; все секретари таких комитетов попадали, по словам Кагановича, на «жительство» к Ежову.

Назовем лишь несколько фамилий из тысяч периферийных партийных работников, кому довелось испить из «чаши Иосифа»: А. Богомолов, Т. Братановский, Е. Вегер, М. Гуссейнов, Б. Додобоев, Н. Журавлев, С. Зегер, В. Еременко, Ю. Коцюбинский, Г. Крутов, Н. Марголин, Д. Орлов, Н. Степанян, Я. Понок, А. Шпильман, А. Ханджян и многие, многие другие. Обобщенные данные мог иметь только Сталин. Неужели после чтения страшных сводок и докладов Ежова, Ульриха, Вышинского его даже не посещала мысль о том, что его концепция «врагов народа» чудовищна в своей нелепости и преступности? Нет, вождь отличался одним — последовательностью: раз принятое решение Сталин всегда старался довести до конца. С «очищенным» обществом, думал генсек, он добьется многого, очень многого, о чем будут «говорить в веках».

...Однажды, обсуждая с Ежовым очередной список, Сталин, не обращаясь ни к кому, обронил:

— Кто будет помнить через десять — двадцать лет всех этих негодяев? Никто. Кто помнит теперь имена бояр, которых убрал Грозный? Никто... Народ должен знать: он «убирает» своих врагов. В конце концов каждый получил то, что заслужил...

— Народ понимает, Иосиф Виссарионович, понимает и поддерживает,— как-то машинально откликнулся Молотов.

Хотя оба они должны были знать, что народ безмолвствовал. Крики одобрения были гласом неведения, бесправия и подавленности.

В октябре 1937 года Ежов стал кандидатом в члены Политбюро. По его предложению органы НКВД стали готовить списки лиц, которые попадали под юрисдикцию коллегий военных трибуналов. Например, стоило вменить человеку вину в «шпионаже», как он представал уже перед военной юстицией. О том же, как обходились со «шпионами» и как много их было, свидетельствует, например, такое донесение В. Ульриха:

«Комиссару государственной безопасности 1 ранга
тов. Берия Л. П.

За время с 1-го октября 1936 года по 30-е сентября 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР и выездными сессиями коллегий в 60 городах осуждено:

к расстрелу	30514 человек
к тюрем. закл.	5643 человека
Всего	36157

15 октября 1938 года В. Ульрих».

В 1937—1938 годах Ежов, а потом и Берия направили на имя Сталина множество списков «шпионов», где заранее, до суда, предлагалась конкретная мера наказания (в подавляющем большинстве случаев — расстрел). Но сначала они, как мы успели убедиться, получали донесения от Ульриха. Вот еще одно такое сообщение, взятое из Архива Военной коллегии:

«Комиссару госбезопасности 1 ранга, зам. наркома
внутренних дел СССР тов. Берия.

В сентябре 1938 года Военной коллегией Верховного суда Союза ССР в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Хабаровске и других городах осуждено:

к расстрелу —	1803 человека
к тюремн. закл.	389
Всего	2192

В. Ульрих».

В октябре будет больше — 3588 человек. Но это — работа только военных трибуналов. А сколько работало «обычных» судов?! И просто «троек», «совещаний», «присутствий»?! Сталин, любивший поговорить о том, что нужно заботиться о человеке, кадрах, проявлять внимание к каждому коммунисту, утверждал без колебаний эти страшные списки.

До сих пор есть еще немало людей, которые хотели бы отделить эту сторону деятельности Сталина, характеризующуюся предельной античеловечностью, от тех шагов и мер, которые он осуществлял, будучи главой партии и народа, по реализации социально-экономических планов и программ. Даже если, согласно логике этих людей, признавать его «заслуги» в этой области, мы не имеем права, прежде всего морального, выдавать Сталину индульгенцию, гласящую, что «он совершал преступления, искренне веря в то, что совершает их во благо страны». Каким же тогда выглядело «благо страны», если для его фундамента требовались сотни тысяч, миллионы человеческих жертв? Очень спорно поэтому выглядит следующее заявление Н. С. Хрущева на XX съезде: «Мы не можем считать, что поступки Сталина были поступками безумного деспота. Он считал, что так нужно было поступать в интересах партии, трудящихся масс, во имя защиты революционных завоеваний. В этом-то и заключается трагедия».

С этим нельзя согласиться: Сталин сознательно создавал режим личной диктатуры, в условиях которой он считал себя абсолютно свободным в выборе средств. При чем здесь «защита революционных завоеваний»?! Страшное, пьянящее чувство *абсолютной власти* двигало им... Сталин хорошо знал, что ни Косиор, ни Постышев, ни Рудзутак, ни Чубарь, ни Эйхе не могли быть «врагами народа», в самом крайнем случае они могли в чем-то расходиться с ним, но и это практически не проявилось публично. Безнаказанность и бесконтрольность поощряли самые зловещие проявления жестокой натуры Сталина. Созданная им система открыла простор для любых действий диктатора. Полная свобода Сталина означала полную несвободу для всех, кто от него зависел. Но вождь в целях морального и социального камуфляжа продолжал публично фарисействовать. Абсолютная власть развратила его абсолютно.

Рассуждения о том, что «трагедия Сталина заключается в том, что он верил в наличие «врагов народа» и поэтому расправлялся с ними», не просто наивны, но и глубоко неверны. Это была трагедия не Сталина, а трагедия народа. Деяния «вождя» можно квалифицировать лишь как преступные. Созданная в его сознании модель общества предполагала естественным использование насилия как непременного атрибута пролетарской власти. Вполне вероятно, что Сталин посвоему хотел «процветания» общества, материального благополучия его членов и, бесспорно, создания сильного государства. Но он не желал (и даже не предполагал!) спрашивать этих членов общества: *как, каким образом* они хотели бы достичь социалистических идеалов?

При всей непреклонности в достижении поставленных целей Сталин не раз проявлял колебания перед лицом открывающихся масштабов репрессий. Именно этим можно объяснить обсуждение по инициативе генсека на январском (1938 года) Пленуме ЦК партии вопроса об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии. Слушая доклад Маленкова, выступления Багирова, Постышева, Косиора, Игнатьева, Зимина, Кагановича, Угарова, Косарева, Сталин не мог не поражаться размаху репрессий, масштабам беззакония и настоящего погрома кадров. Например, в выступлении Постышева отмечалось, что, приехав в Куйбышев, он столкнулся с обстановкой, когда в результате чистки была фактически парализована нормальная деятельность обкома, облисполкома, райкомов партии. В силу того, что во многих райкомах осталось по два-три члена, они фактически прекратили работу, и таких райкомов в области оказалось более тридцати! Сталин, Берия, Ежов, Маленков, Молотов тут же свалили всю вину на Постышева, хотя он только что приехал работать в Куйбышев.

После знакомства с документами складывается впечатление, что решение «утопить» Постышева было принято еще до Пленума. Практически все выступающие, начиная с докладчика Маленкова, акцентировали особое внимание на ошибках Постышева. При одобрительных репликах Сталина главную роль «критика» Постышева на Пленуме взял на себя Каганович. Стоит привести некоторые его аргументы:

— Я Постышева знаю хорошо. Я ездил по поручению ЦК в прошлом году в Киев, когда мы вскрывали грубейшие ошибки т. Постышева в руководстве Киевской и Украинской партийными организациями. Постышев показал себя в Киеве работником, срывавшим на практике директивы партии, за что ЦК его тогда и снял с Киева (так в тексте выступления.—*Д. В.*). Слепота т. Постышева к врагам народа граничит с преступлением. Он не видит врагов даже тогда, ког-

да все воробьи на крышах чирикали... Наблюдая тебя в кулуарах и слушая твое выступление на этом Пленуме, я утверждаю, что ты хитришь с ЦК партии.

— Я никогда в жизни не хитрил,— пытался парировать Постышев.

— Что говорил здесь на Пленуме Постышев — это повторение враждебных партии разговоров. Он не видит того, что за последний год мы имеем более ста тысяч выдвинутых новых людей. Это наша великая сталинская победа.

Каганович, говоря о «сталинской победе», невольно сказал о вынужденной огромной замене руководителей, «выбывших из строя». Колоссальную брешь в кадрах, возникшую в результате беззаконий, недалекие люди типа Кагановича оценили как ситуацию, способствующую революционному обновлению руководящего состава на различных уровнях.

Критические выступления Ярославского, Косарева, Угарова шли по нарастающей. Постышева уже не просто критиковали, а прямо обвиняли и судили. Было видно, что на этот раз выбран жертвой именно он. Чувствовалось, что свою давнюю неприязнь к Постышеву Кагановичу удалось передать и руководству партии. Довершил разгром Постышева второй секретарь Куйбышевского обкома Игнатов, приглашенный на Пленум. Он прямо назвал действия Постышева «антипартийными». Каганович тут же резюмировал, обращаясь к Постышеву:

— Ты и сейчас хитришь с ЦК. Это враждебная линия. Постышев как политический руководитель обанкротился...

— Я признаю целиком и полностью свою речь, которую я произнес здесь,— поднялся Постышев,— неправильной и непартийной. Как я произнес эту речь, я и сам понять не могу. Я прошу Пленум простить меня. Я не только никогда не был с врагами, но и всегда боролся против врагов...

Но спасти Постышева теперь мог только Сталин. Однако генсек, дождавшись полного унижения кандидата в члены Политбюро, старого большевика, который пытался иметь свое суждение, окончательно предрешил его судьбу:

— У нас здесь, в президиуме ЦК, или Политбюро, как хотите, сложилось мнение, что после всего случившегося надо какие-либо меры принять в отношении товарища Постышева. По нашему мнению, следовало бы его вывести из состава кандидатов в члены Политбюро, оставив его членом ЦК.

Все, естественно, проголосовали «за». Постышеву оставалось быть на свободе лишь месяц. По предложению Сталина Комиссия партийного контроля подготовила в феврале того же года проект постановления по Постышеву, которое Политбюро ЦК утвердило. Стоит привести основное содержание этого документа. Постышеву ставились в вину следующие прегрешения:

«1) Роспуск 35 райкомов партии (они, как мы помним, просто перестали действовать, поскольку за пять месяцев 1937 года в Куйбышевской области было исключено из партии три с половиной тысячи коммунистов. — **Д. В.**);

2) Провокации против советских органов (на одном из заседаний горсовета было выведено 34 депутата);

3) Привлечение кадров на полевые работы, разбор общественных построек, вредительство в разгар уборки;

4) За время работы в Куйбышеве Постышев мешал НКВД разоблачать врагов, направляя удары против честных коммунистов;

5) Помощники Постышева как на Украине, так и в Куйбышеве оказались врагами народа (шпионами);

6) Постышев знал о наличии контрреволюционной правотроцкистской организации в области...

Признать все указанные действия Постышева П. П. антипартийными, направленными на пользу врагов народа. Исключить Постышева П. П. из рядов ВКП(б)».

Все оставшиеся 49 членов ЦК и кандидатов проголосовали (опросом заочно) за это решение. Бюллетеня Сталина вновь не оказалось... Он всегда старался, где только можно, оставлять меньше следов.

Судьба Постышева была решена — последовали арест и расстрел. Сталинская «забота о кадрах» весьма рельефно видна на примере «дела Постышева», который в силу ряда причин не устраивал генсека в качестве не только члена

высшего партийного руководства, но и вообще как коммунист старой ленинской школы. Сталину иногда было достаточно услышать одну фразу, провести одну беседу, узнать один факт, чтобы вынести свое окончательное суждение о личности. В те годы это могло быть и приговором.

Так, после «инспектирования» Постышева в Куйбышеве Маленков доложил Сталину:

— Постышев политически вредный человек (на Пленуме Маленков повторил эту оценку.— **Д. В.**).

— Чего же его держать? — вопросом ответил Сталин.

Не все заметили, или, точнее, не придали особого значения тому, что во время выступления Косарева на том же, январском, Пленуме произошла его перепалка с Мехлисом. Косарев фактически критиковал Политуправление РККА, которое слабо организует работу с комсомольцами: «В армии 500 тысяч членов молодежной организации, а ежегодно принимают в партию лишь несколько тысяч».

Мехлис тут же парировал с желчью:

— ЦК комсомола не занимается армейским комсомолом. Я предложил Белобородову (секретарь ЦК.— **Д. В.**) пойти руководить комсомолом в армию, он отказался. Хотят руководить только из ЦК.

Имевшаяся и раньше неприязнь Мехлиса к Косареву могла усилиться, и, кто знает, не сыграла ли она роковую роль в судьбе комсомольского вожака?

Пленум, поставивший вопрос об ошибках при рассмотрении персональных дел коммунистов, незаметно свернул на старую роковую колею — оказывается, все эти «ошибки», «перегибы» есть опять же не что иное, как происки еще не раскрытых «врагов». Именно такой вывод и был сделан на Пленуме: «Пора всем парторганизациям и их руководителям разоблачить и до конца истребить замаскированного врага, пробравшегося в наши ряды». Как видим, слабые попытки зрелого подхода к оценке вакханалии беззакония в 1937—1938 годах были малоэффективными. Демон насилия брал верх над элементарным благоразумием. Ошибки в насилии Сталин видел в недостатках п р и м е н е н и я этого насилия. В результате вместо анализа причин перегибов, бездушного и преступного отношения к судьбам коммунистов был дан новый толчок к поиску «нераскрытых врагов».

Бывший секретарь Киевского обкома партии Кудрявцев, выступая на партсобраниях, спрашивал коммунистов: «А вы написали хоть на кого-нибудь заявление?» В результате таких призывов к бдительности в Киевской парторганизации доносы были поданы почти на половину членов партии. К слову сказать, одной из первых жертв стал и сам Кудрявцев...

Погром кадров, учиненный по инициативе Сталина и его окружения, привел не просто к их дефициту — поднялась волна доносительства, появилось немало нечистоплотных людей, пытавшихся (и порой небезуспешно!) сделать в сложившейся ситуации партийную, государственную, военную карьеру, а то и просто свести какие-либо старые счеты. В решении январского (1938 года) Пленума ЦК было сказано, что есть «отдельные карьеристы-коммунисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исключениях из партии, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путем применения огульных репрессий против членов партии». Верная констатация большой опасности для партии со стороны карьеристов, доносчиков никак не связывалась, однако, с самим курсом высшего политического руководства на репрессии, где и находились глубинные истоки трагедий и деформаций.

Ложь подобна снежному кому: одна неправда рождает другую. Произвольно «обострив» классовую борьбу, Сталин вызвал потоки инсинуаций и клеветы, перед которыми общество оказалось беззащитным. Ложь ежовских органов в союзе с бесстыдством суда и прокуратуры, враньем печати, бесчисленных речей в поддержку «справедливых приговоров» создала ситуацию поистине уникальную и глубоко трагическую: узнать, где причины вакханалии,— негде; обратиться за

помощью — не к кому; обличить явных негодяев — никто не позволит... Коронованная Сталиным Ложь распоряжалась судьбами миллионов. Генсеку не может быть прощено прежде всего то состояние, до которого он довел общество, когда людей заставляли покоряться, молчать или поддерживать решения, суть которых была для многих совершенно неясной. Сталин считал себя вправе «дозировать» правду, делать обобщения, обязательные для всего народа, определять, что нужно и что не нужно ему. Гласность, оставленная в наследство Лениным, была им полностью попрана. Только в темноте антиистин, фарисейства, дуализма стала возможна кампания расправ.

Трудно заживающая рана 1937—1938 годов связана не только с болью, нелепостью, алогичностью пира насилия, который справил Сталин,— от этой раны берут начало и многие беды, связанные с утратой талантливых руководителей, хозяйственников, ученых, военных, деятелей культуры. А разве бреши в легионах кадров не позволили пробраться к постам, должностям, занять выгодные позиции «карьеристам-коммунистам»? Февральско-мартовский (1937 года) Пленум ЦК ВКП(б) записал в решении не только «обязать Наркомвнудел довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов до конца, подавить (здесь и далее разрядка моя.— **Д. В.**) малейшие проявления их антисоветской деятельности», но и постановил «укрепить кадры НКВД». Критерии «укрепления» в то время были однозначными: слепое, фанатичное исполнение воли вождя. Люди с совестью тогда не могли уцелеть в «органах». Абакумовы, меркуловы, ежовы, берии, кобуловы, рухадзе, как и многие другие «выдвиженцы», по воле вождя поставили органы НКВД над народом и партией. Система сложившихся отношений в условиях единовластия рождала беспринципных людей, аллилуйщиков, подхалимов.

Конечно, приверженность истинно большевистским идеалам, самоотверженность, революционный энтузиазм сохранили тогда многие люди, это не потонуло окончательно в тине лжи, славословия и бюрократических извращений того времени. Но, разумеется, позитивные атрибуты интеллектуального и нравственного потенциалов народа получили бы несравненно большее развитие, если бы они не столкнулись с тем, что составило кульминацию народной трагедии.

«Заговор» Тухачевского

Любимым одеянием Сталина станет со временем маршальский мундир. Облачившись в него, генсек с удовольствием разглядывал себя в большом зеркале: строгость униформы с блеском золотых погон отвечала его представлениям об эстетическом совершенстве.

Да, Сталин «любил» армию, «любил» военных. Вооруженные Силы были предметом его особой заботы. «Вождь» всегда с каким-то чувством внутренней гордости вспоминал свою деятельность на фронтах гражданской войны. Руководя одновременно двумя наркоматами, Сталин тогда, пожалуй, больше, чем кто-либо другой (за исключением Троцкого), бывал в действующих армиях, около двух десятков раз выезжал на фронты по прямому указанию Ленина. Генсек знал лично почти весь руководящий состав — от командиров корпусов и выше. Маршалы и командармы в своем большинстве были ему хорошо знакомы еще со времен гражданской войны. Да и теперь, в конце тридцатых годов, назначения на все основные должности в РККА проходили через его кабинет.

Генсек обычно выслушивал краткий доклад военного, рекомендуемого на эту должность, внимательно смотрел в глаза человеку, молчал, а затем в течение семи — десяти минут беседовал. Его интересовали объем военного опыта, знание театра военных действий, взгляды будущего командующего на военное строительство в условиях быстрой моторизации армии. Иногда задавал неожиданные вопросы вроде: «Как вы оцениваете немецкие танки?», «Нужны ли в нынешних условиях «УРы» (укрепленные районы.— **Д. В.**)?», «Каково ваше мнение о новом Полевом уставе РККА?». В заключение беседы, вяло пожимая руку взволнованного командарма или комкора, желал успеха на новой должности и постоянной готовности проводить в жизнь «линию партии». И снова испытующе вглядывался в глаза человека, пытаясь прочесть в них самое важное для него: предан ли он «товарищу Сталину»?

Долгие часы Сталин проводил с наркомами, конструкторами, учеными, создающими новые образцы боевой техники и оружия, лично осматривал военные новинки, бывал и на испытаниях. По его инициативе проводились совещания по различным вопросам военного строительства, на которых он тоже часто присутствовал. Выступал редко, но своими репликами и замечаниями всегда «поворачивал» ход обсуждения в то или иное русло. В 1939 году Сталин, например, целый день провел на совещании руководящего состава работников тыла РККА, решавшего вопросы вещевого снабжения, полевой и повседневной формы командного и рядового составов, качества обмундирования.

Конечно, генсек занимался всеми этими вопросами не из «чистой любви» к военному делу: подобно любому руководителю государственного уровня Сталин прекрасно понимал, что политическая власть, ее реальная сила, место страны в мире в огромной мере определяются не только экономической, но и военной мощью. Многие его выступления второй половины тридцатых годов несут печать тревоги, вызванной ростом фашистской опасности, усилением империалистической угрозы на Западе и на Востоке. Можно без преувеличения сказать, что в эти годы приоритетными объектами внимания генсека были РККА и НКВД. Именно по линии НКВД с конца 1936 года к Сталину начали поступать тревожные сообщения.

Интересно, что первые симптомы коллизий в отношениях Сталина с высшим военным командованием в СССР уловила Германия. Начальник Главного разведывательного управления РККА комкор С. Урицкий еще 9 апреля 1937 года докладывал Сталину и Ворошилову о том, что в Берлине муссируют слухи о существующей оппозиции руководству СССР среди генералитета. Правда, успокаивал начальник ГРУ, этому там мало верят. В доказательство он привел высказывания некоего Артура Юста в «Дейтше Альгемайне Цайтунг» о том, что сегодня «диктатура Сталина нуждается в исключительной опоре. В высшей степени странным было бы то, если бы именно сейчас начали потрясать устои армии. Ничто сейчас не является таким важным для Сталина, как безусловная надежность Красной Армии». Похоже, что именно так думал и сам генсек, но для «безусловной надежности» стал именно... «потрясать устои армии», тем более что сигналы об оппозиции, заговоре среди генералитета начали поступать сразу из многих источников.

Вначале от Ежова поступила записка с материалами РОВСа (белоэмигрантской организации «Русский обще-воинский союз») из Парижа, где утверждалось, что «в СССР группой высших командиров готовится государственный переворот». В этом документе, который был, вероятнее всего, фальшивкой или в лучшем случае выдумкой белоэмигранта, утверждалось, что во главе заговора стоит маршал М. Н. Тухачевский. Сталин передал записку Орджоникидзе и Ворошилову с резолюцией: «Прошу ознакомиться». Следов реакции его соратников на документе обнаружить не удалось. Скорее всего, откровенно бредовый характер записки не произвел впечатления на читавших, даже на Сталина, чрезвычайно мнительного и подозрительного человека. Следует при этом еще раз подчеркнуть, что Сталин всегда очень полагался на «бумагу», на заведенное «дело», на «доклады» органов НКВД.

Сделаем еще одно отступление и приведем такой пример. А. Т. Рыбин, работавший в тридцатые годы в одном из отделов НКВД, а затем и в охране вождя, рассказывал мне, что, когда Сталину устно доложили о «связях» Михаила Кольцова с иностранными разведками, он этой информации вначале не придал должного значения. В памяти у генсека еще была свежа недавняя беседа с писателем, который произвел на него неплохое впечатление. Но когда через месяц (кому-то это, очевидно, было очень нужно!) на стол генсека положили папку с доносом, двумя свидетельствами близко знавших Кольцова лиц, Сталин велел дать «ход» этому сфабрикованному делу — он даже в мыслях не допускал, что в письменных докладах его могут обманывать, вводить в заблуждение. Сталин полагал, что как вождь на это имеет право только он. Кстати,

эту особенность генсека — безусловно верить «бумаге» — весьма активно использовал Ежов, а позже и Берия. Доносы, сообщения, доклады, нередко просто фантастические, находили в лице Сталина весьма благодатную почву, буквально «завораживали» его сознание. Доведенная до абсурда подозрительность выражалась, например, и в том, что он никогда полностью не доверял людям из своего окружения, родственникам, ближайшим помощникам.

Об исключительной мнительности Сталина мне рассказывали многие работники, хорошо знавшие его в пору личного «триумфа». Как мне говорил А. Н. Шелепин, генсек требовал от Берии особой проверки людей, охранявших его, и Берия «играл» на этом: периодически он «находил» в окружении Сталина «шпиона» или «террориста». Например, однажды Берия приказал арестовать уборщика Федосеева и его жену за подготовку «теракта». В комнаты Сталина без его вызова никто не смел входить, кроме Берии. При уборке помещений менялись люди, наблюдавшие за работой обслуги. Даже гардины на окнах были подрезаны на полметра от пола, чтобы, не дай бог, кто-нибудь «спрятался». Никто не знал, где Сталин будет спать сегодня,— на диване в кабинете или в маленьком зале: постели на всякий случай были наготове и тут и там.

Хотя существуют версии, созданные окружением Берии, о нескольких попытках покушений на Сталина, каких-либо документов по этому поводу мне в работе над материалом обнаружить не удалось. Но, уезжая к себе на дачу в бронированном автомобиле, Сталин знал, что каждая такая поездка — целая операция по обеспечению безопасности его пути. Рядом с водителем Митрохиным всегда сидел либо Туков, либо Старостин (в сороковые годы), готовые в любой момент, как и люди в автомобилях сопровождения, «защитить» Сталина от «террористов». У вождя, как мы помним, была привычка пристально вглядываться в лица людей. Если кто-нибудь ему не нравился по «взгляду», больше у него уже не работал.

Властители, живущие в постоянном ожидании покушения на их жизни, начинают подозревать всех. Известно, что император Александр II, на которого было совершено несколько нападений (и в конце концов террористы добились своего), стал до такой степени болезненно подозрительным, что однажды, по свидетельству П. Кропоткина, «выстрелил в своего адъютанта, когда последний сделал резкое движение, и царю показалось, что офицер хочет убить его». Поэтому, постигая внутренний мир деспота, каковым и был Сталин, нельзя, рассматривая его отношение к другим людям, не учитывать эту гипертрофированную мнительность, присущую «господствующей личности». Хрущев в своем докладе на XX съезде партии подчеркивал, что крайне болезненную подозрительность Сталина ощущали на себе даже члены Политбюро. Может быть, полностью он доверял лишь Власику и Поскребышеву да, пожалуй, еще и Валентине Васильевне Истоминой, его «экономке», которая, как мы уже говорили, вскоре после смерти жены генсека, будучи еще молодой женщиной, пришла к нему в дом. До конца его дней она будет заботиться о старом вдовце, стараясь создать Сталину, насколько это возможно, обстановку домашнего тепла. И он, будучи очень черствым человеком, тем не менее не раз отметит бесхитростную, но искреннюю заботу о нем этой женщины...

В конце 1936 года Сталину из Чехословакии поступило сообщение от Бенеша, которое резко оживило затухшее было подозрение к Тухачевскому. Как сообщает В. Хаген, бывший сотрудник Кальтенбруннера, в своей книге «Тайный фронт», а также X. Хегнер в мемуарах «Рейхсканцелярия 1933—1945 гг.» и У. Черчилль в своих воспоминаниях, Сталин «клюнул» на сфабрикованный в Берлине документ о «сотрудничестве» Тухачевского и ряда других командиров Красной Армии с германским генералитетом. В ведомстве Канариса искусно подделали факсимиле подписи Тухачевского, оставленной Михаилом Николаевичем еще в 1926 году в Берлине на документе, который предусматривал техническое сотрудничество с одной из германских фирм в области авиации.

Фальшивка наводила на мысль, что Тухачевский установил тайные связи с представителями германского генералитета с целью насильственного свержения Сталина в СССР. В Берлине был разыгран спектакль с пожаром, кражей

документов, чтобы они в итоге попали в Прагу. О пожаре Ежов докладывал Сталину и Ворошилову следующее:

«В дополнение к нашему сообщению о пожаре в Германском военном министерстве направляю подробный материал о происшедшем пожаре (в ночь с 1-го на 2-е марта 1937 года.— **Д. В.**) и копию рапорта начальника комиссии по диверсиям при гестапо...

Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов».

Бенеш, президент Чехословацкой республики, вероятно, все же с благими намерениями приказал препроводить документы в Москву. Сталина новое донесение очень насторожило, но он пока ограничился лишь тем, что передал документы Ежову. За Тухачевским усилили слежку и стали собирать «материалы». Далее события, видимо, развивались так, как их излагает Б. А. Викторов, бывший заместитель Главного военного прокурора. После XX съезда партии он руководил специальной группой военных прокуроров и следователей по реабилитации невинно осужденных в годы беззакония и судебного произвола.

В своих записках он приводит много интересных фактов. Листая страницы дела следователя А. П. Радзивиловского, осужденного в 1957 году за нарушения законности, Викторов обратил особое внимание на такие строки его показания: «Я работал в УНКВД Московской области. Меня вызвал Фриновский (один из замов Ежова) и поинтересовался, не проходят ли у меня по делам какие-либо крупные военные. Я ответил, что веду дело на бывшего комбрига Медведева. Фриновский дал мне задание: «Надо развернуть картину о большом и глубоком заговоре в Красной Армии, раскрытие которого выявило бы огромную роль и заслуги Ежова перед ЦК». Я принял задание к исполнению. Не сразу, конечно, но я добился от Медведева требуемых показаний о наличии в РККА заговора. О полученных показаниях было доложено Ежову. Он лично вызвал Медведева на допрос. Медведев заявил Ежову и Фриновскому, что показания его вымышленные. Тогда Ежов приказал вернуть Медведева любыми способами к прежним показаниям, что и было сделано. Протокол с показаниями Медведева, добытыми под физическим воздействием, был доложен наверх».

Вскоре после этого последовали аресты Тухачевского и других «заговорщиков». А буквально накануне Сталину доложили, что Троцкий в своем очередном выступлении заявил, что «недовольство военных диктатом Сталина ставит на повестку дня их возможное выступление». То было, по сути, подстрекательское заявление Троцкого, который действительно надеялся на выступление военных против Сталина. Это заявление резко качнуло настроение мнительного вождя в сторону силового устранения «назревшего заговорщицкого нарыва». Прежде чем принять окончательное решение об аресте Тухачевского — весьма популярного в народе военачальника,— Сталин выслушал Молотова, Ворошилова, Ежова, все еще что-то прикидывая и соображая. Молотов сразу поверил сообщениям из-за рубежа (к слову сказать, бывший ближайший сподвижник Сталина до конца своих дней, как мы уже отмечали, настаивал на существовании заговора), Ворошилов вообще не скрывал своей давней неприязни к Тухачевскому, а Ежов хотел на этом деле подняться еще выше — и, естественно, они все поддержали версию. В тот же день Сталин после некоторых колебаний сделал еще один шаг, резко обостривший кровавую оргию и имевший особо тяжелые последствия. Членам и кандидатам в члены ЦК был направлен для голосования (опять же опросом) документ следующего содержания:

«На основании данных, изобличающих члена ЦК ВКП(б) Рудзутака и кандидата в члены ЦК ВКП(б) Тухачевского в участии в антисоветском троцкистско-правом заговорщицком блоке и шпионской работе против СССР в пользу фашистской Германии, Политбюро ЦК ВКП(б) ставит на голосование предложение об исключении из партии Рудзутака и Тухачевского и передаче их дела в Наркомвнудел.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин».

Все единогласно высказались «за». Никто не засомневался, никто не защитил военачальников. Люди, прекрасно знавшие Тухачевского с гражданской

войны, слепо, на веру приняли сообщение провокаторов, даже не попытались выслушать самого маршала — инерция беззакония была уже слишком сильной. Ни у кого не возникло ни желания, ни смелости поинтересоваться, что же стоит за фразой: «На основании данных, изобличающих...». Некоторые из голосовавших пошли еще дальше предложения, подписанного Сталиным. С. М. Буденный, например, на своем бланке написал: «Безусловно «за». Нужно этих мерзавцев казнить. 25.5». Мехлис, как и в большинстве подобных случаев, несколько раз подчеркнул свое «за». Ни Ворошилов, ни Егоров — сослуживцы Тухачевского, ни Хрущев или Микоян, осудившие впоследствии этот акт беззакония, не нашли тогда в себе мужества, чтобы не написать это роковое «за». И вновь — в который раз! — Сталин оставил свой бланк голосования незаполненным. То ли он себя полностью отождествлял с Политбюро, то ли заботился о том, чтобы в истории осталось меньше его темных следов. А может быть, генсек уверовал в то, что останется в нашей истории навсегда святым и неприкасаемым?

Тухачевского Сталин знал давно, с гражданской войны. Помнил, как тот умело командовал 5-й армией, как был издан приказ Реввоенсовета Республики от 28 декабря 1919 года, в котором говорилось:

«Награждается Почетным Золотым Оружием командующий 5-й Армией тов. Михаил Николаевич Тухачевский за личную храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание дела, проявленные им при победоносном шествии доблестной Красной Армии на Восток, завершившемся взятием гор. Омска».

Сталин мог вспомнить их совместную работу на Южном и Западном фронтах. И победоносное наступление фронта в июле, и неудачу под Варшавой, в которой был повинен не один Тухачевский,— членом Военного совета Юго-Западного фронта был Сталин, задержавший, как мы знаем, выдвижение подкреплений.

Прохаживаясь вдоль стола в своем кабинете, Сталин в минуту отдыха мог вспомнить, как несколько дней назад, накануне решения ЦК об аресте Тухачевского, он пригласил Молотова, Кагановича, Ворошилова, Чубаря и Микояна на спектакль Узбекского государственного музыкального театра «Фархад и Ширин». После спектакля все сошлись во мнении, что он являет собой яркое выражение роста социалистической культуры. Открывая утром свежую «Правду», Сталин с гордостью читал о новых и новых славных деяниях советских людей, совершенных «под его руководством». В конце мая полярники во главе с О. Ю. Шмидтом высадились на Северном полюсе и создали дрейфующую станцию; в ближайшее время откроется Первый съезд советских архитекторов (пора, наконец, сооружать объекты, достойные времени). Хотя математика — область исключительно далекая от интересов генсека, видимо, работы академика И. М. Виноградова действительно прославляют советскую науку, раз так о нем пишут. Даже маленькое сообщение о снижении цен на туалетное мыло на 15 процентов заставило что-то шевельнуться внутри. Как правильно пишет неизвестный ему поэт, «страна на марше». Но маршу этому мешают, пытаются не просто «сбить ногу», но и остановить поток, во главе которого он идет. Такие, как Тухачевский, опасны не только для него, Сталина, но и для всей страны. Сколько волка ни корми... Да, дворянскую кровь не заменить пролетарской.

Вот и сейчас, в полночь, у него назначена встреча с Ежовым — пусть доложит о следствии по делу Тухачевского. И, слушая сообщение о ходе допросов военачальников М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, А. И. Корка, Р. П. Эйдемана, Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова, В. К. Путны, Сталин размышлял о самом молодом из всех пятерых Маршале Советского Союза. С одной стороны, он всегда отдавал должное высокой профессиональной компетентности Тухачевского, его оригинальному стратегическому мышлению, несомненному таланту теоретика. А с другой — еще с гражданской войны сохранил где-то в душе недоверие к «буржуазным военспецам», недолюбливал маршала за независимость и смелость суждений, знал о его довольно натянутых

отношениях с Ворошиловым. Вспомнил генсек и записку Я. Гамарника на его, Сталина, имя, в которой начальник Главного политуправления РККА писал:

«Только сейчас, перед самым своим отъездом, получил копию письма тов. Тухачевского на Ваше имя о военных советах округов и поэтому не имею возможности подробно изложить соображения по поставленному им вопросу. Тов. Тухачевский, соглашаясь в записке с оставлением военных советов округов, предлагает вывести из их состава начпуокров...

Считаю предложение тов. Тухачевского абсолютно неправильным и вредным как для мирного, так и особенно для военного времени.

Я. Гамарник».

В тот момент Сталин поддержал Гамарника. В памяти всплыла еще более ранняя докладная записка Тухачевского, которую генсеку показал Ворошилов. В ней первый заместитель наркома обороны давал свои определения категорий военной науки: «глубокий маневр», «фронтальный удар», «обход фланга», «встречный бой» и другие. Сталин тогда молча выслушал несогласие Ворошилова с «теоретизированием» Тухачевского, которому нарком хотел ответить специальным письмом. В архиве оно сохранилось. Заканчивалось письмо такими словами наркома:

«Я советую Вам возможно скорее покончить с Вашими чрезмерными литературными увлечениями и все свои знания и энергию направить на практическую работу. Это принесет немедленную и ощутимую пользу тому делу, на которое мы с Вами партией поставлены...

С комприветом К. Ворошилов».

Нарком обороны болезненно реагировал на теоретические изыскания Тухачевского, еще больше подчеркивающие низкую образованность его, Ворошилова, тяготевшего к старым, консервативным формам военного строительства.

Трудно было Тухачевскому рассчитывать, что Ворошилов оценит его по достоинству, легче предположить, что его незаметно переместят на другую, более низкую должность. Так и произошло: в мае 1937 года Тухачевского назначили командующим Приволжским военным округом, но там он пробыл две недели.

Сталин не мог не признавать, что по уровню интеллектуального развития, теоретической подготовки, свежести мышления Тухачевский значительно превосходил своего начальника, хотя ведь так часто бывает...

Трудно поверить полностью тому, что докладывает Ежов, но ведь и Троцкий в своей «Преданной революции» опять же намекает на это. В одном из своих интервью в Осло этот «гражданин без визы» так и сказал: «В Красной Армии не все преданы Сталину. Там меня еще помнят». А Троцкий был лично хорошо знаком с Тухачевским... И Сталин все больше заставлял себя поверить в то, что «фашистский заговор» в РККА существует, что это — грозная реальность.

Во время очередного доклада Ежов сообщил: наконец, «заговорщики сознались». Сталин имел, пожалуй, все основания вспомнить строки из 37-го Псалома Псалтири, за знание которого он когда-то получил высшую оценку: «И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]». Именно е г о, а не народа!

Сталин приказал провести закрытый процесс максимально быстро, без задержек. «Всех расстрелять». На столе у него лежал открытый номер журнала «Большевик» со статьей М. Тухачевского «О новом Полевом уставе РККА» — материал не успели «выбросить» из номера, так быстро развивались события.

В начале июня, до процесса, на Военном совете при наркоме были заслушаны сообщения Ежова и Ворошилова о раскрытии контрреволюционной фашистской организации. В докладах говорилось, что заговорщики действуют давно и их деятельность тесно увязывалась с немецкими военными кругами. Утверждалось, что они готовили уничтожение руководителей партии и страны и с помощью фашистской Германии намеревались захватить власть. На заседаниях Военного совета были члены правительства, и о том, как они проходили, немед-

ленно докладывалось Сталину. Судьба Тухачевского и его «однодельцев» была предрешена. Менее чем через две недели после ареста, 11 июня 1937 года, состоялся закрытый суд. В печати сообщение о передаче дела арестованных в суд появилось лишь в день процесса, а уже 12 июня, на следующий день, обнародовали приговор.

Суд был в высшей степени скорым и чудовищно неправым. Начался он в 9 часов утра и вскоре после обеда завершился вынесением приговора. За судейским столом сидели: председательствующий — все тот же армвоенюрист Ульрих В. В., поднаторевший в этих делах, а также маршалы С. М. Буденный, В. К. Блюхер, командармы первого ранга Б. М. Шапошников и И. П. Белов, командармы второго ранга Я. И. Алкснис, П. Е. Дыбенко, Н. Д. Каширин и комдив Е. И. Горячев. Судили без защитников и права обжалования, как это и было предусмотрено законом от 1 декабря 1934 года.

Тухачевский, Якир, Уборевич, Путна, Примаков, Корк, Эйдеман, Фельдман сидели напротив своих боевых товарищей. Все хорошо знали друг друга. Едва ли кто из членов суда верил, что перед ними сидят «заговорщики и шпионы». Думаю, что и у Тухачевского и его сотоварищей могла где-то в душе шевельнуться надежда: ведь суд, состоящий из людей, с которыми они двадцать лет служили под одними знаменами, должен прислушаться не только к зову справедливости, но и к традициям боевого товарищества. Но этого не произошло...

На том суде должен был присутствовать и начальник ПУРККА Я. Б. Гамарник. Или в качестве подсудимого, или... в качестве члена суда. Вот что мне рассказала о последних днях Яна Борисовича его дочь, Виктория Яновна Кочнева:

— Мне тогда было двенадцать лет. В конце мая отец, помню, заболел: то ли чувствовал приближение развязки, то ли вновь его мучили приступы диабета. Он знал, как потом рассказывала мне мама, что двадцать шестого мая арестовали Тухачевского, через день Уборевича, Якира, прямо в поезде, других военачальников. Тридцатого к отцу приехал Блюхер — они хорошо знали друг друга по Дальнему Востоку,— и они о чем-то долго говорили с отцом. Матери отец сказал потом, что ему предлагают стать членом суда над Тухачевским. «Но как я могу! — воскликнул он.— Я ведь знаю, что они не враги... Блюхер сказал, что, если откажусь, меня могут арестовать».

Тридцать первого вновь ненадолго заехал Блюхер. Затем пришли какие-то люди и опечатали сейф отца. Ему сказали, что он отстранен от должности, а его заместители Овсепян и Булин арестованы. Отцу приказали быть дома. Как только люди из НКВД ушли, в его комнате мы услышали выстрел. Когда мы с мамой вбежали, все было кончено...

Думаю,— продолжала Виктория Яновна,— выстрел был ответом на предложение Сталина стать членом трибунала над своими боевыми товарищами, ответом на беззаконие. По-другому отец тогда ничем не смог ответить. Мать арестовали, дали ей восемь лет как жене «врага народа», а затем, в лагере, еще десять лет — «за содействие врагу народа». Больше я никогда не видела матери, умершей согласно извещению в 1943 году в лагере. Меня направили в детдом, а по достижении совершеннолетия дали шесть лет как «социально опасному элементу». Затем начались ссылки...

Судьба семьи Гамарника характерна для многих, многих тысяч родственников невинно осужденных людей.

Какие же доказательства существования «военно-фашистского заговора» привел на суде Ульрих? Главным образом он опирался на контакты подсудимых с представителями вооруженных сил Германии. Как мы уже говорили, Тухачевский в 1926 году возглавлял советскую военную делегацию в Берлине; Якир учился на курсах Генерального штаба в Германии в 1929 году; Корк был там военным атташе. Многие встречались с представителями немецкого военного командования на дипломатических приемах, маневрах, в ходе различных переговоров, однако все, кроме Примакова, решительно отвергали какую-либо «шпионскую связь» с Германией. Например, Тухачевский говорил на суде: «Встречи, беседы с представителями немецкого командования носили только официальный характер. И все это имело место лишь до прихода Гитлера к власти».

Обвинения во «вредительстве» подсудимые частично признали, но не как умышленные деяния, а как недостатки, упущения в боевой подготовке, строительстве военных объектов. Одним из главных аргументов в поддержку версии «вредительства» была концепция Тухачевского о необходимости ускоренного формирования танковых и механизированных соединений за счет сокращения конницы. Здесь Ульриху активно помогал Буденный.

Поскольку обвиняемые не подтверждали данных на предварительном следствии показаний, председательствующий все время спрашивал: «Показания, данные вами в НКВД, вы подтверждаете?», вынуждая тем самым подсудимых идти по колее сфабрикованной до суда версии.

Как теперь установлено, по отношению ко всем этим видным советским военачальникам было применено в «полном объеме» физическое воздействие.

Наконец, еще один пункт обвинения гласил, что подсудимые якобы для успеха заговора намеревались устранить Ворошилова. Тухачевский, Корк, Путна, Уборевич говорили, что они вместе с Гамарником хотели поставить в правительстве вопрос о смещении наркома, по их мнению, не справляющегося со своими обязанностями. Их откровенно высказанное желание было расценено судом как проявление «заговорщицкой деятельности». Но, по существу дела, подсудимые отвергли грязные домыслы в «шпионаже в пользу фашистской Германии и подготовке контрреволюционного переворота». В своем последнем слове Тухачевский, Якир, Корк, Уборевич убежденно говорили о личной преданности Родине, народу, армии, особенно подчеркивали свою полную лояльность к «товарищу Сталину» и просили о снисхождении за возможные ошибки и промахи в работе.

Диссонансом на суде прозвучало последнее слово Примакова, который, по сути, полностью подтвердил официальное обвинение, заявив, что «всех заговорщиков объединило знамя Троцкого, приверженность их фашизму». Далее он сказал, что назвал следствию более семидесяти человек, о которых он лично знает как о «входящих в военно-фашистский заговор». Мол, у «головки» заговорщиков есть «вторая родина»: у Путны, Уборевича, Эйдемана есть родственники в Литве; Якир имеет близких в Бессарабии; Эйдеман — в Америке. Примаков послушно говорил все то, что ему поручили сказать следователи... Если остальные подсудимые были арестованы менее двух недель назад и еще сохранили силу духа, то Примаков, прославленный герой гражданской войны, удостоенный трех орденов Красного Знамени, находился в застенках уже более года. Его воля была окончательно сломлена, и бывший комкор отрешенно и бесстрастно произносил чудовищные вещи, подсказанные ему на следствии.

В то время в системе НКВД могли работать лишь следователи определенного склада: бессердечные циники и садисты, которым было неведомо такое понятие, как совесть. Генерал армии А. В. Горбатов, прошедший сталинские круги земного ада, вспоминал: «Я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя — Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему. Думаю, впрочем, что он это и тогда хорошо знал... До сих пор в моих ушах звучит зловеще шипящий голос Столбунского, твердившего, когда меня, обессилевшего и окровавленного, уносили: «Подпишешь, подпишешь!». Выдержал я эту муку и во втором круге допросов. Но когда началась третья серия, как хотелось мне поскорее умереть!»

В «деле» Тухачевского особенно отличился следователь по особо важным делам Ушаков (он же Ушиминский). В своих объяснениях, которые он дал Комиссии по реабилитации после XX съезда, Ушаков пишет: «Первым был арестован Фельдман. Он категорически отрицал какое-либо в каком-либо заговоре участие, тем более против Ворошилова... Я взял личное дело Фельдмана и

в результате его изучения пришел к выводу, что Фельдман связан личной дружбой с Тухачевским, Якиром и рядом других крупных командиров... Вызвал Фельдмана в кабинет, заперся с ним, и к вечеру 19 мая он написал заявление о заговоре с участием Тухачевского, Якира, Эйдемана и других... Затем мне дали допрашивать Тухачевского, который уже на следующий день сознался. Я, почти не ложась спать, вытаскивал от них побольше фактов, побольше заговорщиков... Даже в день процесса, рано утром, я отобрал от Тухачевского дополнительные «показания» об участии в заговоре Апанасенко и других».

В одном из допросов Тухачевского участвовал «сам» Вышинский, который заставил его подписаться под словами: «Признаю, что виновен. Жалоб не имею». Но «жалобы», прошения о помиловании были написаны в адрес Сталина, Молотова, Ворошилова почти всеми.

Сотоварищи Тухачевского также прошли «энергичную» обработку: запугивание, обещания, угрозы семьям, неограниченное насилие. Во время следствия обвиняемым внушали: только признание сохранит им жизнь...

Ульрих с Ежовым перед объявлением приговора побывали у Сталина. Доложили о ходе процесса и поведении обвиняемых. Ульрих угодливо положил на стол проект приговора. Сталин не стал смотреть его, а лишь бросил: «Согласен». Помолчав, спросил:

— Что говорил в последнем слове Тухачевский?

— Говорил, гад, что предан Родине и товарищу Сталину. Просил о снисхождении,— быстро ответил Ежов.— Но было видно сразу, что хитрит, не разоружился...

— А как суд? Как вели себя члены присутствия?

— Активно вел себя лишь Буденный... Члены суда в основном молчали. По одному-два вопроса задали Алкснис, Блюхер да, кажется, Белов...

Сталину с самого начала состав суда показался подозрительным, и он тут же распорядился «посмотреть» на этих людей внимательно. Кроме Буденного и Шапошникова, все вскоре будут арестованы, а командарма 2-го ранга И. Д. Каширина (как и двух его братьев) возьмут буквально через несколько дней...

И еще один эпизод гражданской войны мог вспомнить в те дни Сталин. Однажды после совещания у С. С. Каменева, где Тухачевскому и другим командирам пришлось пережить неприятные минуты из-за варшавской катастрофы, молодой комфронта, прощаясь со Сталиным, негромко, грустно произнес:

— «Это — голос Моей судьбы, и он мне, словно льву, натягивает мышцы тетивою...»

Сталин непонимающе посмотрел на Тухачевского. Тот, улыбнувшись, добавил:

— Так сказал Гамлет после встречи с духом своего отца...

На высказанные в последнем слове обвиняемых просьбы о пощаде реакции Сталина не последовало — он не любил, по его словам, «миндальничать». Ночью 12-го все были расстреляны. Примаков — тоже, хотя ему за оговор обещали сохранить жизнь.

В день суда над Тухачевским и его «однодельцами» нарком обороны К. Е. Ворошилов издал приказ, в котором сообщалось, что с 1-го по 4-е июня с участием членов правительства состоялся Военный совет при наркоме (через полгода его уже будет невозможно собрать — почти все члены совета будут репрессированы), который признал разоблачение «подлой контрреволюционной военно-фашистской организации». Журнал «Большевик» в 12-м номере — уже 15 июня! (промашки больше не было допущено) — в передовой статье «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады» писал: «Мечом пролетарской диктатуры разгромлена еще одна банда предателей и врагов. Тухачевскому и К°, притаившимся в рядах нашей славной Красной армии, не помогли ни глубокая законспирированность их преступной деятельности, ни весь опыт маскировки разведчиков... Их конечной целью было, как отмечается в приказе наркома обороны СССР маршала Советского Союза тов. Ворошилова, «ликвидировать во что бы то ни стало и какими угодно средствами Советский строй в нашей стране, уничтожить в ней Советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов... Тухачевский и К° собирались в нашей великой стране сыграть ту же роль, какую играет Франко, презренный враг испанского народа».

Но на этом трагедия расправы над военными кадрами не закончилась, а только начиналась. Вовсю «работали» люди типа Мехлиса. Каждый их звонок, телеграмма, донесение отзывались болью, жертвами, наветами. Вот, например, две телеграммы Мехлиса, которые мы извлечем из тех трагических лет:

«Москва НКО Щаденко,
ПУРККА Кузнецову.

Начштаба Лукин крайне сомнительный человек, путавшийся с врагами, связанный с Якиром. У комбрига Федорова должно быть достаточно о нем материалов. В моей записке об Антонюке немало внимания уделено Лукину. Не ошибетесь, если уберете немедля Лукина.

27 июля. Мехлис».

«Товарищу Сталину.

Уволил двести пятнадцать политработников, значительная часть из них арестована. Но очистка политаппарата, в особенности низовых звеньев, мною далеко не закончена. Думаю, что уехать из Хабаровска, не разобравшись хотя бы вчерне с комсоставом, мне нельзя...

28 июля. Мехлис».

От всех этих разбирательств «вчерне» еще чернее предстает картина террора в армейской среде. Мехлис и подобные ему с одобрения Сталина «ковали» поражения сорок первого года, которые обернутся для Отечества новыми миллионными жертвами. Списки командиров и политработников, сложивших головы не на поле брани за свободу нашей Родины, а погибших в ходе репрессий, когда их читаешь, выглядят как чудовищно страшный некролог, безумно горестный и нескончаемый.

После гибели Тухачевского сразу же был расстрелян комбриг Медведев, который, будучи сломленным, дал нужные показания на молодого маршала. Ежов, как и Ягода до него, стал заметать следы. Вскоре пало и большинство членов Специального присутствия, судивших группу Тухачевского: маршал Блюхер, командармы Каширин, Алкснис, Белов, Дыбенко. Мы располагаем письмом П. Дыбенко, которое тот успел послать Сталину из Ленинграда перед арестом. Вот что он писал генсеку:

«Дорогой тов. Сталин!

Решением Политбюро и Правительства я как бы являюсь врагом нашей Родины и партии. Я живой, изолированный в политическом отношении, труп. Но почему, за что? Разве я знал, что эти американцы, прибывшие в Среднюю Азию с официальным правительственным заданием, с официальными представителями НКИД и ОГПУ, являются специальными разведчиками? В пути до Самарканда я не был ни одной секунды наедине с американцами. Ведь я американским языком не владею...

О провокаторском заявлении Керенского и помещенной в белогвардейской прессе заметке о том, что я якобы являюсь немецким агентом. Так неужели через 20 лет честной, преданной Родине и партии работы белогвардеец Керенский своим провокаторством мог отомстить мне? Это же ведь просто чудовищно.

Две записки, имеющиеся у тов. Ежова, написанные служащими гостиницы «Националь», содержат известную долю правды, которая заключается в том, что я иногда, когда приходили знакомые ко мне в гостиницу, позволял вместе с ними выпить. Но никаких пьянок не было.

Я якобы выбирал номера рядом с представителями посольства? Это одна и та же плеяда чудовищных провокаций...

У меня были кулацкие настроения в отношении колхозного строительства? Эту чушь могут рассеять тт. Горкин, Юсупов и Евдокимов, с которыми я работал на протяжении последних 9 лет...

Тов. Сталин, я умоляю Вас дорасследовать целый ряд фактов дополнительно и снять с меня позорное пятно, которого я не заслуживаю.

П. Дыбенко».

Через несколько дней после своего письма командарм П. Дыбенко, член партии с 1912 года, бывший в октябрьские дни Председателем Центробалта, был арестован, «судим» и расстрелян. Едва ли его следователи (тогда удерживались в обойме механизма насилия люди не только без совести, но и без памяти) знали, что перед ними легендарная личность. Когда казаки генерала Краснова готовились выступить из Гатчины на Петроград, именно революционный матрос Дыбенко смог их «распропагандировать» и повернуть против Временного правительства...

Сталин на письме Дыбенко лишь коротко написал: «Ворошилову». Ни у генсека, ни у наркома обороны не было желания заняться судьбой старого большевика, которого к тому же перед смертью заставили «судить» Маршала Советского Союза Тухачевского.

После гибели самого молодого из пяти маршалов на очереди были еще двое. Сталин, уверовав если не в наличие, то в возможность «военно-фашистского заговора» против него, стал размышлять: кто же в отсутствие Тухачевского мог его возглавить? Он прочитал направленное ему заместителем начальника Разведывательного управления РККА Александровским одно донесение, полученное из Германии, в котором немецкими официальными военными кругами давалась оценка деловым качествам советских армейских руководителей. Мнение Берлина о Тухачевском его уже не интересовало. О Блюхере там писали, что он, возможно, из «обрусевших немцев», самый влиятельный и авторитетный из советских военных; о Егорове немецкие штабисты сообщали, что маршал обладает «аналитическим умом», весьма «сильный военачальник». А Сталину едва ли такие были нужны — его, мы знаем, своей послушностью и ординарностью мышления больше устраивали Ворошилов и Буденный.

И опять он вспомнил Троцкого. Вскоре после того, когда по инициативе генсека 20 февраля 1932 года был принят Указ о лишении Троцкого и выехавших с ним лиц советского гражданства, изгнанник ответил открытым письмом Президиуму ВЦИКа. Троцкий, в частности, писал там: «Оппозиция переступит через Указ 20 февраля, как рабочий переступает лужу по пути на завод». Письмо заканчивалось призывом: «Отстранить Сталина!». Спустя некоторое время после этого публичного обращения Троцкий в одном из своих выступлений заявил: «Даже на самом верху, в том числе в военной верхушке, есть люди, недовольные Сталиным и поддерживающие мой призыв: «Отстранить Сталина!». Таких людей там должно быть немало».

Теперь, когда нет Тухачевского, мог размышлять Сталин, осталось четыре влиятельных военачальника. В Ворошилове он не сомневался — это человек, вся жизнь, карьера которого основаны на легендах, на прошлом и... на его, Сталина, личной благосклонности. Буденный... Ревностный служака, и только. Вот, правда, Ежов докладывает, что жена Буденного имеет связи с какими-то иностранцами, пусть разбирается... Нет, эти не способны выступить против него. А вот Блюхер и Егоров, которых генсек тоже хорошо знал по гражданской войне, заметно изменились. И немцы в Берлине о них как-то особенно хорошо пишут, и Ворошилов был недоволен Егоровым, когда тот служил начальником Генштаба. Надо дать проверить Ежову письмо, которое пришло от одного коммуниста о Егорове. И Сталин еще раз внимательно перечитал его:

«В ЦК ВКП(б), тов. Сталину.

Целый ряд важнейших вопросов организации РККА и оперативно-стратегического использования наших Вооруженных Сил, по моему убеждению, решен ошибочно, а возможно, и вредительски. Это в первый период войны может повлечь за собою крупные неудачи и многочисленные лишние жертвы.

Я прошу, тов. Сталин, проверить деятельность маршала Егорова в бытность его начальником Генерального штаба РККА, т. к. он фактически несет ответственность за ошибки, допущенные в области подготовки оперативно-стратегического использования наших Вооруженных Сил и их организационной структуры.

Я политического прошлого и настоящего тов. Егорова не знаю, но его практическая деятельность, как начальника Генерального штаба, вызывает сомнения.

Член ВКП(б) с 1912 года

9 ноября 1937 года. Я. Жигур».

Написал это письмо Ян Матисович Жигур, комбриг, офицер кафедры Академии Генерального штаба РККА. Бывший поручик царской армии, он без колебаний принял революцию, активно участвовал в гражданской войне, дважды был ранен, награжден орденом Красного Знамени. Бесконечные призывы к бдительности, вакханалия беззакония, ставшая нормой жизни в те кошмарные годы, сбивали с дороги многих честных людей. Но донос, однако, не спас Жигура — в том же, 1937 году он будет арестован и расстрелян.

Сталин приказал Поскребышеву передать Ежову, чтобы тот обратил внимание на Егорова, старого фронтового товарища «вождя». Через пару месяцев Ежов «проверил» и «разобрался», тем более что пришла еще одна «бумага». Написать ее вынудили одного из бывших сослуживцев Егорова, который в последующем стал крупным советским военачальником. Однополчанин маршала вспоминал:

«В 1917 году, в ноябре месяце, на съезде 1-й армии в Штокмозгофе, где я был делегатом, я слышал выступление бывшего тогда правого эсера подполковника Егорова А. И., который в своем выступлении называл товарища Ленина авантюристом, посланцем немцев. В конечном счете речь его сводилась к тому, чтобы солдаты не верили Ленину». Хотя к тому времени судьба маршала была уже предрешена, письмо подтверждало «вредительскую природу» Егорова. В узком кругу генсека, обсудив с Молотовым и Ворошиловым результаты «расследования», решили вывести Егорова из состава ЦК и передать дело в НКВД, тем более что выявился еще один «компрометирующий» фактор, связанный с его женой.

28 февраля — 2 марта путем опроса членов ЦК ВКП(б) и кандидатов в члены ЦК было принято следующее постановление:

«О тов. Егорове.

Ввиду того, что, как показала очная ставка т. Егорова с арестованными заговорщиками Беловым, Грязновым, Гринько, Седякиным, т. Егоров оказался политически более запачканным, чем можно было бы думать до очной ставки, и принимая во внимание, что жена его, урожденная Цешковская, с которой т. Егоров жил душа в душу, оказалась давнишней польской шпионкой, как это явствует из ее собственного показания,— ЦК ВКП(б) признает необходимым исключить т. Егорова из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б).

И. Сталин».

И опять решение приняли единогласно. Разумеется, бланк генсека вновь остался «чистым». А ведь в гражданскую Сталин не раз вместе с А. И. Егоровым хлебал из одной крестьянской миски, укрывался одной солдатской шинелью. Но то все было так давно и теперь для «вождя» не имело ровно никакого значения.

Оставался еще один «подозрительный» маршал — Блюхер Василий Константинович, возможно, если быть объективным, самый прославленный военачальник довоенного периода. У него было пять (!) орденов Боевого Красного Знамени, один из которых под номером первым. Такое же положение было и с одним из его орденов Красной Звезды, которым Блюхера наградили сразу же после учреждения этой награды. Блюхер также оказался и в числе первых, кто был удостоен двух орденов Ленина...

Сталин отрицательно настроился против Блюхера еще в ходе известных событий на Дальнем Востоке, когда японские милитаристы захватили две советские высоты — Безымянную и Заозерную. Нарком тогда отдал приказ: уничтожить захватчиков! Однако с выполнением приказа произошла заминка —

командующий не бросился очертя голову выполнять это распоряжение, а стал тщательно готовиться. Блюхера, командующего Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией, вызвали к прямому проводу для разговора со Сталиным. Диалог, как свидетельствуют архивы, был красноречивым и недолгим:

Сталин: Скажите-ка, Блюхер, почему приказ наркома обороны о бомбардировке авиацией всей нашей территории, занятой японцами, включая высоту Заозерную, не выполняется?

Блюхер: Докладываю. Авиация готова к вылету. Задерживается вылет по неблагоприятной метеорологической обстановке. Сию минуту Рычагову приказал, не считаясь ни с чем, поднять авиацию в воздух и атаковать... Авиация сейчас поднимается в воздух, но боюсь, что в этой бомбардировке мы, видимо, неизбежно заденем как свои части, так и корейские поселки.

Сталин: Скажите, товарищ Блюхер, честно: есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами? Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту; а если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля.

Мне непонятна ваша боязнь задеть бомбежкой корейское население, а также боязнь, что авиация не сможет выполнить своего долга ввиду тумана. Кто это вам запретил в условиях военной стычки с японцами не задевать корейское население?.. Что значит какая-то облачность для большевистской авиации, если она хочет действительно отстоять честь своей Родины! Жду ответа.

Блюхер: Авиации приказано подняться, и первая группа поднимется в воздух в одиннадцать двадцать — истребители. Рычагов обещает в 13 часов иметь авиацию атакующей. Я и Мазепов через полтора часа, а если Брендинский полетит раньше, вместе вылетим в Ворошилов. Ваши указания принимаем к исполнению и выполним их с большевистской точностью.

Мехлис, направленный Сталиным на Восток, подогревал руководство в Москве своими сообщениями, компрометирующими Блюхера. Не случайно через сутки Ворошилов, разговаривая по прямому проводу с Мазеповым и узнав, что Блюхер заболел, спросил:

Ворошилов: Товарищ Мазепов, болезнь маршала проходит без участия Бахуса, или же это имеет место?

Мазепов: Отвечаю, что на протяжении последних трех дней у меня не сложилось оснований к тому, чтобы утверждать, что этот процесс болезни проходит с участием Бахуса. Было два случая во время обедов, когда он просил к столу коньяк и выпивал только две рюмки, большего не было. У меня все по существу этого вопроса...

Вскоре Сталин, недовольный действиями Блюхера, вызвал его в Москву. Разговаривать с ним генсек не пожелал. Какое-то время маршал был не у дел, а затем 22 октября 1938 года арестован. Ордер на арест подписан Ежовым, который сам через считанные недели окажется там, куда он бросал людей тысячами...

Блюхер был втянут в машину репрессий, когда она уже замедляла свои обороты. Ноябрьское постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) отметило наличие грубых нарушений законности, процедуры ведения следствия. Сталин и его окружение, вызвав волны репрессий, которые два года гуляли по стране, не могли не почувствовать, сколь разрушительным было их действие. Но в официальных докладах, выступлениях вся эта вакханалия выдавалась за «великую сталинскую победу над троцкистско-фашистскими заговорщиками и вредителями». Берия, который уже руководил следствием по делу Блюхера, проигнорировал постановление.

Прославленного маршала допрашивали несколько дней, требуя от него признания в том, что он входил в «военно-фашистский заговор». Блюхер держался исключительно мужественно и все полностью отрицал. Кто знает, может быть, когда его истязали, маршал вспомнил о своем участии в неправом суде над Тухачевским в качестве члена Специального присутствия Верховного суда СССР? Хотя участие Блюхера в суде выразилось в его молчании... Но он тоже тогда не пытался использовать свой шанс совести. А теперь сам в руках Берии, тогда еще сравнительно малоизвестного человека.

По свидетельству Б. А. Викторова, проводившего расследование и по этому делу, Блюхера видели в последний раз 5 и 6 ноября неверояно, до неузнаваемости избитым. Лицо его было сплошным кровавым месивом, один глаз выбит. Очевидно, в канун великого праздника инквизиторы Берии хотели завершить свое черное дело. От нечеловеческих побоев 9 ноября 1938 года в бериевских застенках погиб еще один Маршал Советского Союза. Но не сломался и не подписал чудовищных небылиц.

Нож гильотины беззакония к тому времени унес тысячи видных военных деятелей и политработников. Среди них И. Н. Дубовой, Я. К. Берзин, М. Д. Великанов, Е. И. Ковтюх, И. Ф. Федько, И. С. Уншлихт, А. С. Булин, Г. А. Осепян, М. П. Амелин, многие, многие другие.

Передо мной несколько томов со списками репрессированных военачальников: звание, фамилия, должность, когда погиб, награды... Большинство командиров сравнительно молоды — это цвет офицерского корпуса, прошедшего, как правило, гражданскую войну. Чтобы глубже почувствовать вечную боль от сталинского безумия, произвольно откроем один из томов и напомним имена погибших, но не в борьбе с фашизмом, а по воле «вождя». Вот лишь две страницы из тома на букву «К»:

Комкор Калмыков Михаил Васильевич. Командир 20-го стрелкового корпуса. Награды: орден Ленина и два ордена Красного Знамени. Расстрелян в 1937 году.

Комбриг Карев Герман Степанович. Командир 135-й стрелковой пулеметной бригады. Осужден и расстрелян в 1937 году.

Комдив Кассин Григорий Иустинович. Командир 45-го стрелкового корпуса. Награжден тремя орденами Красного Знамени. Осужден и расстрелян в 1938 году.

Комбриг Кириченко Иван Григорьевич. Командир 23-й кавалерийской дивизии. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Осужден в 1937 году и расстрелян.

Комдив Княгницкий Павел Ефимович. Комендант Киевского укрепрайона. Награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 1937 году осужден и расстрелян.

Флагман II ранга Кожанов Иван Кузьмич. Командующий морскими силами Черного моря. (Так в тексте.— Д. В.) В 1937 году осужден и расстрелян.

Комкор Коссогов Иван Дмитриевич. Командир 4-го казачьего корпуса. Награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комдив Кожанский Владимир Станиславович. Командир 5-го тяжелого бомбардировочного авиакорпуса. Награжден орденом Красного Знамени. В 1937 году осужден и расстрелян.

Дивизионный комиссар Краснов Евгений Васильевич. Зам. начальника управления по командному и начальствующему составу РККА. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комкор Куйбышев Николай Владимирович. Командующий войсками Закавказского военного округа. Награжден четырьмя орденами Красного Знамени. В 1938 году осужден и расстрелян.

Комкор Кутяков Иван Семенович. Заместитель командующего войсками ПРИВО. Награжден тремя орденами Красного Знамени. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комдив Кучинский Дмитрий Александрович. Начальник Академии Генштаба. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комдив Кутателадзе Георгий Николаевич. Командир 9-го стрелкового корпуса. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комбриг Крук Иосиф Михайлович. Начальник отдела штаба БОВО. В 1937 году осужден и расстрелян.

Флагман первого ранга Киреев Георгий Петрович. Командующий Тихоокеанским флотом. Награжден орденом Красного Знамени. Осужден и расстрелян в 1937 году.

Командарм II ранга Корк Август Михайлович. Начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1937 г. осужден и расстрелян.

Корпусной комиссар Корин Федор Яковлевич. Начальник отдела разведывательного управления РККА. В 1937 году осужден и расстрелян.

Командарм II ранга Каширин Николай Дмитриевич. Начальник управления боевой подготовки штаба РККА. Награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комбриг Кейрис Ромуальд Исидорович. Помощник командира 61-й стрелковой дивизии. В 1937 году осужден и расстрелян.

Комбриг Клочко Иван Гаврилович. Начальник военно-исторического отдела Генштаба. Награжден орденом Красного Знамени. Осужден в 1937 году и расстрелян.

Комдив Кожевников Александр Тимофеевич. Заместитель командующего войсками Уральского военного округа. Награжден двумя орденами Красного Знамени. В 1938 году осужден и расстрелян...

Нет сил продолжать этот горестный список всего на одну лишь букву алфавита, но идут и идут имена безвинно погибших: Калинин, Кальнин, Кальван, Кальпус, Какчелари, Капцевич, Карпов, Кармалюк... И не видно конца. Сколько трагически оборванных жизней!

Списки всех этих и многих тысяч других военных прошли через руки Сталина, Ворошилова, других руководителей. Какой же чудовищной бесчувственностью надо было обладать, чтобы верить в дикие, бредовые донесения и доклады!

Удар по Вооруженным Силам был нанесен жесточайший: вряд ли могли предполагать гитлеровские спецслужбы, белогвардейцы-эмигранты, что их провокационные зерна попадут на столь благодатную почву подозрительности, недоверия и жестокости. Были уничтожены практически все заместители наркома обороны, большинство членов Военного совета при наркоме, почти все командующие округов и командармы. Согласно имеющимся у нас данным и произведенным подсчетам можно заключить, что в 1938—1939 годах погибло до 55 процентов командного и политического состава армии и флота от командира полка и выше. В Великую Отечественную войну наша армия потеряла (убитыми, умершими от ран, плененными, пропавшими без вести, репрессированными) около тысячи генералов. Сталин и его машина террора выкосили куда больше командиров, политработников, которых можно было бы по положению приравнять к генеральским должностям... А всего было репрессировано около 43 тысяч человек командного состава. При таких потерях в любой войне армия резко теряет боеспособность. Командарма, например, нельзя подготовить, как командира взвода, на ускоренных курсах за шесть месяцев — для этого требуются долгие годы службы и учебы. А база выдвижения была «прорежена» до предела. В преддверии большой войны Сталин и его окружение создали объективные предпосылки для ее крайне тяжелого начала; невинные жертвы «военного побоища» 1937—1938 годов откликнутся еще бо́льшими потерями на фронтах Великой Отечественной войны.

В конце ноября 1938 года состоялся Военный совет при наркоме обороны. В своем докладе Ворошилов привел страшные цифры:

«В 1937—1938 годах мы «вычистили» из Красной Армии около четырех десятков тысяч человек. Только в 1938 году выдвинуто и перемещено в должностях более 100 тысяч человек! В руководстве армией произошли огромные изменения». Из нескольких десятков членов Военного совета при наркоме осталось только 10 человек прежнего состава. Нетрудно представить себе, что творилось в округах!

В своем донесении в Москву в марте 1938 года командующий войсками Киевского округа С. К. Тимошенко и член Военного совета Н. С. Хрущев со-

общали, как о большом успехе: «вычищено врагов» из войск округа за год 2922 человека, из них арестовано 1066 командиров, «обновлены» практически все командиры корпусов и дивизий, в результате «ликвидации троцкистско-бухаринских элементов» мощь войск округа возросла.

Неужели люди не видели грядущих последствий этого безумия? Многие видели, но не говорили об этом вслух. Правда, не все молчали: и в то жестокое время были люди, пытавшиеся использовать свой шанс совести. Передо мной, в архивном деле, лежит письмо полковника С. П. Колосова наркому обороны К. Е. Ворошилову. В нем, в частности, говорится:

«Встречаются два командира в трамвае: ну как дела? У нас — «Мамаево побоище»; арестовали того-то, того-то и т. д. Я теперь боюсь слово сказать, говорит другой. Скажи — ошибись, сейчас окажешься врагом народа. Трусость стала нормальным явлением...

Узнайте цифру, сколько Вы уволили из РККА за 1937 год, и Вы узнаете горькую правду.

Меня Вы можете назвать паникером-троцкистом — врагом народа и т. д. Я не враг, но считаю, что так мы можем дойти до ручки...

5 декабря 1937 года Колосов».

Нам, к сожалению, неизвестна дальнейшая судьба С. П. Колосова, но с очень большой долей вероятности можно ее предсказать.

Обращаясь к этим горестным страницам нашей истории, вновь и вновь задаешься вопросом: как могла возникнуть и существовать такая атмосфера жестокости, полного игнорирования права, исключительной подозрительности, развязавшая руки многим подлецам?! Неужели все происшедшее свидетельствует о какой-то особой «силе» Сталина, возглавившего этот погром кадров? И как издевательски звучат сегодня слова генсека, сказанные им Чкалову о том, что «человек дороже любой машины». Выдающийся летчик не дожил до тех дней, которые высветили фарисейство слов вождя,— 15 декабря 1938 года Чкалов погиб при испытании нового самолета.

В самом деле, в чем проявилась «сила» Сталина? Ведь это он прежде всего вызвал социальный катаклизм, пожалуй, самый болезненный и трагический в нашей истории. Размышляя над этим вопросом, постепенно приходишь к выводу, что «сила» Сталина заключалась не в нем самом, его интеллекте, воле, злой целеустремленности и беспощадности, а «сила» эта в создании и использовании им послушного государственного и партийного а п п а р а т а, без которых он — никто. С помощью этой машины ему постепенно удалось сформировать такую систему отношений в обществе, когда его слово, директива, приказ, распоряжение могли вызвать цепную реакцию действий тысяч, а то и миллионов людей, принимающих эти сигналы н а в е р у.

Добившись полного единовластия, Сталин понимал, что сохранение такого положения требует дальнейшего совершенствования аппарата: партийного, государственного и, как тогда говорили, карательного. С его помощью Сталин мог манипулировать общественным сознанием, проводить экономические, политические и культурные кампании, кроить ткань истории, закладывать основы «нового» миросозерцания, в центре которого должен быть он и его идеи, ставить цели, которые воспринимались как божественное откровение. И у него не возникало сомнения в том, что аппарат вытеснял из системы н а р о д. Такое деформированное видение окружающего мира не просто обедняло социалистические идеалы, а объективно ослабляло их привлекательность и сеяло в конце концов сомнения в их истинности.

Укрепление храма личного культа в представлении Сталина не противоречило идеалам социализма. Он, похоже, полагал, что имеет п р а в о так трактовать эти высокие идеалы. Ну как тут не вспомнить Маркса и Энгельса, которые, критикуя содержание теории Карлейля о правах гениев и вождей на господство, проницательно заметили, что «новая эра», в которой господствует гений, отличается от старой эры главным образом тем, что плеть воображает себя гениальной. Сталин без плети обходиться не мог. Но уже так много людей было засечено этой «плетью» насмерть, что требовалось сменить исполнителя.

Сталинский монстр

Апогей насилия приходится на начало тридцать восьмого года. Сталину все чаще докладывали о катастрофическом положении с кадрами на том или ином заводе, железной дороге, в наркомате. Аресты вели к «выявлению» новых «соучастников»; возможность выдвижения открывала дорогу карьеристам; поступали все новые и новые доносы, которые порой носили характер мести за репрессии против родственников, близких... Ситуация начинала все более выходить из-под контроля. Сталин уже где-то летом тридцать восьмого года изготовился осуществить по своему излюбленному сценарию одно дело — сменить исполнителей и возложить на них ответственность за «перегибы», «злоупотребления», «превышение власти».

Когда Сталин присмотрелся ближе к Ежову, кандидату в члены Политбюро, то оказалось, что это полное интеллектуальное и моральное ничтожество. Но к тому времени печать уже создала вокруг Ежова ореол «талантливого чекиста», «вернейшего ученика Сталина», «человека, который видит людей насквозь». Даже известный публицист Михаил Кольцов характеризовал в «Правде» этого чудовищного морального карлика как «чудесного несгибаемого большевика Ежова, который, дни и ночи не вставая из-за стола, стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора».

Сталин весьма скоро выяснил с брезгливостью, что Ежов, человек, полностью лишенный каких-либо политических и нравственных принципов, вдобавок ко всему еще и пьяница. Генсека не отталкивали предельный цинизм Ежова, его злобность и жестокость (часто нарком вел допросы сам) — таких людей Сталин знал немало,— но он терпеть не мог в своем окружении человека безвольного. А по его глубокому убеждению, алкоголизм — визитная карточка безволия.

Люди из его свиты, которых он особенно ценил,— Молотов, Каганович, Жданов, Ворошилов, Андреев, Хрущев, Поскребышев, Мехлис,— кроме полной преданности «вождю», обладали еще и немалой волей, чтобы эту верность выражать. В семье почти у каждого своего приближенного генсек арестовывал кого-нибудь из близких родственников. Да, именно он, Сталин, арестовывал, поскольку ни Ежов, ни Берия без его санкции на такой шаг не решились бы. Тот, кто попытался бы в такой ситуации защитить своих родных или близких (Калинин, Молотов, Каганович, Поскребышев и другие), немедленно показал бы отсутствие у себя политической воли. И все знали, что Сталин бы этого не потерпел.

Но теперь дело заключалось в другом — нужен был очередной «козел отпущения», и эта роль была уготована Сталиным кровожадному пигмею-алкоголику. Назначение Берии заместителем Ежова осуществлялось генсеком, как всегда, с дальним прицелом. Уже в сентябре — октябре 1938 года, хотя Ежов формально был еще на своем посту, Берия уже фактически управлял аппаратом НКВД. В октябре 1938 года несколько донесений-отчетов, рассмотренных Военной коллегией Верховного суда СССР и подписанных В. В. Ульрихом, уже были адресованы, правда, без указания должности, «комиссару государственной безопасности I ранга Берия». Ежов был освобожден от обязанностей наркома внутренних дел 7 декабря 1938 года. Еще раз, уже будучи наркомом водного транспорта, он мелькнул рядом со Сталиным на траурном собрании, посвященном пятнадцатилетию со дня смерти В. И. Ленина 22 января 1939 года, после чего буквально растворился. Известно, что Ежова расстреляли, но когда, где, каким было предъявленное ему обвинение, никто не знает до сих пор. Впрочем, вопросы «когда» и «где» можно в таких ситуациях и не задавать.

В конце года Берия с благословения Сталина полностью включился в «работу». Первым делом он предпринял чистку «ежовских кадров». Такие зловещие фигуры, как Фриновский, Заковский, Берман, творившие свои темные дела еще при Ягоде, были осуждены и расстреляны. На смену им пришли люди типа

Меркулова и Кобулова, Гоглидзе и Цанавы, Рухадзе и Крутлова, отличавшиеся особой преданностью новому патрону.

Почему Сталин остановил свой выбор на Лаврентии Павловиче Берии? Почему этот человек так быстро вошел в особое доверие к всевластному генеральному секретарю партии? Как могло случиться, что этот авантюрист за короткий срок достиг самых высоких ступеней власти: через несколько лет он станет членом Политбюро, первым заместителем Председателя Совета Министров, Маршалом Советского Союза, Героем Советского Союза?

Сталин впервые встретился с Берией где-то в 1929—1930 годах во время своего лечения в Цхалтубо. Берия, бывший тогда начальником ГПУ Закавказья, обеспечивал охрану генсека на курорте. Сталин несколько раз побеседовал с этим человеком, весьма неприятным даже внешне, но способным мгновенно улавливать желание вождя.

В начале карьеры Берия умело использовал знакомство своей жены Нины Гегечкори (как и ее брата, известного революционера) с Г. Орджоникидзе. Но очень скоро Серго «раскусил» этого авантюриста и крайне неприязненно и настороженно относился потом к выдвижению Берии. Серьезная оппозиция Берии была и в лице многих честных большевиков, хорошо знавших его. Так, например, известный сотрудник ВЧК — ОГПУ — НКВД Тите Илларионович Лордкипанидзе пытался раскрыть глаза в Москве на этого вурдалака. Дело, однако, кончилось тем, что Лордкипанидзе был освобожден по предложению Сталина с поста наркомвнудел Закавказья, а Берия в тридцать седьмом году устранил его. И вообще у Берии весь путь наверх устлан многочисленными жертвами.

На Сталина произвели сильное впечатление хватка Берии, его властность, решительность и отличное знание положения дел в закавказских республиках. Да, Сталину говорили (кажется, Л. Картвелишвили) о темном прошлом Берии: связь с мусаватистами, дашнаками в годы гражданской войны, подчеркивали чрезмерные карьеристские наклонности начальника ГПУ Закавказья. Но в определенных случаях Сталин считал такие факты биографии положительными — эти люди всегда были как бы на крючке. Вон Вышинский, бывший меньшевик, подписывал ордер на арест самого Ленина, а как сейчас старается! Или Мехлис, тоже бывший меньшевик,— нет ныне более преданного ему, Сталину, человека.

На генсека произвел впечатление опубликованный в печати и изданный отдельной книжкой доклад Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», сделанный им в июле 1935 года. Там Берия «разоблачил» А. Енукидзе как фальсификатора истории, а главное, доказал особую, исключительную роль Сталина в революционном движении Закавказья. Конечно, «вождь» видел в докладе многочисленные натяжки, фактические неточности, отсебятину, но усердие автора в стремлении рельефнее отразить место Сталина в истории большевизации края ему положительно импонировало.

Именно генсек добился в октябре 1931 года перевода Берии на партийную работу (вторым секретарем Заккрайкома), и опять же по его предложению через несколько месяцев Берия стал первым секретарем. Правда, для этого пришлось переместить из Закавказья Картвелишвили, Орахелашвили, Яковлева, Давдариани, возражавших против предложенной Сталиным кандидатуры. За несколько лет, по мнению генсека, Берия навел в Закавказье «порядок». Сталину нравилось, что на Пленумах 1937—1938 годов все реплики Берии были удачными, в русле размышлений и выступлений самого генсека.

Сталин мог вспомнить (забывчивостью он никогда не страдал), как вел себя Берия на печально известном февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК.

— Как вы могли взять Варданяна, когда мы его из Закавказья вышибли?! — бросил выступавшему Евдокимову, секретарю Азово-Черноморской парторганизации, будущий наркомвнудел.— Почему вы выдвинули Асилова, ведь мы его исключили из партии?

Или вот еще одно его заявление:

— Выполняя указания товарища Сталина о работе с кадрами, мы разоблачили семь членов ЦК КП Грузии, двух членов Тбилисского горкома. В прошлом году мы арестовали тысячу пятьдесят троцкистов-зиновьевцев.

Волна репрессий еще только поднималась, чтобы потом захлестнуть всю страну, а Берия уже предвосхитил события.

И все же справедливости ради следует сказать, что тогда еще очень немногие знали о подлинных «возможностях» Берии. Его назначение люди прямо увязывали с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 ноября 1938 года «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» — Берия стал наркомом внутренних дел спустя несколько недель после принятия этого документа.

На первых порах дело как будто так и пошло. После XVIII съезда партии были реабилитированы некоторые невинно осужденные. Но по сравнению с общим количеством людей, брошенных в тюрьмы и расстрелянных, это была просто косметическая операция. Как бы ни перекладывали дело на Берию, признание массовых актов беззакония могло непременно бросить тень и на самого Сталина, а это было уже слишком — генсек не мог этого допустить.

Акты беззакония исправили прежде всего по отношению к лицам, деятельность которых была связана с обороной. По указаниям Сталина из тюрем и ссылок вернули некоторую часть командиров, которых не смогли полностью оклеветать и к которым у него осталось какое-то двойственное отношение, а также ряд ученых и конструкторов. Среди них следует назвать К. Рокоссовского, К. Мерецкова, А. Горбатова, И. Тюленева, С. Богданова, Г. Холостякова, А. Берга, А. Туполева, Л. Ландау, В. Мясищева, Н. Поликарпова и некоторых других сыновей Отечества, игравших важную роль в его защите. Многим, как знаменитому конструктору С. П. Королеву, освобождения пришлось ждать неизмеримо дольше (он вышел на свободу лишь в 1944 году), основная же масса людей, те, кто выжил, вынеся все физические и нравственные муки ада, оказалась на воле только после тогда еще далекого XX съезда партии.

Хотя безумие, которое было в стране в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах, в таких масштабах потом больше не повторилось, карательные органы никогда не сидели без «работы». Поставленные вне контроля партии и замыкавшиеся фактически лично на Сталина, они были достойным придатком,— нет, не культа! — а т и р а н и и л и ч н о с т и. Все честные и достойные люди, хранившие традиции Ф. Э. Дзержинского, из НКВД, как мы говорили, были удалены или уничтожены. По имеющимся у нас данным, в конце тридцатых годов погибло 23 тысячи коммунистов, работавших в органах НКВД и как-то пытавшихся затормозить раскручивание маховика насилия.

Порой люди, когда говорят о злоупотреблениях и преступлениях тех лет, акцентируют внимание только на личностях Ягоды, Ежова, Берии или Вышинского и Ульриха. Слов нет, эти выродки и законченные преступники явили собой крайнюю степень духовного и нравственного распада — по сути, это тип антилюдей. Здесь все ясно. Более существен вопрос: как такие люди могли занимать высокие посты в с о ц и а л и с т и ч е с к о м государстве? И здесь надо сказать, что сталинская карательная система, будучи такой, какой она стала в конце тридцатых годов, всегда бы нашла «достойных» своих представителей. Отделение органов внутренних дел от народа, демократического контроля и подотчетности рано или поздно должно было превратить их в механизм тирании одного лица. Авторитарные методы руководства, опирающиеся на бюрократию, всегда чреваты закрытостью, отсутствием уважения закона и способностью использовать насилие в неправых целях.

Пытались ли хотя бы отдельные коммунисты, проявляя высокое мужество и гражданственность, ставить эти вопросы перед генсеком? Все ли знал Сталин о таком авантюристе, каковым являлся Берия? Нам известны факты, когда такие попытки все же предпринимались. Но Сталину не надо было открывать глаза на преступления Ежова и Берии — о н з н а л о н и х. Более того: генсек лично санкционировал самые зловещие деяния. Имеются данные, и мы их уже приводили, что Сталин вместе с Молотовым одобрил около четырехсот (!) списков лиц, «дела» которых должны были рассматриваться только судами Военной коллегии. На них стоят лаконичные подписи Сталина и Молотова — «за». Списки — от десятка до нескольких сот человек! — одним росчерком сталинской руки превращались в некрологи обреченных.

Присвоив себе право отбирать у людей самое святое и неповторимое на земле — жизнь, Сталин и исполнители его воли покушались на сами гуманистические начала социализма, хотя на словах свои злодеяния они осуществляли именно во имя этих высоких ценностей. Здесь, я думаю, уместно вспомнить слова Ф. М. Достоевского, сказавшего однажды, что не для того же страдают люди, чтобы собой, страданиями своими унавозить кому-то будущую гармонию. Самые великие цели н и к о г д а не могут оправдать применение неправедных средств.

Сформировавшись в условиях постоянной борьбы, классовых страстей, бескомпромиссного мироощущения, Сталин на каком-то этапе своего становления как личности полностью утратил даже элементарные гуманистические качества, которые и раньше-то были у него крайне «дефицитными». Ему были чужды сострадание, милосердие, всякое понимание добра. Лексикон Сталина, его политический словарь переполнен словами типа: «бить», «разгром», «уничтожение», «искоренение», «пресечение». Они очень точно отражают глубокую нравственную ущербность его натуры. В силу этого люди, подобные Берии, способные абсолютно не ценить жизни других людей, не вызывали у него протеста, возмущения, неприятия.

Но вот когда самому Берии 23 декабря 1953 года был объявлен смертный приговор, члены Специального присутствия Верховного суда СССР, заседавшего в здании штаба Московского военного округа, могли воочию увидеть всю бездну ничтожества и никчемности этого человека, которому Сталин позволил преступно распоряжаться жизнями тысяч людей. Как рассказывал мне покойный маршал К. С. Москаленко, принимавший участие в аресте Берии и суде над ним, этот выродок стал на коленях извиваться в ногах своих судей. Однажды Ф. Энгельс проницательно заметил: «Нельзя уйти от своей судьбы... от неизбежных последствий своих собственных действий».

Есть свидетельства (сейчас их, правда, трудно документально подтвердить), которые говорят о том, что у Берии незадолго до смерти Сталина созрели намерения узурпировать власть. Возможно, стареющий «вождь» сам это чувствовал, во всяком случае, в последние год-полтора жизни Сталина в их отношениях стало заметно похолодание. Об этом мне рассказывали многие люди, в то время тесно общавшиеся по работе со Сталиным. Особенно много интересного поведала мне Мария Семеновна Власик, жена генерал-лейтенанта Н. С. Власика, бывшего начальника Главного управления Министерства государственной безопасности.

Власик более четверти века был главным «охранником» Сталина, пользовался большим доверием вождя, многое знал. Берия его ненавидел, однако Сталин не давал трогать Власика. Но за год до смерти Сталина Берии все же удалось скомпрометировать Власика, как и Поскребышева, и удалить их из сталинского окружения. При этом Власик был арестован и приговорен к десяти годам тюремного заключения и ссылки. Выйдя на свободу уже после смерти «вождя», абсолютно убежденный, он утверждал в разговорах, что Берия «помог» умереть Сталину. Ведь именно он в последний год убрал врачей, наблюдавших за здоровьем Сталина, устранил его, Власика, и Поскребышева, а также еще нескольких лиц из обслуживающего персонала. Незадолго до своей смерти Власик надиктовал Марии Семеновне тоненькую тетрадку воспоминаний, где, судя по тексту, это предположение, а затем просто уверенность бывшего начальника сталинской охраны занимают едва ли не центральное место.

Как бы то ни было на самом деле — умер диктатор своей смертью или «с помощью» Берии,— становится страшно: что же могло произойти с нашим Отечеством, если бы чудовищные планы этого монстра были реализованы! Ведь тогдашняя система абсолютно не исключала смену одного диктатора другим. То, что невозможно в условиях демократии, существовавшей тогда лишь на

бумаге, превращается в грозную реальность в обстановке тоталитарности. У руководства партии и государства наконец достало мужества и проницательности, чтобы обезвредить чудовище. Думаю, кстати, немаловажным фактором для подобной решимости явилось понимание того, что Берия не преминет расправиться с большинством из руководителей,— близкие отношения у несостоявшегося диктатора были лишь с Маленковым.

Процесс над Берией, по словам маршала Москаленко, проходил в кабинете члена Военного совета Московского военного округа, но высшее партийное руководство в Кремле, куда была проложена специальная телефонная связь, внимательно следило за его развитием. Г. М. Маленкову, Н. С. Хрущеву, В. М. Молотову, К. Е. Ворошилову, Н. А. Булганину, Л. М. Кагановичу, А. И. Микояну, Н. М. Швернику, другим руководителям, также вполне ответственным за годы беззакония, предоставилась хорошая возможность заглянуть на самое дно бездны злодеяний, которые мог творить с помощью и Сталина, и их самих этот каратель.

Мы уже говорили о попытках людей предотвратить бериевщину. Но все было напрасно. Сохранились документальные свидетельства о том, что те люди исчезали быстро и навсегда: Берия не случайность, он устраивал Сталина. На одном из Пленумов ЦК в 1937 году (а их, повторяем, состоялось в том году несколько) нарком здравоохранения Каминский попытался сказать о подлинном лице Берии. Однако, едва Пленум закончился, Каминский был арестован и вскоре погиб. Старый коммунист Кедров также хотел сообщить Сталину о преступной деятельности злодея — результат был тот же самый. Приговор старому большевику сфабриковали уже после его расстрела и оформили задним числом.

Человек, который по роду своей деятельности должен быть в высшей степени предан Закону и только Закону, олицетворял собой абсолютное беззаконие и произвол. И ответствен за это прежде всего Сталин. Берия был идейно бесполым, для него не существовало ничего святого — он боготворил только насилие.

Человек, носивший крошечное пенсне, с опущенными уголками рта, что придавало лицу капризное выражение, был ледеияще холоден. Его глаза, как у ящера, почти никогда не мигали. Будучи садистом, Берия часто вел допросы лично, которые нередко заканчивались трагически. Этот монстр совмещал свои преступные наклонности с меломанством. Рассказывают, что у него была уникальная коллекция пластинок классической музыки, и когда он слушал прелюдию Рахманинова, мог плакать. Истории тоже известны подобные парадоксы, которые лишь полнее высвечивают абсолютную пустоту души.

Генсек, хотя бы на словах ценивший аскетизм и пуританство, не мог не знать, что Берия был к тому же самым гнусным развратником. Он представлял собой тип людей, которым просто неведомы даже азы нравственности. Полковник Надорая, начальник его личной охраны, и адъютант, полковник Саркисов, «поставляли» Берии понравившихся ему женщин. Малейшее сопротивление его очередной жертвы влекло самые трагические последствия и для нее самой, и для ее близких. Преступник, политический авантюрист и нравственный подонок в одном лице, Берия навсегда останется личностным обвинением Сталину, допустившему его возвышение.

Немало подробностей о Берии я узнал от Е. П. Питовранова, работавшего в НКВД с тридцатых годов и ставшего после войны начальником управления и заместителем наркома. Кстати, сам он уцелел лишь потому, что оказался в тюрьме за «мягкость» по отношению к «врагам народа». По его словам, Берия был не только абсолютно безнравствен, но и глубоко аполитичен. «Думаю,— говорил мне Питовранов,— Берия ничего не понимал в марксизме, совсем не знал ленинских работ. Политика для него имела смысл лишь в связи с его собственными целями. И только власть, власть, власть над людьми! Трудно понять, почему Берия, о котором Сталин очень многое знал, так долго держался на поверхности. Обычно генсек взваливал на таких людей ответственность за все свои провалы и беспощадно их убирал, а Берия держался». Видимо, дело все же в том, что люди такого типа были близки Сталину своей готовностью выполнить л ю б о е его указание. И, надо сказать, Сталин давал Берии самые щекотливые поручения. Так, Троцкий, непримиримейший личный враг «вождя», в конце концов был физически устранен не без участия наркома.

Отсутствие каких-либо моральных принципов у этого монстра вскоре стало известно всему окружению Сталина, и не было человека, который бы откровенно не боялся Берии. Особое отношение Сталина к нему Берия порой демонстративно подчеркивал, перебрасываясь с «вождем» в присутствии членов Политбюро несколькими фразами на грузинском языке. В эти минуты все подавленно замолкали, и можно представить себе, что тогда думал каждый: а вдруг речь идет о нем?

Во время войны Сталин давал Берии задания, которые были в основном связаны с работой заключенных в тылу: в предельно короткие сроки восстановить мосты, проложить железнодорожные ветки, открыть новые рудники. Так что «боевые действия» Берии в Великой Отечественной войне фактически ограничиваются двумя его поездками в качестве члена ГКО на Кавказ — в августе 1942-го в в марте следующего года. Архивы свидетельствуют: и здесь он от имени Сталина нагонял страх на военных работников, снимал неугодных ему людей, расстреливал. Сопровождали его в тех поездках Кобулов, Момулов, Мильштейн, Пияшев, Цанава, Рухадзе, Владзимирский, Каранадзе, Какучья, его собственный сын. Досталось Тюленеву, Сергацкову, Петрову, другим военачальникам. Каждый из них, выходило, имел не только противника перед собой, на поле боя, но и коварного заплечных дел мастера в тылу. Телеграммы наркома внутренних дел Сталину, как правило, играли решающую роль при назначениях. 1 сентября 1942 года Берия, например, докладывал генсеку:

«Командующим Закавказским фронтом считаю целесообразным назначить Тюленева, который, при всех недостатках, более отвечает этому назначению, чем Буденный. Надо отметить, что в связи с его отступлениями авторитет Буденного на Кавказе значительно пал, не говоря уже о том, что вследствие своей малограмотности безусловно провалит дело...

Берия».

В трудную минуту, как докладывал Тюленев в Москву, он обратился к Берии за разрешением использовать большой контингент внутренних войск, дислоцированных на Кавказе. «Берия согласился выделить лишь малую часть,— писал Тюленев,— и то по указанию Сталина».

Своей бурной деятельностью Берия создавал в штабах обстановку нервозности, подозрительности и взаимных доносов. Так, генерал Д. Козлов был вынужден обратиться к Сталину с жалобой на начальника особого отдела Рухадзе, который с ведома Берии пытался оказывать давление на руководство фронта при принятии оперативных решений. Но все эти слабые протесты игнорировались в Москве. Само присутствие монстра буквально парализовывало творческую мысль военачальников — никто не хотел оказаться его очередной жертвой. Когда Берия со своей длинной свитой уезжал, тут же спадало напряжение: за спиной не чувствовалось смертельное дыхание палача.

«Ленинградское дело», «мингрельское», «дело врачей», другие подобные акции — прямое проявление преступного «творчества» Берии. Он был могущественным человеком не только потому, что стал у пульта карательной машины, но и потому, что в его распоряжении была вся система ГУЛага. Когда американцы взорвали свои бомбы над Хиросимой и Нагасаки, Сталин приказал форсировать отечественные работы в этой области. Общее руководство было возложено на Берию. Его подручные, В. Н. Меркулов, В. Г. Деканозов, Б. З. Кобулов, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешик, Л. Е. Владзимирский, были послушными исполнителями злой воли. Это их усилиями, всячески одобренными Сталиным, получили «права гражданства» научные, инженерно-технические лаборатории в лагерях для заключенных. Мощь интеллекта многих выдающихся людей, закованных в прямоугольники «зон», напряженно искала жизненно важные решения, необходимые для того, чтобы в кратчайшие сроки ответить на грозные вы-

зовы современности. Конечно, то, что советская атомная бомба была создана в кратчайшие сроки, вовсе не заслуга Берии — свободный разум в условиях нормального научного созидания справился бы с этой проблемой наверняка быстрее. Но Берия верил только во всемогущество насилия.

А старый большевик Кедров верил в справедливость. Приведу выдержки из его письма, адресованного Центральному Комитету партии:

«Я обращаюсь к вам за помощью из мрачной камеры лефортовской тюрьмы. Пусть этот крик отчаяния достигнет вашего слуха; не оставайтесь глухи к этому зову; возьмите меня под свою защиту; прошу вас, помогите прекратить кошмар этих допросов и покажите, что все это было ошибкой.

Я страдаю безо всякой вины. Пожалуйста, поверьте мне. Время докажет истину. Я — не агент-провокатор царской охранки; я — не шпион; я — не член антисоветской организации, как меня обвиняют на основании доносов. Я невиновен и в других преступлениях перед партией и правительством. Я — старый не запятнанный ничем большевик. Почти сорок лет я честно боролся в рядах партии за благо и процветание страны...

Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломлено, мои силы и энергия тают, конец приближается. Умереть в советской тюрьме заклейменным как низкий изменник Родины — что может быть более чудовищным для честного человека. Как страшно все это! Беспредельная боль и горечь переполняет мое сердце! Нет! Нет! Этого не будет! Этого не может быть! — восклицаю я. Ни партия, ни Советское правительство, ни народный комиссар Л. П. Берия не допустят этой жестокой и непоправимой несправедливости. Я твердо убежден, что при наличии спокойного объективного разбирательства моего дела, без грубой брани, без гневных окриков и без страшных пыток — было бы легко доказать необоснованность всех этих обвинений. Я глубоко верю, что истина и правосудие восторжествуют. Я верю. Я верю».

В ответ на это письмо Берия приказал немедленно расстрелять Кедрова. Без суда. Но старый большевик оказался прав: истина, горькая правда победила.

Вина без прощения

Пройдут годы, пока люди, узнав все без прикрас, недомолвок и недосказанностей, смогут хотя бы чуть-чуть спокойнее перелистывать кровоточащие страницы былого, на которых, надеюсь, с полной определенностью будет сказано, что главный виновник происшедшего — Сталин и созданная им командно-административная система во всех ее проявлениях. Что бы ни сделал Сталин для укрепления государства, для разгрома фашистской агрессии, вина в происшедшем в конце тридцатых годов безмерна, и за это ему никогда не будет прощения. А это только часть всей вины.

В 1937—1938 годах Сталин публично — ни устно, ни печатно — не выражал своего курса на ужесточение репрессий. Даже его выступление на февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК, позже опубликованное «Правдой» в сокращенном виде, больше сводилось к призывам о бдительности, недопустимости беспечности, опасности троцкизма, хотя зловещие ноты здесь чувствуются за каждой фразой. Но в действительности именно он управлял всей огромной машиной насилия. В сборнике «О подрывной деятельности фашистских разведок, троцкистско-бухаринской банды в СССР и задачах борьбы с ними», выпущенном рядом издательств, изложен доклад Сталина на Пленуме, доклад В. М. Молотова, напечатаны статьи Н. Рубина, Я. Сереброва, А. Хамадана, С. Урамова, А. Вышинского, передовицы из «Правды». Подобные публикации буквально нагнетали психоз шпиономании и вредительства, поощряли доносительство, создавали гнетущую обстановку надвигающейся беды. Сталин как будто стоял в «стороне», за кулисами. Но, находясь там, он не просто наблюдал, он умело дирижировал этим трагическим действом. Он не раз приглашал к себе в кабинет Ежова, Вышинского, Ульриха, обсуждал с ними ход следствия, сам процесс и приговор, особенно когда это касалось известных всем людей. Иногда от имени генсека передавал распоряжения Поскребышев. Во многих документах по «делам» арестованных и борьбе с «врагами народа» сохранились следы личной правки Сталина. Так, например, по докладу Ежова, сделанному на февральско-мартовском Пленуме ЦК, была принята специальная резолюция, некоторые пункты которой о «недостатках» были по предложению генсека уточнены в его редакции:

«б) Отмечается плохая постановка следственной работы. Следствие часто находится в зависимости от преступника (!) и его доброй воли дать исчерпывающие показания или нет...

г) Создан нетерпимый режим для врагов Советской власти. Их размещение часто более походит на принудительные дома отдыха, чем тюрьмы (пишут письма, получают посылки и т. д.)».

Далее предписывалось немедленно устранить эти «недостатки» в отношении «врагов». Нетрудно представить себе, как наводился «порядок», к которому призывал Сталин!

Даже после ноябрьского постановления 1938 года, когда кровавая вакханалия стала постепенно затихать, Сталин требовал «завершить незакрытые дела». Вместо того чтобы спокойно разобраться и освободить невинно арестованных — извиниться перед ними! — затухающие волны кампании смывали в небытие все новых и новых людей.

Вот одно из последних крупных донесений того периода:

«В ЦК ВКП(б)

товарищу Сталину И. В.

С 21 февраля по 14 марта 1939 года Военной коллегией Верховного суда СССР в закрытых судебных заседаниях в Москве были рассмотрены дела в отношении 436 человек. Осужденных к расстрелу — 413. Приговоры на основании Закона от 1 декабря 1934 года приведены в исполнение.

На судебном заседании Военной коллегии полностью признали себя виновными Косиор С. В., Чубарь В. Я., Постышев П. П., Косарев А. В., Вершков П. А., Егоров А. И., Федько И. Ф., Хаханьян Л. М., Бакулин А. В., Берман Б. Д., Берман Н. Д., Гилинский А. Л., Гей К. В., Смирнов П. А., (бывший нарком Военно-Морского Флота.— **Д. В.**), Смирнов М. П. (бывший нарком торговли.— **Д. В.**) и другие.

Некоторые подсудимые на суде от своих показаний, данных на предварительном следствии, отказались, но были полностью изобличены другими материалами дела...

Председатель Военной коллегии
Верховного суда Союза ССР
армвоенюрист В. Ульрих».

16 марта 1939 года

Кстати, в списке указан А. И. Егоров как «сознавшийся» и «осужденный». Это еще одна фальсификация — он не «сознался» и погиб во время следствия.

Как всегда, ничто не дрогнуло у Сталина, и, как всегда, короткая жестокая фраза Поскребышева: «Сталину доложено». Очень многие люди писали из застенков письма Сталину, но лишь единичные письма доходили до него. Реакция же генсека была всегда однозначная — не было случая, не встречал я такого, когда бы Сталин вмешался, заставил разобраться, спас человека.

После решения (опросом) членов ЦК в июле 1938 года был выведен из кандидатов в члены Политбюро В. Я. Чубарь, куда он был избран на XV съезде партии. Чубарь написал Сталину большую толковую записку о мерах по улучшению военно-оборонной промышленности. Генсек внимательно прочитал ее, отметил про себя дельный характер выводов и предложений, но ему не понравилась концовка письма:

«Все эти соображения я готовился доложить, но дело опять сорвалось и опять не по моей вине. Очень обидно и тяжело сознавать, что из-за потока клеветы и происков врагов народа мне приходится выбывать из упряжки, но

где бы ни пришлось мне работать по вашему решению, везде и всегда буду честно и добросовестно бороться за наше общее дело, за процветание СССР и за коммунизм.

16 июля 1938 г. В. Чубарь».

«Хитрит»,— по-видимому, решил он и велел переслать письмо Ежову — Сталина невозможно было «разжалобить». Узнав из доклада Ульриха о казни Чубаря и других осужденных, генсек никак не отреагировал на это и, отложив в сторону рапорт Председателя Военной коллегии, стал неторопливо читать предложение М. Митина и П. Поспелова о необходимости подготовки «Краткой биографии И. В. Сталина».

Генсек мог вспомнить, что и Эйхе, и Рудзутак, и Постышев, и многие, многие другие просили его вмешаться и остановить расправу. Все клянутся в верности ему, «товарищу Сталину». Но почему они просят? Разве это достойно? «Если НКВД разобралось и решило, при чем тут товарищ Сталин?» — он любил и думать, и говорить о себе в третьем лице. Никакого сострадания... И еще раз обратимся к Ф. М. Достоевскому. «Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен»,— писал он в «Записках из Мертвого дома».

Е. П. Питовранов в своей беседе со мной сказал, что разжалобить Сталина было «дохлым номером». Он просто не обращал внимания на просьбы о помиловании, призывы к милосердию и справедливости. «Когда меня посадили за «мягкость к врагам народа»,— рассказывал мне Евгений Петрович,— я сказал себе: все, конец. Ни один человек из руководящего состава НКВД, будучи арестованным, не выходил живым из Лефортова. В номере со мной сидел Л. Шейнин, следователь и в будущем писатель. Ожидая со дня на день трагической развязки, я в то же время мучительно искал выход. И, как оказалось впоследствии, нашел. Выпросив лист бумаги, написал письмо Сталину, у которого я в качестве начальника одного из главных управлений НКВД не раз бывал на приеме. В письме не стал просить ничего, ни снисхождения себе, ни пощады. Написал только, что у меня есть принципиальные соображения по совершенствованию нашей контрразведки. Я добился, чтобы в камеру пришел начальник тюрьмы и сказал ему: «Об этом письме знают «наверху». Если вы не передадите его по назначению, вам будет плохо». Как мне потом рассказывали,— продолжал Евгений Петрович,— Сталину доложили об этом письме. Он позвонил в наше ведомство и спросил: «За что сидит Питовранов?» Ему ответили. Помолчав, Сталин бросил в трубку: «Возьмите его к себе обратно на работу. Кажется, человек он неглупый». Через несколько дней меня неожиданно выпустили. Сталину для этого понадобилось всего несколько слов. Но, как я понял, мне удалось сыграть на психологии диктатора: я не молил о пощаде, как делали все, а предлагал идеи и новые решения».

В секретариате генсека специальные люди анализировали содержание его почты. Иногда Сталину подавали обобщенную справку, наиболее интересные, по мнению работников, письма. Ему докладывали о прошениях в ЦК Н. И. Вавилова, крупнейшего биолога, генетика, ботаника и географа, гордости советской науки; он знал об аресте М. Е. Кольцова, которого ценил за его репортажи из Испании и с которым встречался в 1937 году; говорили Сталину и о письме С. П. Королева, находившегося в одном из далеких лагерей Колымы... Сколько их было, таких писем! Но эти часто потрясающие документы абсолютно не волновали Сталина. Он полагал, что страдания людей неизбежны, они как закономерная расплата за прогресс, за движение к великой цели, за успехи на пути строительства нового общества.

Великие идеи, в этом Сталин был уверен, требуют самоотверженности, самопожертвования, полной самоотдачи — без жертв социализм построить нельзя. А поскольку их, жертв, было так много, то Сталин к ним привык. Правда, никаких обобщающих данных, статистических выкладок о репрессированных в печати не сообщалось — генсек запретил это делать. Люди питались жуткими слухами.

В общественное сознание, нацеленное на достижение конкретных экономических, социальных, культурных вершин, дорогу прокладывал страх. Поселившийся в те годы под крышей многих жилищ, этот страх питался не реальной виной, а наветами, произволом, злобой случая. ...Кто-то не пришел на работу; ночью к соседям приехали четверо и забрали хозяина; кому-то осторожно говорили, чтобы передали семье: муж сегодня с завода не придет; то вдруг в школьной библиотеке стали вырывать страницы из учебников... Как будто кто-то невидимый прореживал своей рукой человеческое поле.

Сталин знал точные цифры, но они его не пугали. Правда, где-то во второй половине тридцать восьмого года к нему начали поступать тревожные донесения: поднятые по тревоге две дивизии Киевского военного округа с выходом в назначенное время в заданный район не справились; проектирование химического комбината осуществлено неудовлетворительно; конструкторское бюро по разработке транспортных самолетов запаздывает с выполнением задания... Становилось ясно, что дело не только во «вредителях». Страна, народное хозяйство были отброшены не на месяцы, а, скорее, на годы назад.

Сталин, как всегда в таких случаях, мы помним, нашел «виновного» — им оказался Ежов. А. С. Яковлев, известный советский конструктор, встречавшийся со Сталиным, вспоминал такие слова «вождя»: «Ежов — мерзавец, в 1938 году погубил много невинных людей. Мы его за это расстреляли». Арестованным кандидатам в члены Политбюро Постышеву, Рудзутаку, Чубарю, Эйхе, помимо других преступлений, вменялась и вина в «истреблении большевистских кадров». Сталин и на сей раз пытался переложить ответственность за террор на других людей.

Генсеку доложили об их письмах, в которых они полностью отрицали свою вину. А ведь Сталин вместе с ними обсуждал государственные и партийные вопросы, звонил им, давал поручения. Каждого из обратившихся к нему — Постышева, Косиора, Рудзутака, Чубаря и Эйхе — он знал по многу лет. Прежде чем рекомендовать их для избрания в состав Политбюро, Поскребышев, Мехлис, Ягода, Ежов изучили их родословную до «пятого колена». Они были проверенными людьми и писали об этом же Сталину в своих предсмертных обращениях, говорили на заседаниях неправого суда. Вот что, в частности, написал Эйхе в своем послании Сталину:

«Я перехожу теперь к самой унизительной поре моей жизни — к моей действительно серьезной вине перед партией и перед вами. Эта вина — мое признание в контрреволюционной деятельности. Но положение было таково: я не смог вынести тех пыток, которым меня подвергали Ушаков и Николаев, особенно первый из них — он знал о том, что мои поломанные ребра еще не зажили, и, используя это знание, причинял при допросах страшную боль — меня вынудили обмануть себя и других (своим признанием).

...Я прошу вас, я умоляю вас вновь рассмотреть мое дело не для того, чтобы пощадить меня, но для того, чтобы разоблачить всю ту гнусную провокацию, которая, как змея, обволокла теперь стольких людей из-за моей слабости и преступной клеветы. Я никогда не предавал ни вас, ни партию. Я знаю, что гибну из-за гнусной, низкой провокации врагов партии и народа, которую они сфабриковали против меня».

Читая письмо Эйхе, Сталин не мог не знать, что «змею провокации» выпустил он сам, глава партии и государства. Генсек даже не стал советоваться с другими членами Политбюро: приговор Эйхе он уже сделал, когда дал санкцию на его арест, а своих решений Главный Инквизитор страны никогда не менял.

Сталину доложили и о заявлении Рудзутака на суде, продолжавшемся всего двадцать минут. Единственная просьба, с которой он обратился к суду, это «сообщить в ЦК ВКП(б), что в НКВД есть еще не ликвидированный центр, ловко фабрикующий дела и заставляющий невинных людей сознаваться в пре-

ступлениях, которых они не совершали; у обвиняемых нет возможности доказать, что они не участвовали в преступлениях, о которых говорится в таких признаниях, вымученных от различных лиц. Методы следствия таковы, что они вынуждают людей лгать и клеветать на невинных». Рудзутак просил встречи со Сталиным, но генсек ответил на это грубой бранью. И старый большевик, отсидевший десять лет еще в царской тюрьме, погиб в сталинских застенках.

Накануне ареста, в мае 1937 года, Рудзутак был у Сталина и спокойно докладывал ему по вопросу, который интересовал генсека. Но «вождь» в тот момент уже не слушал его, а пытался понять, насколько был верен донос Ежова, в котором говорилось, что якобы еще со времен Генуэзской конференции Рудзутак завербован иностранной разведкой. Работая председателем ЦКК ВКП(б) и наркомом РКИ СССР, а в последнее время и заместителем Председателя Совнаркома, Рудзутак, выходило, поддерживал связь с троцкистами. Сталин мог припомнить, что однажды, еще при жизни Ленина, Троцкий высоко отозвался о Рудзутаке-дипломате как об эрудите, интеллигенте, владевшем несколькими иностранными языками. Вот уж тут сомнения сразу отпадали...

Вечером того же дня, подписывая приветствие Советского правительства участникам экспедиции на Северный полюс, Сталин среди других увидел и подпись Рудзутака. После секундной заминки генсек своей рукой вычеркнул эту фамилию. А назавтра, 24 мая 1937 года, Сталин продиктовал текст извещения членам ЦК для заочного голосования (опросом): «Органами НКВД неопровержимо установлено, что М. Тухачевский и Я. Рудзутак являлись немецко-фашистскими шпионами...» Замечательный советский полководец и крупный государственный деятель, большевик ленинской школы, волею Сталина оказались в одной трагической связке, но лишь с одной небольшой разницей: Тухачевскому предстояло прожить немногим более двух недель, а Рудзутаку — около года...

Диктатор, повторяем, лично предрешал судьбы многих тысяч людей. Практически все предложения Ежова, Ульриха, Вышинского о вынесении самых жестоких приговоров поддерживались им. Я уже писал, что иногда Сталин просто устно говорил: «Согласен», но очень часто он снисходил и до того, что оставлял свой «автограф» на чудовищном некрологе. Те, кто до сих пор кивают на Ежова и Берию, что это, мол, дело их рук, глубоко ошибаются. Следы самого Сталина кровавы, и есть множество документов, свидетельствующих о его чудовищной беспощадности. Вот один из них:

«Товарищу Сталину.

Посылаю списки арестованных, подлежащих суду Военной коллегии по первой категории.

Ежов».

Резолюция лаконична: «За расстрел всех 138 человек.

И. Ст., В. Молотов».

Еще один потрясающий в своей жестокости документ:

«Товарищу Сталину.

Посылаю на утверждение 4 списка лиц, подлежащих суду: на 313, на 208, на 15 жен врагов народа, на военных работников — 200 человек. Прошу санкции осудить всех к расстрелу. 20.VIII. 38 г. Ежов».

Резолюция, как всегда, однозначна: «За. И. Ст., В. Молотов. 20.VIII.»

Были и просто чудовищные «рекорды»: 12 декабря 1938 года Сталин и Молотов санкционировали к расстрелу 3167 человек! Эти списки, которые находятся в архиве, составлены без указания вины, результатов следствия. Фактически бывало и так, что после утверждения списков дело оставалось лишь за «формальным» вынесением приговоров. Подобную кровавую статистику можно приводить без конца. Но ведь за этими «списками», бумагами стояли *конкретные* люди! Со своими судьбами, муками, надеждами!

Передо мной лежит письмо почти девяностолетней Веры Ивановны Дерючиной из Белой Церкви. Одно это ее письмо может стать страшным обвинением всему тому, что творила сталинская карательная машина.

«Когда страшной ночью 1937 года,— пишет Вера Ивановна,— пришли за моим мужем-шахтером, выполнявшим по четыре нормы, стахановцем, я думала, что это ошибка. Сказали мне: не реви, дура, через час придет твой муж. А пришел через двенадцать лет. Инвалидом. И что только я не перенесла с малыми детьми, престарелой матерью — описать невозможно! Из квартиры выгнали, везде на нас стояло клеймо: семья врага народа. Если бы не добрые люди, то все бы погибли... Напишите о моей судьбе в своей книге где-нибудь в уголочке».

Или вот еще письмо от москвича Степана Ивановича Семенова, отсидевшего в сталинских лагерях пятнадцать лет. У него расстреляли двух братьев и в тюрьме умерла жена. Сейчас это уже глубокий старик, у которого нет никого — ни детей, ни внуков. В его письме есть такие строки:

«Самое страшное, когда тебя никто не ждет, когда ты никому не нужен. У меня и братьев могли быть дети, внуки, семьи. Проклятый Тамерлан все изломал и растоптал. Он лишил будущего еще не родившихся граждан. Не дал им родиться, поскольку убил их отцов и матерей. Доживаю жизнь в одиночестве и до сих пор не могу понять: как мы не рассмотрели в «вожде» чудовища, как наш народ допустил такое?».

Гигантская машина террора — родное дитя сталинизма. Авторство генсека здесь несомненно. Поэтому встречающиеся рассуждения некоторых людей (об этом писал еще И. Эренбург в 1962 году, много позже повторяли эту идею и другие) о том, что «Сталин не знал того, что творил Ежов», «не представлял масштабов и размаха репрессий», это, мол, «дело рук провокаторов, пробравшихся в НКВД»,— не имеют под собой никаких оснований. Сталин руководил репрессиями, Сталин определял «стратегию» террора, Сталин корректировал акценты в этом насилии, Сталин пытался всячески скрыть подлинные масштабы разбоя, ликвидировав многих исполнителей его воли. Думаю, никто, кроме самого Сталина, не знал настоящего размаха, апофеоза тирании в «эпицентре трагедии».

Конечно, знали и знают немало об этом и те, кто был вольным или невольным орудием террора. В ходе работы над книгой я получил, как уже говорил, не одну тысячу писем от читателей. Но письма этих людей я узнавал сразу — часто они без подписи. Приведу несколько выдержек из них:

«Сталин, как санитар, очистил родину от швали. Да, жалко, плохо очистил, коли и сегодня есть такие, кто топчет это светлое имя». Ю. К.

«Поиграете в демократию, поиграете и позовете диктатора. В России никогда без сильной руки ничего путного нельзя было сделать. Сталин из страны с сохой сделал державу с атомной бомбой. Этим все сказано». Без подписи.

Однажды вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Старческий голос представился «Иваном Николаевичем» (думаю, вымышленное имя). Без обиняков звонивший заявил, что «с удовольствием поставил бы меня к стенке», тем более что в 1937—1938 годах он этим занимался. «Не трогайте Сталина,— прошамкал бывший исполнитель приговоров,— он еще вернется к нам в другой форме»,— и положил трубку.

Сознание таких людей как бы застыло на уровне 1937 года, и их ущербное мировоззрение «винтиков» не изменили ни годы, ни ветры перемен. Этих людей осталось немного, но о своем участии в великом терроре они предпочитают публично не говорить. И если в восьмидесятые годы старец со скрипучим голосом говорит вам о том, что «он не сожалеет о своем соучастии», это уже не поза, а позиция. В сознании таких людей сталинизм засел крепко, и покаяние им вряд ли доступно.

В истории всегда есть страницы, которые люди хотели бы поскорее забыть, но этого сделать невозможно и не надо. Все, что было, стало частью нас самих. Через это прошли главным образом те поколения, которых уже нет с нами. Чем больше мы живем, тем меньше остается людей, которые старше нас, и с каждым днем все больше тех, кто нас моложе. Но горькая память о безвинно погибших в годы сталинского безумия остается с нами.

Мы помним облик Сталина по фотографиям, кадрам хроники, видели монументы, бюсты, которые незаметно, но как-то быстро исчезли со своих пьедесталов. Генсек часто изображался с поднятой рукой, «указывающей» всем путь в светлое будущее, с доброй улыбкой, характерным прищуром желтоватых внимательных глаз. Кто мог тогда думать, что за этой улыбающейся маской скрывается патологическая жестокость, бессердечие и коварство, равных которым найти непросто даже в нашей многострадальной истории? Но это в полной мере почувствовали не только миллионы репрессированных и их семьи, но и родственники самого генсека. Один из пытливых исследователей жизни И. В. Джугашвили-Сталина, В. В. Нефедов, провел немалую работу по исследованию судеб ближайших и дальних родственников вождя. Ему удалось установить, что по линии Е. С. Сванидзе (первой жены) были репрессированы:

1. Александр Семенович (Алеша) Сванидзе, брат жены Сталина. Член партии с 1904 года. Был наркомом финансов Грузии, до 1937 года работал в наркомате финансов СССР. Один из ближайших друзей Сталина. Был обвинен в шпионаже и расстрелян.

2. Мария Анисимовна Сванидзе, жена А. С. Сванидзе. Оперная певица. В 1937 году арестована, приговорена к десяти годам тюрьмы. Умерла в ссылке.

3. Иван Александрович Сванидзе, сын А. С. Сванидзе. Был арестован как сын «врага народа». Вернулся из ссылки в 1956 году.

4. Мария Семеновна Сванидзе, сестра жены Сталина. В 1927—1934 годах — личный секретарь А. С. Енукидзе. Арестована в 1937 году. Умерла в тюрьме.

5. Юлия Исааковна Мельцер (Джугашвили), жена сына Сталина Якова. Была арестована, в 1943 году освобождена.

По линии Н. С. Аллилуевой (второй жены Сталина) были репрессированы:

1. Анна Сергеевна Аллилуева, сестра жены Сталина. Арестована в 1948 году и осуждена на десять лет за «шпионаж». Освобождена в 1954 году.

2. Станислав Францевич Реденс, муж А. С. Аллилуевой, нарком внутренних дел Закавказья, Казахстана. Делегат XV, XVI, XVII съездов ВКП(б), член ЦКК — ЦРК ВКП(б). В 1938 году арестован как «враг народа», в 1941 году расстрелян.

3. Евгения Александровна Аллилуева. В 1948 году арестована и осуждена за «шпионаж» на десять лет. В 1954 году освобождена.

4. Иван Аллилуев (Алтайский), сын П. Я. Аллилуева. Член партии с 1920 года, редактор журнала «Социалистическое земледелие». Арестован в 1938 году; с помощью С. Я. Аллилуева освобожден в 1940 году.

Сохранились записки Ивана Аллилуева, племянника С. Я. Аллилуева, который был осужден «за участие в контрреволюционной организации» и отбывал срок в «Сороклагере». В них он описывает своих друзей по несчастью: комбрига Холодкова, начальника одного из управлений Московского военного округа Лапидуса, молодого парня Петра Жилу, который попал, кстати, во «враги народа» только за то, что однажды сидел рядом с Косаревым в президиуме съезда комсомола Украины.

Как потом выяснилось, за Ивана Павловича, осмелившись, стал хлопотать его престарелый дядя С. Я. Аллилуев. Не решившись просить об этом Сталина, он обратился к Берии и Кобулову, и, пожалуй, единственный раз монстр сжалился.

В своей жестокости Сталин не был избирательным — для всех одна мера. Свои и «чужие», знакомые и родственники, товарищи по ЦК и совсем незнакомые люди, молодые и старые большевики, неграмотные мужики и академики, мужчины и женщины,— если на их «деле» ставился штамп «враг народа», эти люди сразу превращались для Сталина в «лагерную пыль». Как только от Ежова или Берии поступали «сигналы» о «вредительской» или иной «контрреволюционной» деятельности (а среди родни Сталина было особенно много «шпионов», что и понятно,— источник-то «информации» самый высокий!) его близких, «вождь», не раздумывая, давал санкцию на арест. Обычно Сталин больше этим человеком не интересовался. Пожалуй, было лишь одно исключение. Когда ему сказали, что к расстрелу как «немецкий шпион» приговорен А. Сванидзе, Сталин сухо бросил: «Пусть попросит прощения». Перед расстрелом Сванидзе передали слова «вождя». «О чем я должен просить? — удивился узник.— Ведь я никакого преступления не совершал». И Сванидзе расстреляли.

Сталин, узнав о последних словах своего близкого друга детства и родственника, лишь обронил:

— Смотри, какой гордый,— умер, но не попросил прощения...

«Вокруг отца,— писала его дочь Светлана,— как будто очерчен черный круг,— все, попадающие в его пределы, гибнут, разрушаются, исчезают из жизни...»

Писать Сталину, повторяем, было бесполезно — будь ты кандидатом в члены Политбюро, рядовым человеком или близким родственником. Думаю, эта в известном смысле «личная» страница жизни Сталина в который раз четко характеризует глубокую антигуманность его натуры, исключающей малейшее милосердие и сострадание, а также то, что Сталин, по-видимому, не мог соглашаться на аресты своих родственников без «уверенности» в том, что «так нужно». При исключительной мнительности Сталина его подозрительность почти не распространялась на доносчиков — генсек обычно верил наветам, и судьба его несчастных родственников еще одно подтверждение тому.

Знакомясь с архивами, раскрывающими кульминацию трагедии, встречаясь и беседуя с очевидцами и жертвами тех далеких уже событий, вновь и вновь приходишь к одному выводу: случившееся явилось крайним следствием установления единовластия и разрушения еще хрупких, бедных форм демократии. В истории не раз бывало, когда логика революции или контрреволюции вела к террору. И тогда она, история, самая жестокая из богинь, могла тащить, по словам Ф. Энгельса, свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны. Во второй половине тридцатых годов, повторяем, никаких видимых предпосылок к развязыванию массовых репрессий не было.

Народ принял муки, казалось бы, внешне спокойно, но так могло произойти лишь в условиях, когда не было создано никакого надежного механизма социальной защиты человека. Чем выше в обществе уровень демократии, тем меньше она зависит от личных качеств лидера. В конце концов настоящая демократия просто отвергнет непригодного. А террор, и опять вспомним Ф. Энгельса, состоит в большинстве случаев из бесполезных жестокостей, совершаемых перепуганными людьми для самоутверждения.

По Сталину, великая цель оправдывает широкое применение насилия для создания более «однородного» общества в смысле нивелирования мировоззрения и помыслов людей, живущих при социализме. Но «вождь» ошибся в главном: он плохо знал свой народ. Да, репрессии сделали народ «молчащим», безропотно вынесшим безумие сталинских планов. Но веру, убежденность людей в социальной справедливости Сталин ослабить не смог. У значительной массы людей, чье сознание не было в полной мере замусорено культовой дребеденью, сохранилось резкое неприятие авторитаризма, загнанное глубоко внутрь. Они в то время не могли найти достойного выхода своему глухому недовольству. К слову говоря, многие честные люди по-настоящему задумались, лишь оказавшись за проволокой. Но зерна негодования, гнева, возмущения и скорби за поруганные насилием идеи много лет спустя дали свои всходы.

Сегодня, например, уже по-иному воспринимаются и строки, написанные Троцким в книге «Преступления Сталина» (1937 год). Изгнанник, конечно, смотрел на генсека прежде всего через призму своей личной ненависти и посему предрекал ему близкий крах. Но он не был сильным футурологом и не мог предположить, что осуждение преступлений Сталина произойдет значительно позже. Троцкий писал, что падение Сталина неизбежно: монументы, воздвигнутые в его честь, будут разрушены или сданы в музей жестокостей, а жертвам

сталинизма памятники, наоборот, будут поставлены. Читатель имеет возможность сам судить о выводах Троцкого.

Действия Сталина порой выглядят иррационально: трудно объяснить, например, какой-либо политической логикой резкое ослабление армии накануне страшной войны; он санкционирует уничтожение М. Кольцова, которого хорошо знал, встречался с ним, и не трогает Б. Пастернака с его независимыми взглядами. Действиями Сталина руководила беспредельная жажда власти, которую он так до конца и не смог утолить.

Нельзя смириться с тем, что Сталин сделал пассивными соучастниками своих деяний миллионы людей, которые поверили, что «так нужно». Ему удалось заручиться поддержкой (не столько путем убеждения, сколько страха) множества честных граждан.

Сталинская ложь оставила глубокие следы в памяти людей, в их психологии, в нашей культуре. Но ложь тогда не имеет шансов, когда ей противостоит истина в союзе с совестью. Именно совесть бывает самым требовательным и молчаливым судьей. Обмануть свою совесть невозможно. И сегодня мы знаем, что если совесть в те годы часто молчала, то прежде всего потому, что рядом не было истины.

На годы единовластия приходится кульминация трагедии народа и потому, что тогда насильно были вырваны из жизни многие честные коммунисты, лучшие специалисты, высокие таланты, люди, подававшие особые надежды. Мы знаем, что их замена, часто поспешная, порой случайная и где-то корыстная, не могла быть равноценной. Но Сталин знал: выдвинувшиеся в годы репрессий люди более преданы ему, его «линии», его установкам. Он полностью мог рассчитывать на их преданность и усердие.

За два года до начала войны страна была как бы обескровлена. Нет, дымились трубы фабрик и заводов, бежали по рельсам поезда, студенты шли в университеты, и люди хранили надежду на лучший завтрашний день. Но «обессиленность» чувствовалась во всем: переполненные тюрьмы и лагеря, безвестье о канувших в небытие, поредевшие кадры военных и многое-многое другое. Так было совершено чудовищное надругательство над людьми и великой идеей, захватившей их. Сталин, совершив физический акт злодеяния против своего народа, совершил и преступление против мысли.

Нет, не Сталин остановил безумие: этот бессмысленный террор дошел до своего предела, угрожавшего на рубеже самых тяжких испытаний функционированию самой системы.

Конец первой книги

Н. ЛОШКАРЕВА

Взгляд сквозь «Взгляд»

Литература и критика первых лет перестройки, когда все пришло в движение, само это состояние переходности — богатый материал для наблюдений. Ибо здесь с отчетливостью вдруг обнаруживает себя нечто подспудное, ранее скрытое, резче, иначе видится день вчерашний, проступают симптомы будущего. В значительной степени такие наблюдения обобщены в литературно-критическом сборнике «Взгляд» (составители А. Латынина и Ст. Лесневский), где в зеркале критики, полемики, публицистики отражен этот по-своему уникальный период литературной жизни.

В центре внимания авторов сборника два потока, две силовые линии, которые определяют лицо нынешней литературной ситуации, ее своеобразие.

С одной стороны — поток публикаций. Возвращение в литературу ошельмованных, поруганных писателей, «репрессированных» произведений. Процесс нашего духовного очищения. «Русская литература как бы незримо воссоединяется, ее поле растет, мы начинаем легче дышать в этом освобожденном пространстве» (И. Золотусский).

С другой стороны — новые произведения, рожденные ощущением бездны, к краю которой подошло наше общество. Крик боли и гнева. «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Плаха» Ч. Айтматова. Сюда примыкают и работы Т. Толстой, С. Каледина, Ю. Стефановича, заставившие нас обратить внимание на отверженных, людей дна, о которых ни знать, ни писать не полагалось. Как справедливо отмечает в сборнике Н. Иванова, «проблема «маленького» героя, «маленького» человека является принципиальной, поворотной не только для литературного, но и для общественного сознания».

И все-таки, размышляя о сегодняшнем состоянии литературы, явлениях и тенденциях, в ней зарождающихся, критики не скрывают своего беспокойства. Не раз в том или ином контексте звучит тревожное: «кризис». Одна из статей так и называется — «Кризис? Кризис!». Другие авторы не столь категоричны, но и их высказывания густо приправлены ощущением неблагополучия. И это обнадеживает. Радует стремление (сегодня и возможность!) ответственно и безбоязненно взглянуть на действительное состояние литературы.

Приведу некоторые оценки.

«Явный неурожай произведений на современную тему... Три «кита», на которых мы держались в 1986—1987 годах — «Пожар», «Плаха», «Печальный детектив»,— не могут все-таки снять тревогу серьезной критики за состояние и дальнейшее развитие нашей прозы, особенно молодой» (А. Бочаров). Л. Аннинский, назвав «Печальный детектив» и «Плаху» вещами самобытными, выстраданными, в то же время отмечает, что они не вызвали в нем «ни солидарности, ни восхищения, а скорее горечь и несогласие». «Живет в нас чувство, что питает нас сегодня «золотой запас» прошлого. Пока современная литература по сравнению с ним оказалась неконкурентоспособной» (Г. Белая).

В чем же причины этих тревожных явлений? На мой взгляд, в размышлениях критиков подмечено нечто весьма существенное — симптомы и с ч е р п а н н о с т и старой системы ценностей. Так, А. Бочаров пишет: «Некоторые рукописи, созданные еще в старой «системе ценностей», увяли на корню, а произведения, побужденные новой атмосферой, еще не появились». Эта его мысль сопрягается с замечанием И. Золотусского: «Прошедшие годы мы питались идеями классики. Мы многое заняли у классиков. Теперь дело нас самих осветить себе свечой дорогу». И. Роднянская заостряет внимание на «внутренних мотивах», побуждающих прозаиков расстаться с традиционной художественной системой: В. Распутин и В. Астафьев, по ее мнению, удаляются от «берегов искусства», «обуреваемые тревогой, жаждой предостеречь и научить», А. Битов и В. Маканин (в «Утрате», например) — «гоняясь за материализацией в слове «невидимых предметов», а в сущности — выведенные из художественного равновесия все той же тревогой». Видимо, к настоящему времени, делает вывод И. Роднянская, исчерпался необходимый для художества минимум творческого спокойствия, минимум «незаинтересованного созерцания», здорового, ровного любопытства к человеку, к жизни». «И этот кризис не принадлежность отдельной писательской судьбы,

не следствие усталости того или иного пера. Он шире, глубже частных случаев». И далее: «Чувствуется, что значительные писатели отдаются художественному контакту с миром как бы на прощанье, отчаливая от берегов искусства в некую даль».

Не свидетельствуют ли все эти наблюдения — исчерпанность, недостаточность старой системы ценностей, ожидание новой значительной литературной идеи — в пользу... мысли А. Адамовича о «сверхлитературе», которая у ряда авторов сборника не встречает поддержки? По-моему, эта идея А. Адамовича как-то недооценена или истолкована слишком прямолинейно. (Может быть, смущает неудачный термин «сверхлитература».) Основной его тезис — «поиски новой художественности, новой системы эстетической», вбирающей в себя, адекватно отражающей новое мироощущение, миропредставление единства человеческого рода, рожденное угрозой всеобщей гибели.

Человечество воспитано на старой системе ценностей. Его нравственные нормы, взгляд на себя, на мир, на социальную справедливость, добро и зло сформировались в доядерную эпоху. Литература базировалась на этих ценностях и идеях доядерного мира. Теперь, в ядерный век, когда мир стал совершенно другим, чтобы человечество выжило и могло развиваться дальше, весь комплекс представлений — сам способ мышления — должен измениться. В основу всего должно лечь чувство родового самосохранения. «Помните, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном» (из манифеста Рассела — Эйнштейна). Но мысль эта доходит очень трудно, и в значительной степени человечество продолжает жить с тем же «доядерным» сознанием — нравственным, политическим, эстетическим, обыденным. Острое ощущение этого трагического разрыва — между старым способом мышления и изменившимся миром, неадекватность «доядерной» системы ценностей, «занятой у классиков», новым реальностям — заставляет литературу искать иную эстетическую систему, иные выразительные средства, способные перевернуть сознание. Перевести новое мышление на язык литературы.

Чем же смущает эта идея? Ведь поиски «новой художественности», призывы А. Адамовича имеют под собой реальную почву в самой истории искусства: всегда, когда развитие цивилизации, новые научные открытия существенно меняли представления о мире и человеке, обновлялись и принципы художественного мышления, эстетические системы, рождалось новое искусство, позволявшее увидеть мир не так, как видели его предшественники. Вспомним хотя бы эпоху Возрождения или новое искусство начала нашего века. Почему оппоненты А. Адамовича увидели здесь (только и непременно!) отход от литературы, подчинение характеров диктату авторской мысли, изображение мира в обход художественности? Ведь сам он не раз подчеркивал, что вовсе не предлагает уход от художества в публицистику и эссеистику. И, обращаясь к практике других писателей, пытаясь разглядеть в их творчестве первые шаги, зачатки этой новой художественности, не без основания предполагает, что и подходить к таким произведениям надо с иными мерками: «А вдруг да устарели измерительные приборы, инструментарий для такой вот литературы? Реактивы критические не те? Потому главного не улавливаем, оценить не в состоянии» («Вопросы литературы», 1987, № 6). Даже если А. Адамович не во всем прав, если не соглашаться с ним по частностям, если опыт его самого в «Последней пасторали» в чем-то не удался, его идея все-таки заслуживает серьезного внимания.

Примечательно: причины сегодняшней тревожной ситуации в литературе большинство авторов сборника ищут не только в рамках самого искусства, но и в общественно-исторической ситуации 60—80-х годов, рассматривают обстоятельства, которые «накладывали на литературу неизгладимую деформирующую печать» (Г. Белая).

Вообще бытие литературы в условиях деформированной и деформирующей социальной жизни, в условиях авторитарного государства — тема чрезвычайно актуальная, общественный интерес к ней велик. Без исследований такого рода невозможны ни объективный взгляд на историю литературы, ни ответ на вопрос о наших сегодняшних бедах, ни размышления о дне завтрашнем.

Подробно останавливается на факторах, которые явно исказили истинный лик литературы в годы застоя, Г. Белая. В частности, она пишет: «Не могло не деформировать творчество художника, какой бы внутренней стойкостью он ни обладал», «знание о трагической судьбе литераторов, погибших в 30-е годы, побиваемых на твоих глазах». Судьба Б. Пастернака, А. Твардовского, удары по В. Быкову. «В столкновении с личным опытом, рвавшимся наружу, понимание трагизма ситуации порождало немыслимое душевное напряжение,— продолжает критик.— Не потому ли до сих пор не написан В. Астафьевым давно задуманный им, выношенный и пережитый роман о войне? И скольких книг мы по этой причине недосчитались?» Напрямую связывает и А. Бочаров нынешнее неблагополучие литературы с побиванием, травлей лучших: «...Слишком долго принимали хорошую, честную прозу «отдельные» редакторы и «отдельные» критики. Так что литературе придется, по-видимому, еще какое-то время наращивать мускулы, прежде

чем она сможет поднять трудный груз современных проблем...»

А как сковывали писателя, как отражались на его творчестве запреты на темы, проблемы, политика закрытых зон! Табу распространялось даже на чувства — святая святых литературы: познание внутреннего мира человека на экзистенциальном уровне нашим писателям было заказано...

Пожалуй, нет статьи в сборнике, которая так или иначе не касалась бы этой больной темы — слишком очевидны последствия. На мой взгляд, «запретные темы», «запретные зоны» — выражение не совсем точное: л ю б а я тема, все что угодно могло стать запретным, достаточно было указующего перста чиновника. Любое ведомство имело власть запретить произведение хотя бы на том основании, что в неугодном виде представлены подведомственные ему учителя, мелиораторы, лесорубы и т. п.; какой-нибудь рабочий коллектив мог направить письмо в высокие инстанции с требованием запретить книгу, пьесу, фильм с «очернительским», по его мнению, изложением, скажем, производственного конфликта. Показательна в этом смысле история с запрещением «Нового назначения» А. Бека, восстановленная во «Взгляде» по дневникам писателя его дочерью Т. Бек. Достаточно было вдове министра, которая увидела в главном герое искаженный портрет мужа (?!), пожаловаться в верха, чтобы роман так и не увидел света.

Запреты не оставались чем-то внешним по отношению к писателю и даже не просто сковывали его — они влияли на саму психологию писателя. Приведу свидетельство Д. Гранина из его статьи в сборнике «Иного не дано»: «Вспомнить страшно про авторские мытарства, когда мне, вроде имеющему уже некоторый иммунитет, приходилось биться за каждое слово, за строчку. По «Блокадной книге» цензура нам предъявила 65 (!) замечаний. Это было в 1978 г. После всех предварительных вычерков редактора. Это в «Новом мире». Ни один из ленинградских журналов не смог бы вообще напечатать эту вещь. Завернул бы с порога... Постоянные битвы с цензурой привели к тому, что она свила себе гнездо внутри меня».

Внутренний цензор — могучий контроль над сознанием. Именно к этому стремился командно-бюрократический режим. Любая мысль находилась под контролем — от сих до сих (шаг влево, шаг вправо расценивается...). Искажалась сама суть творчества: какая уж тут «езда в незнаемое», какое художественное открытие, если результат известен заранее — повторение прописей. Правдоискатели не требовались. Любому исследованию был положен предел. Типичный пример с неосуществленным замыслом фильма «Я пришел дать вам волю» В. Шукшина. Восстание Степана Разина — тема незапретная. Вопрос о природе власти — тоже вроде бы. Но стоило писателю углубиться в проблему, начать развивать мысль о том, что «непросвещенное сознание изначально не готово к власти», как его размышления пресекли — зашел за пределы дозволенного. Денег на фильм не дали.

Это ли не охота на мысль, не изживание ее?! Но вот читаем в новой статье А. Латыниной «Колокольный звон — не молитва»: «...Если нет, как в сталинское время, страха перед мыслью, перед человеческим общением, если есть письменные столы и библиотеки, книги и пишущие машинки — то никакую мысль не пресечешь указанием свыше». По-моему, есть много способов пресечения мысли. И пользоваться ими в брежневские времена умели. Работа «в стол» — тоже, между прочим, надежная форма пресечения. «В столе» мысль не живет, там она законсервирована, арестована. (Очень точно назвал В. Камянов литературу, пришедшую к нам из «столов»,— о ж и в ш е й.) Работа «в стол» — это пресечение дальнейшего развития мысли. Чтобы развиваться, мысль, любая — научная, художественная (в широком значении этого слова) — должна быть пущена в мир, в общение, должна стать достоянием общественного сознания. Здесь она вступает в диалог, проверяется на истинность, обогащается сама и оплодотворяет новые идеи.

Мысль питают культурная почва, среда («человеческое общение», «библиотеки, книги»). Почва? — Она истощена до предела всевозможными изъятиями: «урезанные» классики, запрещенные современники, отфильтрованная зарубежная литература. (Тоже проверенная форма контроля над сознанием, пресечение мысли.) Г. Белая рассматривает среди прочих деформирующих литературу причин и эту — как осложняло развитие литературы отсутствие под ногами культурной почвы, когда поколения писателей были лишены возможности общения с мощными художественными мирами Ф. Достоевского, М. Горького (пролетарский писатель до сих пор не издан полностью), А. Белого, М. Булгакова, О. Мандельштама, Б. Пастернака. Можно добавить сюда и рассуждения Т. Балашовой из статьи «Они и мы: презумпция виновности?» о «китайской стене» непонимания и вражды, которая возводилась между советской и зарубежной культурами, ложилась в основу нашей издательской политики.

Ну а если говорить о с р е д е, то может ли она быть полноценной, питательной, когда в ходу лишь дозированное-дозволенное, когда серьезные исследования во всех сферах духовной жизни пресекаются? Лишенная живительных соков — притока свежих, значительных идей,— духовная жизнь общества скудеет. Чахнет и индивидуальная мысль (та, которую якобы не пресечешь). То, что такая среда не питает, а давит, заметил В. Кожинов в статье о поэзии «тридца-

тилетних»: у ряда поэтов, пишет автор, «творческий порыв как бы задавлен воздействием очень многочисленной, «средней» по своему уровню и тону «среды».

А. Латынина считает, что «социальный застой не означал духовного застоя», и в подтверждение своего тезиса пишет: «Весь комплекс идей, которым мы сейчас живем... сформировался в «застойные семидесятые» под ленивым давлением требующего лишь внешней лояльности брежневского режима». Ну вопрос о «внешней лояльности» и «ленивом давлении режима» оставлю в стороне — об этом лучше спросить у высланных поэтов и художников, а вот насчет «комплекса идей» замечено верно: мы живем с тем комплексом идей, который сформировался в застойные семидесятые. И именно поэтому не способны решить многие проблемы, задыхаемся от нехватки идей, инерции мышления. В подтверждение один пример не из области литературы. В 70-е годы не раз с самой высокой трибуны раздавался призыв к политэкономам — начать фундаментальные исследования товарно-денежных отношений при социализме. Но никто серьезно этот призыв не воспринимал, широких исследований в этой области так и не велось: при первом же приближении исследователь наталкивался на всевозможные табу, было ясно: нельзя и шагу сделать, чтобы не потревожить священных коров так называемой политэкономии социализма. И вот теперь, когда мы стоим перед экономической и финансовой реформой с этим багажом, с этим «комплексом идей» 70-х годов, положение наше незавидное.

Конечно, при всей взаимосвязанности материальной и духовной сфер жизни возможны и несоответствия в их состоянии. Но 70-е годы как раз характеризовались гармонией, соответствием одного другому — общим застоем. А вот на нынешнем этапе ощутимая дисгармония: позитивные процессы в духовной жизни значительно опережают экономику, где изменений пока почти незаметно.

Но вернемся к литературе. Всевозможные запреты, исключение из нормальной литературной жизни «неугодных» существенно обедняли литературу. Не только количественно, но и качественно. И ту, которая была в чести, и ту, которая так и не доходила до печатного станка. М. Эпштейн, анализируя во «Взгляде» новые течения в поэзии (многие образцы ее до сих пор не опубликованы), с горечью констатирует: «В 70-е и начале 80-х годов уже нельзя было сдержать растущее и по сути своей плодотворное расслоение нашей литературы на разные идейно-стилевые течения. Однако лишенные возможности гласно объявить о себе, определить свои творческие позиции, эти течения порой вырождались в конъюнктурные группировки, объединенные скорее меркантильными или местническими, чем собственно художественными устремлениями». Да, лишение возможности гласно объявить о себе вело к вырождению...

Сейчас, когда благодаря потоку публикаций литература воссоединяется, раздаются оптимистические голоса, что вот-де наконец-то мы имеем ту литературу, какой она была бы, не будь этих насильственных изъятий. Думается, это не так. Трудно согласиться с В. Кавториным («Нева», 1988, № 9), с его мыслью о том, что, «несмотря на все попытки управлять литературой, воспрещая ей одно и поощряя ее за другое, несмотря даже на все потери, понесенные ею вследствие этих попыток, она двигалась все же не предуказанною, а органично присущею ей дорогой, запечатлевая в себе *реальный* исторический путь народа со всеми случившимися на нем героическими взлетами, трагическими изломами и тяжкими драмами попятных движений». На чем основывается эта уверенность критика? На том, что, «сколько бы ни лежали под спудом «Чевенгур», «Погорельщина», «Жизнь и судьба», «Реквием», движение самой жизни со всей неизбежностью вывело эти вещи на свет божий»? Но можно ли по нескольким произведениям судить о состоянии литературы в целом?

Не слишком ли сужено и в то же время размыто понимание сути и назначения литературы — «органически присущей ей дороги» — запечатлевать в себе реальный путь народа? Литература в роли добросовестного регистратора. И что в этом случае мыслится под потерями, если они не влияли на ход развития литературы? Так, несущественное что-то. Из этого высказывания следует также, что можно как угодно искажать объективные условия существования литературы в обществе, навязывать ей любой диктат, она все равно пойдет своим органически присущим ей путем. Тем самым вообще снимается весь комплекс вопросов о взаимоотношении литературы и государства, литературы и идеологии — и в ретроспективном, и в перспективном плане. Неплодотворность такого подхода очевидна. Сможем ли мы при таком подходе объяснить состояние нашей современной литературы? Объяснить такие ее недостатки, как «лавирование на грани полуправды» «с хитрыми пропусками и расчетливыми акцентами» (В. Кардин), «расслабленность творческой воли, духовную оторопь, срывающуюся в истерику» (М. Чудакова, «Новый мир», 1988, № 9), слабость мускулов, неспособность «поднять трудный груз современных проблем» (А. Бочаров)? Или это все органически присущая ей дорога?

Нет. Есть серьезные основания полагать, что, как пишет Н. Иванова, «если бы тот накат свежих публикаций, который пришел сейчас к читателю, не был искусственно заторможен в 70-е годы, то и литература, проза наша *могли пойти по другому руслу*, развивались бы шире, вольнее, дышали бы свободнее, и, может быть, мы были бы

избавлены от заботы: что делать с пресловутой серостью...». Думается, сейчас время не оптимистических фраз, а серьезных исследований. Осмысления последствий навязанного литературе «неорганического существования» (Я. Гордин). Вопрос этот совсем не прост.

Не забудем: литература готовила нынешнюю перестройку, но она же и много сделала для оправдания и углубления застоя, своим художественным словом убеждая в справедливости, истинности происходящего, примиряя с ним, а значит, способствуя еще большей деформации общественной психологии, нарастанию кризиса.

Кстати, серое произведение — это не неудача писателя. Это произведение, в котором идеально выполнены требования, предъявляемые к искусству авторитарно-бюрократическим режимом: послушное воспевание официального мировоззрения, популяризация на доступных, занимательных примерах банальных идеологических и моральных стереотипов, пропаганда лозунга дня (пресловутая злободневность), утилитаризация эстетического чувства. Эта масс-культура создается по иным канонам, ничего общего не имеющим с законами художественного мышления.

Идеологический диктат особенно тяжело сказался на критике. Где нет раскрепощенной, свободно высказываемой мысли, там нет и критики. Недавнее ее состояние тому подтверждение. (Я имею в виду не отдельные имена — они есть и были, а общее состояние газетно-журнальной критики.) Об этом говорится сейчас достаточно, в том же «Взгляде», хочу добавить лишь вот что. Критик зачастую оказывался в более сложном положении, чем писатель. «В броне художественного вымысла прозаик мог отважиться на многое» (И. Роднянская) — можно сказать, что все достижения нашей литературы связаны именно с такой отвагой. Критик же лишен такой защиты. Его задача обострять, обнажать, выявлять художественную идею, сопрягать ее с жизнью, прояснять дали, в которые устремляется мысль художника. Вместо этого он вынужден был обходить «опасные места», затушевывать остроту, «прикрывать» писателя. Отсюда и приблизительность, и увертки, и бессодержательность, и оглупление произведения.

Критика становилась занятием малопочтенным. Многие уходили в академическую науку. На их место приходили рекруты, готовые стать денщиками при генеральской литературе, вести дополнительный досмотр, не протаскивается ли что-нибудь «чуждое нам» под броней этого художественного вымысла.

Наверное, должно пройти немало времени, годы существования критики в нормальных условиях, прежде чем к ней снова можно будет отнести слова Белинского: «...Движение мысли, совершающееся в критике, приготовляет новое искусство, опережая и убивая старое».

Сам «Взгляд» — при всех его достоинствах — естественно, несет в себе родовые черты нашей критики, не свободен от типичных для нее недостатков. Повторяю — при всех его достоинствах. При том, что четко ориентирован против критики нормативной, комплиментарной, пустопорожней — той, которая еще вчера вольно чувствовала себя на страницах нашей периодики. При том, что собрал под своей обложкой наиболее известных, уважаемых авторов, чье слово всегда вызывает интерес. Многие уже названы, не могу не упомянуть еще Д. Лихачева и Вяч. Иванова, выступивших с блестящими статьями. При всем при том. Вот несколько примеров.

Составители сборника обратились к авторам с вопросами — сущностными для литературной критики. Ответы на них позволяют судить о многом в литературно-критическом цехе. Один из них: «Какие дискуссии о прозе показались вам наиболее примечательными?»

Судя по ответам, уровень дискуссий критиков явно не удовлетворяет. Л. Аннинский выразился резко, но точно: «Крику много, а — скучно». Иного и не могло быть в условиях подчинения сознания раз и навсегда затвержденным (утвержденным!) догмам: полемика — важнейший инструмент критической мысли, ее продвижения к истине, но ведь ни в каком прояснении истины как раз и не были заинтересованы охранители всех мастей, им нужны «незыблемые устои». И потому за многие годы был изобретен и до тонкостей разработан некий суррогат полемики, ее ловкая имитация: много эмоций, разговоров по поводу, ссылки на классиков, бесконечное цитирование — и ни одной свежей идеи.

В результате утратилась культура дискуссии, искусство полемики. На страницах сборника тоже развертывается дискуссия — о соотношении публицистичности и художественности — и, увы, в значительной степени ведется в традиционном стиле. Проблема публицистичности и художественности обсуждается не впервые — еще в прошлом веке о нее сломано немало перьев, а ныне она не сходит со страниц периодики: явное усиление публицистического начала в литературе последних лет потребовало иного ее осмысления. Однако участники дискуссии ведут разговор так, словно он возник впервые: ни новых подходов, ни свежих аргументов. Различные точки зрения не сопоставляются, доводы оппонента в расчет не берутся. Каждый говорит о своем. Говорят о разном, не слыша друг друга.

Практически даже предмет спора не обозначен четко. Сама «публицистичность» понимается оппонентами по-разному. Для В. Камянова это оперативный

отклик на социальный заказ, на злобу дня, это «обыкновение отечественной Музы браться засучив рукава за черновую работу, которая диктуется неотложной общественной надобностью, но духовных приобретений не сулит». Для М. Кораллова же, сторонника и защитника публицистичности, это «нескрываемо-проповедническое начало в художественном произведении». Как можно спорить, не договорившись о терминах? В результате проблема расплывается, теряет свои очертания, ускользает. Теряется то драгоценное зерно, ради которого сегодня снова поднят этот не новый вопрос.

Казалось бы, В. Гусев в статье темпераментной, очень субъективной и тем привлекательной четко формулирует интересующий его аспект дискуссии — «соотношение искусства и публицистики, соотношение чисто художественного и публицистического начал в самой изобразительной прозе». Аспект, как он справедливо выразился, «чудовищно сложный для наших времен». Критик напоминает, что «классики были грознейшими публицистами» и в своих романах, но при этом оставались «колоссальными художниками», что «художественная литература всегда была публицистична, но не в ущерб художественной объемности, рельефности, глубине и силе», что «публицистика входила в образную систему произведения». Все это верно и в общем-то известно. Непонятно только, отчего же современные писатели не следуют великим образцам и почему для нынешних времен эта проблема, так успешно решенная классиками, стала «чудовищно сложной». Ответа на эти вопросы мы и ждем от автора, тем более сам вызвался. Но В. Гусев почему-то оставляет заявленную тему и переключается на другое. Он рассуждает о том, как эксплуатируют интерес публики к острым общественным проблемам, к тем же черным фактам шустрые конъюнктурщики (дает даже беспроигрышные рецепты изготовления таких романов-«верняк»), убеждает, что «черная дедуктивная заданная установка так же нехудожественна, как и розовая», что нельзя выдавать невыразительную, худосочную («никакую») прозу за образец современного письма, что пренебрежение художественностью губит литературу. И много еще о чем полезном. Правда, почему-то всю ответственность за падение любезной его сердцу художественности автор возлагает на публицистичность. И защищает эту свою мысль примерами публицистики, «длинной, вялой», где, нельзя не согласиться с автором, «все прямолинейно, уныло, все 2×2». Но тогда, может быть, дело не в публицистике как таковой, а в ее уровне? Действительно, кому нужны рассуждения, где все длинно, вяло, все 2×2, кому нужна «поспешная моральная риторика»? Но это все очевидно, и, как говорит В. Гусев, «мы и сами не дураки. Сообразим». От автора же мы ждем обещанного разговора «о чудовищно сложной для наших времен проблеме».

Без нового, концептуального подхода дискуссии о публицистичности грозит вечное хождение по кругу.

Не менее показательно отношение критиков к другому заданному им вопросу — о тенденциях и перспективах развития литературы. Почти все авторы или обошли эту тему, или ограничились отдельными замечаниями. У иных сам вопрос вызвал прямо-таки раздражение. Не случайно, конечно, и психологически это вполне понятно. Для многих в этом вопросе слышится отголосок критики нормативной, указующей. «Прогнозирование, заклинание, нацеливание заранее подразумевают превосходство прогнозирующих над писателем. Им доподлинно известно, о чем, как и когда надлежит сочинять романы, повести, пьесы. Такая литературно-критическая деятельность заставляет вспомнить словцо, оброненное в одном из рассказов В. Распутина,— «порожняк» (В. Кардин). К тому же всякую самостоятельную мысль, научно обоснованное предвидение, опирающееся на анализ литературных тенденций, затрудняла незыблемая идеологическая установка (в значительной степени не преодоленная и ныне): о будущем только оптимистически, какой бы стороны жизни это ни касалось. Так что прогноз был как бы заранее предопределен — «вперед и выше». А. Бочаров, иронизируя над этим натужным оптимизмом, вспоминает, как позволил себе в 1980 году усомниться в дальнейшем поступательном движении «военной» и «деревенской» прозы, отметил их некоторую «усталость», и сразу же его осадили, осудив эти «устало-похоронные настроения». «Вот я и восторгаюсь перспективой»,— резюмирует критик.

К сожалению, и наше литературоведение не дает опоры критикам для их футурологических построений: будущее литературы не является серьезным предметом изучения, почти нет теорий, опережающих, предвосхищающих ее развитие. (См. на эту тему «Круглый стол» по проблемам литературоведения в «Вопросах литературы», 1987, № 12.) Все это охладило интерес к прогнозированию, скомпрометировало саму идею литературного предвидения. И в результате критика потеряла свое ценное качество — обращенность в будущее. Как частное, но весьма показательное проявление этого — нечуткость к новому, нетрадиционному — голосам, идеям, тенденциям. Вот и в сборнике только одна статья заинтересованно рассматривает новые течения в поэзии.

Впрочем, эта утрата вкуса к новому, непривычному, даже некоторая подозрительность — в такой же степени свидетельство и следствие авторитарного типа мышления с его ориентацией на единообразие, стереотип и нормативность. Декларативно отвергнутый ныне, этот тип мышления тем не менее жив и проявляет

себя во многих суждениях. Так, в прогрессивном «Взгляде» всерьез обсуждается вопрос, какие типы и виды творчества, какие художественные направления имеют право на существование, а какие нет. Казалось бы, сама такая постановка вопроса выглядит сегодня анахронизмом, ан нет. И тезис о том, что «эгоцентризму того или иного направления, желающему вытеснить все остальные, нужно противопоставить экоцентризм — самосохранение культуры во всей разновидности и дополнительности ее составляющих» (М. Эпштейн), нуждается в защите.

Или вот, например, В. Кожинов настаивает, что есть «единственно достойная Поэзии дорога» и «нам необходимо открыто и прямо говорить обо всех отклонениях» от нее. Суть этого единственно достойного пути в следующем: «проникнуться идеей величайшей ответственности перед высшими достижениями своего предшествующего развития и — что, конечно, наиболее важно — перед самим бытием своего народа и человечества в целом».

Не знаю, правомерен ли вообще такой категоричный взгляд на поэзию, больше похожий на политическую установку. Но, главное, смущает вот что. Где тот надежный измеритель: «проникся» поэт или нет? Фет, скажем, в свое время «проникся», или его дорога «недостойна Поэзии»? Видимо, проявление «проникнутости» у разных поэтов будет разным — в зависимости от того конкретного содержания, которое поэт вкладывает в это весьма абстрактное понятие — «проникнуться идеей величайшей ответственности перед самим бытием своего народа и человечества в целом». А содержание будет, в свою очередь, определяться его представлением о том, что такое поэзия вообще — и как особый вид творческого освоения действительности, и как часть духовной жизни общества. И в этом своем понимании, представлении поэт может быть прав и не прав. Как и критик. Здесь же как бы заранее предполагается Некто, стоящий над поэтом — эдакий обладатель абсолютной истины,— присвоивший себе право отказывать одним в высоком звании Идущего по единственно достойной Поэзии дороге и награждать других этим высоким титулом.

Неужели наш богатый опыт отлучения от поэзии лучших — на этом именно основании (вспомним Клюева, Есенина, Ахматову, Пастернака и т. д.) — ничему не научил? Может быть, «проникнуться идеей величайшей ответственности пред высшими достижениями предшествующего развития Поэзии» — это как раз признать, что любое мнение — всего лишь мнение, существующее на равных правах с другими. А кто прав, кто нет — рассудит жизнь, рассудит история.

По-моему, если уж говорить об ответственности поэта перед бытием своего народа, то она в том, чтобы в полную силу реализовать свой талант. Но чтобы поэт мог осуществить это свое предназначение, нужно создать нормальные условия существования литературы в обществе — вернуть поэту право «оставаться самим собой». Ему это необходимо для того, чтобы «оставить наследие не менее нужное, чем хлеб...» (А. Блок).

Сборник «Взгляд» — первый среди задуманных «Советским писателем» литературно-критических ежегодников. В самом этом желании издательства возродить русскую критическую традицию, восходящую к Белинскому,— разносторонний, концептуальный обзор-анализ литературного процесса,— дух времени, дух обнадеживающих перемен. Соблазнительно увидеть в этом знак возвращения литературы и критики к с е б е, к подлинности.

Н. БЕРБЕРОВА

Курсив мой

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

В гостиной Винаверов, в гостиной Цетлиных Мережковские и Бунин были главным украшением. Алексей Михайлович Ремизов же там не бывал. Я любила его ранние романы «Пруд» и «Крестовые сестры», когда встретилась с ним еще в Берлине. Его «Взвихренная Русь» — бессмертная книга, и если не все тридцать томов его, то, во всяком случае, половина их будет жить и когда-нибудь вернется в Россию, где сейчас его имя, вот уже лет тридцать пять, как почти не упоминается в печати. В Берлине в 1923 году однажды вечером у Ремизова за большим чайным столом оказались Белый, Зайцев, Муратов, Осоргин, Ходасевич и я. Жена Ремизова, Серафима Павловна, стирала на кухне, в конце коридора, и ее, когда она стирала, беспокоить было опасно — так объявил нам сам Алексей Михайлович, и я села тихонько за стол, поджала ноги и пила чай, который он заваривал сам и сам разливал, что-то при этом приговаривая, закутанный в плед, а когда сел, по-бабьи подпирая кулаком щеку, то стал похож на колдуна-карлика.

После чая он объявил гостям, что на углу его улицы имеется пивная — не простая, а необыкновенная пивная, что он каждый день туда ходит вечерами и что они все сейчас туда пойдут пиво пить. Все встали и пошли в переднюю, пошла и я. А. М. подошел ко мне и тихо, но твердо сказал, поднимая и опуская брови и трогая кончик своего носа, что «барышень туда не пускают». То есть как же это так? Кое-кто уже выходил на лестницу. Я взглянула на Ходасевича. Он шепнул мне, чтобы я А. М. не перечила и оставалась здесь и что он сам вернется через полчаса. Они вышли. Я осталась одна в столовой смотреть на чертенят, навешенных на лампу, магия которых на меня никогда не действовала: вся э т а сторона А. М. с его Обезьяньей Палатой была мне непонятна, и нелюбопытна, и даже мешала мне в общении с ним.

В квартире было тихо. Серафиму Павловну было не слыхать и не видать, впрочем, ее, может быть, даже не было дома; я уже знала, что половина того, что говорится А. М., есть вымысел, цели которого собеседнику не всегда ясны. Прошло полчаса. Прошел час, и мне стало очень скучно и очень обидно. Меня, очевидно, забыли. Я решила уйти домой одна, я была обижена и сердита, в особенности на А. М. как на хозяина, а заодно и на Ходасевича, бросившего меня. Но когда я подошла к входной двери, она оказалась запертой снаружи — А. М., предвидя мой уход, запер меня в своей квартире. Это еще больше обидело меня, я не знала еще тогда, какие шутки мог Ремизов шутить со своими гостями. Так, запертая и сердитая, я просидела еще с полчаса. Когда все вернулись из пивной, я сказала Ходасевичу, что хочу домой. После этого года три я у Ремизова не бывала, но он вряд ли догадался, что я была обижена на него.

Прожив долгую жизнь и встречаясь с людьми, сближаясь с ними, удаляясь от них, играя с ними, я узнала, что есть люди, которых можно исчерпать в один вечер (или в неделю, или в год), и есть другие, которых исчерпать невозможно, потому что внутри них все время что-то происходит: движется, работает, шевелится, исчезает и вновь появляется. Там крутятся какие-то колесики, работают пружины, бегают туда и сюда стрелки, открываются заставы, мигают светофоры, и даже иногда будто слышишь, как под черепом у них происходит работа: бежит конвейер, свистят трансмиссии, гудят двигатели. С людьми статичными отношения статичны, всецело на уровне взаимной симпатии и иногда привязанности, тут продолжается годами тот «малый разговор», который нечаянно возник и ни к чему не ведет. С людьми динамическими мы готовы к самым поразительным неожиданностям, к самым неожиданным переменам. Мережковский и Гиппиус искали отношений с людьми, которые «интересуются интересным», и других не ценили, Дмитрий Сергеевич называл их «обывателями». Ремизов жил среди «статиков», «динамиков» не искал, хотел главным образом подводного течения человеческой теплоты. Он любил людей, любивших его, помогавших ему, ограждавших его от жизни заботами о нем, тех, которые с благоговением слушали его бредни о чертенятах, обезьяньих палатах, все его фантазии (искусно «заделанные», но почти всегда — сексуальные), и среди таких людей он жил, постепенно отрезав себя от тех, которых нужно было п о з н а в а т ь. Читателей у него было мало, они все помещались у него в квартире за чайным столом, и между читателями-друзьями-гостями этими не было ничего общего, кроме их доброго отношения и расположения к хозяину дома. А у Бунина не было чувства людей, у него в сильной степени было чувство себя самого: и при его почти дикарском эгоцентризме Бунин вовсе не умел ни брать, ни давать в личном общении, а часто бывал и настороже: как бы не задели его дворянского (и литературного) достоинства, и считал, что писателю прежде всего надо быть н а б л ю д а т е л ь н ы м ч е л о в е к о м. «Вот подметить, что края облаков — лиловые».

— Но ведь еще Чехов сказал, что довольно лиловых облаков!

Он сердито менял тему — и оставался в пустоте.

Да, у Мережковских была гордыня: нам не нужны обывательские разговоры. «Зина, что такое быт? У нас с тобой нет быта!» Верно, это слово даже звучит странно в применении к ним, и обыкновенная будничная жизнь как-то не вяжется с ними. Кажется, что из этой квартиры никто никогда не ходит на рынок, не приносит зелень и мясо, не уносит в прачечную грязного белья, не считает денег, не смеется над какой-нибудь глупостью, не ругает самого себя... Алексей Михайлович делает смешное лицо, когда произносит их имена: он хочет сказать этим опущенным ртом, поднятыми бровями, глазами, у которых такое выражение, будто он сейчас заплачет, всей своей горбатой хилой фигурой: где уж нам понимать такое! Мы люди бедные, маленькие, забитые, ушибленные. Мы знаем с детства только пинки, и наше место последнее. Самое главное для нас — где бы потеплее укрыться, и, может, корочка какая-нибудь нам перепадет, а премудрость — дело Шестова и Бердяева.

Он, конечно, знал и «премудрость», и современную западную мысль, но такова была его позиция — при друзьях-гостях-читателях.

Бунин, преодолевая скуку, брался иногда читать французскую литературу, но о прочитанном говорить не любил, а может быть, и не мог. Он говорил о себе, о «лиловых облаках», да о людях, с которыми встречался и жил — воспринимая их в бытовом плане. Читал он больше второстепенных французов (романы), которые иногда хвалил, иногда ругал, хвалил за «наблюдательность», ругал за то, что героиня вышла замуж не за того, за кого выйти ей следовало. Иногда Алданову удавалось навести его на встречи с «Львом Николаевичем» или на дружбу с «Антоном Павловичем» — тогда он говорил хорошо, чудесным языком именно так, как писал о них. И писал о них так, как говорил.

И в Мережковском, и в Ремизове чувствовалась скрываемая ими страшной силы тоска по России. Скрывалась она постоянно, но прорывалась время от времени какой-то болью в лице, или в слове, или во взгляде, или еще — в молчании посреди разговора. В Бунине это было прикрыто самолюбием: он уверял и себя и других, что можно создавать великие вещи, даже «выехав навсегда из Белевского уезда». Возможно, что он был совершенно прав и сам именно их и создал. Однажды, рассматривая рисунки Ремизова, его бумаги, книги, лежащие на столе, книги, стоящие на полках, я спросила, как он может жить без России, когда Россия так много для него значит? Он тихо сказал, сделав свою страдальческую гримасу:

— Россия — это был сон.

И мне показалось, что в глазах его зашевелились слезы.

Завернутый в плед, кашляющий, горбатый, Алексей Михайлович встречал гостей, вел их в свой кабинет, заваленный книгами, с висящими на ламповом абажуре чертями, зверями, куколками, с абстрактными рисунками на стенах и даже на окнах. Он вел их по коридору мимо закрытых дверей, жалуясь на бедность, на тесноту квартиры, на собственные немощи. И неизвестно было, чему нужно и чему не нужно было верить. Едва дыша, он сидел у стола, положив огромные кисти рук на стол перед собой, и с плачущим выражением лица теперь уже рассказывал о каких-то бедствиях, случившихся с одним из его чертенят. И хотя жизнь его была очень тяжела, но он этими рассказами делал ее еще тяжелее, он, так сказать, мифологизировал свою собственную бедность, разукрашивал ее, преувеличивал ее, упиваясь ею и питаясь ею. И невольно думалось, что иногда он бежит за автобусом по авеню Мозар и вскакивает в него на ходу не хуже всех нас,— и все это немножко мистификация. «Dichtung» и «Wahrheit», понятые по-своему. И все четыре двери в коридоре открываются в чистые, просторные комнаты, где книги расставлены в порядке, где висят занавески и натоплено и где царит Серафима Павловна — похожая на огромную куклу.

Когда Муратов говорил, что в бедности должно быть хоть какое-то достоинство — как у Зайцевых, где при бедности были не только гордость и легкость, но даже какая-то веселая сила,— я вспоминала Розанова, выносившего все свои бедности — долги, нищету, женские болезни жены — на широкую русскую улицу, притворяясь смиренным, оскорбленным и униженным, или еще ближе стоящего к Ремизову Леона Блуа, в кликушестве, в ядовито-смиренных речах которого слышится это больное желание

Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 10, 11 с. г.

быть еще более глубоко втоптанным в грязь всеми этими господами, от Золя до Гюисманса. Ходасевич рассказывал со слов Чулкова, что, когда А. М. работал секретарем в журнале «Вопросы жизни», он как секретарь не присутствовал на заседаниях редколлегии, но пока шло заседание, собирал в соседней комнате калоши заседающих, ставил их в кружок, сам садился в середину и играл с калошами в заседание. Мармеладов, Иволгин, Лебедев, Снегирев — целый рой героев Достоевского приходит на память.

Но на премьере Стравинского Ремизов сидит в первом ряду. «Это все — Серафима Павловна»,— говорит он смущенно.

К концу жизни она едва могла передвигаться от болезненной толщины и тяжести. Мне всегда казалось, что все его выдумки и гримасы идут от нее, что это она навязала ему свои сны и фантазии, синдромы и комплексы, и он принял их и, питаясь ими, построил на них свои мифы, которые иногда заражали, а иногда и раздражали людей. После ее смерти в 1943 году его окружили вживущие по близости сердобольные женщины: они готовили ему, убирали квартиру, давали ему лекарства, а когда он стал слепнуть — читали ему вслух. Если бы не было в нем этих «достоевских» чудачеств, это был бы большой писатель, но он утерял контроль над своими чудачествами. Читатель устает ему их прощать, устает их не замечать и не захвачен его «приватной мифологией».

Да, в бедности Зайцевых были и достоинство и даже какая-то веселость. Здесь тоже, как и в жизни Алексея Михайловича, царила о н а, не о н, о н а была ведущей жизненной силой, олицетворением двойной энергии, но, в противоположность Серафиме Павловне, о н а была силой благой, разумной, теплой, живой, неисчерпаемой в своей жадности к людям и жизни, полной женственной мудрости и иронии.

Я спросила ее как-то: почему она не пишет? И она смеясь сказала, что ей «и без того хорошо». Книги интересны, но люди интереснее, говорила она, и я соглашалась с ней и тогда, и теперь соглашаюсь. А среди людей она сама была одной из самых своеобразных и неожиданных, одной из самых живых среди живых.

Она всегда ему что-то рассказывала занятное по утрам, еще до кофе, когда — много лет спустя — они оба, Борис и Вера, жили у меня в Лонгшене (летом 1947 года), и я слышала, как наверху она, причесываясь и умываясь, делилась с ним — важным и неважным, мелким и глубоким, смешным и серьезным, умолкая на время, чтобы вычистить зубы и выполоскать рот. Все вокруг возбуждало ее любопытство, до всего ей было дело, на все она реагировала, весь мир был частью ее собственной жизни. Иногда на нее находила грусть, она тосковала по близким, живым в Москве и мертвым, с которыми ждала свидания. «Что ж тосковать,— говорила я,— если ты знаешь, что будет свидание?» — «Ах, фон Корен (она называла меня именем героя чеховской «Дуэли»), хорошо тебе рубить сплеча. Кто не с нами — тот против нас. Все это не так просто».

Они любили друг друга долго, нежно, страстно, и хоть «измены», вероятно, и бывали (у живых людей как им не быть?), они проходили, а любовь между ними все жила, и это она делала их обоих живыми. Они непрестанно жили друг другом. И когда в 1957 году Веру разбил паралич (ей тогда было около восьмидесяти), то она еще много лет жила в параличе — просто потому, что он был с ней, неотступно ходил за ней, держал ее своей любовью (а она держала его).

Как писатель он во многих отношениях тоньше Бунина, но ему всю жизнь мешала его инертность, его умственная лень, в которой он много раз мне признавался. Словно раз и навсегда еще в детстве или ранней юности (в восьмидесятых и девяностых годах, в Калужской губернии) он признал, что русская или даже в с я к а я жизнь с т о и т, и никак не мог согласиться (понять и принять факт), что жизнь ни одного мгновения не стоит, а движется, меняется, строится и ломается. Мысль о движении, об усилии, о трате энергии была ему не только чужда, но и враждебна, ему неприятно было не только самому куда-то спешить, чего-то искать, добиваться, бороться, но даже слышать о том, что это делают другие. Новый факт — политический, литературный, бытовой,— новая мысль, которую надо было продумать, даже просто новое слово либо оставляло его равнодушным, либо как-то мешало ему «поживать». Он любил эти глаголы: попиваю винцо, заседали в ресторане, люблю к вам захаживать, не привык я действовать, зашагаем-ка домой. Все знали, что красное вино не только ему приятно на вкус и веселит его, но и дает ему необходимые силы «действовать» и «шагать». В военные годы, когда в доме не было вина, а хотелось дописать страницу, он шел на кухню и выпивал рюмочку обыкновенного уксусу.

Он сорок лет называл меня Ninon, и у меня сохранилось около ста двадцати писем от них обоих. Почти все они начинаются «Дорогая Ninon», и почти в каждом он сам себе удивляется: как это ему удалось написать мне четыре страницы (или две)? Над собой — усмешка («вот все лежу на боку»), перед другими — восхищение, смешанное с ужасом: в город ездит каждый день! Автомобилем правит! Встает в семь! Восхищение, смешанное с ужасом перед Верой: борщ сварила вовремя! Перед Наташей (дочерью) — как это она все успевает (муж, два сына). И Вера, и Наташа приблизили к нему мир: он оказался не стоящим на месте, а текучим и летучим. И все это было сделано через любовь. Вообще самое главное, что было в доме (в маленькой квартире, где они жили более тридцати лет),— это не вещи, не предметы — здесь не было ни радио, ни пишущей машинки, ни электрических приспособлений, ни музыкальных инструментов, ни картин, ни ковров — самое главное, единственно главное — здесь была любовь.

Я увидела их всех троих впервые еще в Москве, перед нашим отъездом в Берлин в 1922 году. Борис был худ и слаб после сыпняка, а Вера увязывала баулы, чтобы ехать за границу его подкормить («спасибо Анатолию Васильевичу»). Наташе тогда было лет десять, и у нее, как всякий знает, кто читал его романы и рассказы, были белые льняные косички, эта бледная девочка с косичками проходит во многих его книгах. Она знала, где что выдают и сколько что стоит, и не имела цельных чулок и, кроме советского быта первых лет коммунизма, другого не знала. В Берлине мы поселились у фрау Паули в комнатах, которые до того занимали они (до переезда к Крампе), и в Париж мы приехали по их следам. Мы видались часто. Он приходил иногда и на Монпарнас. Несмотря на то, что они были тесно связаны друг с другом в течение шестидесяти лет, они не были одним существом, и я больше любила бывать с каждым из них порознь. Как бы ни были близки два человека, я очень часто игнорирую это единство и готова брать каждого в отдельности. Во время войны, когда все вокруг них в Биянкуре было разбомблено, мы одно время жили вместе, в чужой квартире, в Париже, недалеко от Шан-де-Марс, и там «вместе дрожали», как говорила Вера, под бомбами.

И они же были опять около меня на вокзале Сен Лазар, когда я уезжала в США в 1950 году. Она была взволнована: «Забудешь нас, если тебе будет хорошо в Америке, забудешь нас! Еще замуж там выйдешь. Пусть тебе будет хорошо, только не забудь нас». Он отвел меня в сторону, мы пошли в конец платформы. «Обещайте мне,— сказал он, серьезно глядя на меня,— никогда не обижать Бога». «Боря,— вскричала я,— да ведь он сам всех обижает!» Он покачал головой печально и осудительно. Он знал, как и я, что здесь начинается наше с ним расхождение, которое не может быть остановлено никаким компромиссом. И сколько я ни уверяла себя, что он требует от меня, чтобы я не обижала Бога ради самого Бога, я не могла отделаться от мысли, что он это требует от меня, боясь, что я поколеблю чью-то веру, а может быть, и его собственную.

Потом он перекрестил меня трижды, сказав: «Так у нас, у калуцких, принято». И Вера тоже перекрестила меня. «Греши в меру»,— шепнула она мне на ухо со своей всегдашней милой иронией, под которой бежало серьезное и глубокое. А через десять лет я вернулась в Париж. Она, разбитая параличом, лежала на диване, под образами, где горела лампада, смотрела на меня блестящими радостными глазами и говорила. с трудом ворочая языком, отчего получалось как-то простонародно:

— Бабка... совсем дурой стала... забываю... как город-то называется?..

— Нью-Йорк.

— Живешь... а я вот... ни ног... ни рук... Боря святой, за мной ходит... не отпускает... любовью держит... Бабку свою держишь любовью, говорю, Боря, слышишь? Скажи ей!

Говорить ничего не надо было, все было понятно без слов: он держал ее подле себя тогда три года, а всего — восемь лет. А она — его.

Я рассказывала про свою жизнь в Америке, вспоминала всякие смешные случаи из нашего прежнего общего житья, как однажды С. В. Яблоновский молился у них за упокой души Ленина и как Вера прогнала его (они потом помирились), как однажды Борис пришел ко мне в гости в первом часу ночи (Ходасевич был в отъезде) и просидел до трех, и мы оба от нее на всякий случай это скрыли, но она узнала об этом (кажется, проговорился Ходасевич) и ругала нас за сокрытие такого интересного факта. Вспоминали о том, как во время оккупации, году в 1943-м, что ли, приходили к Ремизову какие-то личности из немецкой газетки, издававшейся в Париже на русском языке, и совали ему деньги, и просили дать что-нибудь для печати. и как он деньги взял, но ничего им не дал, и как Вера уговорила его немедленно отослать деньги обратно, что он и сделал. И она с блаженной улыбкой, в белой кофточке, чисто-начисто вымытая, надушенная, не спускала с меня сияющих глаз и только говорила:

— Ну, дальше! Говори дальше!

И я говорила пять часов подряд, так что осипла, а потом Борис пошел провожать меня на угол и сказал, что у него грыжа от тасканья ее по квартире, доктор велел, чтобы не отекали у нее ноги, десять минут утром и десять минут вечером, а ему это не под силу. Он сказал, что он вслух ей читает разные старые книги и никогда, никогда уже больше не выходит вечерами.

Но я уговорила его пойти со мной днем есть пельмени в столовую Русской консерватории. И через три дня мы сидели там, за столиком, ели пельмени и пили водку, и сидели часа два друг против друга, пока нам опять не захотелось есть, так что мы заказали еще две порции и опять сидели и говорили. Он оживился и стал рассказывать о себе, о Вере, о настоящем и прошлом (будущего не было), о безнадежном ее положении и о радости душевной и физической трудности быть вместе с ней. А когда мы вышли, он взял меня под руку, крепко, по-мужски, и повел по улице.

— Идем, идем... Слушайтесь меня. Вот за этот угол завернем, там ваш автобус.

— Боря, да что же это? Да сколько же вам лет? Откуда вдруг такая прыть и хватка?

— Скоро восемьдесят. У кого хватка была, у того она до ста лет... Давно с женщиной под руку не ходил. Хорошо!

Мы смеясь дошли до остановки, поцеловались, простились и умчались в разные стороны.

В последний раз я увидела его еще через пять лет, в 1965 году, когда снова приехала в Париж. Ее уже не было. После восьми лет паралича она умерла, и он, сойдя с лестницы и подойдя ко мне, разрыдался. Потом он говорил мне, сидя у себя в комнате, что ему *тоскливо* и что жизнь молодых до него больше не доходит, что он стал слаб, плохо слышит, и спрашивал, замечаю ли я это и нужен ли ему уже слуховой аппарат? Ему не только было утомительно слушать разговоры в столовой, когда сразу говорили несколько человек, но он сказал мне, что ему даже трудно смотреть, как двигаются энергичные, живые люди. Я простилась с ним в сентябре, теплым парижским вечером, и Наташа (дочь его) пошла меня провожать к метро. Теперь она была матерью двух взрослых сыновей — всей семьей они окружили Бориса заботой и любовью. Когда мы с ней говорили о нем, мы всегда называли его «папенькой».

Я сказала:

— Когда я уезжала пять лет тому назад, я знала, что опять увижу его. А теперь я в этом сомневаюсь.

Она ответила:

— Я тоже.

О его «мягкости» было сказано и написано немало, об «акварельности» его писаний и о «теплоте» его отношений к современникам. Но это не совсем справедливо: его дружба с Буниным оборвалась после посещения Буниным советского посла, его дружба с Тэффи дала глубокую трещину после какого-то мелкого недоразумения («кого куда посадили») не по его вине, но по ее вине. К Ремизову под конец его жизни он относился холодно. С Шмелевым его развела политика во время немецкой оккупации. Конец многолетних (и драгоценных для него) отношений с Буниным (50 лет?) очень мучил его. Он в конце концов решил забыть и простить его визит в советское посольство и питье за здоровье Сталина, простить — но не понять! Он сделал шаг к нему (через В. Н. Бунину) на том основании, что «мы люди старые, Иван, осталось нас мало...», но встретил такой жестокий и грубый отпор, что даже растерялся. Борис писал мне мельком об этом еще в 1948 году:

«Иван был очень болен (воспаление легких). Но выходили. Завтра его именины. Хочу написать Ивану, что желаю ему доброго здравия...— больше ничего не напишется, но на сердце все же грустно, что так недалека уж вечная разлука и в конце жизни так разошлись».

«Бог с ним»,— говорил Борис, но это не значило «ну и забудем его», это значило на его языке «Бог да будет с ним», с его душой, которая к концу жизни так ожесточилась и так отравилась злобой против мира, цветущего своей красотой, против людей, здоровых и далеких от смерти, в то время как он сам, Бунин, уже видит свой конец, отвратительный ему и непонятный, страшный и мерзкий, «венчающий» его «необыкновенную» жизнь.

Ю. Олеша понял Бунина, когда писал: «Он... злой, мрачный писатель. У него... тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности. Его рассуждения о душе... кажутся иногда просто глупыми. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство...» Жестоко, но, пожалуй, справедливо. В эмиграции никто не посмел написать так о Бунине. Но многие из «молодых» думали о нем именно так.

Когда я говорю «из молодых», то я говорю о поэтах и писателях *второго поколения*, то есть о тех, что родились в самом начале этого века или в конце предыдущего (моложе не было). И особенно о тех, что пришли в литературу после 1920 года, то есть вне России. К ним относятся как Набоков, так и Ладинский, Присманова и Кнут, Смоленский и Злобин, Поплавский и я сама. Большинства из них уже нет в живых, называть их «молодыми» сейчас невозможно, но тогда, в двадцатых, тридцатых годах, они были молоды и они не прошли незамеченными. *Их тоже прикончил Сталин*, только не в концлагерях Колымы — иначе.

Да, за редкими исключениями они все умерли. Поплавский, Кнут, Ладинский, Смоленский были вышиблены из России гражданской войной и в истории России были единственным в своем роде поколением обездоленных, надломленных, приведенных к молчанию, всего лишенных, бездомных, нищих, бесправных и потому — полуобразованных поэтов, схвативших кто что мог среди гражданской войны, голода, первых репрессий, бегства, поколением талантливых людей, не успевших прочитать нужных книг, продумать себя, организовать себя, людей, вышедших из катастрофы голыми, наверстывающих кто как мог все то, что было ими упущено, но не наверставших потерянных лет.

У Поплавского был нищий отец-эмигрант, у трех других не было никого, на кого можно было бы опереться. У Кнута были сестры и братья моложе него, о которых нужно было заботиться, жена и сын. У Ладинского на ноге тридцать лет не закрывалась рана, полученная в 1919 году. У Смоленского была, видимо, врожденная тяга к алкоголизму.

Гибель Поплавского — именно гибель, не смерть, и, вероятно, не самоубийство — в октябре 1935 года сделала его на один день знаменитым: все французские газеты написали о нем. Русские жители Парижа узнали о нем. «Окололитературные» люди вдруг услышали, что был среди нас талантливый поэт. В редакции «Последних новостей», где я тогда работала машинисткой (а Ладинский — рассыльным, а Смоленский так и не попал туда на работу), узнали об этом и послали репортера на квартиру, где жил Поплавский. Репортер вернулся в редакцию часа в четыре. Выпускающий (он же — секретарь газеты, он же — душа газеты) А. А. Поляков, по прозванию «рыжий Поляков» (было еще два других Поляковых в газете, не рыжие), покачиваясь на стуле, иронически спросил:

— Ну как? Разложение? Гниение? Монпарнас? Наркотики? Поэзия, мать вашу!

Репортер посмотрел на него и сказал:

— Отец (так называли Полякова сотрудники), если бы вы, как я только что, видели *кальсоны*, в которых Поплавский умер, вы бы поняли,— и в комнате наступило молчание.

Я впервые увидела глаза Поплавского на фотографии в юбилейном сборнике газеты «Последние новости», изданном в 1930 году (десять лет существования газеты): в жизни он никогда не снимал черных очков, так что *взгляда* у него не было. В нем была «божественная невнятица», чудесная образность видимого и слышимого, но какая-то необъяснимая жалость всегда вырастала во мне, когда я говорила с ним: человек без взгляда, человек без жеста, человек без голоса. Его видение мира было туманно, видение себя было расплывчато. В стихах и — позже — в прозе он был свободнее, чем в жизни, хотя все же не свободен. Главной его чертой было отсутствие языка: он говорил по-русски, когда говорил, как-то бедно и тускло, а иногда и неграмотно. В писаниях его это чувствуется, эта непреодоленная неловкость, неуклюжесть, не нарочитая, но органическая бледность синтаксиса. Он читал французов, они ему были близки, он любил их и учился у них, и, я думаю, он кончил бы тем, что осел бы во французской литературе (как это сделал Артур Адамов), уйдя из русского языка совсем, если только не замолчал бы через несколько лет, как замолчали столь многие.

Но он не стал французским поэтом и не стал «бывшим русским поэтом»: однажды вечером, в погоне за сильными ощущениями, вместе со своим (вероятно — случайным, к литературе не имеющим отношения) приятелем он нанюхался чего-то (или наглотался), быть может, делая над собой анархический эксперимент. Кое-кто подозревал самоубийство, но тем, кто знал Поплавского, было ясно, что с собой он не покончил, причин для эксперимента было гораздо больше: слишком тускла, нища, однообразна была жизнь, слишком редки минуты снов, минуты озарений и содроганий. За ними все охотились — в дырявых подошвах, в рваных рубашках и заплатанных штанах. А кругом ревели, гремели, грохотали двадцатые и тридцатые годы.

Один фактор чрезвычайно важен для всего этого поколения («молодым» я уже не могу называть его, я буду называть

его «моим» или «младшим»): момент отъезда из России. Те, кто уехал шестнадцати лет, как Поплавский,— почти ничего не вывезли с собой. Те, что уехали двадцати,— увезли достаточно, то есть успели прочесть, узнать, а иногда и продумать кое-что русское — Белого и Ключевского, Хлебникова и Шкловского, Мандельштама и Троцкого. Те, кто уехал в семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет, по-разному были нагружены русским, все зависело от обстановки, в которой они росли, от жизни, которой жили в последние русские годы: учились в средней школе до последнего дня? воевали в Добровольческой армии? валялись ранеными на этапных пунктах? скрывались от красных? бежали от белых? успели напечатать одно стихотворение в студенческом сборнике в Киеве, Одессе, Ростове?

Кнут не учился и не воевал, а торговал у отца в бакалейной лавке в Кишиневе. Ладинский был белым офицером. Поплавский жил с семьей. Набоков выехал с родителями, издав в Петербурге (в 1917 году) сборник юношеских стихов. Смоленский был эвакуирован с юга России, Злобин, прожив с Мережковскими всю революцию, приехал с ними в Париж, и я сама — явилась на свет «женой Ходасевича», напечатав одно стихотворение в петербургском сборнике «Ушкуйники» в феврале 1922 года. Я не знала, был ли кто-нибудь из них, кроме меня, когда-либо в Москве, возможно, что был. Но в Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вяч. Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский, наверное, их не читал, смутно знал эти имена. Ладинский принялся за книги (и французский язык) уже в тридцатых годах, когда перешел от работы маляра к работе рассыльного. Кнут в это время читал, что мог, большей частью случайные книги, Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию (а своеобразия-то у него было меньше, чем у других). Мы как-то говорили с ним о Тютчеве; но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него. Поплавский, вероятно, читал больше других — дадаистов, Верлена, сюрреалистов, Аполлинера, Жида. Злобин в атмосфере дома Мережковских знал то, что так или иначе имело отношение к этой атмосфере.

Союз молодых поэтов помещался на улице Данфер-Рошро, № 79. В двадцатых годах там читали стихи не только «мы», но и Ходасевич, и Цветаева, там были чтения Ремизова, Зайцева, Шестова и других. Кнут был инициатором журнала, куда он и я вошли редакторами, но уже после первого номера (1926 г.) «Новый дом» оказался нам не под силу: Мережковские, которых мы позвали туда (был позван, конечно, и Бунин), сейчас же задавили нас сведением литературных

и политических счетов с Ремизовым и Цветаевой, и журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием («Новый корабль»).

С Кнутом семь лет меня связывала тесная дружба: многое в его стихах говорит об этих отношениях. (Перечислю эти стихи: «Два глаза — два окна», «Прочь с дикой жизнью своей», «Ты вновь со мной, и не было разлуки», «Нужны были годы», «По твоим виновато-веселым глазам».) Мы много бывали вместе, иногда втроем с Ходасевичем. Кнут был небольшого роста, с большим носом, грустными, но живыми глазами. В двадцатых годах он держал дешевый ресторан в Латинском квартале, где его сестры и младший брат подавали. До этого он служил на сахарном заводе, а позже занимался ручной раскраской материй, что было в то время модным, и однажды подарил мне кусок оранжевого шелка на платье, раскрашенного синими цветами, такой же кусок шелка подарил он и Сарочке, своей милой и тихой жене, так что мы с Сарочкой были иногда одинаково одеты.

Он вырос в лавке отца, и, хотя с самого первого дня и старшие и младшие стали дорожить им и верить в него, он никогда по-настоящему не верил в себя — проблема была та же, что и у Поплавского: русский язык. Сначала была в нем дерзость; Ходасевич говорил ему:

— Так по-русски не говорят.

— Где не говорят?

— В Москве.

— А в Кишиневе говорят.

Но очень скоро он понял, что в Кишиневе говорят по-русски не слишком хорошо, и в нем появилась меланхолия. Стихи его потеряли мужественное своеобразие и стали расплывчаты и однообразны, и вся фигура его приобрела образ постоянной печали. У него родился сын. Потом его личная жизнь осложнилась: он ушел от Сарочки и поселился с новой своей подругой. В этот период жизни я однажды пришла к нему вечером, и она не оставила нас вдвоем, так что вместо того, чтобы читать друг другу стихи, мы должны были вести пустяшный разговор, который все время обрывался. Когда я уходила, он пошел меня провожать до метро. Я на лестнице начала уговаривать его вернуться. Но он настоял, и мы вышли на улицу. Помню наш разговор.

— Лучше вернуться.

— Почему?

— Потому что ее вы будете иметь около себя недолго, а меня — всю жизнь.

Он усмехнулся, но довел меня до метро и у остановки, под фонарем, прочел свое последнее стихотворение — что-то было утеряно им за последний год, какая-то свежесть и сила. И мне стало тревожно за него: а вдруг из него ничего не выйдет? И из него в каком-то смысле действительно «ничего не вышло»: лучшее, что он написал, было написано в самый ранний его период. Он сам чувствовал, что надо найти что-то новое, но для прозы, которую он пытался писать, у него не было ни языка, ни способностей, а для критики не было образования. И он, подчиняясь древней традиции пророков и патриархов, стал обрастать семьей: сначала — собственной, затем, через свою вторую жену (Ариадну Скрябину, дочь композитора от Т. Ф. Шлецер),— ее детьми от первого и второго браков. Потеряв ее (она была убита немцами в Тулузе в 1944 году, перед тем перейдя в еврейство, и в Тулузе ей стоит памятник), он со всеми — ее, своими и общими — детьми уехал в Израиль. Одна из дочерей Ариадны принадлежала к террористической организации Иргун Цевай Леуми. В Тель-Авиве, в созданном им Ноевом ковчеге, окруженный всеми этими отпрысками и новой женой и, видимо, счастливый, он умер в 1955 году, пятидесяти пяти лет от роду.

С В. А. Смоленским мы однажды выпили на «ты». Ходасевич любил его не только как человека, но и за его внешность — в нем (как и в Ходасевиче самом) была какая-то прирожденная легкость, изящество, стройность. Худенький, с тонкими руками, высокий, длинноногий, со смуглым лицом, чудесными глазами, он выглядел всю жизнь лет на десять моложе, чем на самом деле был. Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других, терял здоровье, и небольшой талант свой не развил, вероятно, оттого, что был неумен, был эклектик, и не сознавал этого. Он думал, что русская поэзия на тысячу лет затвердела и в старой своей просодии, и в общедоступном романтизме, изношенном до дыр еще задолго до его рождения. Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то — по его понятиям — жили Блок и Л. Андреев, а вернее всего — Ап. Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след.

Ему «посчастливилось»: в первый год приезда в Париж он получил стипендию, окончил счетоводные курсы и служил бухгалтером в крупном предприятии. Ночами он, как и Поплавский, как, впрочем, все мы («младшие») в разное время, сидел подолгу в монпарнасских кафе, а иногда и у цыган, в ночном ресторане, куда все ходили по русской поэтической традиции и где красавица Маруся Дмитриевич (рано умершая) всех сводила с ума своими песнями и плясками. Ужинать, конечно, никому и в голову не приходило, слишком там было дорого, но просидеть полночи над рюмкой коньяка было изредка возможно. Голод выгонял нас из этого райского места, и мы шли есть толстый бутерброд (булка, проложенная лепестком колбасы) в одно из кафе на бульваре, открытое до утра.

Может быть, потому, что мы перешли на «ты», мы стали вдруг откровенны друг с другом, говоря друг другу о своих неудачах, иногда встречаясь только

для того, чтобы пожаловаться на собственную судьбу. Было между нами доверие. Он рассказывал мне до последнего дня свое самое тайное, о котором, вероятно, не говорил никому. Во всех своих бедах он всегда был виноват сам, знал это и не собирался меняться; я называла это его свойство «пьяным фатализмом», и сердилась на него, и уговаривала его «все бросить», «начать сызнова», «послать все к черту».

Он качал головой. Отними у него страдание, что у него останется? Из чего будет он делать стихи?

Когда я вернулась летом 1960 года в Париж (после десяти лет отсутствия), у него был рак горла, и в середине горла была проделана доктором дырочка, и там что-то хрипело, говорить ему было запрещено. Я вспомнила, как он много лет подряд на вопрос «как живешь? как поживаешь?» неизменно отвечал:

— Медленным смертием.

Теперь перед ним лежала табличка, на которой он писал и стирал написанное.

— Володя? — сказала я, боясь задать вопрос, зная, что ответ для него труден.

Он быстро написал что-то на табличке и протянул ее мне. Там было написано: «Теперь уже, наверное, скоро».

Вошла жена. Она ходила за ним день и ночь и понимала по его лицу его мысли и желания.

— Расскажите ему о себе, Н. Н.

И я стала рассказывать. Лицо у него было теперь чужое: красное, немного распухшее, с остановившимися глазами, и все время слышен был его хрип, когда он вдыхал и выдыхал. Но он все же выглядел на десять лет моложе своих лет. В этой маленькой квартире они вдвоем жили в одной комнате, тут же ели, тут же спали, в другой комнате рядом жила мать его жены, а третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора, ванная была грязна, и во всей квартире дурно пахло. В воздухе стояло тяжелое, неподвижное уныние. А я говорила про свои десять лет жизни в Америке, про Нью-Йорк, Чикаго и Колорадо, про библиотеки и водопады, про людей, встреченных здесь и там, и, когда я умолкала, он писал на своей дощечке: «ЕЩЕ».

В окне на шестом этаже видны были крыши Парижа. «Не всякий иностранец рождается со страстной любовью к Парижу»,— говорил Леон Блуа. И он был прав. Как ненавидел этот город Ладинский! Мы шли с ним однажды ночью по улице Вожирар, и лицо его выражало, как обычно, скуку и отвращение ко всему и всем вокруг. Вдруг он остановился и сказал:

— Как я ненавижу все это: их магазины, их памятники, их женщин, их язык, их историю, их литературу.

У меня с ним был особый тон, особое обращение:

— Все-таки, по самому скромному подсчету, около трехсот лет весь мир питался всем этим, худо ли, хорошо ли. мы тоже питались. Могли попасть в Белград, или Торонто, или на вольное житье в Караганду, или на остров Тристан-д-Акунья, где скорпионы и землетрясения.

— Не было бы хуже.

Я прежним тоном, каким говорила только с ним:

— Будет вам преувеличивать. Ведь уехать все равно некуда.

— Это вам, может быть, уехать некуда. А мне есть куда. У меня во Владимирской губернии мать и брат.

— Да... Но губерний больше нет.

Но юмора он никогда не понимал. Высокого роста, страшно худой, с длинными руками и маленькой головой, с седыми волосами (он стал седеть рано), он никогда не смеялся и очень редко улыбался, и то как-то криво. Когда я в первый раз услышала его стихи, они поразили меня новизной, зрелостью, звучаниями, оригинальностью образной цепи и ритмов. Ходасевич тотчас же протащил их в журналы и газеты. Ладинского стали печатать, после первого сборника имя его стало известно, но лично его, кажется, никто не любил, и в его присутствии всегда чувствовалась какая-то тяжесть: он был озлобленный, ущемленный человек, замученный тоской по родине, всем недовольный, обиженный жизнью и не только этого не скрывавший, но постоянно об этом говоривший.

— Затерли нас, задавили. На лакейской должности состою. А вы вот — машинисткой. Была бы Россия, были бы у нас виллы в Крыму, но не от дедушки или папаши, а собственные, благоприобретенные, были бы знаменитыми... А теперь мне один хам однажды на чай дал.

Я крепко сдавливала его руку (кости и кожа), чтобы никто не услышал его.

А в редакции Поляков удивлялся: «И что это у вас за дружба с ним? Ненавидит всех, всем завидует».

— Нет, не завидует. Пишет хорошие стихи. Дайте ему другую работу.

Но ему не давали другой работы. И чувствовалось, что развязка его жизни будет еще тяжелее самой жизни.

В тридцатых годах мы виделись с ним часто. Позже, во время войны, не переставали встречаться. Он болезненно переживал советско-японский инцидент на озере Хасан, в 1938 году, когда русские сдавались в плен японцам. Он мрачнел, говоря о советских неудачах в советско-финской войне. Он сделался нелюдим и зол, когда в первые месяцы советско-германской войны сотни тысяч советских бойцов без боя перешли к немцам. Я слышала однажды «скрежет зубовный» — не в переносном, но в буквальном смысле,— когда он говорил, что в один и тот же день были сданы Севастополь и Кронштадт. (Это была ложь.) После конца войны он взял советский паспорт и стал «советским патриотом».

Однажды С. П. Мельгунов сказал мне:

— У кого закружилась голова в

день, когда доблестная Красная Армия взяла Берлин,— тот для меня вычеркнут из числа знакомых. Голова не может кружиться, пока жив Сталин.

Ладинский исчез из моей жизни. Однажды мы встретились на улице, он вопросительно посмотрел на меня. Я сделала шаг к нему.

Он сказал, что уезжает в СССР. Но он не уехал. Через год он пришел ко мне проститься, было около полуночи, и он стоял в дверях, не протягивая руки, боясь, что я не подам ему своей. Я чувствовала, что и теперь он не уедет. «Не сейчас, не сейчас»,— вспомнился мне крик Белого на вокзале в Берлине (крик Кириллова из «Бесов»).

Мы просидели около часа, изредка перебрасываясь словами. Он говорил, что Европа гниет, что все кругом — обречено.

— Меня топтали здесь. И вас тоже топтали.

Я пыталась объяснить ему, что это «топтание» было не результатом нашей случайной личной неудачи. Это был результат национальной катастрофы, к которой мы причастны.

— Писать вам там не дадут и печататься тоже,— сказала я.

— И не надо.

Мы оба знали, что больше не увидимся, и он ушел.

Но он опять не уехал. И его в конце концов выслала французская полиция, как «советского патриота», в 1948 году. На грузовике их было человек десять или двенадцать (среди них был Лев Любимов, сотрудник газеты «Возрождение», а затем—периодических изданий времен оккупации, автор вышедших впоследствии в Москве воспоминаний об эмиграции, «На чужбине», и очерка «Двенадцать лет спустя», «Новый мир», 1961 г.). Грузовик помчал их на восток, вечером первого дня они уже были в Страсбурге. Их взяли рано утром, и кое-кто из взятых был в пижамах. В Дрездене их продержали довольно долго, был слух, что Ладинский был вынужден там прожить два года, был слух, что он в Дрездене покончил с собой. Но все это было неверно: он добрался до «Владимирской губернии» и там прожил у своего брата до 1959 года — года своей смерти. Несколько раз его имя промелькнуло в советской печати; он переводил книги с французского, затем была краткая заметка о его смерти.

Весной в Париже цветут каштаны. Первые расцветают на бульваре Пастер, где метро вымахивает наружу из-под земли и нагретый воздух волнами поднимается и летит к деревьям. Каждую осень листва на Елисейских полях, прежде чем облететь, делается темно-коричневой, цвета сигары. Летом бывает несколько дней, когда солнце садится прямо в центре Триумфальной арки на Этуали, если смотреть с площади Конкорд. Сады Тюльери — самые красивые сады Парижа, потому что они — часть ансамбля, и тот, кто стоит и смотрит на красное солнце, льющееся в камень арки на Этуаль, тоже становится частью ансамбля, как когда стоишь перед «Аристотелем», созерцающим бюст «Гомера», и «созерцаешь» Рембрандта, и чувствуешь живым самого себя. Зимы, собственно, в Париже нет, идет дождь, шумит, стучит, шепчет за окном и по крышам — и день, и два, и три. В январе вдруг наступает день — к концу месяца,— когда все сияет, и льется тепло, и небо синее, и на террасах кафе люди сидят без пальто, и женщины, легко одетые, преображают город. Это — как обещание. Это — первый намек, что все опять будет весело, красиво, все опять засверкает кругом, один только день, и хотя все знают, что еще предстоит два месяца дурной погоды, но об этом молчат. Этот день бывает каждый год, он похож на передвижной праздник, который бывает между 20 января и 5 февраля. Он приходит и уходит, но обещанное им остается в воздухе.

Я долго стою на площади Конкорд, где почти столько же неба, как в русском ржаном поле или в кукурузном поле Канзаса. Я долго сижу за собором Нотр-Дам на лавочке, где Сена идет вокруг острова Сен-Луи, с его старыми прекрасными домами. Я останавливаюсь перед окном колбасной на бульваре Распай и не могу оторваться от этой витрины, для меня великолепнее всех парижских витрин. Я всегда голодна. Я всегда в чужих платьях и старых ботинках, у меня нет ни духов, ни шелков, ни мехов, но мне ничего так не хочется, как того вкусного, что выставлено в окне. За стеклом молодая, лоснящаяся жиром приказчица крутит колесо ветчинной резалки. У нее губы, как ломтики ветчины, пальцы — розовые колбаски, глаза — черные блестящие маслины, и она за стеклом растворяется среди окороков и свиных котлет, так что когда входит покупатель, он ищет ее глазами, и вот она воплощается снова, и снова крутится колесо, играет в руке острый нож, листик пергамента слетает под сосиску, качается стрелка весов, и извечным звуком — трах-тарарах-тррр — гремит железная касса. О, если бы не она! Как было бы легко жить на свете!

В те годы в квартирах еще были печки, куда мы бросали угли «булэ», двенадцать штук, считанных так, чтобы мешка хватило дней на пять. В те годы уборные часто бывали общие, на лестнице, и там было холодно, и крючок соскакивал с петли, и весь день слышно было, как вода с грохотом срывается из-под потолка, а когда кто-нибудь срывал цепочку, ее заменяли веревкой. Рано утром под окном проезжали тяжелые закрытые фургоны, которые везли битюги: черные — золотарей и грязно-белые — развозившие лед. По субботам и воскресеньям приходили во двор шарманщики, приводили детей, резкими голосами певших про погубленную любовь, а иногда — ученых собак, которые танцевали на коврике, с полными слез глазами. И валы играли заунывную песню, которую я помнила с 1914 года, под которую уходили на Марну солдаты в сине-красных мундирах, полагая, что домой не вернутся, и они оказались правы. В те годы по улицам Парижа еще ходили пастухи со стадом коз. Они продавали козий сыр, и консьержки выбегали с небольшой посудиной, и козы тут же доились, и хором раздавалось их блеяние, когда обшарпанный пес загонял их на тротуар.

О двадцатых и тридцатых годах написаны десятки книг воспоминаний. Хорошо быть в Париже, быть молодым и бедным. Но американский журналист, решивший порвать со своей чикагской газетой, чтобы писать роман, «который никто никогда не издаст», или шведский художник, решивший не потрафлять вкусам публики, а писать «для себя», или музыкант с Карибских островов, играющий на пиле, оборвавший все связи с Карибскими островами и живущий на чердаке в Латинском квартале, не согласный со своим карибским правительством,— все это были люди, с которыми наше положение не могло сравниться: они решили остаться, но могли и уехать, им не снились колбасные витрины, они принадлежали к той молодой артистической прослойке города, у которой было будущее.

Мы были странной кучкой людей, которые — хотя по возрасту и не могли быть ни банкирами, ни губернаторами, ни генералами царской армии — почему-то не принимали того, что делалось у них на родине. Судьба Троцкого отчасти смутила Запад. Московские процессы поразили европейскую интеллигенцию, пакт Молотова с Риббентропом расшатал ее. Но это случилось позже. В 1925—1935 годах, несмотря на самоубийства Есенина и Маяковского, на трудности Эренбурга, на исчезновение Пильняка, на слухи о беспокойстве Горького, вера в то, что СССР несет молодому послевоенному миру и в особенности левому искусству обновление, поддержку, необозримые перспективы, была на Западе сильнее всех колебаний и сомнений. Особенно это было во Франции (и, возможно, в США), где люди, когда хотят чего-либо не знать, умеют это делать безнаказанно. Достаточно сказать, что даже в 1960-х годах, то есть после разоблачения «культа личности», член компартии и знаменитый писатель Луи Арагон выпустил свой монументальный труд «История СССР», пользуясь документацией сталинского периода, а Ж. П. Сартр, в своей книге о Женэ, пишет о Н. И. Бухарине как об изменнике и враге народа, солидаризуясь опять-таки со Сталиным. Оба автора не могли не слышать о переменах в Советской России после XX съезда, но они их игнорируют: так для них проще, у них нет ни времени, ни интереса для пересмотров идеологий и переоценок ценностей.

Мы были сотни раз поставлены перед фактами, образчиком которых может служить письмо-запрос Роллана к Горькому и его ответ, о котором я уже говорила. Когда Горький ответил, что преследований никаких нет, многие из писателей-эмигрантов пытались докричаться до европейской общественности, но перекричать Горького им не удалось, и в последующие годы — 25 лет — ни в Европе, ни в Америке интеллигенция в преследование писателей компартией не верила. Приведу одно из писем В. Ф. Ходасевича ко мне: ему удалось заинтересовать старого переводчика русских классиков Гальперина-Каминского (знавшего лично Льва Толстого) этим вопросом. Ходасевич хотел возразить Горькому во французской печати, сказать о пропавших бесследно поэтах и писателях в СССР, о самоубийствах, «политике партии», о цензуре, о страшных годах, которые настают для литераторов в России. Гальперин-Каминский, видимо, старался помочь ему в этом:

«5 апреля 1928. Версаль.

Вчера утром, в кафе, я прочел письмо Гальперина и, не заходя домой, отправился в Париж. Постригся, вымыл голову и поехал к Гальперину. Именно его письмо окончательно убедило меня не печатать мой ответ на анкету.* Старика я обольстил и очаровал вдрызг. Теперь-то мы и стали друзьями до гробовой доски (надеюсь все-таки, она накроет его раньше, чем меня). И вот что порешили:

Г-н напишет Роллану, чтобы тот прислал ему письмо Горького **. Это горьковское письмо Г-н перепечатает не в «L'Avenir», у которого нет ни читателей, ни редактора, ни простора,— а в «Candide». *И тут же, рядом*,— мою большую обстоятельную статью, подвал, которую я напишу специально. «Candide» не «L'Avenir», статья — не ответ на анкету, раздавить Горького *по поручению французской редакции*—не то, что в ряду других лепетать, отвечая на устарелую анкету. В довершение всего— потребую гонорар плюс в тот же день тисну все это (и Горького, и себя) в Возрождении.

Вот какой я умный. Но: о 2-м письме Горького, о моем грядущем ответе и о «Candide» — *величайшая тайна*. Никому ничего не говори».

Анкету «L'Avenir», видимо, затеял Гальперин-Каминский, опрашивая писателей, что они думают о горьковском письме Роллану. Ходасевич старался пройти с этим вопросом в большую французскую еженедельную печать, считая, что «L'Avenir», с которой Гальперин был близок, недостаточно веский журнал для такого серьезного дела.

Нужно ли говорить, что ничего из этого плана не вышло?

---

* Анкета «L'Avenir». См. «Октябрь» № 11, стр. 185 (Ред.).

** Второе, где были личные оскорбления Бальмонту (Н.Б.).

Великие мира сего, то есть нашего мира, не тоталитарного, в котором мы жили и с которым связывали себя, либо, как Андре Жид, годами доказывали достоинства режима великого Сталина, пока вдруг, съездив в СССР, не прозрели, либо, как Бернард Шоу, доказывали, ездили и не прозревали. В компании английских аристократических дур, настроенных, как и он сам, симпатично к кремлевскому Камбизу, Шоу в 1931 году съездил к Сталину на поклон. Вернувшись в Англию, он написал (изображая из себя старого шута) книгу о России («The Rationalization of Russia», между прочим, переизданную в 1964 году), где объявил «Риму и миру», что в Советском Союзе «все преследования интеллигенции давно кончились».

Да, чикагский журналист, превратившийся в автора романов, уезжал (третьим классом, конечно) на испанское побережье, а шведский художник, живя в гостинице, снимал для своей работы студию (возможно, без отопления и с уборной на лестнице), питаясь в дешевых ресторанах. Карибский виртуоз на пиле угощал свою подругу устрицами, а затем они ехали на скачки и в складчину ставили на «Генерала Буланже» — вдруг приходившего первым. Ничего этого мы делать не могли. Мы никуда не двигались. У нас была одна крыша. У нас на огне стояла одна кастрюля.

Хемингуэй пишет в своих воспоминаниях о жизни в Париже в эти годы, о бедности, о том, что деньги приходили ему за ранние рассказы нерегулярно, что на 60 франков в день можно было скромно, но сносно жить вдвоем (любя друг друга, не любя — стоило гораздо дороже) и даже иногда выезжать куда-нибудь, в Санлис, в Фонтенбло, на Луару. В самые лучшие наши годы, то есть в годы, когда Ходасевич регулярно работал в «Возрождении», а я — в «Последних новостях», у нас было около сорока франков в день на двоих, а до этого бывало не больше тридцати. Новая пломба в больном зубе, теплое пальто, два билета на «Весну священную» оставляли провал в домашней арифметике, который ничем нельзя было прикрыть, кроме разве что хождением пешком по городу неделями. И позже, в 1939 году, когда Ходасевич умирал, его повезли не в частную клинику, а в городскую больницу — дьявольская разница в городе-светоче! И там он сказал, когда я пришла к нему:

— Кто со мной здесь не лежал, кто не прошел здесь того, что я прошел, тот мне — никто.

Мы знали лучше всего: хозяев, которые нам сдавали комнаты, домовладельцев, которые сдавали квартиры, угольщика, продававшего уголь и дрова для растопки, булочника, мясника, приказчиков у «Дамуа», у которого покупались сахар, кофе, чай, соль, консьержку, которая острым глазом следила за нами, за нашими гостями, за нашей почтой; от консьержек зависела наша репутация в полицейском участке, кредит в лавке, получение денежного перевода, возобновление квартирного контракта. И мы знали еще лысых и усатых официантов «Ротонды», «Куполя», «Селекта», «Наполи», где мы могли сидеть вечерами над одной-единственной чашкой «кафе-крем», часами разговаривая об Анненском, Багрицком, Олеше, Лоуренсе, Кафке, Хаксли. А Валери, издававшего свои книги в ограниченном количестве экземпляров в роскошном издании, или модную тогда Катерин Мансфильд, большую любительницу Чехова, писавшую про английских старых дев, ведущих беседы за изящно накрытым чайным столом, нам не приходилось знать. В эти годы Джеймс Джойс обедал в ресторане на улице Жакоб, разговаривал с женой и детьми по-итальянски, но мы с ним не встречались и только издали видели несколько раз никому не известного тогда Генри Миллера и его жену Джун — чем-то эти двое были немного похожи на нас.

Наша бедность разделялась на организованную и неорганизованную, иначе говоря — плановую и бесплановую. У нас с Ходасевичем она была организованная, у Вейдле она была и организованная, и плановая, у Поплавского, я думаю, она не была ни тем, ни другим, у Ладинского она была плановая, у Смоленского она бывала иногда то тем, то другим.

Но мы были вместе, нас было восемь, или десять, или — в разное время — двенадцать человек, которые были необходимы друг другу в «анти-дружбе». Это не был «сладостный союз» времен Языкова, который «связует» поэтов. Это была весьма критическая, нервная и неровная связь людей, которым в жизни было в течение пятнадцати лет по пути друг с другом. Я несколько раз близко подходила к этим людям, я несколько раз очень далеко отходила от них. Затем началась война, и в наших больших, шумных, безобразных кафе на окнах появились черные шторы затемнения. Потом Париж был взят немецкими войсками и выметен военной метлой. А когда все опять ожило, эти места оказались заполнены жителями соседних кварталов, проститутками Монпарнаса, союзными солдатами, чужой нам городской пестрой толпой. Но ведь и нас тогда, прежних, уже не было. И стало «на русском Парнасе темно», как сказал Набоков.

Были у нас и праздники. Наши собственные праздники, не «взятие Бастилии» или «День всех святых», не «русское рождество» или «русская пасха», когда православный собор на улице Дарю и все сорок сороков русских церквей Парижа и пригородов наполнялись «белыми русскими», как их называли тогда, остатками полков Деникина и Врангеля, молодцеватыми «чинами армии», с их преданными женами, портнихами, вышивальщицами, шляпницами, когда-то бывшими медсестрами Добровольческой армии или просто офицерскими дочками, белоручками и скромницами. Чины армии являлись в собор с детьми: сыном, записанным в мэрии Глебом-Жаном и дочерью, Кирой-

Жанеттой. Беленькие, синеглазые дети ползли на четвереньках к причастию, грудных подносили к чаше, хор Афонского гремел на всю церковь, на паперти стояли старушки-губернаторши, в прошлом — величественные дамы петербургского общества, «распутинки», мужья которых давным-давно были заколоты или пристрелены. Среди них — нищие, с красными глазами и опухшими лицами, с грязной шляпой в руке:

— Сильвупле, подайте бывшему интеллигенту. В пятнадцатом кровь проливал на полях Галиции... Теперь абориген Армии Спасения.

— Подайте безработному, жертве законов прекрасной Франции...

— Подайте инвалиду Ледяного похода...

— Подайте русскому дворянину кусок горького хлеба изгнания...

И так далее... У нас были свои собственные праздники: банкеты «Последних новостей» — пятилетие, десятилетие газеты, тысячный номер, пятитысячный; Нобелевская премия Бунина, чествование его в театре Шан-з-Элизэ, прием в редакции «Последних новостей» — 15 ноября (1933 года); двадцатипятилетие литературной деятельности Бориса Зайцева; обеды «Кочевья» (литературной группы, связанной с «Волей России» М. Л. Слонима; в 1932 году я присутствовала на двух из них и на двух — в 1933 году); собрания газеты «Дни»; вечера в доме М. и М. Цетлиных (где Ходасевич впервые прочел свои «Соррентинские фотографии»); более тесные дружеские завтраки ближайших сотрудников газеты Милюкова, и дружеские обеды (Зайцев, Муратов, Алданов, Осоргин, Цетлин, Ходасевич и я), и, наконец, самый многолюдный и самый торжественный из всех праздников — банкет «Современных записок», на который было приглашено несколько сот человек, 30 ноября 1932 года (выход пятидесятой книжки журнала).

Я купила себе для этого банкета белое вечернее платье до полу, первое в жизни платье до полу, с ярко-красной накидкой, и красные шелковые туфли, и сидела рядом с В. Е. Жаботинским, с которым меня связывали многолетние дружеские отношения. Когда я с ним познакомилась, я уже знала его идеи, его прежнюю литературную деятельность, его легендарное прошлое и теперешнюю боевую журналистику. Во время первой мировой войны он создал Еврейский легион, состоял лейтенантом британской армии, впоследствии был организатором Хаганы и Иргуна. Он умер в 1940 году в США, а восемь лет спустя было создано государство, для создания которого он всю жизнь работал. Но только через шестнадцать лет, в июле 1964 года, его прах торжественно перевезли в Израиль, где десятки тысяч людей прошли перед его гробом, чтобы проститься с ним. Я знала наизусть его перевод «Ворона» Эдгара По, который он сделал, когда ему, кажется, еще не было двадцати лет и который мне попался в каком-то «Чтецедекламаторе», когда мне самой было пятнадцать. Этот перевод во много раз лучше брюсовского и лучше перевода Бальмонта, хотя у Бальмонта есть свои достоинства. Впервые мы встретились в редакции «Последних новостей», куда он зашел, и потом вышли вместе; прощаясь, он совершенно серьезно сказал мне:

— Запишите в поклонники.

— Запишите в поклонницы,— смеясь, ответила я.

Мы стали с ним видеться изредка. Он был небольшого роста, с некрасивым, умным лицом, энергичным и оригинальным, лицом, «обожженным» не европейским солнцем. Выправка была военная. Он был одним из умнейших людей, каких я знала, если умным человеком называть такого, который, во-первых, с полуслова понимает собеседника и, во-вторых, сам, в течение любого разговора, живет, меняется, творит, меняет других и «говорит глазами». У него были юмор, внимание, даже жадность к собеседнику, и я часто буквально пила его речь, живую, острую, яркую, своеобразную, как и его мысль.

На банкете было много речей, много похвал журналу и оптимистических слов в проекции будущего, но все вместе оставило во мне впечатление скорее грустное: впечатление концентрированного безвоздушного пространства, в котором мы все жили, искусственное соединение за этими столами людей, не умевших по большей части или не хотевших соединяться и не знавших, нужно ли это и кому, и сомневавшихся: было ли что-либо подлинное, и важное, и нужное за этой декорацией?

Да, оно было. Но это было не в плоскости политической, это было исключительно в плоскости культурной и литературной. Политика выступавших ораторов — Милюкова, Керенского, Струве, самих редакторов «Современных записок» (членов партии эс-эр) — умерла вместе с ними, оставив едва заметный след в истории русской эмиграции. Литература — единственное, что осталось от этих лет, и искусство, конечно: живопись, театр, музыка. Но живопись, театр, музыка (Челищев, Архипенко, Кандинский, Ларионов, Терешкович, Метнер, Стравинский, Черепнин, балет, русские драматические актеры, ушедшие на французскую сцену) жили более нормальной жизнью, потому что сливались — так или иначе — с европейским потоком (живопись — больше, музыка — меньше). Литература осталась, останется и — теперь нет сомнений — будет жить и в будущем. Нам надо только умереть, чтобы воскреснуть у себя на родине. Вот и ирония выражения: аще не ýмрет!

Николай Карлович Метнер жил под Парижем в те годы (1930—31), и я счастлива, что несколько раз была у него, сначала в Антони, потом — в Монморанси. Антони да и Монморанси были

тогда не городами, а огородами, и однажды ночью, возвращаясь с Г. А. Раевским-Оцупом от Метнера в Париж, мы заблудились в чьей-то капусте и часа два блуждали, ища дорогу на станцию. Сейчас там давно стоят семиэтажные дома. Метнер играл свои поэмы, и сказки, и другие фортепианные вещи, играл прекрасно, так, что когда я слышу теперь эти вещи, я слышу его игру и никакую другую. Бывал у него Сабанеев, тогда еще во всеоружии своих умственных способностей, певица Фрей, чудным сопрано певшая метнеровские романсы и вокализы под его аккомпанемент. Анна Михайловна, настоящая наседка, всегда была озабочена самыми будничными делами, она была еще больше «домашняя хозяйка» и «жена своего мужа», чем Анна Карловна Бенуа, жена Александра Николаевича. Эти две Анны как-то слились у меня в памяти, и я вижу перед собой существо, толстое, маленькое, в женской одежде, без признаков женственности ни в лице, ни в прическе, ни в жестах, бегающее туда и сюда и все время в уме что-то высчитывающее, не то перебирающее что-то и не имеющее, в сущности, никакого отношения к «гению» дома, где царят вкус, талант, темперамент и вымысел и где никто не обращает внимания на это кудахтанье.

Александр Николаевич Бенуа приехал в Париж в середине двадцатых годов и сначала, видимо, не знал (как и некоторые другие), останется ли он на Западе или вернется в Ленинград, который он до конца своей жизни называл Петербургом. Он особенно не показывался в эти первые годы людям на глаза и ежедневно (как говорили) ездил в Версаль и там в парке с утра, как изголодавшийся, писал этюды — шесть, восемь этюдов в день. Он сбрил бороду и стал толстеть и уменьшаться в росте и все больше с каждым годом «играл», когда говорил с людьми, пританцовывая, шаркая ножками, раскланиваясь, делая ручками всякие приятно-закрученные жесты, хотя на сердце его кошки скребли: в Париже его за художника не признавали, только за театрального декоратора для романтических балетов. В своих воспоминаниях детства, которые он печатал в «Последних новостях» (позже они вышли в Чеховском издательстве, в Нью-Йорке, в двух томах), он много говорит о своем детстве, о своем «тельце», о «ручках и ножках», о красавице-мамаше и красавце-папаше, и над ним часто смеялись, но мне никогда не казалось это ни смешным, ни странным; такова была его сущность, след воспитания, иным он быть не мог, все прошлое было для него безоблачно и свято, и особенно прошлое Петербурга, Мира Искусств, семейства (клана) Бенуа и всех их родственников, отмеченных, так сказать, богами. У него был круглый животик, и однажды, в гостях у меня, он никак не мог выбраться из глубокого кресла. Он смеялся, делал всякие смешные жесты, но положение его — я это видела краем глаза — становилось все труднее: пора было уходить, все кругом уже прощались друг с другом, а он все не мог найти точки опоры, чтобы выскочить из кресла, где он уютно просидел несколько часов. Я, смеясь, вместе с ним над тем, что с ним случилось, подошла к нему и незаметно протянула ему мизинец. Он, все смеясь и «кокетничая» всем своим милым толстым лицом, ухватился за этот мизинец, и выпрыгнул из кресла, и сейчас же принялся шаркать ножкой направо и налево. Добужинский видел все это. Он лукаво улыбнулся мне:

— Утопающий за соломинку,— сказал он.

Позже я прочла у Розанова, что на каком-то вечере был «Бенуа — черный жук, завалившийся глубоко в кресло».

Когда я печатала свою биографию Чайковского фельетонами в «Последних новостях», Алекс. Ник. неизменно говорил мне, что чувствует меня своей современницей, «будто вы знали всех — и Боба, и Модеста, и Арго (Аргутинского)», и вдруг однажды, увлекшись, он внезапно воскликнул:

— А помните, на премьере «Пиковой дамы»...— И вдруг страшно смутился, потупился и запел тоненьким голосом: «Уж вечер, облаков...» (премьера была за девять лет до моего рождения).

С Добужинским я познакомилась еще в Берлине. Он был одним из самых обворожительных и красивых людей, которых я когда-либо знала. Его фигура, высокая, стройная, его сильные руки, лицо с умными, серьезными глазами, менявшееся улыбкой (у него был громадный юмор),— все было природно одухотворено и прекрасно. В старости он остался очень прям и немножко окаменел, но не лицом. Даже голос его — спокойный и музыкальный — был в гармонии со всем его обликом. И как он умел смеяться, как любил смеяться! Между тем во Франции его ценили еще меньше, чем Бенуа, его даже не признавали как театрального декоратора, не говоря уже о том, что как портретист или пейзажист он просто не существовал. Но все, чего он касался, всегда оживало, а то, что он писал (его мемуары), то, что рассказывал,— было и интересно, и умно. Его выдумки, его шутки — как все это всегда бывало к месту, как гармонировало со всей его природой, с тем, как он жил, что любил, что чтил и чем наслаждался!

Еще в Берлине он начал составлять — посвященный мне и с моей помощью — каталог русских фамилий. У меня долго хранились узкие полосы бумаги, исписанные его рукой. Сначала все началось с классификаций. Фамилии птичьи: Орлов, Соловьев, Снегирев и т. д. Звериные: Львов, Котов, Котятин, Кошкин, Кошко, Кошатников, Ежов... Предметные: Горшков, Рюмкин, Шкафф, Завесов... Потом мы перешли на фамилии менее традиционные, они назывались «зловредные»: Кровопусков, Кошкодавов, Тумбесов, фон Дерябкин, Щов, Твердокрыш... Из литературы брать фамилии запрещалось, надо было лично знать людей, брать из памяти, не выдумывать их. Он знал вывески в Петербурге, Вильне, Пскове, и ему бывало легко, и я помогала, как могла. Сидя за чаем где-нибудь в гостях, мы вдруг взглядывали друг на друга и среди общего разговора выпаливали: Мундиров-Трещов, Абесгус, Лихошерстов, Воробиэ (это было моим открытием: в Версале жил человек с такой фамилией, он говорил, что, кажется, один из его предков был русского происхождения).

И он вынимал свои листы, и тут же записывал, и потом читал мне, и мы вместе хохотали.

В Париже мы видались часто, и всегда было нам весело и свободно друг с другом. У него была коллекция старых фотографий неизвестных людей, которые он когда-то покупал на Александровском рынке в Петербурге. Мы рассматривали ее. Женщины все были чем-то похожи на Полину Суслову, а мужчины напоминали композитора Балакирева. Добужинский хранил их для театральных костюмов и причесок. Теперь в Париже он коллекционировал смешные объявления русских эмигрантских газет: «Прихожу на дом, приношу с собой ультрафиолетовые лучи» или «Имею кроликов. Хочу жениться. Чем неинтеллигентнее, тем лучше». Чтобы позабавить и поразить меня, он, смотря в потолок и важно сложив на столе руки, читал на память вывески Невского проспекта начала нашего столетия от Николаевского вокзала до Литейного, сперва по стороне Николаевской улицы, а потом по стороне Надеждинской. И я чувствовала, что имею высокое счастье гулять с ним по Невскому моего детства, туда и обратно, моя детская варежка в его большой руке, мои маленькие ноги делают полтора шага, когда его большие делают один.

Потом много лет мы не видались. Я приехала в Нью-Йорк в ноябре 1950 года, и он вечером в тот же день пришел ко мне в гостиницу на 72-й улице, где я тогда остановилась (М. С. Цетлина сняла мне комнату, и я девять дней была ее гостьей). Я уже знала, каким страшным ударом был для него провал «Хованщины» в Метрополитен Опере с его декорациями. Он ненавидел Америку, ненавидел Нью-Йорк, ненавидел новую живопись, новую музыку, всю механику послевоенной жизни, но у него была и радость: он теперь писал свои воспоминания (которые до сих пор не напечатаны целиком). И странно: он был уверен в себе как художник и был крайне неуверен в себе как мемуарист, а между тем он писал замечательно, умел писать, умел говорить о прошлом, все время колеблясь между автобиографией и мемуарами. Он стал приходить и читать их мне. Он звонил по телефону и просил разрешения «прийти сейчас». Я всегда была ему рада. Чувствовалось, что ему необходимо кому-нибудь прочитать вслух только что написанное. Я была откровенна с ним, когда выражала ему свой восторг, нисколько не преувеличивая силу своего впечатления, но он все-таки не становился увереннее, ему вдруг начинало казаться, что все выходит слишком «интимно». Я уговаривала его ничего не вычеркивать. «И кому все это нужно?» — вдруг спрашивал он, и я отвечала, что всем это нужно и чтобы он ничего не менял. «А как насчет стиля? — спрашивал он.— Грамотно ли вот это место? Не слишком ли много «что» и «который»?» И я старалась уверить его, что он не смеет даже задавать таких вопросов.

Я знала, что между ним и Тамарой Карсавиной когда-то было то, что в просторечии называется романом. Как осторожно обходил он эту тему! Я не смела просить его писать о ней откровеннее, он был наглухо закрыт от всех людей и в том числе от меня во всем, что касалось интимных сторон его жизни. Но было несколько страниц, прочтенных мне однажды вечером, где я почувствовала вдруг «дыхание тайны»: он говорил о молодой женщине в светлом платье на крыльце деревенского дома, о женщине, похожей на призрак, ускользающей от него, на призрак не в смысле отвлеченном или метафорическом, но скорее в смысле вполне конкретном, может быть, балетном? Может быть, здесь было что-то почувствовано мною из второго акта «Жизели», или это был образ черного лебедя? На меня повеяло символом жизненной драмы сдержанного и мучающегося этой сдержанностью человека, символ этот промелькнул в нескольких строках. Эти строки, насколько я знаю, до сих пор нигде напечатаны не были и — кто знает! — быть может, были впоследствии уничтожены? Они остались во мне. И голос Добужинского, всегда такой «полноводный», в ту минуту вдруг дрогнул. Он посмотрел на меня. Но я не подняла глаз. Я боялась спугнуть это зыбкое видение несказанной прелести и красоты и дать ему намек, что я поняла его.

Если вся гармония, весь строй и лад «петербургского ансамбля» отразились в фигуре и интеллекте Добужинского, то Ник. Дм. Милиоти был весь — с головы до ног — москвич, гордился этим и любил говорить об этом. По женской линии он был в родстве с Коршами, знал всех, помнил всех, особенно же Москву артистическую и купеческую. Ходасевич не любил его и считал его «сердцеедом», пошлым Дон-Жуаном, и мы даже полупоссорились с ним. В одном из своих писем Ходасевич писал мне (25 ноября 1930 года):

«Решительно прошу тебя не мириться с Милиоти, т. е. конечно, нет нужды ссориться. Но я прошу тебя очень настоя-

тельно, чтобы после всего, что говорено о нем, после того двусмысленного и глупого положения, в которое он тебя (и *меня!*) поставил (как ты знаешь, *нарочно!*),— после всего этого чтобы ты никогда и нигде *вдвоем* с ним не являлась, и чтобы он не являлся ни *к нам*, ни *к тебе*. В нейтральном месте — да, но в нашей квартире я не подам ему руки, о чем предупреждаю... Допустим — своей репутации ты хозяйка, но и я своей — тоже»...

Детали этой ссоры (или полуссоры) исчезли из моей памяти, но, конечно, после этого письма Милиоти у нас больше никогда не бывал.

В эти годы он не был еще стар, но уже не был тем, каким его знали в Москве, когда он был, по его собственным словам, «самым красивым из всех людей, живших на земле», чему не совсем легко было поверить. В эмиграции у него был сын, которого он не признавал, в Москве у него оставались жена и двое детей. До последних дней он искал прибежища у обожавших его женщин. Он был нищ, несмотря на то, что в двадцатых годах побывал в Америке, устроил выставку и, по его рассказам, имел большой успех. В последние годы жизни он, седой как лунь, в рваном пальто, заколотом английской булавкой, с мешком за плечами и беззубый, выглядел как типичный парижский «клошар» — бездомный бродяга. Что сталось после его смерти с его студией на площади Сорбонны, я не знаю. Она вся была увешена портретами светских красавиц.

В Америке побывал в свое время и Конст. Андр. Сомов, но этот маленький, незаметный и тихий человек не только не растратил свои американские деньги, но устроил себе небольшой пенсион. Он жил один, очень аккуратно и умеренно, увлекался красотой розовощеких, кудрявых молодых мальчиков, которых писал веселыми масляными красками с открытым воротом и длинными пальцами бледных рук. Когда я бывала у него, он всегда был окружен ими.

У Сомова был старый друг, инженер и общественный деятель Брайкевич, когда-то московский меценат и кадет, живший в тридцатых годах в Лондоне. Этот человек, наезжая иногда в Париж, останавливался у Сомова, он ценил К. А. и как человека и как художника. Пожилой, толстый, говорливый, он во всем был противоположностью Сомову. Pater familias, традиционный «бонвиван» начала нашего века, с брюшком и косматыми бровями — и тишайший, скромнейший в своих одиноких вкусах, хрупкий художник. Когда Сомов умер, Брайкевич приехал из Лондона на похороны. Я хорошо помню эти похороны: Брайкевич, рыдая, распоряжался на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, как повернуть гроб, как опустить его в могилу, кому пойти проститься с гробом. Кому куда сесть, чтобы ехать домой. «Костенька,— говорил он,— ангел мой, как я любил тебя!» И все кругом плакали.

Лет двадцать тому назад я видела сон: стою в Ленинграде на вокзале и жду поезда из Парижа. Это поезд — товарный, он везет эмигрантские гробы на родину. Я бегу по платформе, медленно тянется длинный состав. На первом вагоне написано мелом: Милюков, Струве, Рахманинов, Шаляпин, на втором: Мережковский, Бунин, Дягилев, еще кто-то. Я спрашиваю: где Ходасевич? Мне показывают рукой в конец поезда. Мелькает вагон с надписью: Шестов, Ремизов, Бердяев. Я все бегу: наконец, в последнем вагоне я с бьющимся сердцем вижу его гроб. Почему я так волнуюсь, будто готовлюсь увидеть его самого? С грохотом раздвигаются двери, и десяток железнодорожных служащих подкатывают тележки. «Выгружают! Выгружают!» — кричит кто-то за моей спиной. И вдруг я вижу, что рядом с гробом Ходасевича в полутьме товарного вагона стоят еще гробы: Есенина, Цветаевой, Ахматовой... «Почему они здесь?» — недоумеваю я.— Это какое-то недоразумение».

Против кафе Клозери де Лила, около Люксембургского сада, в двадцатых годах еще стоял огромный Бал Бюлье, барак, в котором устраивали свои балы парижские художники. Иным из русских художников дано было долголетие, как, например, Михаилу Ларионову, задолго до первой мировой войны уже жившему в Париже вместе с Н. Гончаровой (и умершему в 1964 г.). Сутин и Бакст умерли сравнительно нестарыми. В день бала художников, в большом зале Бюлье — летом — полуголые, загримированные дикарями, индейцами, африканскими неграми, художники ходили сначала по Монпарнасу, из «Ротонды» в «Куполь», с размалеванными всеми цветами радуги лицами, с натурщицами, изящными, раскрашенными, едва прикрытыми какой-нибудь тряпицей, и здесь можно было увидеть всех: и спокойного патриция Дерэна, и Цадкина, и Певзнера, и Брака. Все кончалось шумным и оргийным пиршеством у кого-нибудь в студии, и один раз было ночное сборище у Терешковича, тогда еще холостого, куда он пригласил и Бунина, и Зайцева, и Алданова. Алданов был, что называется, шокирован всем, что увидел, и довольно скоро ушел. Бунин был сначала подавлен зрелищем, но не без удовольствия «приобщился» к вакханалии, а Зайцев «попивал», и «посиживал», и «посматривал», и «приобщался» усердно и тоже не без удовольствия: все это было ему хорошо знакомо по собственной молодости. Утром, на рассвете, у всех был полинялый вид, растрепанный и несколько непотребный. И домой расходились по пустынным улицам, где громыхали своими бочками золотари да на высоких телегах огородники везли капусту и морковку на Центральный рынок.

Между художником Михаилом Ларионовым (и Наталией Гончаровой) и молодыми членами «Мира искусств» разницы в возрасте не было, но их разделяла глубокая пропасть: Ларионов до старости сохранил в характере и поведении озорство, черту, бывшую традицией футуризма. Озорство было у Шкловского, у Маяковского, у имажинистов, у членов общества «Ослиный хвост», посетителей «Стойла Пегаса» и участников «Засахарекры». Те, кто умер молодым, умерли озорниками, те, кто дожил до старости (как Ларионов), никогда не изжили озорства. Это новое явление нашего времени, эта важная черта целого круга художников, поэтов и музыкантов мало была отмечена. Символисты и члены «Мира искусств» ненавидели это озорство, акмеисты брезгливо от него отворачивались. Но все было вовсе не так просто: была глубокая связь «гения» с «незрелостью» и грубоватая, но, в сущности, законная и здоровая реакция против «печального вина» Блока, мрачного безумия Врубеля, патетики Скрябина, меланхолии Серова. Как многие из его современников, Ларионов был озорником и таковым прожил свою долгую жизнь. Всегда он что-то придумывал, иногда — с хитрой улыбкой, иногда — захлебываясь от удовольствия и часто — назло кому-нибудь. Он никого не признавал, кроме «своих», зато со своими бывал сентиментально ласков, но главным в нем было — неуважение к почтенным сединам врагов (даже когда седины уже были у него самого) и неустанное поклонение заветам раннего футуризма, которые заставляли его держаться таких же озорников, как он сам, не сдаваться «мелкой буржуазии», а «бить ее по морде», когда и где возможно. Это соединялось у него с, в общем, безобидными симпатиями к советскому коммунизму и с некоторым сочувствием Германии и надеждами (во время войны) на перемены, которыми она «даст в зубы старой дуре» Европе. Только бы что-нибудь новое! Только бы что-нибудь неожиданное! Только бы ломать старое и спихивать «с борта современности» отжившее барахло!

В их квартире, где Гончарова и он жили с незапамятных времен и где пол никогда не подметался, под пылью, насевшей на книги, бумаги, рисунки, собранные за сорок лет, можно было найти сокровища, которым сейчас не было бы цены. Но никто, или почти никто, в это логово не впускался. «Да, у меня есть ранние рисунки Пикассо». «Да, у меня есть наброски Сутина и письма Дягилева и все его программы». Эскизы Бакста завалились куда-то, однажды им здесь забытые, черновик Есенина тоже где-то валяется, и рукой Маяковского записанный экспромт, но где они — разобрать нет времени. Хозяин лежит на боку или бегает по улицам и кафе, «шумим, братец, шумим», или сидит в углу у окна и пишет желтенькой краской желтенькую женщину с желтенькими волосами и низким тазом — в желтеньком свете парижского дня.

Озорство его было — по отношению ко мне — всегда ласково и никогда не обидно. Оно, как я сказала, не было случайным, оно принадлежало — в том или другом виде — целой группе людей, так или иначе затронутых новым искусством, если это слово понимать в самом широком его смысле. Это озорство есть, конечно, и на Западе, оно существует до сих пор и становится постепенно историей: знаменитый «бато-лавуар» на Монмартре стал музеем, а жившие в нем когда-то, несмотря на то, что одной ногой стоят в гробу, все продолжают — по мере сил — озорничать. Как художник Ларионов был талантлив не меньше, если не больше замечательной художницы Гончаровой, но в то время, как она трудилась и работала, расписывая для заработка даже парижские рестораны, он разменивался, растеривался, распылялся в бесконечных разговорах, спорах, подвохах, шутках, беготне, словно тот шалун, который, если бы хотел, мог бы окончить с медалью, но его почему-то выгнали из гимназии — впрочем, он и в ус себе не дует! И, может быть, правильно делает.

Кое-кто из художников до самой середины тридцатых годов возобновлял свои советские паспорта и доверчиво ждал, когда можно будет вернуться в Москву и занять там подобающее левому искусству место. Вплоть до 1936 года — до самых московских процессов — у них были надежды, что в стране, сделавшей величайшую в мире революцию, левое искусство наконец будет официально признано главным, если не единственным искусством. Самоубийство Маяковского пошатнуло их надежды, но не убило их. Приезд Замятина в 1931 году опять сильно поколебал их: выходило, что Куприну легче туда вернуться, чем Замятину там жить? Это их смущало.

С Замятиным я провела однажды два часа в кафе «Дантон», на углу Сен-Жерменского бульвара, в двух шагах от русского книжного магазина, где мы случайно встретились. Это было в июле 1932 года. Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой. Не думаю, чтобы он верил, что он доживет до такой возможности, но для него слишком страшно было окончательно от этой надежды отказаться. Я знала его в 1922 году в Петербурге, несколько раз говорила с ним на литературных вечерах Серапионовых братьев и встречала с ним за одним столом новый, 1922 год. Он подошел ко мне в книжной лавке на улице Эперон и протянул руку.

— Узнаете?

Никого кругом не было. Мы вышли.

В кафе он закурил свою трубку, подпер лицо обеими руками и долго слушал меня. Потом заговорил сам. У него был всегда тон старшего, тон учителя, тон

слегка надуманный, и я это чувствовала. Он был наигранно оптимистичен, говорил, что необходимо «переждать», «сидеть тихо», что некоторые животные и насекомые знают эту тактику: не бороться, а притаиться. Чтобы позже жить.

Я была другого мнения. Для меня жизнь не могла стать ожиданием.

Лицо его стало хмуро. Оно-то и вообще у него было невеселым, а теперь стало и неподвижнее, и темнее, чем десять лет тому назад. И наступило молчание, долгое, тягостное, где я понимала, что он знает, что я права, и знает, что я знаю, что он знает, что я права. Но возвращаться к началу разговора (о том, что **там**, и о том, что **здесь**) не хотелось. Я вдруг поняла, что жить ему нечем, что писать ему не о чем и не для кого, что тех он ненавидит, а нас... немножко презирает. И я думала: если ты здесь, то скажи об этом громко, не таи, что с тобой случилось, как тебя там мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай **открытый** выбор. Нет, я этого сказать ему не посмела: мне было жаль его. Доживай и молчи. Это было теперь его тактикой. Но не могло быть моей.

Он был не один. Вторым человеком, до 1936 года не соединившим свою судьбу с эмиграцией, был Вяч. Ив. Иванов. Но он жил в Италии, и там он мог в более спокойной и мирной обстановке возобновлять свой советский паспорт и переписываться с Горьким о даровании ему пенсии, о субсидии на лечение туберкулезного сына. В 1936 году он наконец стал печататься в «Современных записках». Этому помогли, конечно, московские процессы и смерть Горького. Замятин, может быть, не успел этого сделать: он умер в 1937 году. Впрочем, он вряд ли бы изменил свой взгляд на вещи: когда-то он был большевиком, членом партии еще в царские времена. Шесть лет ему были подарены Сталиным.

На похоронах его было человек десять. М. И. Цветаеву, Ю. П. Анненкова и А. М. Ремизова я помню: остальные улетучились из памяти.

Да, сотрудничество в «Современных записках» было своего рода знаком эмигрантского отличия. Сейчас, глядя на эти толстые тома, вышедшие в Париже за двадцать лет, видишь литературный памятник и не удивляешься, что библиотеки западного мира, замечая, что бумага постепенно превращается в пыль, думают о переиздании всех семидесяти томов этого журнала. Это издание, несмотря на его редакторов, которые ничего в литературе не понимали, и, может быть, благодаря давлению на редакцию самих сотрудников стало значительным именно в своей литературной части. Оно, конечно, не было ни «авангардным», ни даже «передовым» и продолжало традицию старых русских «толстых» журналов. Но даже при отсутствии свободы для большинства авторов, придавленных старомодными вкусами и требованиями редакторов — последних представителей русского народничества,— это было место, где в течение почти четверти века могли появляться значительные вещи как «старых», так и «молодых».

Поклонники Чернышевского и Михайловского понимали, что у них смены нет, и пошли на компромиссы — с трудом, но все же пошли, и даже наиболее способный из трех редакторов, М. В. Вишняк, кое-чему (правда, немногому) научился за эти годы, общаясь с Гиппиус, Ходасевичем, Набоковым, Цветаевой и другими. Материальное положение журнала было трудным, говорили, что в Советский Союз идет не более десяти — пятнадцати экземпляров. Остальное раскупалось во Франции, в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в США — в сущности, во всем мире. Вероятно, всего около тысячи экземпляров. Сейчас некоторые из номеров стали библиографической редкостью, комплекта же ни за какие деньги достать невозможно.

Один из редакторов «Современных записок», Илья Исидорович Фондаминский, был в центре легенды, два других редактора легенд не имели *. Но легендой был окружен не только сам И. И., но и его домашние, его жена и В. М. Зензинов, эсер, постоянно живший в его доме.

В свое время Зензинов был тем человеком, который упустил Азефа, но об этом члены партии с.-р. вспоминать не любили, и создалось нечто вроде мифа, в котором Зензинов стоял как олицетворение честности, благородства и целомудрия. На самом деле неудачи как политической, так и личной жизни сочетались в нем со склонностью к пересудам и с некоторыми стародевическими странностями, которые его друзья, боясь их расшифровывать, называли «последствиями одиночества». Он сам в своей, начисто лишенной юмора, как и он сам, книге «Пережитое» (1953 г.) рассказал с наивной откровенностью об упущении им Азефа: был партией с.-р. поставлен ночью сторожить его на углу бульвара Распай, но, увидев, что окно в квартире Азефа погасло, решил, что Азеф лег спать, и пошел домой. Азеф только этого и ждал, вышел через черный ход и, как говорится, был таков. В тех же воспоминаниях и опять же с наивностью, от которой читателю делается неловко, Зензинов рассказал, как в молодости он был влюблен в А. О. Фондаминскую (до ее замужества), но она полюбила его ближайшего друга Фондаминского и вышла за него замуж. Они уже тогда жили все вместе, втроем, и Зензинов ходил по ночам вокруг их спальни. Этот «больной» случай друзья его относили к его невинности и бескорыстию.

Вторая легенда касалась самого Фондаминского. Его окружение считало, что он был в молодости (да и теперь продолжал быть) красивым, блестящим, изящного ума человеком, звездой среди людей своего поколения. На самом деле это был человек довольно толстый, очень черный, не очень чистоплотный, с близко у носа посаженными глазами и постоянной сладкой улыбкой на мясистом, плохо выбритом лице. В улыбке была некоторая фальшь. Он был очень расчетлив, и, так как у «Современных записок», как, впрочем, у всех эмигрантских изданий, были большие денежные затруднения, Фондаминский создал нечто вроде общества друзей «Современных записок», членов которого он обложил данью. Он большую часть своего времени (когда не писал свои исторические этюды, которые подписывал «Бунаков») посвящал взиманию этой дани, главным образом среди щедрых и культурных русских евреев (чины Белой армии не имели привычки читать книги, да и каждый франк был у них на счету). Признаюсь, я была поражена, когда узнала от М. С. Цетлиной уже в Нью-Йорке, что Фондаминский из коммерческого предприятия своей жены получал в месяц не менее восьми тысяч франков (Фондаминские, как и Цетлины, имели плантации чая на Цейлоне). Жить вдвоем или даже втроем (с Зензиновым), имея прислугу, принимая гостей, то есть жить «буржуазно», можно было в те годы тысяч на пять-шесть, даже принимая во внимание, что Амалия Осиповна лечилась на курортах и выезжала танцевать с платными танцорами. Фондаминский мог, казалось бы, без посторонней помощи сам лично поддерживать «Современные записки»... Но что бы он тогда делал со своим временем? М. С. Цетлина сказала мне, что деньги были «не его», что он еще до первой мировой войны, будучи богатым человеком, отдал все свои деньги партии с.-р. и всю жизнь ничего не имел: питался плохо, стригся в дешевых парикмахерских, одевался скверно и жил на средства жены.

Третья легенда этой квартиры касалась А. О. Фондаминской, женщины тихой и приветливой. Считалось, что она необыкновенно хороша собой, умна и поэтична. Поэтичного в ней было разве только то, что в то время, как жены других редакторов журнала работали швеями, она ничего не делала. Когда она умерла, Фондаминский издал сборник ее памяти, где несколько их знакомых, членов партии с.-р. и другие, написали о ней свои воспоминания. Главная часть книги была написана Зензиновым.

Фондаминский часть своей жизни отдавал взиманию дани, но это было не все. Он устраивал какие-то кружки, куда приглашал поэтов, священников и философов, издавал религиозный журнал «Новый град», руководил какими-то собраниями, где много и часто выступал. Он также ходил в православную церковь — впрочем, эту сторону своей жизни окружая некоей тайной. Легенда развивалась дальше: говорили, что он крестился (или собирается креститься), но хочет, чтобы это оставалось секретом, чтобы не огорчать родственников жены; говорили, что после смерти А. О. в 1935 году он уйдет в монастырь. Конец его был трагичен: когда Париж был оккупирован немцами, он одно время считал, что «это не такая уж беда!» (оптимизм его производил несколько ненормальное впечатление). За время эмиграции он собрал большую библиотеку, и я однажды в 1940 году зашла к нему спросить, не хочет ли он часть книг перевезти ко мне в деревню. Но он недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что один немец-книголюб, который у него бывает запросто, обещал ему свое покровительство и просил его ни о чем не беспокоиться. Этот немец потом вывез не только книги Фондаминского, но и всю Тургеневскую библиотеку, драгоценное русское книгохранилище в Париже (о чем я в 1961 году рассказала на страницах «Нового журнала»). Фондаминский был арестован в июне 1941 года, он погиб в одном из нацистских лагерей. Легенда продолжалась: говорили, что он не погиб, а ушел в Россию «пострадать за веру Христову» и т. д.

Великолепное здоровье, энергия, свободное время, обеспеченность, обожание окружающих давали ему возможность посвящать свои досуги добрым делам; он очень часто и впрямь облегчал людям существование: Набоков в свои приезды в Париж мог останавливаться в его квартире, поэтессе Ч. исправили зубы: собраны были деньги, чтобы спасти ее от комплекса неполноценности. Были изданы сборники «Русские поэты» — серия томиков стихов «младшего» (и не только младшего) поколения. Книжки Смоленского, Кузнецовой, Ладинского и других были выпущены в издательстве «Современных записок» на деньги, собранные Фондаминским, и он сам продавал их налево и направо. Время от времени он также устраивал «бриджи» и «чаи», на которых немолодые дамы, приятельницы его жены, играли в карты, отчисляя деньги в пользу писателей — Мережковского, Ремизова, Ходасевича.

В литературе он старался, как подобает редактору толстого журнала, уловить, «что носят», по выражению Ходасевича. Ходасевич говорил:

— Носят ли нынче буфы, пуфы, сборки или, наоборот, спосаживают мысиком и сводят на нет аплике и декольте?

Фондаминский старался понять, почему стихотворца-фельетониста Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в «Современных записках», хотя все понятно в их стихах и они очень мило звучат, а Цветаеву и Поплавского печатать надо, хотя как будто не все понятно и стих не так звучит. Другой редактор, эсер В. В. Руднев, человек милейший, бывший в 1917 году городским головой Москвы, даже не старался понять, «что носят». Однажды, получив какое-то стихотворение от поэта «младшего» поколения, он показал его Ходасевичу и спросил

* Слово «легенда» в применении к И. И. Фондаминскому я заимствую у ближайшего друга его, Г. П. Федотова — см. его некролог в № 18 «Нового журнала» (1948).

его, что это за размер — какой-то, по мнению Руднева, несерьезный и даже плясовой. Стихотворение было написано трехстопным ямбом. Ходасевич, придя домой, лег носом к стене и сказал:

— Вот от каких людей мы зависим.

С Рудневым я была знакома давно, еще с конца двадцатых годов, но внезапно эти деловые и, в сущности, безличные отношения в июне 1940 года приняли совершенно неожиданный оборот. У Руднева была в Париже многолетняя подруга, родственница А. О. Фондаминской, с которой Руднева связывали давние близкие отношения. Накануне всеобщего бегства из Парижа, за день до вступления в город немцев, Руднев приехал ко мне и попросил меня изредка навещать Л. С. Г. и писать ему о ней. Он предполагал тогда, что останется на юге Франции до конца войны. Он взял с меня слово, что, если я увижу, что Л. С. Г. будет угрожать опасность, я напишу ему. Я дала ему слово.

Уже через несколько месяцев мне стало ясно, что Л. С. Г. погибнет, если Руднев не приедет за ней. В 1940—1941 годах было довольно легко вернуться в Париж и вывезти человека. Когда я приходила к Л. С. Г., я заставала ее в каком-то ненормально экзальтированном состоянии, затянутую в корсет, густо напудренную, с тряпкой в руке, без остановки полирующую мебель. Для меня не было сомнений, что Руднев должен приехать в Париж, и я написала ему об этом. Но Руднев приехать не мог, он был уже болен раком и вскоре умер в По. В трагический день 16 июля 1942 года Л. С. Г. была взята и увезена в Аушвиц. Когда среди бумаг Руднева его жена нашла мою открытку, она распустила слух, что мне так нравится жить под немцами, что я и других зову в оккупированную зону.

Третьим, и одно время главным, редактором «Современных записок» был М. В. Вишняк. Этот понимал, что мы все понимаем, что они все ничего не понимают. Безудержность его была общеизвестна. Ходасевич говорил, что, когда он входит в помещение редакции, на улице де ля Тур, и говорит с Вишняком, у него впечатление, что он вошел в клетку льва: хлыст в руке и острое внимание — как бы лев его не съел!

Вишняк был главным знатоком и распространителем принципа местничества: кого с кем посадить, когда позвать, кого напечатать впереди, а кого в конце номера журнала и сколько продержать рукопись в портфеле редакции, чтобы автор не зазнался. Но в Вишняке, при всей его узости, непримиримости и пуританстве, по крайней мере не было «лампадного привкуса», который был у Фондаминского и у Руднева. У него было чувство реальности, и, несмотря на сильную долю обывательщины (пуританство, местничество, оглядка на сильных мира сего), в нем была способность чему-то научиться и желание узнать больше, чем он знал до сих пор. У него было тоже ясное понимание того, что делается в Советском Союзе, и никаких компромиссов со Сталиным он не признавал. У него не было никаких иллюзий насчет «политики партии в литературе», тех иллюзий, которым в разное время — по глупости, по легкомыслию, по старости и склерозу мозга, по невинности, по снобизму, по корысти, по стадному чувству — были подвержены некоторые эмигрантские политики.

Он на много лет пережил своих соредакторов, но до глубокой старости продолжал страдать от своего невыносимого характера, поссорившись со всеми своими друзьями и единомышленниками. Р. Б. Гуль однажды публично назвал его «жандармом». Я в одном письме назвала его «судебным следователем». Больше всего в жизни он был занят выяснением, с кем можно рядом сидеть, кому можно подавать руку, а кому невозможно. Много времени уходило у него на то, чтобы выяснять прошлое своих знакомых: такой-то сорок лет тому назад был, оказывается, членом комсомола! Такой-то ездил в Германию в 1938 году! Такой-то публично еще не покаялся в своих троцкистских симпатиях! Это иногда производило впечатление навязчивой идеи, против которой он был бы и рад бороться, но не в силах.

«Викторианство» левого сектора русской общественности (еще со времен Писарева), в сущности, идет не столько от королевы Виктории, сколько от оппозиций ей: Эдуард VII, сын Виктории, будучи викторианцем, отнюдь не был пуританином, а вот фабианцы, основатели английской рабочей партии, первые социалисты, во главе с Бернардом Шоу, несомненно, были пуританами. Так что и стыдливые советские нравы пришли в СССР не столько от английской королевы, сколько от ранних социалистов Европы, от Прудона с его бытовым, мелкобуржуазным консерватизмом, от суфражисток, от радикальных кружков XIX века, распространивших свою стыдливость от Атлантического океана до Урала. Ведь единственные французы, которые не употребляют в разговоре так называемых непечатных слов, это члены французской компартии!

С А. Ф. Керенским я познакомилась в 1922 году в Берлине. Сначала эсеры выпускали свою газету «Голос России», потом начались «Дни» (в Берлине), которые через несколько лет переехали в Париж. В «Днях» Алданов и Ходасевич редактировали литературную страницу, первый — прозу, второй — стихи, так что мой первый рассказ «В ночь бегства» был напечатан в газете Алдановым. В Берлине, как потом и в Париже, довольно регулярно происходили собрания редакции и ближайших сотрудников «Дней», где литераторы были в меньшинстве, а эсеры (некоторые, как Минор, весьма древние) в большинстве, и они не были уверены, нужны ли газете статьи о балете (Андрея Левинсона) или стихи (Ходасевича). Керенский диктовал свои передовые громким голосом, на всю редакцию. Они иногда у него выходили стихами.

У него была — и осталась до старости, пока он почти совершенно не ослеп — привычка кричать на человека и тем пугать неподготовленного. Помню такую сцену.

— Фамилия??

— Иванов.

— Имя??

— Георгий.

— А! Что принесли?

— Стихи.

Ходасевич потом говорил, что он ожидал, что Керенский вдруг заорет:

— Казенные вещи имеешь?

При этом близорукими глазами он окидывал стоящего перед ним — мужчину ли, женщину ли — с головы до пят; пока вы не знали, что он от близорукости никаких пуговиц и петель на вас сосчитать не может, вам бывало не по себе.

Когда я впервые познакомилась с Рудневым, Ходасевич мне сказал очень тихо:

— Это Руднев. Он готовил бомбу, и ему оторвало палец. Видишь, мизинца не хватает.

Когда я знакомилась с Керенским, Ходасевич меня предупредил:

— Это Керенский. Он страшно кричит. У него одна почка.

Я вгляделась в него: знакомое по портретам лицо было в 1922 году тем же, что и пять лет тому назад. Позже бобрик на голове и за сорок лет, как я его знала, не поредел, только стал серым, а потом серебряным. Бобрик и голос остались с ним до конца. Щеки повисли, спина согнулась, почерк из скверного стал вовсе не разборчивым. У меня от него сохранилось более ста писем, часть напечатана им на машинке, и эти письма, как это ни странно, тоже не вполне разборчивы.

Он всегда казался мне человеком малой воли, но огромного хотения, слабой способности убеждения и безумного упрямства, большой самоуверенности и небольшого интеллекта. Я допускаю, что и самоуверенность, и упрямство наросли на нем с годами, что он умышленно культивировал их, защищаясь. Такой человек, как он, то есть в полном смысле у б и т ы й 1917-м годом, должен был нарастить себе панцирь, чтобы дальше жить: панцирь, клюв, когти...

Политик почти никогда не кончает с собой. Во Франции, например, бывало, докажут, что X — вор, или в Англии, что Y — растлитель малолетних, или в США, что Z — взяточник. А глядишь, через десяток лет все трое выплывают вновь на политическую арену, переждав, когда все забудется. Помогает короткая память людей, смена их, динамика времени. Вор, взяточник, растлитель начинают жизнь с того места, на котором она остановилась. Но президент республики, министр, дипломат, сделавший п о л и т и ч е с к у ю ошибку? Что происходит с ним? Очень часто: точь-в-точь то же самое, что и с политиком, сделавшим моральную ошибку. Даладье возвращается в Национальную Ассамблею, Иден на забытом богом острове пишет свои воспоминания... Но кое-кого и вешают.

Самая тяжелая кара для политика — кара забвения.

— Керенский?

— Он еще жив?

— Не может быть! Только восемьдесят?

Советская девочка лет тринадцати однажды спросила свою мать при мне:

— Мама, Керенский был до освобождения крестьян или после?

Соль, потерявшая свою соленость, человек еще живой, физически живой, но внутренне давно мертвый. Одинокий, несмотря на детей и внуков в Англии, похоронивший всех своих современников и сверстников, человек, постепенно прислоняющийся к церкви, к ее обрядности и тем самым теряющий свое достоинство — человеческое и мужское.

— Это кто, Керенский? Перейдем на другую сторону.

— У вас завтра Керенский? Я лучше приду послезавтра.

Он любит говорить о том, сколько километров он может пройти пешком (12,15); он говорит о том, что любит аэропланы — надеется разбиться когда-нибудь; он признается, что никогда не был в кино — он носит траур по России вот уже сорок семь лет. Когда его приглашают, он смотрит в книжечку: нет, не могу, занят. Может быть, забегу ненадолго. На самом деле он совершенно свободен, ему некуда ходить и к нему мало кто ходит.

Но есть и другая сторона его характера: его несчастная негибкость, его холодность, его непонимание ни себя, ни других, его настойчивое отпугивание от себя расположенных при постоянном желании подчинения их себе, его недобрый, оловянный взгляд, никуда не проникающий, и какие-то «скверные анекдоты», случающиеся с ним, от которых и ему, и всем вокруг неловко.

Все это я знаю теперь, в 1965 году, но в тридцатых и пятидесятых годах я многого еще не видела. Историю нашего долгого знакомства можно разделить на три части: во-первых — «светский» и «деловой» его период: А. Ф.— редактор издания, в котором я печатаюсь, оратор на политических собраниях, на которых я бываю, гость в гостиной Цетлиных и Фондаминских, где гостьей и я. Во-вторых — предвоенные годы, когда он женат на Нелль, с которой они вместе приезжают к нам в Лонгшен. Они живут иногда неделю и в последний раз уезжают накануне взятия немцами Парижа. Наконец — третий и последний период, после смерти Нелль: его приезд в Париж и наше свидание в 1949 году, мой приезд в Америку и первые годы в Нью-Йорке. Затем отношения начинают те-

рять плоть и кровь. В шестидесятых годах мы виделись не более двух-трех раз в год, то есть я видела его. Меня он уже не видел и никаких моих писем прочесть не мог. <...>

В октябре 1949 года А. Ф. приехал в Париж. Ночью, на вокзале Инвалид, я встречала его после девяти лет разлуки.

Все было странным в этой встрече: то, что он прилетел один, то, что я встречаю его одна, что ему не к кому поехать в первый вечер, что я сняла ему комнату в отеле в Пасси, где его, видимо, не знали и где никто не удивился его имени. В Пасси когда-то его знали хорошо, теперь оставалось одно-единственное место, где его еще помнили: кафе де Турелль, на углу перекрестка улиц Альбони и бульвара Делессер. Там старые лакеи называли его «господин президент» с 1919 года.

Опять бобрик и голос, но что-то еще больше омертвело в глазах и во всем лице, впечатление, что он не только не видит, но и не смотрит. Он говорит без конца, взволнованный приездом, приходит ко мне на следующий день и читает мне «историю болезни и смерти Нелль», записанную им. В Брисбене была такая жара, что ее должны были сжечь меньше, чем через двадцать четыре часа после смерти. Ей было страшно, а когда-то ей ни от чего не было страшно, разве что от идущих немецких войск, когда она однажды расплакалась, повторяя, что А. Ф. немцы немедленно посадят в тюрьму «как Шушнига». Она повторяла «как Шушнига» и плакала. Однажды она спросила меня: есть ли шанс, что он когда-нибудь въедет в Москву на белом коне? Я сказала, что шанса такого нет.

Он больше интересовался «политической ситуацией», чем положением общих друзей, это всегда было его отличительной чертой. Он спрашивал о русской печати в Париже, о том, кто остался, кто еще может что-либо делать, видимо, интересуясь всем тем, что могло бы послужить в дальнейшем общему политическому делу. Естественно для него было поскорее найти свое место в этом хаосе. Но «атмосферы», которую он искал,— не было, «ситуации» тоже не было. Ничего не было. Была страшная бедность, запутанность, усталость от пережитого, отмежевание от людей, служивших оккупантам, отмежевание от людей, клевещущих на невинных, раздел между «советскими патриотами» (часто запачканными коллаборацией с немцами) и нами, неуверенность в том, что наш злосчастный «статут» бесподданных нам оставят попрежнему. А. Ф. поехал в Германию создавать какой-то русско-американский или американо-русский комитет. Из этого для него, кажется, вышел один конфуз. Он считал себя единственным и последним законным главой российского государства, собирался действовать в соответствии с этим принципом, но в этом своем убеждении сторонников не нашел.

Я никогда не просила его ни о чем — ни тогда, ни позже, когда приехала в США. Я даже совета у него не просила, а совет, между прочим, в США важнее всего на свете. Но он не любил давать советов, и я это знала, он не любил касаться чужих проблем, чужих трудностей. Возможно, что он боялся риска, потому что в каждом совете есть риск. Выражение «боялся риска» может показаться в применении к нему иронией. Сам он был лишен какого-либо чувства юмора и понимания комических положений как своих, так и чужих. В Америке у нас было с ним около десятка «задушевных» разговоров. Они, разумеется, касались его дел, не моих.

Один из наиболее важных разговоров я хорошо помню. Этот разговор начала я. Он был мне труден, но я решилась на него. Мне стало известно (году в 1958-м), что после смерти в Швейцарии Ек. Дм. Кусковой ее архив по ее распоряжению был передан в Парижскую Национальную Библиотеку с тем, чтобы бумаги, относящиеся к 1917 году, были опубликованы в 1987 году. Не знаю, все ли здесь верно. Я узнала также, что в этих бумагах есть ответ на загадку, почему Временное правительство летом 1917 года не заключило сепаратного мира с Германией и настаивало на продолжении войны: ответ этот надо искать в факте приезда в Петербург в июле французского министра Альбера Тома, которому якобы дано было торжественное обещание «не бросать Франции». Эта клятва связывала русских министров с французским министром как масонов. Члены Временного правительства Терещенко и Некрасов (первый ие был даже членом Думы, второй был членом «прогрессивного блока» Думы), два сотрудника Керенского, оставшиеся с ним до конца, принадлежали к той же ложе, что и он сам. Даже когда стало ясно, что (в сентябре 1917 года) сепаратный мир мог спасти Февральскую революцию, масонская клятва нарушена не была. Кускова, которая сама принадлежала к масонству (редкость для женщины), видимо, многое знала.

Вопрос о причинах, почему именно Керенский, Терещенко и Некрасов настаивали на продолжении войны, начал меня интересовать еще в начале 1930-х годов и вплоть до этой минуты беспокоит меня и волнует. Я назову пять человек, с которыми в разные годы я вела на эту тему беседы. Я ничего не услышала от них положительного и фактического, но кое-что, особенно в сопоставлении ими сказанного, приоткрыло мне прошлое, недостаточно, чтобы сделать исторический вывод, но достаточно, чтобы твердо знать, в каком направлении лежит ответ на вопрос. Эти пять человек: Василий Алексеевич Маклаков, Александр Иванович Коновалов, Александр Иванович Хатисов, Николай Владиславович Вольский и Лилия Осиповна Дан.

С В. А. Маклаковым я говорила об этом в годы нашей дружбы, которые при-

шли значительно позже, чем годы просто светского знакомства. Я знала его с 1925—1926 гг., познакомилась с ним у М. М. Винавера и виделась затем в течение 15 лет не более 3—4 раз в год. Но в начале войны и во время оккупации немцами Парижа (т. е. в 1940—1944 гг.) и в связи с вывозом Тургеневской библиотеки в Германию я стала часто заходить к нему и вплоть до его ареста немцами навещала его на его квартире на улице Станислас, где он жил со своей сестрой, Марией Алексеевной, и старой прислугой. И брат, и сестра никогда женаты не были.

Он, как, впрочем, и некоторые другие бывшие правые кадеты и «прогрессисты», тяжело переживал свою вину и роль в революции. Он говорил, что не только не надо было Милюкову произносить свою знаменитую речь в Думе в ноябре 1916 года «Глупость или измена?», но не надо было и убивать Распутина. Будучи сам крупным масоном, он глубоко (и, вероятно, несправедливо) презирал тех членов ложи (главным образом московской), которые «конспирировали еще в 1915 году». Я имею основания думать, что в его бумагах остались его записи об этом, та часть его мемуаров, которая, конечно, до сих пор напечатана быть не могла.

Вторым человеком, с которым я говорила на эти темы, был А. И. Коновалов. Мы подружились в редакции «Последних новостей», где он был председателем правления этого коммерческого предприятия. Я у него не бывала, но он бывал у меня и даже два раза приезжал ко мне в Лонгшен (с женой, француженкой, Анной Фердинандовной). Отношения наши были теплые и простые еще в начале 1930-х годов, когда я работала регулярно в редакции газеты. В редакционном помещении была так называемая «умывалка», где на плите неизменно стоял чайник, из которого каждый наливал себе чай. Тут же люди мыли руки, машинистки пудрились, сотрудники собирались обсуждать дела — частные и общие. Александр Иванович регулярно приходил со своим стаканом, завидя меня. Мы перекидывались несколькими фразами. Один раз он мне сказал (понимая сам, что разговор этот не может быть серьезным), что он бы хотел видеть меня женой своего сына (профессора Кембриджского университета, Сергея Александровича, с которым я была отдаленно знакома).

Коновалов принадлежал к тому роду русских людей, в которых с годами появляется что-то тяжелое, медленное, неповоротливое, и вместо того, чтобы это преодолевать, они его еще больше подчеркивают. В 50 лет он выглядел на 60 и делал вид, что ему 70. Прекрасно расслышав и поняв сказанное, он с каменным лицом смотрел на собеседника, делая вид, что все еще что-то соображает, затем тяжелой походкой выходил из комнаты, затем через минуту возвращался и медленно и глухо отвечал на поставленный вопрос или смеялся шутке. Я несколько раз обедала с ним вдвоем в большом и почему-то всегда пустом русском ресторане около Этуали, недалеко от дома, где он жил. И так случилось, что постепенно от малых тем, шуток и острот мы оба перешли к прошлому. Это началось, мне кажется, после моего вопроса — не оригинального и даже не очень как будто бы важного — почему он не пишет воспоминаний. Все пишут, сказала я, а вот он не пишет. Нет, сказал он, Терещенко вот тоже молчит.

Этот ответ удивил меня. Терещенко — я тогда этого не знала,— оказывается, тоже был эмигрант, но в нашей жизни не участвовал. Почему? А вот Некрасов, сказал А. И., остался там... О Некрасове я совсем забыла: этот, как и Коновалов, как и Терещенко, до конца оставался с Временным правительством.

Один разговор с А. И. я записала в общих чертах, он мне показался интересным, хотя его важность я поняла значительно позже. Это было в 1936 году летом, когда «Последние новости» печатали воспоминания А. И. Гучкова, недавно умершего (военный министр Временного правительства, первого состава). Коновалов от Гучкова перешел к масонам — Гучков был масон, и это было общеизвестно. Я подозревала тогда, что Коновалов тоже масон, но, конечно, знала, что спрашивать об этом нельзя. Мы заговорили о двух парижских ложах, основанных в начале эмиграции крупными русскими масонами при главном участии Маклакова и Авксентьева.

— А что было в России в последний год перед революцией? — спросила я.

— Искали поддержку радикалов,— сказал А. И.

— Искали поддержку в армии.

От этой темы мы перешли к генералам царской армии, к Алексееву, которому принадлежала первая редакция отречения, когда царь отрекся за себя в пользу сына. От Алексеева — к Крымову, который застрелился сейчас же после дела Корнилова. По странной (тогда) и понятной мне (теперь) ассоциации мы перешли к июльским событиям 1917 года, к приезду из Франции министра Альбера Тома. Затем разговор зашел о Горьком и о близости Ек. Павл. Пешковой (первой его жены) к Екатерине Дмитриевне Кусковой. «Да, существует их переписка, и, несмотря ни на что, каждый раз, как Пешкова выезжает за границу, она бывает в Праге у Кусковой». О том, что Кускова — член масонской ложи, я знала: мне когда-то сказала об этом Е. Нагродская, автор «Гнева Диониса», стоявшая во главе женской ложи в Париже и пригласившая меня однажды на полуоткрытое собрание (где были и мужчины).

Я попросила А. И. рассказать мне о роли масонства в России, в Государственной Думе, во время великой войны. Он неподвижно и долго смотрел на меня.

— Если вы мне ничего не расскажете, я Василия Алексеевича спрошу. Он мне все расскажет,— сказала я в шутку, но Коновалов не улыбнулся.

— Нет,— сказал он медленно,— и Василий Алексеевич ничего вам не расскажет, и я ничего не скажу.

— Тогда напишите и заройте на сто лет.

— И этого не сделаю.

Теперь, глядя назад в это далекое парижское эмигрантское прошлое, я думаю, что я сделала ошибку, не пытаясь поговорить с глазу на глаз о роли русского масонства в годы первой мировой войны с генералом А. Спиридовичем, с которым я была знакома через д-ра М. К. Голованова, который одно время лечил (даром) Ходасевича. Как бы ни было предвзято его суждение и как бы отрицательно он ни относился к «прогрессивному блоку» и кадетской партии Государственной Думы в свое время, я могла бы, может быть, узнать у него хотя бы малую долю правды. Но, конечно, в те годы осуществить контакт с таким человеком, как Спиридович, для меня было невозможно: он был «жандарм», и я с «жандармами» ничего не могла иметь общего. (Тем не менее должна признаться, что с другим «жандармом», М. Кунцевичем, у меня однажды была встреча и разговор зашел о деле Бейлиса: это было в 1931 году, и я спросила чиновника царской полиции, кто был инициатором клеветы на Бейлиса и думал ли он, Кунцевич, хотя бы минуту, что была в обвинении доля правды. Он ответил мне (с глазу на глаз, конечно), что никогда у него не было сомнения, что все дело было выдумано Щегловитовым, о чем он знал с самого начала.)

А. И. Хатисов (женатый на русской) был давним другом моего отца и крупным деятелем Армении в 1917 году. Он во время первой войны был городским головой Тифлиса, знал меня с детства, а в Париже был чем-то вроде «главы» русских армян, как Маклаков был «главой» русских «апатридов». Хатисов был крупный масон, перед самой войной (второй, конечно) я встречалась с ним у другого друга нашей семьи, Л. С. Гарганова, имевшего отношение к кинокомпании Лианозова. Хатисов однажды сказал мне, что если бы я хотела войти в женскую ложу русских масонов, то мне стоит только ему об этом сказать. Он также спросил меня, знаю ли я, что такое современное масонство и особенно — масонство русское. Я ответила, что знаю больше, чем он предполагает, назвала ему обе русские ложи в Париже (так называемую «правую» и «левую»), а также около 18 фамилий наших общих знакомых, которых он имел возможность видеть каждый четверг в здании Гранд Ориан на улице Кадэ (а по вторникам — в Гранд Лож). Он засмеялся и сказал, что он, как известно, связан клятвой и ничего мне ответить не может, но что он советует мне стать членом женской ложи и затем написать роман о современном русском масонстве.

— А как насчет «не современного» русского масонства? — спросила я его.— Как насчет 1915, 16-го, 17-го годов, «прогрессивного блока», Государственной Думы, «рабочих групп», генералов Алексеева и Крымова? Думцев Гучкова и Аджемова? Министров французского правительства и их русских друзей?

Он перевел разговор, но я увидела, что попала в точку.

Другой человек, тоже унаследованный мною — только не от отца, а от матери,— была Лидия Осиповна Дан, урожденная Цедербаум, жена Ф. Дана, известного меньшевика, и сестра Юлия Мартова, теоретика и лидера русской социал-демократии. Она в течение многих лет сидела на одной парте в классе с моей матерью, в Мариинской гимназии, в Чернышевском переулке, в Петербурге. Моя мать девочкой бывала в доме Цедербаумов (это было в начале 90-х гг.). Разговоры с Л. О. Дан у меня были уже после смерти ее друга, Ек. Дм. Кусковой, в Нью-Йорке, где я встретилась с Л. О. Дан раза три, в 1958 году. Она относилась ко мне всегда тепло, в начале 30-х гг., когда я с ней познакомилась (через Ларионова и Гончарову), и в конце 50-х гг., незадолго до ее смерти. Несмотря на то, что они вовсе не были похожи, она чем-то напоминала мне Наталию Ивановну Троцкую, которая тоже (по непонятным мне причинам) относилась ко мне с большим вниманием, а к моим писаниям даже с увлечением — в свое время нас свел сын Виктора Сержа, художник. Л. О. Дан в одну из последних наших встреч сказала мне об архивах Кусковой и назвала человека, который «знает обо всем»,— как ни странно, это была Ек. Павл. Пешкова, первая жена Горького. Она умерла в 1965 году, в Москве. В годы до революции она, как я понимаю теперь, тоже состояла в масонской ложе (московской) вместе с Кусковой. Членом Петербургской женской масонской ложи была, как известно, Ариадна Владимировна Тыркова.

Услышав от Л. О. Дан, что архивы Кусковой «заперты» до 1987 года, я поняла, что *мне* их никогда не увидать, и спросила, почему надо ждать так долго. Л. О. ответила, что Кускова считала, что необходимо дождаться, когда все, кто так или иначе действовал в 1917 году, умрут. «Есть тайны, которые надо открывать как можно позже»,— сказала Л. О. и добавила, что «там лежит ответ на вопрос, почему Временное правительство не заключило сепаратного мира с Германией». Я поняла ее так, что «даже в сентябре еще было не поздно. Но они не пошли на это». (Именно в сентябре 1917 года военный министр Верховский — позже написавший свои воспоминания — считал, что необходимо заключить мир, но не Керенский, не Терещенко и не Некрасов.)

Отношения мои с Н. В. Вольским, од-

но время очень дружеские (как и с его женой, Валентиной Николаевной), были разрушены недоразумением. После откровенных разговоров в конце 40-х гг. о настоящем и прошлом, переписки в 50-х годах, когда я уже была в Нью-Йорке (у меня от него около 80 писем), он напечатал свои воспоминания о Блоке и Белом, полные желчи, обиды, злобы и искажений. Боясь, что я разорву с ним отношения, он прекратил мне писать.

Он, конечно, не будучи замешан в дела русских масонов и не связанный клятвой тайного общества, не стеснялся со мной. Для него не было сомнений, что масонская связь держала правительство Керенского летом и осенью 1917 года в параличе, что еще с 1915 года установилась особая тайная связь между 10 или 12 членами кадетской партии (правой и левой ее части), а также несколькими трудовиками, с одной стороны, и несколькими активно мыслящими генералами высшего командования — с другой; что приблизительно с этого времени был разработан некий политический план, в который были посвящены английские и французские члены дружественных лож, и что клятва была дана торжественная и нерасторжимая. Об этом-то Кускова, по словам Вольского, и оставила неопровержимые доказательства в своих бумагах.

И вот я однажды спросила Керенского об этом.

— Я считал Екатерину Дмитриевну своим другом,— ответил он,— а она...

— Но не в этом дело. Вы что-то должны объяснить, ответить.

Молчание.

— Может быть, все это ложь?

Молчание.

— Сколько вы еще хотите ждать? Сейчас уже никого не осталось в живых, недавно и Терещенко умер. Не пора ли ответить...

Он посмотрел куда-то в сторону и вдруг оглушительно громко запел марш из «Аиды».

Я похолодела. Он громко пел, на всю квартиру. Он в эти минуты, видимо, хотел «извести» меня, как он «изводил» свою подругу ранних лет эмиграции, которая, кроме этого пения, не могла от него ничего добиться в течение многих дней. Когда А. Ф. допел свой марш, разговор наш был кончен. И он очень скоро ушел.

Были и другие «задушевные» разговоры, когда он объявлял, что ему больше деваться некуда, а я говорила, что пора подумать, как устроить свою жизнь, где жить, с кем и как. Я видела, как он стареет, как слепнет. Но он либо заявлял, что погибнет очень скоро в авиационной катастрофе, либо сердито говорил, что никогда не будет инвалидом, никогда не выживет из ума, «хотя вы, кажется, думаете, что я уже выжил!» Иногда он оказывался в боевом настроении:

— Вы считаете меня дураком...

Или:

— Вы всегда думали, что я ничего не понимаю...

Однажды я полушутя сказала ему:

— У Сталина, оказывается, на ночном столике лежали сочинения Макиавелли. У Черчилля — тоже. У Рузвельта — тоже. У Наполеона — тоже. У Бисмарка, у Дизраэли — тоже. А у вас они не лежали.

Он вдруг побледнел, встал, подошел к углу комнаты, где стояла его трость, взял с вешалки шляпу и пошел к дверям. Я не двинулась. Когда он выходил на лестницу, я сказала:

— Александр Федорович, предупреждаю вас, что я не побегу за вами по лестнице, умоляя вас вернуться и прося у вас прощения.

Он вышел, хлопнул дверью так, что дрогнул дом. В час ночи он позвонил мне по телефону и извинился за свой поступок.

И вдруг он перестал скрывать свой возраст, который, впрочем, всем был известен. (Мне вспоминается В. А. Маклаков, у него я видела брошюру, изданную, кажется, перед первой мировой войной, это был справочник Государственной Думы. Там были напечатаны данные о членах Думы, их год рождения, и Маклаков на том месте, где был его год, проткнул дырку.) Он перестал говорить о том, сколько нынче отмахал километров, перестал намекать, что ведет напряженную умственную и светскую жизнь, что видит только знаменитых и власть имущих людей. Он стал вдруг обыкновенным старым человеком, довольно беспомощным, одиноким, полуслепым и сердитым. Мне вспоминался, когда я смотрела на него, мой собственный дядюшка, который в сороковых годах в Париже умер от полной своей ненужности, перед смертью говоря:

— Женщины, за которыми я когда-то ухаживал (рысаки, шампанское, цыганские романсы), теперь давно бабушки, а их внучкам я совершенно не интересен.

И я навещала его, не приходила к нему, а именно — навещала, раза два в год и рассказывала ему только приятное и веселое (его не так-то легко было найти). Его последняя книга, которую он писал в Калифорнии, вышла в 1965 году и теперь стоит на полках американских библиотек. Работать ему было трудно, он говорил, что не может перечитать и исправить того, что секретарша пишет под его диктовку. Людей вокруг него почти не оставалось.

Передо мной моя календарная запись 1932 года:

Октябрь 22— Набоков, в «Посл. Нов.», с ним в кафе.

23 — Набоков. У Ходасевича, потом у Алданова.

25— Набоков. На докладе Струве, потом в кафе «Дантон».

30— Набоков. У Ходасевича.

Ноябрь 1— Набоков.

15— Вечер чтения Набокова.

22 — Завтрак с Набоковым в «Медведе» (зашел за мной).

24 — У Фондаминских. Набоков читал новое.

Я вижу его входящим в редакционную комнату «Последних новостей», где я тогда работала ежедневно: печатала рассказы, критические статьи и заметки (главным образом о советских книгах), сотрудничала как кинокритик по пятницам, когда бывала кинострашица, иногда заменяла в суде репортера или интервьюировала кого-нибудь, помещала в газете стихи и, конечно, печатала на машинке. Он был в то время тонок, высок и прям, с узкими руками, длинными пальцами, носил аккуратные галстуки; походка его была легкой, и в голосе звучало петербургское грассирование, такое знакомое мне с детства: в семье тверской бабушки половина людей грассировала. Мережковский картавил, Толстой в свое время картавил. И бывший царский министр, Коковцев, доживающий свой век в Париже (ум. в 1942 г.), когда произносит звук «р», как бы полощет горло, говоря «покойный государь император».

Перед входом в метро Арс-э-Метье, в самом здании русской газеты, мы сидели вдвоем на террасе кафе, разговаривали, смеялись. Один из последних дней «террасного сидения» — деревья темнеют, листва коричневеет, дождь, ветер, осень; вечерние огни зажигаются в ранних сумерках оживленного парижского перекрестка. Радио орет в переполненном кафе, люди спешат мимо нас по улице. Мы не столько любопытствуем друг о друге: «Кто вы такой?» «Кто вы такая?» Мы больше заняты вопросами: «Что вы любите? Кого вы любите?» («Чем вы сыты?»).

В «Последних новостях» он в те годы был гостем. Когда приезжал из Берлина, кругом него были люди, восторженно его встречавшие, люди, знавшие его с детства, друзья Владимира Дмитриевича (его отца, одного из лидеров кадетской партии в Думе), русские либералы, Милюков, вдова Винавера, бывшие члены Петербургской масонской ложи, дипломаты старой России, сослуживцы Константина Дмитриевича (дяди Набокова), русского посла в Лондоне, сидевшего там до того дня, когда Советская власть прислала в Англию своего представителя. Для всех этих людей он был «Володя», они вспоминали, что он «всегда писал стихи», был «многообещающим ребенком», так что неудивительно, что теперь он пишет и печатает книги талантливые, но не всегда понятные каждому (странный русский критический критерий!).

Итак, в помещении русской газеты все пришли взглянуть на него, и Милюков несколько торжественно представил его сотрудникам. В 1922 году два фашистских хулигана в Берлине целились в Милюкова на эмигрантском политическом митинге, и тогда Влад. Дмитр. Набоков защитил его своим телом, так что пуля попала в Набокова и убила не того, кому была предназначена. Теперь сын делался сотрудником газеты Милюкова.

Оба раза в квартире Ходасевича (еще недавно и моей, а сейчас уже не моей) в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком, происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы «Дара», в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева. Я присутствовала на них и теперь одна жива сейчас, свидетельница этого единственного явления: реального события, совершившегося в октябре 1932 года (улица Четырех Труб, Биянкур, Франция), ставшего впоследствии воображаемым фактором (т. е. наоборот тому, что бывает обычно), никогда до конца не воплощенным, только проектированным фантазией, как бы повисшим мечтой над действительностью, мечтой, освещающей и осмысляющей одинокую бессонницу автора-героя.

О Набокове я услышала еще в Берлине в 1922 году. О нем говорил Ходасевичу Ю. И. Айхенвальд, критик русской газеты «Руль», как о талантливом молодом поэте. Но Ходасевича его тогдашние стихи не заинтересовали: это было бледное и одновременно бойкое скандирование стиха, как писали в России культурные любители, звучно и подражательно, напоминая — никого в особенности, а в то же время — всех: Блока —

Конь вороной под сеткой синей,
Метели плеск, метели зов,
Глаза, горящие сквозь иней,
И влажность облачных мехов.

(Набоков, 1921)

Псевдонародный стих:

Передо мною, за мною, повсюду ты,
ах, повсюду стоишь, незабвенная,
. . . .
и душа твоя — нива несжатая.

(Набоков, 1922)

И — позже — Пушкина, конечно:

Ножи, кастрюли, пиджаки
Из гардеробов безымянных,
Отдельно в положеньях странных
Кривые книжные лотки,
Застыли, ждут, как будто спрятав,
Тьму алхимических трактатов.

(Набоков, 1927)

Через пять лет мелькнула в «Современных записках» его «Университетская поэма». В ней была не только легкость, но и виртуозность, но опять не было «лица». Затем вышла его первая повесть «Машенька»; ни Ходасевич, ни я ее не прочли тогда, Набоков в «Руле» писал иногда критику о стихах. В одной рецензии он, между прочим, упомянул мою «живость» и очень сочувственно отозвался и обо мне, и о Ладинском как о «надежде русского литературного Парижа» (Айхенвальд там же, незадолго до этого, написал обо мне большую статью).

Однажды, в 1929 году, среди литературного разговора, один из редакторов «Современных записок» внезапно объявил, что в ближайшем номере журнала будет напечатана замечательная вещь.

Помню, как все навострили уши. Ходасевич отнесся к этим словам скептически: он не слишком доверял вкусу М. В. Вишняка; старшие прозаики с беспокойством приняли эту новость. Я тогда уже печатала прозу в «Современных записках» и вдруг почувствовала жгучее любопытство и сильнейшее волнение: наконец-то! Если бы только это была правда!

— Кто?

— Набоков.

Маленькое разочарование. Недоверие. Нет, этот, пожалуй, не станет «нашим Олешей» *.

Об Олеше (и я этим горжусь) я написала в эмигрантской печати первая. Это было летом 1927 года, когда «Зависть» печаталась в «Красной нови», а я писала для парижской газеты хронику советской литературы. Считалось, что ее пишет Ходасевич, но на самом деле писала ее я, подписывала «Гулливер» (по четвергам в «Возрождении») и таким образом тайно сотрудничала в обеих газетах, что, разумеется, открыто делать было совершенно невозможно. Я делала это для Ходасевича, который говорил, что не способен читать советские журналы, следить за новинками. Это оставалось тайной ото всех вплоть до 1962 года, когда аспирант Харварда, Филипп Радли, писавший диссертацию о Ходасевиче, сказал мне, что он недавно узнал от кого-то, что Ходасевич под псевдонимом Гулливер регулярно давал в газету «Возрождение» отчеты о советской литературе. Мне пришлось признаться ему, что Гулливер была я, но что Ходасевич, конечно, редактировал мою хронику, прежде чем печатать ее как свою, иногда добавляя что-нибудь и от себя.

Итак, летом 1927 года я прочитала «Зависть» и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим событием в советской литературе, пожалуй, даже большим, чем «Волны» Пастернака. Передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное — живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать, и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкусом, знавшего, как переплести драму и иронию, боль и радость, и у которого литературные приемы полностью сочетались с его внутренними приемами собственной инверсии, косвенного (окольного) показа действительности. Он изображал людей, не поддаваясь при этом изображении соблазну «реализма», давал их в собственном плане, на фоне собственного видения мира, со всей свежестью своих заповедных законов. Я увидела, что Олеша — один из немногих сейчас в России, который знает, что такое подтекст и его роль в прозаическом произведении, который владеет интонацией, гротеском, гиперболой, музыкальностью и неожиданными поворотами воображения. Сознательность его в осуществлении задач, и контроль над этим осуществлением, и превосходный «баланс» романа были поразительны. Осуществлено было нечто или создано вне связи с «Матерью» Горького, с «Цементом» Гладкова и вне «Что делать?» Чернышевского,— но непосредственно в связи с «Петербургом» Белого, с «Шинелью», с «Записками из подполья» — величайшими произведениями нашей литературы.

Лето 1927 года, номера «Красной нови», мои строчки в хронике об Олеше — все это было у меня в памяти. В «Последних новостях», где я регулярно печаталась, только через несколько месяцев появился отклик на «Зависть». Люди спрашивали Ходасевича. «Да правда ли, что это так замечательно?» Он к этому времени уже прочел роман и позже, в 1931 году, за своей подписью написал об Олеше **. Ходасевич отвечал, что роман, несомненно, превосходный. Мы начали ждать дальнейших книг Олеши — на этом уровне их не оказалось, и в Большой Советской Энциклопедии (1954 года) даже нет его имени. Но сейчас он возвращен к жизни. Аще не умрет!

В те годы неким священным ритуалом было собраться после лекции или вечера в каком-нибудь кафе; обычно мы часа два сидели за столиком или на Монпарнасе, или около Порт-де-Сен-Клу, или Порт-д-Отей, поблизости от мест, где большинство жило. И вот в один из таких вечеров произошел — около полуночи — разговор о Льве Толстом между Буниным, Ходасевичем, Алдановым, Набоковым и мною, разговор, о котором я писала в своей статье о «Лолите» в «Новом журнале» (книга 57). Набоков заявил, что никогда не читал «Севастопольских рассказов» и потому никакого мнения о них не имеет. Увы, сказал он, никогда не пришлось заглянуть в эти «грехи молодости». Алданов с трудом скрыл свое возмущение, Бунин, в минуты бешенства зеленевший, пробормотал сквозь зубы матерное ругательство. Ходасевич засмеялся скептически, зная, что в русских гимназиях чтение «Севастопольских рассказов» было обязательным. Что касается меня, то я получила урок на будущее: оказывается, не все надо в жизни читать, не обо всем иметь мнение, можно не стыдиться чего-либо не знать и не все непременно уважать.

Вечера чтений Набоковым своих вещей обычно происходили в старом и мрачном зале Лас-Каз, на улице Лас-Каз. В зале могло поместиться около 160 человек. В задних рядах «младшее поколение» (т. е. поколение самого Набокова), не будучи лично с ним знакомо, но, конечно, зная каждую строку его книг, слушало холодно и угрюмо. «Сливки» эмигрантской интеллигенции (средний возраст 45—50 лет) принимали Набокова с гораздо большим восторгом в то время. Позже были

* Кстати, Олеша и Набоков родились в один год — 1899.

** «Возрождение» № 2854

жалобы, особенно после «Приглашения на казнь», что он стал писать «непонятно». Это было естественно для тех, кто был совершенно чужд западной литературе нашего столетия, но было ли *наше* столетие — их столетием? Что касается «младших», то сознаюсь, дело это далекого прошлого, и пора сказать, что для их холодности (если не сказать — враждебности) было три причины: да, была несомненная зависть — что скрывать? — особенно среди прозаиков и сотрудников журнала «Числа»; был также дурной вкус, все еще живущий у «молодых реалистов» (не называю имен); и, наконец, была печальная неподготовленность к самой возможности возникновения в их среде чего-то крупного, столь отличного от других, благородного, своеобразного, в мировом масштабе — значительного, в среде все-европейских Башмачкиных.

Номер «Современных записок» с первыми главами «Защиты Лужина» вышел в 1929 году. Я села читать эти главы, прочла их два раза. Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Все мое поколение было оправдано.

Я никогда не сказала ему этих своих о нем мыслей. Я хорошо узнала его в тридцатых годах, когда он стал изредка наезжать из Берлина в Париж и когда, наконец, перед войной он поселился в Париже вместе с женой и сыном. Я постепенно привыкла к его манере (не приобретенной в США, но бывшей всегда) не узнавать знакомых, обращаться после многих лет знакомства к Ивану Иванычу, как к Ивану Петровичу, называть Нину Николаевну — Ниной Александровной, книгу стихов «На западе» публично назвать «На заднице», смывать с лица земли презрением когда-то милого ему человека, насмехаться над расположенным к нему человеком печатно (как в рецензии на «Пещеру» Алданова), взять все, что можно, у знаменитого автора и потом сказать, что он никогда не читал его. Я все это знаю теперь, но я говорю не о нем, я говорю о его книгах. Я стою «на пыльном перекрестке» и смотрю на «его царский поезд» с благодарностью и с сознанием, что мое поколение (а значит, и я сама) будет жить в нем, не пропало, не растворилось между Биянкурским кладбищем, Шанхаем, Нью-Йорком, Прагой; мы все, всей нашей тяжестью, удачники (если таковые есть) и неудачники (целая дюжина), висим на нем. *Жив Набоков, значит, жива и я!*

Я слышу, как кто-то насмешливо спрашивает:

— Позвольте, но почему вы думаете, что вы здесь при чем-то? Разве вы (и с той окончательностью суждений, которая иногда так раздражала даже людей, любивших вас), разве вы не говорили много раз, что каждый — сам по себе, что Пушкин, Гоголь, Достоевский и другие — не говоря уже о XX веке,— были сами по себе, а вовсе не «гениальный русский народ»? При чем тут вы и ваше поколение? Очень Набоков заботился о своем поколении, если Ивана Иваныча не мог отличить от Ивана Петровича? И не узнавал его не то что на улице, а даже в «салоне» редактора «Современных записок» Фондаминского? Набоков-то жив и будет жить, но еще никем не сказано, что где-то в его тени кто-нибудь уцелеет и среди них — вы сами.

Да, каждый человек — сам по себе, целый мир, целый ад, целая вселенная, и я совсем не думаю, что Набоков тянет кого-то за собой в бессмертие. Кое-кто его и не заслуживает, кое-кто не заслуживает бессмертия в его тени, кое-кто, и в том числе я сама, слишком любил жизнь, чтобы иметь какое-либо право уцелеть в памяти потомства, любил жизнь больше своего литературного имени, и чувство жизни — больше бессмертия, и «полубезумный восторг делания» больше результатов этого делания, и дорогу к цели больше самой цели. А все-таки в перспективе бывшего и будущего — он ответ на все сомнения изгнанных и гонимых, униженных и оскорбленных, «незамеченных» и «потерянных»!

Набоков — единственный из русских авторов (как в России, так и в эмиграции), принадлежащий *всему* западному миру (или — миру вообще), не России только. Принадлежность к одной определенной национальности или к одному определенному языку для таких, как он, в сущности, не играет большой роли: уже лет 70 тому назад началось совершенно новое положение в культурном мире — Стриндберг (в «Исповеди»), Уайльд (в «Саломее»), Конрад и Сантаяна иногда, или всегда, писали *не на своем языке*. Язык для Кафки, Джойса, Ионеско, Беккета, Хорхе Борхеса и Набокова перестал быть тем, чем он был в узконациональном смысле 80 или 100 лет тому назад. И языковые эффекты, и национальная психология в наше время как для автора, так и для читателя, *не поддержанные ничем другим*, перестали быть необходимостью.

За последние 20—30 лет в западной литературе, вернее — на верхах ее, нет больше «французских», «английских» или «американских» романов. То, что выходит в свет лучшего, становится интернациональным. Оно не только тотчас уже переводится на другие языки, оно часто издается сразу на двух языках, и — больше того — оно нередко пишется не на том языке, на котором оно как будто должно было писаться. В конце концов становится бесспорным, что в мире существуют по меньшей мере *пять* языков, на которых можно в наше время высказать то, что хочешь, и быть услышанным. И на каком из них это будет сделано — не столь уж существенно.

Но Набоков не только *пишет* по-новому, он учит также, как *читать* по-новому. Он создает нового читателя. В современной литературе (прозе, поэзии, драме) мы научились идентифицироваться не с героями, как делали наши предки, но с самим автором, в каком бы прикрытии он от нас ни прятался, в какой бы маске ни появлялся.

Мы научились идентифицироваться с ним самим, с Набоковым, и его тема (или Тема) экзистенциально стала нашей темой. Эта тема появилась намеком еще в «Машеньке», прошла через «Защиту Лужина», выросла в «Подвиге», где изгнанничество и поиски потерянного рая, иначе говоря — невозможность возвращения рая, дали толчок к возникновению символической Зоорландии, воплощенной позже в «Других берегах», иронически поданной в «Пнине» и музыкально-лирически осмысленной в «Даре». Преображенная, она, эта тема, держала в единстве «Приглашение на казнь» и наконец, пройдя через первые два романа Набокова, написанные по-английски, и «Лолиту», прогремела на страницах «Бледного огня», с расплавленным в этом романе «Тимоном Афинским» Шекспира (из которого взято его название).

«Бледный огонь» вышел сам из неоконченного, еще *русского* романа Набокова, Solus Rex, первые главы которого были напечатаны по-русски еще в 1940 году. Король, или псевдокороль, лишенный своего царства, уже там возникал как поверженный изгнанник рая, куда возврата ему нет. Это было завершением (или началом завершения) глубоко органической личной символической линии Набокова. И ее же, эту линию, мы найдем в его стихах: раз возникнув, она уже никогда его не оставила; и, может быть, точнее было бы назвать ее не линией, но цепью, чтобы иметь право сказать, что в звеньях этой цепи сквозят нам как личные, так и творческие кризисы поэта, хотя бы в следующих цитатах:

Пора, мы уходим, еще молодые,
Со списком еще не присинившихся снов,
С последним, чуть зримым сияньем России
На фосфорных рифмах последних стихов

(1938)

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
Обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня,— мой язык.

(1939)

«Твои бедные книги,— сказал он
развязно,—
Безнадежно растают в изгнаньи. Увы,
Эти триста страниц беллетристики
праздной
Разлетятся...
. . . .
Бедные книги твои.
Без земли, без тропы, без канав,
без порога,
Опадут в пустоте...»

(1942)

Вся последняя капля России
уже высохла! Будет, пойдем!
Но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером

(1943)

Бессонница, твой взор уныл и страшен.
Любовь моя, отступника прости.

(1945)

Зимы ли серые смыли
Очерк единственный? Эхо ли?
Все, что осталось от голоса? Мы ли
Поздно приехали? —
Только никто не встречает нас! В доме
Рояль, как могила на полюсе. Вот тебе
Ласточки! Верь тут, что кроме
Пепла есть оттепель!

(1953)

Есть сон. Он повторяется, как томный
стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.
И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
«Читвй, читай»,— кричит мне кровь моя.
. . . .

(1953)

Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

(Без года, не позже 1961)

Сомнений быть не может: все — только об одном, все — связано, слито, спаяно, и как бы Набоков ни уверял нас, что земляничное зернышко в его зубе мешает ему жить (как его тезка уверял, что гвоздь в его сапоге для него кошмарнее, чем фантазия у Гете), мы давно поняли, что именно мешает Набокову жить (или — творчески дает ему жизнь),— и никаких других признаний нам не надо. «О, поклянись, что до конца дороги Ты будешь только вымыслу верна!» — сказал он в «Даре». Как Бодлер в своем бельгийском аду, как Данте в Равенне, он помнит только одно и терзается только одним.

В последний раз я видела его в Париже в начале 1940 года, когда он жил в неуютной, временной квартире (в Пасси), куда я пришла его проведать: у него был грипп, впрочем, он уже вставал. Пустая квартира, т. е. почти без всякой мебели. Он лежал бледный, худой, в кровати, и мы посидели сначала в его спальне. Но вдруг он встал и повел меня в детскую, к сыну, которому тогда было лет шесть. На полу лежали игрушки, и ребенок необыкновенной красоты и изящества ползал среди них. Набоков взял огромную боксерскую перчатку и дал ее мальчику, сказав, чтобы он мне показал свое искусство, и мальчик, надев перчатку, начал изо всей своей детской силы бить Набокова по лицу. Я видела, что Набокову было больно, но он улыбался и терпел. Это была тренировка — его и мальчика. С чувством облегчения я вышла из комнаты, когда это кончилось.

Скоро он уехал в США. Первые годы в Америке были ему нелегки, потом он сделал шаг, другой, третий. Вышли два его романа (написанные по-английски),

книга о Гоголе, «Пнин», рассказы, воспоминания детства. «Лолита», видимо, была начата еще в Париже по-русски (см. книгу Эндрю Фильда, стр. 328—330, о русском рассказе Набокова «Волшебник», до сих пор не напечатанном). О ней говорил мне Алданов, рассказывал, как Набоков читал несколько глав избранным и о чем были эти главы; «Solus Rex» превратился в «Бледный огонь»; наконец был переведен «Дар», а затем и «Защита Лужина». В 1964 году вышли его комментарии к «Евгению Онегину» (и его перевод), и оказалось, что не с чем их сравнить: похожего в мировой литературе нет и не было, нет стандартов, которые помогли бы судить об этой работе. Набоков сам придумал свой метод и сам осуществил его, и сколько людей во всем мире найдется, которые были бы способны судить о результатах? Пушкин превознесен и... поколеблен. «Слово о полку Игореве» переведено, откомментировано им... и взято под сомнение. И сам себя он «откомментировал», «превознес» и «поколебал» — как видно из приведенных цитат его стихов за двадцать четыре года.

Влажное «эр» петербургского произношения, светлые волосы и загорелое, тонкое лицо, худоба ловкого, сухого тела (иногда облаченного в смокинг, который ему подарил Рахманинов и который был сшит, как говорил Набоков, «в эпоху Прелюда») — таким он был в те годы, перед войной, в последние наши парижские годы. Он ходил словно пьяный самим собой и Парижем. Один раз при нашем разговоре присутствовал Ю. Фельзен, но, боюсь, ему не пришлось вставить ни одного слова — этой возможности мы ему не дали. Другой раз Набоков пригласил меня завтракать в русский ресторан, и мы ели блины и радовались жизни и друг другу, точнее: я радовалась ему, это я знаю, а он, может быть, радовался мне, хотя зачем было приглашать меня в «Медведь» *, если он мне не радовался? У Фондаминского, где он останавливался, когда бывал в Париже, после его чтения мы однажды долго сидели у него в комнате, и он рассказывал, как он пишет (долго обдумывает, медленно накапливает и потом — сразу, работая целыми днями, выбрасывает из себя, чтобы потом опять медленно править и обдумывать). Разговор шел о «Даре», который он тогда писал.

Он стал полноват и лысоват и старался казаться близоруким, когда я его опять увидела в Нью-Йорке, на последнем его русском вечере. Близоруким он старался казаться, чтобы не отвечать на поклоны и приветствия людей. Он узнал меня и поклонился издали, но я не уверена, что он поклонился именно мне: чем больше я думаю об этом поклоне, тем больше мне кажется, что он относился не ко мне, а к сидевшему рядом со мной незнакомому господину с бородкой, а может быть, и к одной из трех толстых дам, сидевших впереди меня.

* Этот «Медведь» в 1969 году, т. е. через 37 лет, перешел в роман Набокова «Ада», превратившись в ночное кабаре.

●

Между двумя толкованиями

•

Даниил Гранин. Запретная глава. Рассказ. «Знамя», 1988, № 2.

•

Судя по обозначению жанра, перед нами рассказ. Но странный рассказ. Да и рассказ ли это? Правильно ли мы понимаем слово «рассказ»?

Заглянем в толковый Словарь русского языка С. И. Ожегова. Он предлагает два значения слова «рассказ»:

1. Словесное изложение каких-либо событий. Р. **очевидца.**

2. Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера. **Сборник рассказов.**

Так вот, о каком значении слова «рассказ» должны мы думать? Может быть, о первом («рассказ очевидца»)? Человек присутствовал, видел, наблюдал... Но такому пониманию мешают вспышки художественности, внезапно вклинивающиеся в фактологию. Пожалуй, рассказ Гранина — где-то между двумя смыслами. И то, и другое.

О жанрах вообще (без этого не обойдешься). Думаю, ни для кого не будет неожиданностью, если я выделю изо всех жанров сегодняшнего дня один, любимейший: это публицистика. Труды экономистов, социологов, мелиораторов, электриков, кибернетиков — все читается с волнением, до перехвата горла. Лично в моем читательском восприятии публицистика резко отодвинула прочь беллетристику. Падение интереса к беллетристике сегодня — черта многих людей. (Покойная Надежда Яковлевна Мандельштам говорила: «Я больше не могу читать о том, как он надел шляпу».)

Другое дело — публицистика. Здесь каждое слово припечатано фактом, каждое произносится всерьез. Это — не про посторонних, воображенных. Это — про нас с вами.

Но заметим: — ничего нет из «повествовательной продукции» более уязвимого, более хрупкого, чем публицистика. Она — подёнка. Попробуйте, возьмите кучу журналов за какой-то из прошлых лет и прочтите оттуда какой-нибудь из публицистических опусов. Грустное занятие! То-то и то-то уже читано, и не однажды. Тот-то ломится в открытую дверь (неужели когда-то было иначе?). А другое и третье — просто фальшиво. Оговорки, необходимые когда-то, прорастают в тексте плевелами. А каковы модные словечки, до того примелькавшиеся в те годы, что их в тексте и не замечали: какая-нибудь «кукуруза», борьба за дисциплину, война алкоголизму... Слова, слова, слова...

За последние годы, вернее, месяцы, темп развития публицистики ускорился безмерно. Мы читаем в газетах то, что два года назад было бы сенсацией. Даже привыкли к этому: «ну, и что?». Гласность развернута полностью... Неужели все это когда-нибудь из злобы дня станет нормой? Неужели через несколько лет мы будем читать слово «гласность» с усмешкой, как одно из «модных» словечек 80-х годов? Трудно поверить, но скорее всего так это и будет. Злоба дня, прекратившая быть злобой дня, умирает, уступает место другой...

И возникает необходимость — настоятельная! — в появлении какого-то нового типа литературы. Той, которая соединяла бы в себе боевую боль публицистики с вечной болью художественной литературы.

Мне кажется, что некоторые попытки этого рода есть в рассказе Д. Гранина. Обдуманная множественность. Сшибки стилей. Фактологическая трактовка происходившего плюс фантастические срывы в художественность.

Причудливость рассказа бросается в глаза с самого начала, некая «несогласованность». «Центральный герой» — реальное историческое лицо, Алексей Николаевич Косыгин, да-да, тот самый наш Председатель Совета Министров СССР с 1964-го по 1980 год. Он никак не припрятан, не закамуфлирован. А вот его помощник Б-ов — тот упакован довольно тщательно. Кто он? Почему ему сопутствует полутаинственность? Уж не Мефистофель ли он тех времен, которые ныне именуют «периодом застоя»? Может быть, когда-нибудь по этой паре слов — «период застоя» будут узнавать публицистику наших дней?

В том году (1978), к которому Гранин отнес свой рассказ, они с А. Адамовичем заканчивали «Блокадную книгу» — удивительное по неприкрашенной правдивости живописание горя и героизма ленинградцев, блокадного быта, записанное по устным, магнитофонным показаниям самих блокадников. Авторов книги интересовал вопрос: кто да как руководил страдальческой жизнью города? Кто налаживал снабжение, кто организовывал эвакуацию людей, материальных ценностей? Авторам было известно, что этими делами занимался Косыгин, одним из помощников которого был Б-ов.

А. Н. Косыгин интересовал авторов книги еще по одному признаку. Он — почти единственный «выживший» из числа «крупных» ленинградцев. Сама судьба толкала его в гибель — таково было время, а он — выжил. Почему? В чем была его особенность?

Вот одна из «вспышек художест-

венности» в фактологическом рассказе (речь идет о наших руководителях тех времен): «Годами, десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов».

Сначала писатели пробуют получить кое-какие сведения у Б-ова. Тщетно. Все эти вопросы — почему да как? — кажутся Б-ову нелепыми. Да, руководил Косыгин, а Б-ов ему помогал. А что? Смысл вопросов от него ускользает...

И вдруг писателей посещает идея: а что, если расспросить самого Косыгина? Проинтервьюировать его, как других блокадников? Мысль, что Предсовмина можно спрашивать, как рядового блокадника, поначалу рассмешила Б-ова. Но писатели настаивали. «Капля долбит камень» (а может быть, Б-ов просто опасался, как бы ему не «нагорело» за отказ). Так или иначе он «призадумался, закряхтел и разродился туманно осторожным: «Попробуем узнать».

«Узнавание» в нашем быту — дело долгое. Время от времени Б-ов сообщал: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить» и так далее. Наконец, дело выиграно: свидание назначено! Б-ов звонит Гранину в Ленинград и уточняет дату. Правда, почему-то Адамович из числа встречающихся выбыл...

Начинается встреча. Гранин пробует включить магнитофон. Жест Косыгина: нет, нельзя. Почему нельзя? Неизвестно. Без объяснений. Но записывать беседу в блокноте — можно. Почему? Снова без объяснений.

Факты, факты и мысли, мысли. Здесь мысли автора органически сливаются с фактами, наступают, вспыхивают, опадают. Почти каждую из них можно обговаривать долго.

Например, одна из мыслей — о страхе. Молодые только страхом пренебрежительно объясняют всеобщее тогда, в эпоху культа, состояние. Боялись, трусили — и все. Нет, далеко не так. Много сложней, загадочней. Если страх — то особый: страх лично мужественных людей.

«Попробуй объяснить,— пишет Гранин,— что, кроме страха, была вера, было обожествление, надежда, радость свершений,— сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобраться, следующие и вовсе не собираются вникать... Обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное».

Сколько покорной горечи в этих словах! Но тут мне хочется прибавить кое-что от себя лично. Я тоже жила во время культа, но судила о нем, так сказать, с другой стороны. Я примерно на десять лет старше Гранина, моя ранняя молодость прошла в 20-х годах — время неслыханного расцвета культуры, гордости, самонадеянности. Разумеется, не без глупостей и заскоков, но мы впитывали эту атмосферу. Хорошо помню, с какой раздраженной досадой, со скрипом зубов мы, люди предыдущего поколения, присматривались к зарождению и возвышению культа. Как читали набранное в газетах жирным шрифтом имя «корифея»... Нет, для нас он корифеем не был. Другое дело, что моя исходная ненависть к Сталину — отнюдь не моя заслуга. Знать-то знала, но молчать — молчала...

Следующее за нами поколение? Это — другое дело. Воспитанные в преклонении, впитавшие имя Сталина с пеленок, они честно его обожествляли. Страх? Конечно, и страх. Но не только страх. Это был особый вид страха, не похожий на обычную человеческую трусость. Ему часто поддавались и самые мужественные люди, фронтовики, отчаянно смелые в настоящем бою. Одно дело — бороться со «своими» против «чужих»: здесь и стены помогают. Совсем другое — пойти наперекор тому, что думают и чувствуют «свои»...

К тому же много ли мы знаем о тех, кто сопротивлялся, возмущался, протестовал, шел на казнь не с именем Сталина на устах, а с проклятиями? Смерть все покрывает.

Мало, как мы еще мало знаем! Думаю, что материалы «закрытых процессов» прошлого должны быть доступны людям. Не только для того, чтобы ужасаться преступлениям Сталина, но и для того, чтобы поклониться памяти тех, кто погибал несломленным...

Вспоминаю рассказ одного человека, которого вели на казнь. Рядом с ним вышагивал другой человек, лично мне знакомый. Он бросился в пролет лестницы. После этого все пролеты были заделаны. А другого приговоренного так и забыли казнить...

Но вернемся к рассказу. Беседа Гранина с Косыгиным ведется в помещении, странно знакомом. «Да, это кабинет Сталина»,— подсказывает Косыгин. Тот самый кабинет, который был центром всего и вся, где решались судьбы народов, не говоря о судьбах отдельных людей. «Господи,— размышляет писатель,— какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали ми-

нистры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация».

Эти «приноровисто двигавшиеся» секретари — один из перлов гранинского языка...

А Косыгин в ходе беседы говорит подробно, даже интересно, но только то, что им было приготовлено заранее. Может быть, его слова предназначались для кого-то четвертого, сидевшего, кроме Гранина, Б-ова и Косыгина, в кабинете? В самом деле, на столе сидел, прислушиваясь, белый телефон — стукач наших дней...

И вдруг — неожиданная вспышка буйства. Придравшись к чему-то, сказанному Граниным (разумеется, о Сталине, но что именно — непонятно), Косыгин вспыхивает, стучит кулаком по столу (телефон подпрыгивает): «Довольно! Что вы понимаете!» Гранин оскорблен, захлопывает блокнот, готов отказаться от этого интервью... Но его собеседник опомнился, готов извиниться: «...тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся... но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема».

И, странное дело, после этой вспышки Косыгин становится нам более приятен, чем до нее. То есть, по-своему, по-хмурому приятен, но все-таки...

Один из вопросов, который писатель упорно задает собеседнику: вопрос о *выборе*. Если возникал выбор в пределах данного веса, то людей или оборудование стремились вывезти? И то, и то, отвечает Косыгин, и людей вывозили, и оборудование. Одновременно. Может быть, все-таки это говорилось для телефона, тихо, по-стукачески присутствовавшего тут же. Может быть, он никуда и не был подключен, а все-таки...

«Мне стало жаль,— пишет Гранин,— этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат». Жалость, смешанная с уважением...

Кончилась встреча. Где-то под конец заходит речь о «Блокадной книге» — что-то препятствует ее выходу. Подразумевается: Косыгин мог бы помочь. Ну, что бы ему стоило позвонить, вмешаться. Но нет. Косыгин к печатной продукции отношения не имеет. Попрощались. «Рука его была теплой, бескостно-мягкой»...

Вот и все. Гранин с Б-овым выходят на Красную площадь. Спутник крайне недоволен Граниным, раскаивается в своей рекомендации, аргументирует: «Допустим, вступились за вашу книгу. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю... И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрасте пожалуйста, объявился, вот и я». И дальше: «Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — они». Лакейство в квадрате.

Главу с рассказом о Косыгине, разумеется, в «Блокадную книгу» не пропустили. Без пояснения причин. Нельзя — и все. А Косыгин болел, не мог вмешаться, да и вряд ли стал бы вмешиваться. Не та «школа». А вскоре он умер...

В конце рассказа есть отрывок, как бы подытоживающий все его течение. Теперь-то, в пору гласности, кто мог бы помешать включению «Запретной главы» в книгу? Но нет. «Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух... Дело было не только в Косыгине, написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, *не смею*... Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту».

То осуждаю его, то чту... А если то и другое — сразу? Одновременно?

В рассказе Д. Гранина, мне кажется, соединены и спаяны многие элементы. И внутренняя противоречивость мыслей. И разговор с самим собой. И разговор с читателем: а ну-ка, попробуй, подумай сам. Это в каком-то смысле попытка создания нового жанра в литературе, затрагивающего самые больные вопросы, размышляющего об их решении, совмещающего язык фактов с языком художественной литературы, всю тревогу публицистики и всю раскованность истинной прозы. Это шаг в сторону создания подлинного плюрализма в прозе, до которого мы, строго говоря, еще не доросли.

И. ГРЕКОВА

Содержание журнала «ОКТЯБРЬ» за 1988 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

ОТКЛИК

ПОПРАВКА

В одиннадцатом номере «Октября» на странице 24 допущена опечатка. Двадцать восьмую строку снизу следует читать: «думал в июне 1917-го». Далее по тексту.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 28.10.88. Подписано к печати 02.12.88. А 01705. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 252 000 экз. Заказ № 3290.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.